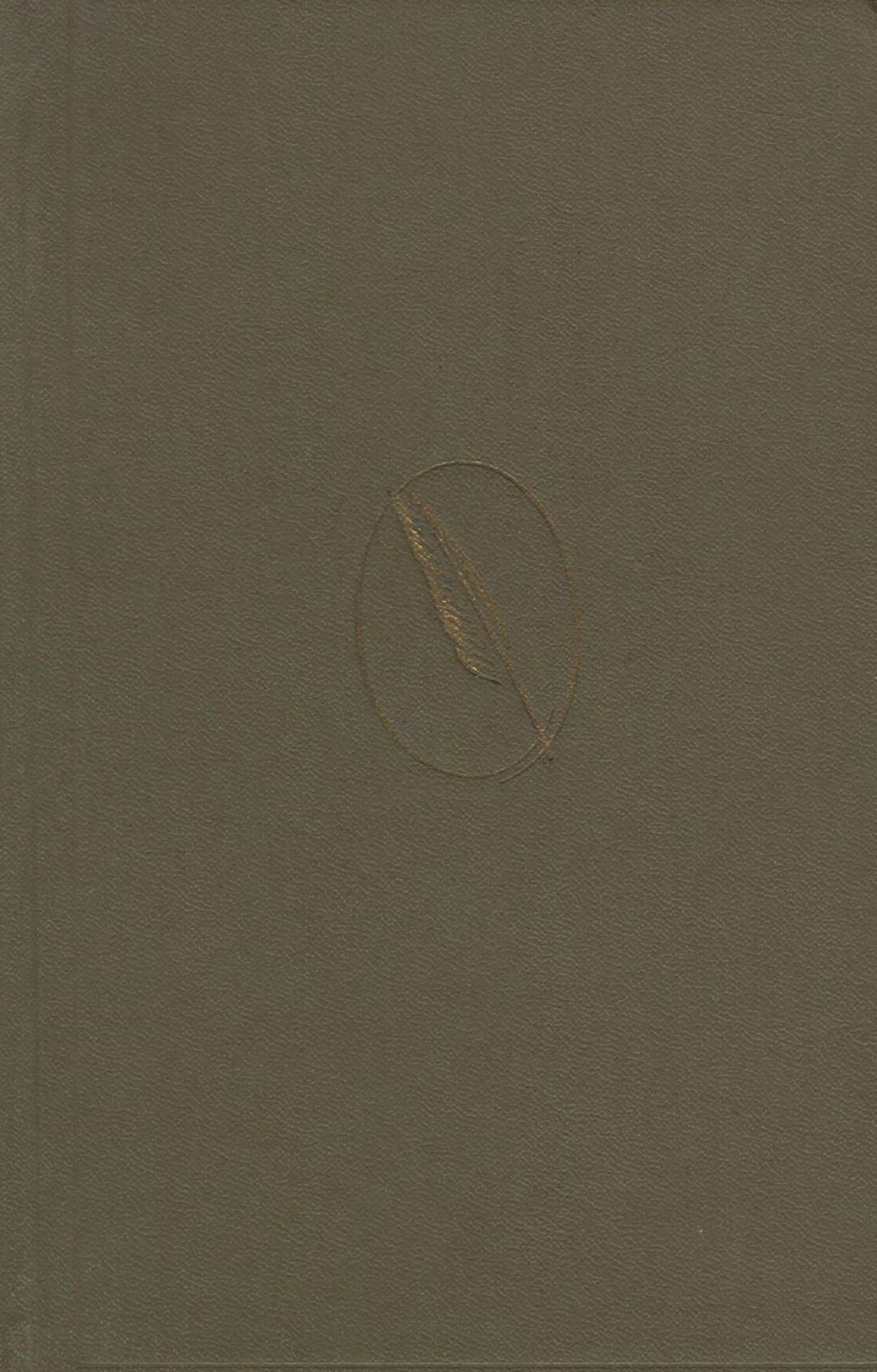


ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Москва
1971

Серия литературных мемуаров

Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО
С. А. МАКАШИНА
С. И. МАШИНСКОГО
В. Н. ОРЛОВА

*

Н. А. НЕКРАСОВ

В

ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

8Р1
Н48

Вступительная статья
Г. В. Краснова

Подготовка текста и примечания
Г. В. Краснова и *Н. М. Фортунатова*
(воспоминаний *Н. Г. Чернышевского, М. А. Антоновича* и
Н. С. Тургенева)

Оформление художника
Н. КРЫЛОВА

7-2-2
34-71

Н. А. Некрасов.
Фотография 1861 г

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Творчество писателя, его жизненная судьба, своеобразие его личности, его деятельности определяют особенности мемуарной литературы о нем. Некрасов — явление исключительное в русской литературе, он новый тип писателя. Он и поэт, одаренный могучим талантом, и журналист, и издатель, на протяжении почти трех десятилетий редактор органов революционной демократии — журналов «Современник» и «Отечественные записки», собиратель передовых литературных сил эпохи. Некрасов прожил жизнь яркую, трудную, по-своему героическую.

В его биографии своеобразно сплавились демократизм испытавшего всю меру жизненных тягот, нищеты, унижений разночинца и барские замашки, порою привычки родовитого дворянина. «Личность Некрасова, — писал в 1892 году А. М. Скабичевский, — является и до сих пор еще камнем преткновения для всех имеющих обыкновение судить шаблонными представлениями»[1]. Вокруг Некрасова, особенно в годы его поэтической славы и влиятельного положения редактора самых популярных среди прогрессивной интеллигенции журналов, сталкивались различные интересы, мнения, кипела борьба, которая подчас сопровождалась клеветническими измышлениями, недостойными инсинуациями. Поэтому столь полемичны многие мемуарные сочинения. История их появления — история реальной общественно-литературной борьбы вокруг Некрасова.

Первые воспоминания увидели свет еще при жизни поэта, и в них речь шла преимущественно о самых последних, завершающих его творческий путь годах. Ф. М. Достоевский и А. С. Суворин сделали попытку охарактеризовать личность поэта, поведать о пред-

---

[1] А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М. — Л. 1928, стр. 213.

смертных физических и нравственных его страданиях, когда он, оглядываясь на свое прошлое, корил себя за свои былые ошибки.

В центре появившихся уже после смерти поэта воспоминаний его сестры А. А. Буткевич, А. М. Скабичевского, Ип. В. Панаева, П. Д. Боборыкина, новых фрагментов Ф. М. Достоевского и А. С. Суворина — личность Некрасова, с его сложным внутренним миром, творческими исканиями, душевными переживаниями, с его мужественным характером.

В 80-е годы — начале 90-х годов появляются мемуары А. Я. Панаевой, Н. Г. Чернышевского, Г. З. Елисеева, Н. К. Михайловского, посвященные самому значительному периоду в жизни Некрасова, с момента его первых шагов в литературе до времени, когда он стал главою демократической поэзии и демократической журналистики. Заслуга этих мемуаристов в том, что они раскрыли образ Некрасова и его жизнь профессионального литератора на широком общественно-литературном фоне, во взаимоотношениях с современниками, в борьбе за передовое искусство.

Одним из инициаторов собирания мемуарной литературы о Некрасове был известный историк общественной мысли и русской литературы А. Н. Пыпин. При его содействии появились мемуары Н. Г. Чернышевского, А. Ф. Кони; сам он написал содержательные воспоминания о Некрасове и его литературном окружении. В то же время опасения Пыпина об «анекдотических вещах», которые могут привлечь внимание мемуаристов, не были напрасными. В 80-е—90-е годы в печати появилось немало воспоминаний с тенденцией к поверхностному и предубежденному рассказу об этом выдающемся деятеле русской культуры. Народник П. В. Григорьев (Безобразов) опубликовал в газете «Правда» (1883), издававшейся за границей, «воспоминания», представлявшие Некрасова «революционным» фразером[1]. Беллетрист Н. В. Успенский из-за мелочных личных счетов «отомстил» поэту клеветой в своей книжке «Из прошлого» (1889). Музыкальный критик Ю. К. Арнольд, встречавшийся с Некрасовым в 40-е годы, представил в своих воспоминаниях (1892—1893) начинающего писателя как ловкого дельца и карьериста. Некоторые другие авторы ограничивались описанием мелочных, чисто бытовых фактов. Все это послужило поводом для полемического выступления А. Н. Пыпина в 1903 году: «Недавно только закончились «Некрасовские дни» — довольно многочисленные воспоминания, старые и новые, по поводу двадцатипятилетия со смерти Некрасова. Нельзя сказать, однако, чтобы эти «дни» проходили удачно. Лишь в немногих случаях привелось читать или слышать суждения и приговоры, подо-

---

[1] «Воспоминания о Н. А. Некрасове» П. В. Григорьева перепечатывались в сб. «Звенья», III—IV, 1934, стр. 647—659.

бающие воспоминаниям в такую минуту»[1]. А. В. Кугель в это же самое время иронизировал по поводу разных «воспоминателей»: «Увы, они вспоминают совершеннейшие пустяки. Некрасов будто бы пил чай большими глотками, а он («воспоминатель») сидел напротив...»[2]

И все же именно в первые двадцать пять лет, прошедших после смерти поэта, были написаны и опубликованы основные мемуарные произведения о Некрасове, авторами которых стали его родные, сотрудники его журналов, писатели, друзья. Двадцать пятая годовщина со дня смерти Некрасова вызвала новый приток мемуарной литературы. По образному выражению М. А. Антоновича, «на расстоянии исторического выстрела» фигура Некрасова вырисовывалась более отчетливо; рельефнее, резче определилось значение его деятельности — поэта, редактора, издателя. Запальчивость суждений, высказанных по «горячим следам» событий, уступила место спокойному, трезвому осмыслению жизни и деятельности Некрасова. Время заставило пересмотреть многие факты, уточнить некоторые оценки. Это сказалось и в воспоминаниях самого М. А. Антоновича, выгодно отличающихся своим тоном, широтой взгляда от некролога, написанного им же в год смерти поэта, и в мемуарах бывших сотрудников «Современника», «Отечественных записок» А. М. Скабичевского, Д. П. Сильчевского, П. И. Вейнберга, Г. Н. Потанина и др. Плодотворны были усилия юбилейной комиссии, созданной в Ярославле к двадцатипятилетию со дня смерти Некрасова, в разыскании лиц, встречавшихся с поэтом в разные годы его жизни в «некрасовских местах». Так возникли интереснейшие записи воспоминаний крестьян, воспоминаний М. Н. Горошкова о гимназических годах Некрасова.

Некрасов встречался, был в деловых и дружеских отношениях с государственными, общественными деятелями, писателями, артистами — людьми из различных сфер русского общества. Главы о нем в мемуарах А. Ф. Кони, Н. А. Лейкина, А. А. Плещеева, появившиеся в печати уже после двадцатипятилетия со дня смерти поэта, во многом отличаются от более ранней мемуарной литературы. Этих авторов уже занимают не столько личные отношения, не полемика по частным вопросам, не интерес к интимной стороне жизни поэта, но в гораздо большей степени возможность показать Некрасова в более широких литературных и общественных связях, в историко-литературной перспективе.

Последующие годы уже не могли дать такой богатой литературы о Некрасове. Людей, лично знавших поэта, помнивших его, оставалось все меньше и меньше. Однако благодаря усилиям

---

[1] А. Н. Пыпин. Н. А. Некрасов. — «Вестник Европы», 1903, № 11, стр. 66.

[2] Homo novus (А. В. Кугель), Воспоминания о Некрасове. — «Петербургская газета», 1902, № 355, 27 декабря.

В. Е. Евгеньева-Максимова были записаны и опубликованы воспоминания З. Н. Некрасовой (незадолго перед ее смертью), а в первые послереволюционные годы — воспоминания деятеля народнического движения А. Г. Штанге, а также воспоминания крестьян Ярославского края.

История создания мемуарной литературы о Некрасове по существу завершается 1927—1928 годами, временем, когда отмечалось пятьдесят лет со дня смерти поэта. В ту пору были написаны воспоминания Н. П. Некрасовой, Вас. И. Немировича-Данченко и А. А. Плещеева (в новой редакции). Единственно известная запись более позднего времени (1938) — воспоминания А. Ф. Некрасова, племянника поэта.

Мемуарная литература о Некрасове насчитывает около двухсот названий [1], она очень пестра, разнохарактерна по своему содержанию и по своей направленности. Среди них есть и такие, авторы которых, вспоминая о встречах с Некрасовым, об отношениях с ним, ограничиваются только тем, что освещают лишь отдельные моменты его жизни, отдельные эпизоды, раскрывающие его связи с современниками. Здесь порой слишком мало рассказывается о творческой работе Некрасова, об истории возникновения тех или иных его произведений, авторских суждений о них. В мемуаристике о Некрасове недостаточно полно запечатлено слово поэта, его живая речь, его реакция на «быстротекущую жизнь», его размышления о проблемах и событиях эпохи, явлениях искусства. Некоторое исключение в этом смысле представляют воспоминания Чернышевского, Суворина, Пыпина и А. А. Буткевич.

И все же мемуарная литература дает возможность получить живое и в целом вполне достоверное впечатление о неповторимой, глубоко оригинальной индивидуальности Некрасова, о его подвижнической борьбе с самодержавием, бюрократическим аппаратом власти, цензурой за революционно-демократические издания, литературу большого гражданского звучания, за интересы народа и его великое будущее.

* * *

В свое время М. Горький в «Самарской газете» напечатал фельетон «Как ссорятся великие люди». В фельетоне сопоставлялись мемуары о писателях, написанные на Западе и в России. «Возь-

---

[1] Библиография мемуарной литературы о Некрасове по русским дореволюционным изданиям составлена С. Тер-Микельян: «Некрасовский сборник» под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова, Пг. 1918, стр. 113—173. Библиография по советским изданиям (1917—1946) составлена Л. Добровольским и В. Лавровым: «Литературное наследство», т. 53—54, Изд-во АН СССР, М. — Л, 1949, стр. 545—555.

мите биографические статьи французов о Бальзаке, который работал из-за денег, что не помешало ему творить бессмертные вещи, и сравните их с русскими воспоминаниями о Некрасове хотя бы.

В первом случае вы увидите, что пишут главным образом о Бальзаке-литераторе, во втором вам ясно станет, что речь идет о Некрасове — картежнике и носителе шинели с бобровым воротником...

У вас сразу бросается в глаза желание не забыть рассказать публике о темных и антипатичных сторонах характера того лица, которое служит объектом воспоминаний, и это видно даже у такого крупного и несомненно человека высокой культуры духа, как г. Н. К. Михайловский» [1].

Горькому возражал Короленко: «Мне кажется, что Вы вполне неправы и вообще (жизнь общественного деятеля всегда будет на виду, что ни говорите против этого) — и особенно в частности по отношению к статье Михайловского о Некрасове. Не Михайловский раскопал те биографические черты, о которых Вы говорите: об этом была давно целая литература: Минаев написал когда-то едкую «пародию» на эту именно тему, Жуковский и Антонович написали против Некрасова брошюру, была целая масса мелких нападок. Михайловскому приходилось или отрицать это, или отказаться совсем от портрета покойного Некрасова. Первое было бы ложью, второе — предоставило бы простор клевете. Он выбрал третье — он признал правду и сумел защитить память покойного другими сторонами его деятельности» [2].

В этой полемике каждый прав по-своему. Горький, нетерпимо относящийся к мемуарам, авторы которых проявляли преимущественный интерес к интимной жизни того или иного литератора, к его быту, личным слабостям, в 1912 году заметил: «Посмотрите, как долго мы помним, что Пушкин писал лестные стихи Николаю I, Некрасов играл в карты, Лесков — автор романа «На ножах» и т. д. Это — злая память маленьких людей, которым приятно отметить проступок или недостаток большого человека, чтобы тем принизить его до себя» [3].

В. Г. Короленко утверждал в своем роде тоже бесспорную истину, полагая, что мемуарист не может игнорировать противоречивых черт некрасовского характера. Вся сложность заключается

---

[1] «Самарская газета», 1895, № 81, 18 апреля.

[2] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 227. Пародии Д. Д. Минаева («Обманутая муза» и «Песня Еремушке») были напечатаны в «Искре» в 1866 г. в ответ на выступление Некрасова в Английском клубе с приветствием к М. Н. Муравьеву.

[3] М. Горький, Статьи 1905—1916 гг., изд. 2-е, «Парус», Пг. 1918, стр. 95.

в том, чтобы понять их, эти живые черточки «портрета» Некрасова и объяснить их, исходя из объективной оценки личности поэта, не оставляя места досужему вымыслу или откровенному предубеждению. Не всем мемуаристам в полной мере удалось это условие соблюсти. Суворин, например, услышав как-то от поэта признание, что он убивал в себе «идеализм», развивал «практическую сметку», свел его «жизненную философию» к умной деловитости, практицизму. Достоевский, который сам думал, что Некрасов в свое время был искушен демоном «самообеспеченья», не согласился с точкой зрения Суворина, с тем, что Некрасов только предприимчивый редактор, издатель, готовый служить и богу и мамоне. «А если так, — писал Ф. М. Достоевский, — то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «Я упал, я упал». И это в бессмертной красоты стихах, которые он в ту же ночь запишет, а назавтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого, — *и необходима.* Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства — не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, сам на них любуется, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если все это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порождаем недоумение...» [1]

Действительно, все было не так просто.

Мемуары М. Антоновича, Н. Чернышевского, А. Панаевой, Ип. Панаева опровергают ходячие представления о «разладе» слова и дела поэта, его неискренности, делячестве, своекорыстии.

Лица, близко знавшие Некрасова, создают иной его портрет, гораздо более многокрасочный, психологически более сложный и более значительный. Жизненные испытания, постоянная борьба сначала с крайне неблагоприятными житейскими обстоятельствами, с нуждой, позднее с идейными противниками, с цензурой, сделали Некрасова человеком волевым, душевно стойким, предприимчивым, исключительно целеустремленным. Все общавшиеся с ним отмечают его выдающийся, проницательный, живой ум. А. Н. Пыпин считал, что Некрасов «по уму и общественному пониманию едва ли не превосходил всех», входивших в круг «Современника». П. И. Вейнберг писал: «...Николай Алексеевич был редкого ума человек, и таких людей мне почти не приходилось встречать» [2]. Артист М. И. Писарев разде-

---

[1] Ф. М. Достоевский, Полное собр. художественных произведений, т. XII, ГИЗ, 1929, стр. 357.

[2] Паспарту, У П. И. Вейнберга. — «Петербургская газета», 1902, № 348, 19 декабря.

лял эту же оценку: «...Некрасов был человек необычайного ума. Я в жизни своей не встречал таких умных людей, как Некрасов»[1]. «Огромный ум» Некрасова поражал и Суворина.

Это был человек высокого полета мысли, широкого, непредубежденного взгляда на жизнь. А. М. Скабичевский, Н. К. Михайловский были уверены, что Некрасов мог бы стать государственным деятелем, путешественником-первооткрывателем, ученым — словом, выдающимся человеком на любом поприще, в любом деле. Михайловский писал: «И как бы ни пригнула его судьба к земле, в нем никогда не исчезали желание и способность искать глазами небо»[2]. Вел он жизнь, по верному наблюдению П. Д. Боборыкина, не «кружковую», не замкнутую в стенах своей редакции, своего кабинета, но, как говорится, «на людях» и в живейшем тесном общении с ними.

В зрелые годы поэт иногда казался человеком суровым, даже порой недоброжелательным. П. И. Вейнберг вспоминал: «...он был очень замкнут, никогда ничем особенно не возмущался и не радовался. Обладая громадной силой воли, он ко всему относился как-то сдержанно, и уж энтузиастом его никак нельзя было назвать. Хотя он и относился ко многим в высшей степени хорошо, но разжалобить Николая Алексеевича было немыслимо... Я бы, пожалуй, и не назвал его суровым, в сущности он таким и не был, а только к людям, которым он не симпатизировал, он относился очень тяжело. У него был какой-то особенный взгляд, который я еще при его жизни сравнивал со взглядом гремучей змеи. Он умел этим взглядом «убивать» не симпатичных ему лиц, не говоря при этом им ни неприятностей, ни дерзостей. В этом отношении он был очень сдержан». Да, действительно, в последний период жизни он был более сдержан и обладал, как свидетельствует Н. А. Белоголовый, «необыкновенным умением владеть собою». Некрасов сам признавался: «В жизни многие люди терпят от излишней болтливости, я же часто терпел от противоположного качества...»[3] И он же часто нуждался в собеседнике; не раз перед ним он обнажал свою душу в «живой и умной летописи литературы и жизни», — как назвал эти исповеди А. С. Суворин. Они были необычны в своей искренности, страстности, в строгом порой самоанализе. Его автобиографические рассказы — и объяснения и оправдания, суд над собой и над обществом. «Он то хватался за какой-нибудь отдельный эпизод своей жизни, —

---

[1] Р а х, Встречи с Н. А. Некрасовым. У М. И. Писарева. — «Новости», 1902, № 355, 25 декабря.

[2] Н. К. М и х а й л о в с к и й, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 66—67.

[3] Н. А. Н е к р а с о в, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 373.

писал Н. К. Михайловский, — то пробовал подвести ей общий итог, запинался и опять начинал. В сравнении с этою страшною сценой — ничто, детские игрушки — те щеголеватые публичные исповеди, авторы которых самодовольно заявляют, что они отрясли прах прошлого от ног своих и достигли высшей ступени нравственного сознания» [1].

Вас. И. Немирович-Данченко назвал Некрасова человеком с «трудной памятью к самому себе». А. Я. Панаева часто находила его в «убийственном настроении», когда он казался «сам себе противен». В Некрасове постоянно шла «тяжелая работа совести» (Н. К. Михайловский). Можно сказать, что душа его не знала состояния покоя. Он то мучился сознанием «непоправимо» сделанного, то тяготился своими «барскими» привычками; часто в такие минуты, по наблюдениям той же Панаевой, он в пример себе ставил Добролюбова: «Мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены». Себя же Некрасов карал особенно строго, судя по воспоминаниям А. Г. Степановой-Бородиной, называл бойцом, не умеющим выстоять перед грозой. Он признавался своей сестре: «Человеку на роду написано делать глупости, это несомненно; лишь бы полегче с рук сходило, но надо быть или более сильным, или более слабым, чем та фигура, которую я собою представляю, а то, право, тяжело иногда» [2]. У многих современников создавалось впечатление, что в этих его страданиях, которые выражались с такой непосредственностью, оставалось еще «что-то загадочное, невысказанное, затаенное от всех посторонних взглядов» (Н. К. Михайловский). Достоевский находил в его лирической исповеди «страстные песни и недосказанные слова», а Вас. И. Немирович-Данченко приводит интереснейшее его суждение о поэте: «Дьявол, дьявол в нем сидит! Страстный беспощадный дьявол!»

Многих из тех, кто встречался с Некрасовым в последние годы его жизни, поражали в нем его необычайная требовательность к себе, болезненное отношение к своим былым ошибкам и «грехам», муки совести, причинявшие ему жестокие страдания. Эти мотивы — во многих его последних стихах.

А. М. Скабичевский был прав, утверждая, что нельзя Некрасова представлять «ходячим идеалом».

А. Н. Пыпин записал слова Некрасова о народном характере: «При всей беде, порче, необузданности с мягкими человеческими чувствами в основании...» [3] В них, быть может, и скрыт в какой-то мере

---

[1] Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 84.

[2] Н. А. Некрасов, Полное собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 153.

[3] «Современник», 1913, № 1, стр. 232.

ключ к пониманию личности самого поэта, в котором были ярко выраженные национальные черты, точно подмеченные крестьянами, теми, с кем он постоянно общался во время деревенских каникул, на охоте, в совместных поездках по родному краю.

Воспоминания крестьян — особый мемуарный жанр; в них преобладают элементы народного сказа, эпоса с идеализацией «героя» повествования. За всем этим скрывается безмерное уважение и любовь крестьянского люда к поэту. «Приезжие мужики, — по свидетельству А. Я. Панаевой, — поверяли ему свои радости и горе». В. М. Гаршин записал такой разговор с одним из них об умершем поэте: «...Человек был души прекраснейшей, хорошей души» [1].

Отношение Некрасова к народу, по верному замечанию П. Д. Боборыкина, — было сердечным, любовным, но без излишней сентиментальности, достаточно трезвым и объективным. Крестьяне относились к нему с доверием, ценя в нем отзывчивость, естественность, демократизм, чуткое отношение к их нуждам. В крестьянских воспоминаниях можно найти такие бытовые детали, такие черточки характера, которые могли быть замечены только ими, общавшимися с поэтом тогда, когда он отдыхал от суеты и тревог петербургской жизни.

* * *

Воспоминания о Некрасове довольно полно освещают его выдающуюся журнально-издательскую деятельность, его роль как собирателя и организатора лучших литературных сил России. В 40-е годы вокруг Некрасова и Белинского сгруппировались писатели, связанные с «натуральной школой», а затеянные ими издания завоевывали нового, демократического читателя. «Петербургские» сборники способствовали появлению в литературе многих новых имен, впоследствии ставшими выдающимися русскими писателями. Из эмоционального рассказа Д. В. Григоровича, из воспоминаний Достоевского читатель живо представит себе, как Некрасов и Белинский открыли никому тогда не известного автора «Бедных людей».

В мемуарах освещается также исключительная роль Некрасова в становлении демократической журналистики. А. Я. Панаевой воспроизведена история приобретения Некрасовым и И. И. Панаевым «Современника» и его преобразования в орган русской революционной демократии, а Г. З. Елисеев сохранил для нас подробности такого значительного эпизода, как переход «Отечественных записок» из рук А. А. Краевского в руки бывших соредакторов «Современника».

---

[1] Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ). Архив В. М. Гаршина, ф. 70, ед. 57.

Главная забота Некрасова состояла в том, чтобы создать журнал «с современным направлением», отвечающим демократическим настроениям русской публики, истинным потребностям русского общества. «С каждым днем, — говорил Некрасов, — заметно назревают все новые и новые общественные вопросы, надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризовал читателей, пробудил бы в них жажду к деятельности». По-видимому, нельзя ручаться за точность передачи Панаевой всех этих слов Некрасова, но смысл его рассуждений не вызывает сомнений, что также подтверждается книжками «Современника» и другими свидетельствами. В. П. Боткин жаловался на отказ Некрасова помещать в «Современнике» статьи «составные», то есть компилятивные, переводные: «Мы хотим, — передавал Боткин свой разговор с Некрасовым, — помещать статьи преимущественно о России и оригинальные. Я замолчал. Этот разговор я живо запомнил, потому что тон Некрасова мне показался *жестким*» [1].

В 50—70-е годы в России было известно несколько талантливых, влиятельных организаторов журнального дела: Г. З. Благосветлов, А. В. Дружинин, А. А. Краевский, А. С. Суворин. Почти все мемуаристы отдают предпочтение Некрасову. Они свидетельствуют, что успех «Современника», а затем и «Отечественных записок» во многом обязан таланту Некрасова как редактора, его широкому кругозору, его виртуозным способностям проводить журналы сквозь цензурные рогатки, а главное — знанию, выбору своих сотрудников.

Участники его изданий восхищались его редким «умением ценить даровитых людей и верить им» (Н. К. Михайловский). Чернышевский в своих воспоминаниях подробно описывает историю своего прихода в «Современник». В 1854 году перед ним возникла дилемма: либо остаться сотрудником «Отечественных записок» Краевского, либо перейти в журнал, издаваемый Некрасовым, еще не завоевавший популярности. Чернышевский избрал второй вариант. Его убедила логика некрасовских доводов, оказанное ему доверие, предоставленная ему свобода выбора, открытость и честность поэта, отчетливая демократическая ориентация редактора «Современника». Чернышевскому запомнилось, что Некрасов и Добролюбов «любили работать вместе, советуясь между собой, помогая друг другу». И Антоновича связало с «Современником» расположение к нему Некрасова, его вера в способности молодого сотрудника, его стиль руководства журналом. Такого рода контакты у Некрасова возникали и с другими сотрудниками. При этом он оставался редактором журнала со своим решающим словом, собственной инициативой.

---

[1] Письмо В. П. Боткина В. Г. Белинскому от 4 февраля 1847 года. — «Литературная мысль», Пг. 1923, стр. 189.

В ведении «Современника» чувствовалось, по мнению Г. З. Елисеева, «умелая и ловкая рука» Некрасова. Он участвовал в составлении номера, придумывал, по словам Антоновича, «планы литературных нападений или отражений враждебных нападений», темы статей, указывал способы преодоления цензурных препон.

Решительность Некрасова, его твердость проявились особенно в период раскола между революционно-демократической и либеральной частью редакции «Современника». Уже приглашая в журнал Чернышевского, Некрасов вполне сознавал (об этом рассказывает Чернышевский в своих мемуарах), что приход нового сотрудника будет нежелательным для эстета и либерала А. В. Дружинина, активно сотрудничавшего в конце 40-х — начале 50-х годов в «Современнике». Но Некрасов смело сделал этот шаг. В конце 50-х годов в редакции возникли разногласия между Тургеневым и Добролюбовым. Несмотря на давнюю и большую дружбу с Тургеневым, все же он отдает предпочтение Добролюбову, в котором ценит его демократические убеждения и публицистический талант. Интересы политические, в конечном счете, одержали верх над личными чувствами и симпатиями. Мемуары разных авторов, вспоминавших атмосферу идейной борьбы, в которой формировалось направление «Современника», подтверждают истинность известных слов В. И. Ленина: «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского» [1].

Антонович называет Некрасова «идеальным редактором», зная, что он не был заражен мелким самолюбием, отлично ориентировался в общественной обстановке, обладал тонким эстетическим вкусом; это был редактор-тактик, то смело идущий на обострение в журнальной, в идейной полемике («Пишите резче», — говорил он Добролюбову), то осторожный, трезво сдерживающий критический пыл своих сотрудников. Антонович напомнил эпизод со статьей Чернышевского «В изъявление признательности», направленной против публициста журнала «Библиотека для чтения» Е. Зарина, усомнившегося в самостоятельности покойного Добролюбова как сотрудника «Современника». Чернышевский отвечал резко и в принципе верно. Но Некрасов заметил, что такой тон неуместен в статье, посвященной «любимому и высоко ценимому человеку». «...Ужасно будет обидно, если пойдут трепать газетчики имя Добролюбова по поводу этой статейки». Чернышевский согласился с доводами Некрасова. Антонович же запомнил и другой любопытный случай (он не вошел в его воспоминания о Некрасове), который произошел со статьей Салтыкова-Щедрина «Г. г. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха». Написана она была в 1864 году, содержала

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 84.

резкие полемические выпады в адрес М. М. и Ф. М. Достоевских. «Прочтя статью, Некрасов нашел ее, вследствие ее резкого по отношению к Достоевским тона, неудобною для печати, но вместе с тем отказом поместить ее в своем журнале не хотел и обидеть Щедрина. Откладывая под разными предлогами помещение статьи, Некрасов, в конце концов, заявил со всякими извинениями Щедрину, что статью он *потерял*, что он, конечно, в этом виноват, но что повинную голову меч не сечет и т. д. Щедрин вспылил, кричал, что восстановить статьи он не может, так как у него не осталось копии (а это только Некрасову и надо было), и что, как угодно, а статья должна быть найдена. Некрасов, однако, стоял на своем. С течением времени инцидент этот Щедриным был, конечно, забыт, и статья его, переданная Некрасовым на сохранение одному из сотрудников «Современника» (М. А. Антоновичу. — *Г. К.*), так и пролежала у него до наших дней» [1].

Демократическое направление «Современника» не исключало, а предполагало широкое участие в нем лучших литературных сил России. Усилия Некрасова в сплочении вокруг своего журнала виднейших писателей той поры были успешны тоже благодаря его деловой инициативе и его разносторонним литературным интересам. В «Современнике» до начала 60-х годов сотрудничали писатели, ставшие гордостью русской литературы, — Тургенев, Лев Толстой, Григорович, Гончаров. В воспоминаниях Панаевой, Чернышевского можно найти немало примеров исключительного внимания к ним Некрасова; он был одним из первых вдумчивых ценителей их творчества.

В воспоминаниях часто встречается название «кружок «Современника». Это — дружеский круг литераторов, связанных передовыми общественными, эстетическими традициями. «Характеры лиц, — констатирует А. Н. Пыпин, — были довольно разнообразны, но в целом это был лучший литературный круг того времени».

Созданию круга «Современника» содействовали «редакционные обеды», организатором которых был Некрасов. Они подробно описаны в воспоминаниях М. А. Антоновича, Н. Г. Чернышевского. На обеды приглашались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал, а также артисты, музыканты, цензоры. На обедах обсуждались редакционные дела, политические новости, читались новые произведения, возникали дискуссии, споры. По словам Антоновича, Некрасов обладал поразительной способностью «схватить всякий предмет, всякую мысль», «ловить их на лету», затем убедительно опровергнуть или еще более удачно развить доводы своих коллег.

---

[1] «Минувшие годы», 1908, № 1, стр. 77. Указанная статья Салтыкова-Щедрина впервые была напечатана в этом же номере журнала. Имя М. А. Антоновича в этой публикации названо не было.

«Это были живые, веселые, интересные и поучительные обеды», — вспоминает мемуарист.

В редакции «Отечественных записок» сложился другой характер отношений сотрудников в сравнении с «Современником». Не было прежнего духа товарищества, как некогда между Некрасовым, Чернышевским, Добролюбовым, Панаевым. Причина тому — разность сложившихся интересов, идейные разногласия, которые возникали между Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, с одной стороны, и Елисеевым — с другой. И все же в «Отечественных записках» сохранились те же демократические принципы ведения журнала, взаимоотношений с сотрудниками, которые сложились в «Современнике».

Как-то Я. П. Полонский, уязвленный отказом редакции «Отечественных записок» напечатать его поэму, упрекнул Некрасова в том, что тот не свободен в своем журнале, намекая на диктат со стороны двух других соредакторов — Салтыкова-Щедрина и Елисеева. Некрасов отвечал Полонскому: «Вы... сожалеете о порабощении моей свободы. На это скажу Вам: 1) не я один редактор «Отечественных записок»; нас трое, и мы *равноправны*, 2) никакое общее дело не может идти без некоторой взаимной уступчивости, и если я уступаю моим товарищам, то и они мне уступают в свою очередь; если Вы точно болеете за мою свободу, то это может Вас успокоить» [1].

Некрасов считался с мнениями Елисеева, особенно Щедрина, относились ли они к возможностям публикации тех или иных произведений или же приглашения в журнал новых сотрудников. Однако это «равноправие» не лишало Некрасова самостоятельности: он смело и уверенно руководил «Отечественными записками». Михайловскому он откровенно говорил: «Надо, не смущаясь, вести свою линию». Боборыкин отмечает «чрезвычайно драгоценное свойство» в редакторской деятельности Некрасова: «широкое отношение к работе сотрудника», понимание им сути дела, что всегда проявлялось в его советах, решениях и находило благоприятный отклик у его помощников. Такую же оценку редакторскому таланту Некрасова дают Елисеев, Суворин и другие мемуаристы.

Когда Некрасов начал издавать «Отечественные записки» (1868), его авторитет был уже бесспорен и уже никто не сомневался в будущем успехе этого издания. И. А. Гончаров писал Некрасову 22 мая 1868 года: «...Вы *сами — сила*, — говорит Стасюлевич, — и в состоянии вложить в трюм журнала ту вескую гирю, которая дает ему устойчивость. Притом у Вас есть еще талант — отыскивать и

---

[1] Цит. по статье: Б. Н. Капелюш, Письмо Некрасова Полонскому. — «Русская литература», 1968, № 2, стр. 178.

приманивать таланты: Вы щедры и знаток дела» [1]. Многие мемуаристы отмечают особенную роль Некрасова в воспитании нового поколения литераторов. А. Г. Степанова-Бородина рассказывает об исключительном внимании поэта к молодым литераторам, как он искал молодые таланты. Н. А. Лейкин, Вас. И. Немирович-Данченко поражались тем, что при первых встречах с ними Некрасов уже знал о их литературных дебютах в других журналах. Боборыкин вспоминал, как Некрасов прочитывал множество плохих, просто безграмотных тетрадок, отбирал для журнала все интересное, «порядочное», любил разговоры о начинающих стихотворцах. «Поэты, приносившие к нему свои произведения, — рассказывал А. Н. Плещеев, — всегда могли рассчитывать на его сочувственное, ободряющее слово, на полезный и добрый совет. Часто случается, что даровитые писатели бывают плохими ценителями чужих произведений, но к покойному Николаю Алексеевичу никак нельзя было применить этого; напротив, он обладал необыкновенной критической способностью, и отзывы его всегда были в высшей степени верны... Вообще это был человек сильного, выдающегося ума, и та же самая верность и ширина взгляда замечалась у него при оценке людей и фактов» [2].

Писательница Л. Ф. Маклакова (Нелидова) вспоминала об одном разговоре с Некрасовым: «Меня поразил прежде всего тон Некрасова, оттенок бережной и как бы почтительной внимательности, с которою он обращался ко мне. Мы словно поменялись ролями. Не я была начинающим, никому не ведомым автором, а как будто бы он — всего только посредником, скромным просителем. Ни малейшей тени сознания своего значения, желания играть роль, произвести впечатление не было заметно в нем. Он говорил со мною так, как будто бы я была Жорж-Занд, и он, исполняя поручения редакции, решался просить меня продолжать занятия литературой и сотрудничать в «Отечественных записках» [3].

Некрасов не подавлял самостоятельности начинающего, не диктовал, что и как писать, не делал, по словам Боборыкина, «генеральских нравоучений», а просто рассказывал, «как сам пишет». Вас. И. Немирович-Данченко воспроизводит некоторые советы Некрасова молодым литераторам. Один из них: «Старайся видеть больше. Именно видеть. Читатель смотрит, а ты видишь. Чтобы наблюдать, надо также учиться».

---

[1] И. А. Гончаров, Собр. соч. в восьми томах, т. 8, Гослитиздат, М. 1956, стр. 376.

[2] А. Плещеев, Николай Алексеевич Некрасов. — «Биржевые ведомости», 1877, № 334.

[3] Л. Нелидова, Встреча с Некрасовым. — «Русское богатство», 1894, № 1, стр. 195.

Очень значительной была материальная, бескорыстная поддержка Некрасовым молодых писателей. Немирович-Данченко верно замечает, что Некрасов являлся для них не издателем, а собратом, товарищем, опекуном. В воспоминаниях Ип. Панаева, Михайловского, Потанина и др. можно найти немало эпизодов заботливого отношения Некрасова к «пишущей братии». А. Н. Плещеев писал о Некрасове: «Имея вполне обеспеченные средства к жизни, но пройдя в юности школу нужды, он никогда не оставался глух к нуждам своих сотоварищей по профессии, умел войти в положение писателя и не только оказать ему помощь, но оказать ее так, что она не оскорбляла самолюбия одолженного» [1]. Эта щедрость поражала и таких многоопытных, видавших виды издателей, как Боборыкин и Суворин.

Интересные детали участия Некрасова в судьбе литературной молодежи приводит М. А. Антонович в статье-некрологе, посвященном поэту. «Особенно тороват был Николай Алексеевич в делах с беллетристами, — писал М. А. Антонович. — Он привязывал их к своему журналу самою любезною и щедрою предупредительностью. Как только, бывало, он заметит хотя слабенький талант, увидит писателя, подающего хотя какие-нибудь надежды, немедленно разыскивает его, узнает его положение и обстановку, которые, конечно, оказывались не блестящими, и прямо предлагает ему ссуду, мотивируя ее тем, что в подобных обстоятельствах и при подобной обстановке нельзя работать спокойно и успешно и что при другой обстановке он легко отработает эту ссуду. Предложение делалось так просто, с таким тактом, что писатель охотно принимал его, если только гнетущая нужда не заставляла его еще прежде просить об этой ссуде. И, таким образом, писатель по необходимости, по чувству признательности становился постоянным сотрудником и работником при журнале» [2]. Так входили в литературу через «Современник» Николай Успенский, Гавриил Потанин, Николай Помяловский, Ф. М. Решетников, а через «Отечественные записки» Г. А. Мачтет, Вас. И. Немирович-Данченко.

* * *

Сосредоточив внимание на спорных, вызывавших разноречивые суждения сторонах редакторско-издательской деятельности Некрасова, на некоторых особенностях его личности, быта, мемуаристы

---

[1] А. Плещеев, Николай Алексеевич Некрасов. — «Биржевые ведомости», 1877, № 334.

[2] М. А. Антонович, Из воспоминаний о Н. А. Некрасове. — «Слово», 1878, № 2, отдел II, стр. 123—124.

более скупо рассказывают о творческой жизни поэта. И все же в воспоминаниях о Некрасове можно найти интереснейшие факты, касающиеся поэтической работы Некрасова.

И. И. Панаев, Д. В. Григорович, А. А. Алексеев вспоминают, как Некрасов вступал в литературу, как его друзья содействовали изданию первого сборника стихов поэта «Мечты и звуки», как он сочинял для театра пьески, водевили, приносившие ему «пятиалтынный» и спасавшие его от голодной смерти.

Рождение Некрасова как поэта произошло несколько позже, в середине 40-х годов, когда, по его словам, был сделан «поворот к правде» под влиянием критических работ Белинского, Герцена, Анненкова, когда Белинский восторженно принял его новые стихи, заметив, что они «проникнуты мыслью». Пора поэтического самоопределения Некрасова нашла отражение в мемуарах И. И. и А. Я. Панаевых, В. А. Панаева, наиболее близких в то время к поэту. Они воскрешают литературное окружение Некрасова, начало его успеха, приводят отзывы Белинского. В кругу Панаевых, Белинского Некрасов привлекал к себе внимание своей исключительной жизненной судьбой, необыкновенными стихами. Уже в конце 40-х — начале 50-х годов Некрасов как поэт становится известным за пределами Петербурга. Характерно признание известного историка, профессора Московского университета Т. Н. Грановского, относившегося к издательской деятельности Некрасова, к кругу «Современника» недоверчиво, предубежденно. «Некрасов приезжал, — писал Т. Н. Грановский осенью 1853 года. — ...Раз стал он нам читать стихи свои, и я был поражен непонятным противоречием между мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим поэтом. Есть вещи необыкновенно хорошие. Впрочем, он пишет мало стихов. Не до стихов мне, говорит он»[1].

«Память у него была удивительная...» — вспоминал П. М. Ковалевский. Он мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений и, по словам Панаевой, помнил хорошо «массу стихотворений и других русских поэтов». По ее же наблюдениям, Некрасов стихи часто сочинял вслух, прохаживаясь по комнате; когда стихотворение было готово, он его записывал на первом попавшемся клочке бумаги.

Многое и значительное было написано Некрасовым в Карабихе. По наблюдениям Антоновича, «лучшие его произведения того времени были задуманы и отчасти обработаны летом в деревне, вдали от столичной суеты, от журнальных и клубных хлопот, забот и развлечений». То же самое подтверждал Боборыкин, вспоминая Некрасова в более позднее время. Боборыкину удалось подметить (как, впрочем, в другое время и Суворину) состояние Некрасова в минуты

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, М. 1897, стр. 431.

творческого экстаза — после удачной охоты, в деревенском доме, когда, по словам поэта, «голова так разгоралась, что образы пошли, как живые». Воспоминания приоткрывают завесу над творческой лабораторией его лучших произведений: «Кому на Руси жить хорошо» (мемуары А. Ф. Кони, Г. И. Успенского), «Княгиня М. Н. Волконская» (мемуары М. С. Волконского), «Размышления у парадного подъезда» (воспоминания А. Я. Панаевой), «Коробейники» (воспоминания А. А. Буткевич). Разнообразные типы русских мужиков, представленных в поэмах и стихотворениях писателя, драматизм судьбы русских женщин-декабристок, подробности быта столичного города и заурядного села — все исторически достоверно, имеет реальные источники. А. А. Буткевич, рассказывая о встречах Некрасова с охотниками, мужиками, деревенскими бабами, пишет: «редкий раз не привозил он из своего странствия какого-либо запаса для своих произведений». Одно характерное «словечко», услышанное в народе и записанное им, могло быть ключом для целого рассказа. Этот факт подтверждает и Глеб Успенский, который воспроизводит очень ценное признание поэта о своей работе над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». В поэму должен был войти «весь опыт», данный Некрасову изучением народа, «все сведения о нем, накопленные, по собственным словам Николая Алексеевича, *«по словечку»* в течение двадцати лет».

Эти же мемуары ценны еще и тем, что воспроизводят интересные детали творческой работы Некрасова, его восприимчивость, эмоциональность. Переживания, вызванные чтением «Записок» М. Н. Волконской, горькие чувства при виде мужиков, толпившихся у парадного подъезда министра-вельможи, так или иначе сказались в атмосфере его поэтических творений.

«Постоянно будить надо» — так передает А. Ф. Кони характерную для Некрасова мысль о долге поэта. Революционно-демократическая убежденность не была у Некрасова головной, умозрительной, а чем-то органическим, естественным для всего его мироощущения. Он имел право так сказать о себе: «Каковы бы ни были мои стихи, я утверждаю, что никогда не брался за перо с мыслью, что бы такое написать или как бы что написать: позлее, полиберальнее? — Мысль, побуждение, свободно возникавшее, неотвязно преследуя, наконец, заставляло меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие» [1].

Воспоминания М. С. Волконского, Г. И. Успенского, А. С. Суворина интересны как раз тем, что они рассказывают о поэте, его взглядах на то, что и как надо писать, какое художественное решение

---

[1] Н. А. Некрасов, Полное собр. соч. и писем, т. X, М. 1952, стр. 331—332.

является наиболее соответствующим его замыслу. Некрасов раскрывается здесь как художник, отвергающий общепринятые каноны, ищущий и смелый. В этом смысле интересен эпизод, приведенный Волконским, из которого видно, как дорожил поэт своими поэтическими находками, какое значение придавал удачно найденной, необходимой ему как автору, сценой встречи княгини М. Н. Волконской с мужем-декабристом на каторге. В то же время Некрасов подчас сурово оценивал свои стихи, был очень внимателен к чужому мнению, охотно отдавал свои произведения на суд знакомых, литераторов, близких ему друзей. «Русские женщины» читались в Карабихе, в семье поэта Плещеева, сыну декабриста М. С. Волконскому, критику П. В. Анненкову. Анненков вспоминал: «...он (Некрасов) приходил в мою семью и прочитывал свои новые поэмы, выслушивая мои, может быть, и ненужные, заметки и соображения, но он обладал такой широтой разумения, что понимал истинные основы чужих мыслей и мнений, хотя бы и не разделял их» [1].

Подлинно поэтическая натура Некрасова особенно впечатляюще раскрывается в воспоминаниях, посвященных последним годам его жизни, времени тяжкой болезни, неимоверных страданий. Несмотря на мучительный недуг, не прекращалась творческая работа, даже, наоборот, многое делалось более отчетливым, и, по признанию самого Некрасова, «голова была полна поэтическими образами». С необыкновенной проникновенностью, искренностью, обнажающей все муки поэта, его думы, его переживания, связанные с приближением неотвратимой развязки, были написаны «Последние песни». Порой он не мог сам писать, тогда он диктовал свои стихи, порой же наступали такие страшные дни, когда он не мог ни писать, ни диктовать. Но все мемуаристы (Н. А. Белоголовый, А. А. Буткевич, А. С. Суворин, А. Н. Пыпин, П. И. Вейнберг) отмечают, что Некрасову хотелось самому подвести итоги своей жизни, выговориться то стихами, то рассказами. «Последние песни» стали его поэтическим завещанием.

1877 год, последний год его жизни, был богат крупными творческими успехами: завершена новая глава поэмы «Кому на Руси жить хорошо», продолжалась работа над поэмой «Мать», начатой в 60-е годы [2]. Из воспоминаний Суворина и Пыпина известно о замысле поэмы «Без роду, без племени», о намерении написать «Сказку» «вроде пушкинских». Все это свидетельствует о том, что в творчестве поэта последних лет его жизни сохранилось стремление к эпи-

---

[1] Из письма П. В. Анненкова А. А. Буткевич от 12 апреля 1879 года, ИРЛИ, ф. 203, ед. хр. 97.

[2] Некоторые любопытные факты о работе Некрасова над этой поэмой содержатся в воспоминаниях Г. Квятковского: «Niekrasów», — «Kraj», 1883, № 49.

ческим изображениям, к фольклорным мотивам и образам (образ степи в поэме «Без роду, без племени», образ царя и воеводы в «Сказке»), к утверждению идеи гражданственности и принципов гуманизма, к лирической оценке событий.

Особая тема мемуаров — борьба Некрасова с цензурой за каждую книжку журнала, за каждый сборник стихов. Н. А. Белоголовому Некрасов с горечью говорил, что цензурные ножницы полосовали его в течение тридцати семи лет, на всем протяжении его литературной деятельности. В воспоминаниях Панаевой, Буткевич, Кони много внимания уделено страданиям поэта, причиненным ему цензурой. Нередко Некрасов бросал перо, не перенося, как он говорил Кони, издевательств цензуры «над здравым смыслом и трудом писателя». Терпигорев вспоминает как Некрасова возмущали цензурные притеснения, унижения писателя. В цензурных условиях того времени русский литератор, по образному сравнению Некрасова, похож на собаку, которую заставили тащить в зубах плетку... Но все-таки Некрасов находил силу воли, мудрую тактику, позволявшие ему и в тисках цензуры издавать журналы, печатать свои произведения. Антонович, Михайловский, Ковалевский, Терпигорев запомнили того Некрасова, который умел изобретать «щиты и громоотводы» от цензуры — то с блеском использовал эзоповский стиль, то прикармливал цензоров обедами, то приглашал их в Английский клуб, то на охоту. «На каждого зверя — особая ведь уловка должна быть», — говорил Некрасов про свои отношения с цензорами. В Некрасове, по справедливым словам П. Д. Боборыкина, «сидел настоящий борец за русскую мысль и слово», уточним — за демократическую мысль, за литературу, отвечающую интересам народа.

* * *

Одна из главных тем мемуаров о Некрасове — поэт и революционная Россия. Некрасов стал глашатаем передовых идей революционной демократии. Популярность Некрасова среди прогрессивно настроенной молодежи была громадная, имя его было окружено особым ореолом. «...Каждый из нас, людей тогдашнего молодого поколения, — пишет А. Г. Степанова-Бородина, — жаждал хоть издали взглянуть на любимого поэта, хоть послушать его на литературном чтении...» О большой популярности Некрасова — чтеца своих стихотворений, о его особенной, привлекательной манере чтения — особенным проникновенным, усталым, глухим, певучим голосом — вспоминают А. Ф. Кони, Плещеев и другие мемуаристы [1]. Молодежь

---

[1] См., например: Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1958, стр. 223.

видела в Некрасове своего героя, певца народного горя, верящего в будущее России. Он для нее был символом борьбы с самодержавием, бюрократией, цензурой. Именно такими его представляли себе юный А. А. Плещеев, Д. П. Сильчевский. И хотя Боборыкин справедливо говорит, что Некрасов писал, работал не во имя славы своей, не для того чтобы стать чьим-то кумиром, но он был таковым для молодого поколения 60—70-х годов. Многие современники поэта в своих воспоминаниях передают эту исключительную страстную увлеченность стихами Некрасова, веру молодежи в свой идеал поэта — провозвестника передовых революционных идей.

Добролюбов писал 20 сентября 1859 года своему товарищу И. И. Бордюгову в Москву: «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово *истина* — *равенство, лютой подлости* — *угнетателям*; это опечатки ⟨...⟩. Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!..»[1] П. А. Дементьев, один из деятелей земского движения, вспоминал уроки русской словесности в начале 60-х годов в Петербургской гимназии, которые вел В. Я. Стоюнин. «Сначала он прочел нам «Мчатся тучи, вьются тучи» Пушкина. Затем взял другую книжку и, не обозначая имени автора, сказал просто: «А это отрывок», — и прочел конец «Парадного подъезда», начиная со слов: «Родная земля...» ⟨...⟩. Мы в тот же день разыскали, кто был автор поразившего нас отрывка, и открыли имя Некрасова. И я до сих пор думаю, что эпизод этот сыграл огромную роль в жизни всех наиболее сознательных товарищей. Некрасов на время заменил нам Лермонтова и Пушкина, и мы очень скоро знали наизусть все, что он написал до тех пор»[2]. То же самое происходило и в провинции. Писатель Иер. Ясинский, учившийся в Нежинской гимназии, вспоминал, как был сорван один литературный вечер. Гимназист Петр Филонов вместо реферата об оде Державина «Бог» хотел сделать доклад о Некрасове, «полубоге новейшей поэзии». «Литературный вечер не состоялся, да, сколько помнится, он был и последним при мне.

Но зато он положил начало популярности Некрасова среди учащихся. Вся нежинская молодежь — и гимназисты, и студенты, и молоденькие чиновники — стали знакомиться с творениями Некрасова.

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. 9, «Художественная литература», М. — Л. 1964, стр. 385.

[2] Старый земец (П. А. Дементьев), Некрасов и шестидесятники. — «Слово», 1907, № 340, 28 декабря.

Как раз вышли его стихи в четырех томиках и появились в недавно открытой библиотеке г-жи Ситенской. Одного экземпляра оказалось мало. Было выписано еще три экземпляра, потом пришла целая партия, и собрание его сочинений быстро раскупалось. Поклонникам «музы мести и печали» хотелось иметь Некрасова у себя и для себя. Как только соберутся где-нибудь на частной квартире студенты и гимназисты, уже, смотришь, выходит кто-либо из них на средину комнаты и наизусть читает задушевным голосом «Парадный подъезд», или «Сашу», или «Железную дорогу»[1]. Не удивительно, что Г. Н. Потанин, приехавший из провинции в Петербург, записал в дневнике: «У всякого гимназиста ⟨...⟩ вы найдете целые пуки, целые тетради так называемых по-холопски запрещенных стихотворений, и первое место из них и самое большое число из них принадлежит, без сомнения, Некрасову!»[2] Молодой С. Н. Терпигорев вспоминает, как он часто всматривался в окна квартиры Некрасова, «которого обожал за его стихотворения и за которого, как говорится, душу бы всю отдал».

И вдруг «падения» поэта во имя спасения «Современника», закрытие журнала, его переговоры с А. А. Краевским об аренде «Отечественных записок», породившие сплетни о «перемене» Некрасова, его новой ориентации, — все это вызывало у его поклонников сомнения, досаду. «Мне, — писал Н. К. Михайловский, — горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов? Хорош?!» Нехорош, конечно, но как же горько и обидно было признать это... Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико...»[3] Однако творчество Некрасова 70-х годов, преобразование им «Отечественных записок» в демократический журнал развеяли прежние опасения, вернули доверие к поэту. Воздействие поэзии Некрасова на революционно настроенную молодежь в 70-е годы стало еще более глубоким, чем в предшествующее время[4].

Последние произведения Некрасова — своеобразный задушевный диалог поэта с «читателем-другом», «читателем-гражданином», народом, которому он вверял свое литературное дело, которому он отдавал себя на строгий суд. Некрасов писал в 1874 году:

---

[1] Иер. Ясинский, Роман моей жизни. Книга воспоминаний, ГИЗ, М. — Л. 1926, стр. 58.
[2] ИРЛИ, 3821/XXI, б. 3, л. 44 об.
[3] Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 47.
[4] О влиянии поэзии Некрасова на революционные круги 1870-х гг. см. в кн.: А. М. Гаркави, Н. А. Некрасов и революционное народничество, «Высшая школа», М. 1962.

Меж двух огней я шел неутомимый.
Куда пришел? Клянусь, не знаю сам,
Решить вопрос предоставляю вам.

Враги мои решат его согласно,
Всех меряя на собственный аршин,
В чужой душе они читают ясно,
Но мой судья — читатель-гражданин.
Лишь в суд его храню слепую веру.
Суди же ты, кем взыскан я не в меру!

(*«Уныние»*)

Читатель отвечал признательностью, уважением, преклонением перед своим поэтом. «Тех, что учили нас любить и мыслить, — пишет Г. А. Мачтет, — мы ставили так высоко, как им, конечно, никогда и не снилось, а пыль, приставшую к их подошвам, — потому что они, как и все, ходили по земле, — мы умели отделить от их светлого духовного образа».

Некрасов в свою очередь сочувственно относился к революционно-народническому кружку молодых литераторов (Д. П. Сильчевский, П. В. Григорьев, А. А. Ольхин, А. В. Круглов, Г. А. Мачтет), группировавшихся вокруг редакции «Библиотеки дешевой и общедоступной». Из воспоминаний Сильчевского, Мачтета мы узнаем о дружеских отношениях Некрасова с этой группой молодежи. В его наставлениях слышен требовательный голос человека, много испытавшего, познавшего трудные дороги жизни, выработавшего свои твердые убеждения. «Вот что, отец, — говорил Некрасов Сильчевскому, — занимайтесь делом, а не пустяками и не разбрасывайтесь по сторонам, ни в жизни, ни в сочинениях. Не библиография важна: важно только одно — любить народ, родину, служить им сердцем и душой».

Любовь молодого поколения к Некрасову, признание его заслуг проявились и во время предсмертной болезни поэта, его похорон. Некрасова, по воспоминаниям Н. А. Белоголового, «поразил своей неожиданностью взрыв общественного сочувствия к нему». После опубликования «Последних песен» в январской книжке «Отечеств. зап.» за 1877 год он стал получать массу писем и телеграмм от отдельных лиц, от коллективов из разных мест России. Его посещали знакомые и незнакомые люди, депутации; одну из таких встреч описал А. Г. Штанге. Незадолго до смерти произошло примирение с Некрасовым двух известных русских писателей, которые в свое время по разным причинам с ним разошлись, — Тургенева и Достоевского, оставивших об этом «последнем свидании» яркие и поэтические воспоминания.

Для угасавшего Некрасова эта общественная поддержка имела особое значение. Она свидетельствовала о признании величия его заслуг перед Россией, ее народом, ее искусством, поддерживала в

нем веру в себя, в свое дело. «Он, видимо, вырос в своих глазах и оживился, — писал в некрологе Г. З. Елисеев, — поняв, что Россия ценит его заслуги и дорожит им» [1].

Любовь к поэту, уважение к нему нашло свое яркое выражение в том, как хоронил его Петербург, передовая русская общественность. «Это были первые грандиозные похороны русского писателя...» — вспоминал П. И. Вейнберг. Грандиозные не только по внешним масштабам, но и по внутреннему накалу, резкому столкновению мнений, готовности революционно-народнической молодежи силой, в случае необходимости, защищать свои идеалы, право выполнить свой долг перед памятью художника-демократа.

На похоронах Некрасова столкнулись различные общественно-политические силы, по-разному оценившие место Некрасова в истории России. Либеральная пресса стремилась извратить демократическую сущность поэзии Некрасова и доказывала, что «поэт говорил о страданиях не какого-нибудь класса народа, сословия или кружка, а о страданиях нас всех, без различия сословий, состояний, пола, возраста» [2]. Именно эту мысль высказал на панихиде профессор богословия М. Горчаков.

Кульминационным моментом на похоронах стала речь Ф. М. Достоевского. Для него Некрасов, как и Пушкин и Лермонтов, выразитель человеческих страданий и народной правды. Судя по воспоминаниям Короленко, Достоевский утверждал, что Некрасов последний великий поэт из «господ». «Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...»

Слова Достоевского, его сопоставление Некрасова с Пушкиным и Лермонтовым, вызвали протестующие возгласы из толпы молодежи. Для нее Некрасов был выше Пушкина. Плеханов впоследствии писал: «Что касается взгляда на Некрасова, как на величайшего из русских поэтов, то его разделяла в то время вся наша радикальная интеллигенция. Когда Достоевский в своей речи у могилы Некрасова сказал, что он «должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым», то из некоторых групп присутствовавшей на кладбище революционной молодежи закричали: «Он был выше их, да, выше». Пишущий эти строки сам принадлежал к числу кричавших» [3].

Спор молодежи с Достоевским внешне парадоксален. Достоевский справедливо отвечал: «...я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не

---

[1] Г. З. Елисеев, Внутреннее обозрение. — См. сб. «Пролетарские писатели — Некрасову», «Московский рабочий», 1928, стр. 70.

[2] Похороны Некрасова. — «Новое время», 1877, № 661.

[3] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. VI, ГИЗ, М. — Л. 1925, стр. 388.

может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное...»[1]

Симпатии молодого поколения к Некрасову вполне объяснимы. Некрасов был им ближе, современнее Пушкина. Историк и писатель Д. Мордовцев, сотрудник некрасовских журналов, вместе с молодежью кричавший «выше! выше!», был убежден в том, что «по глубине и нестираемости черты, проведенной поэзией Некрасова по русской мысли, по всеобъемлемости идеи — идеи «спасения» слабого и бедного от нужды, горя и погибели... он станет в глазах будущих историков России неизмеримо выше Пушкина и Лермонтова»[2]. Эту же мысль проводил Г. З. Елисеев в журнальном отчете о похоронах поэта, вырезанном из «Отечественных записок» цензурой. Он противопоставил похороны Некрасова похоронам Пушкина и в то же время справедливо подчеркивал, что общественное признание Некрасова — торжество демократического направления в литературе, которому служил поэт.

* * *

Со страниц воспоминаний перед нами постепенно встает живой Некрасов с его драматическим внутренним миром, с его характером, полным диссонансов и вместе с тем глубокого человеческого обаяния. В зеркале этих воспоминаний Некрасов виден и в жестоких столкновениях с тяготами жизни, и в борьбе с самодержавием, и в широких связях с передовой Россией, как одна из значительнейших фигур демократической журналистики и русской литературы. Мемуарные источники в своей совокупности и при учете их специфики, своеобразия позиции, занимаемой авторами воспоминаний, дают живое представление о поэте, его личности, его творческой индивидуальности, его эпохе. В этом единстве изображения жизни и творчества писателя, его общественного окружения — несомненная ценность воспоминаний, предлагаемых вниманию читателя.

Г. Краснов.

---

[1] «Дневник писателя», 1877, № 12, стр. 317.

[2] Д. Мордовцев, Об историческом значении Некрасова как поэта. — «Древняя и новая Россия», 1878, т. I (февраль), стр. 140.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАУЧНОМ АППАРАТЕ КНИГИ

Анненков — П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960.

АСК — «Архив села Карабихи». Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову, издательство К. Ф. Некрасова, М. 1916.

Белинский — В. Г. Белинский, Полное собр. соч в тринадцати томах, тт. I—XIII, Изд-во АН СССР, М. 1953—1959.

БВ — «Биржевые ведомости».

БДЧ — «Библиотека для чтения».

БП — Н. А. Некрасов, Полное собр. стихотворений в трех томах, Библиотека поэта. Большая серия, «Советский писатель», Л. 1967.

ВЕ — «Вестник Европы».

ГБЛ — Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Герцен — А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. I—XXX, Изд-во АН СССР, М. 1954—1965.

ГМ — «Голос минувшего».

ГПБ — Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, тт. 1—9, изд. «Художественная литература», М. — Л. 1961 — 1964.

Достоевский — Ф. М. Достоевский, Полное собр. художественных произведений. Ред. Б. Томашевского и А. Халабаева, тт. I—XIII, ГИЗ, М. — Л. 1926—1930.

Евгеньев-Максимов — В. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, тт. I—III, Гослитиздат, М. — Л. 1947—1952.

Елисеев — «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», изд. Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, М. 1935.

ИВ — «Исторический вестник».

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

ЛА — «Литературный архив».

ЛГ — «Литературная газета».

ЛН — «Литературное наследство».

НВ — «Новое время».

Некрасовский сборник — «Некрасовский сборник», т. I—IV, Изд-во АН СССР, М. — Л. 1951—1967.

Никитенко — А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, Гослитиздат, М. 1955—1956.

ОЗ — «Отечественные записки».

Панаева — А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956.

ПГ — «Петербургская газета».

Р. вед. — «Русские ведомости».

РВ — «Русский вестник».

РЛ — «Русская литература».

РМ — «Русская мысль».

РС — «Русская старина».

СПб. вед. — «Санкт-Петербургские ведомости».

С — «Современник».

Теплинский — М. В. Теплинский, «Отечественные записки». 1868—1884, Южно-Сахалинск, 1966.

Тургенев, Сочинения, Письма — И. С. Тургенев, Полное собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Изд-во АН СССР, М.—Л. 1961—1967.

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный гос. архив Октябрьской революции.

ЦГИА — Центральный гос. исторический архив СССР.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч. в пятнадцати томах, тт. I—XV, Гослитиздат, М. 1939—1953.

Шестидесятые годы — «Шестидесятые годы», под ред. В. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена, «Academia», М. — Л. 1933.

Щедрин — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собр. соч., 1—20, Гослитиздат, М. — Л. 1933—1941.

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЫТАРСТВА». ВСТУПЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

М. Н. Горошков

Михаил Николаевич Горошков (1821—1906) учился вместе с Некрасовым в 1832—1836 годах в Ярославской гимназии.

Воспоминания М. Н. Горошкова являются единственным мемуарным свидетельством о гимназических годах Некрасова, дополняющим автобиографические заметки самого поэта. Они записаны в 1902 году преподавателем Ярославской гимназии, краеведом, автором ряда работ о Некрасове, П. И. Мизиновым. Местонахождение автографа неизвестно.

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ
(В ЗАПИСИ П. И. МИЗИНОВА)

В гимназию я поступил, — передавал нам Михаил Николаевич лично, — еще до преобразования ее из четырехклассной в семиклассную (т. е. до 1833 года). Тут и встретился я с двумя братьями Некрасовыми, Андреем и Николаем[1]. Оба они учились в одном классе, первом. Пробыл я с ними года два. В обоих братьях сразу бросалась в глаза большая разница: Андрей был вялого характера, часто казался он почти больным, учился по всем предметам плохо. Бывало, учитель логики и российской словесности Туношенский спросит его заданный урок, а он флегматично отвечает: «Учил, да не выучил». Что же касается до другого брата, Николая, то он учился хорошо и часто сидел на первых партах[2], Ученики в

то время ежемесячно рассаживались на места по успехам: кто был успешнее, того сажали в первые ряды, и Некрасов Николай, я помню, сидел около меня то на первой, то на второй парте.

Мы, товарищи, очень любили Николая за его характер и особенно за его занимательные рассказы: все, бывало, рассказывает он нам эпизоды из своей деревенской жизни (про Путилова[3] и про мать). После, с годами, Некрасова стали называть народным поэтом, но народным духом проникнут он был еще и гимназистом на школьной скамье. Ездил я, помню, несколько раз с ним в его деревню (Грешнево) на охоту. Охотник я был страстный. Сговоримся, бывало, ехать с ним на почтовых, заедет он за мной и поедем. Охотились мы за утками около Тимохина у Туношенского острова. Место было тинистое, и часто прилетали туда даже дикие гуси. Раз, помню, устроили мы охоту на волка. Крестьяне около Тимохина рассказали нам, что видели волка за деревней. Не помню я только названия этой деревни, а помню хорошо, что была она у самой большой дороги (Грешнево?); и пустились мы за волком. Поле там было; волка увидели мы в шагах в сотне от нас. Было с нами немного собак. Волк, как теперь вижу, перебежал все поле и прямо к огороду и перепрыгнул его по направлению к лесу. Гнались мы за ним, но недолго и вернулись ни с чем. У Некрасова в доме я ночевал, но отца и матери его я не помню, знаю только, что отец его был исправником и, кроме того, держал еще почтовую станцию по костромской дороге (проходит около Грешнева). Вернемся, бывало, с Николаем с охоты и вместе уснем в его комнате. Комнатка была небольшая, на левой руке от входа в дом. Помню я и самый дом: небольшой он был, невзрачный, в один этаж.

В классах Некрасов, бывало, все сидит и читает, а в перемены что-нибудь рассказывает нам из своей деревенской жизни. Не прочь он был, как и мы все, пошалить в гимназии, но шалости его не были выходящими из ряда вон. Постоянно носил он, помню, в левом кармане тавлинку с чумаковским табаком. Маленькая такая была она, вроде эллипсиса, и ремешок в средине приделан. В классе, бывало, вынет эту тавлинку, сам начнет нюхать табак и других угощает. В пятом классе, помню, был урок Петра Павловича Туношенского. Ходит Туношенский по классу, подходит к Некрасову, а тот книгу,

читает да из тавлинки понюхивает. «Что ты, Николка, делаешь?» — кричит Петр Павлович. «Нюхаю, Петр Павлович», — ответил Некрасов. «Ах ты, негодный такой!» — кричит Туношенский, выхватывает тавлинку и топчет ее сапогом. Некрасов хохочет: «Ничего, — говорит, — завтра будет новая». На другой день, смотрим, опять у Николая в руках тавлинка такая же, как и прежде. «Да откуда ты достаешь эти тавлинки?» — спрашиваем мы Некрасова. «Откуда? Да я сколько хочешь, хоть двадцать, их наделаю». И новую тавлинку опять как-нибудь отнимет тот же Петр Павлович. Помню, раз из-за одной шалости чуть не разыгралась целая неприятная история. Дело было в первом классе. Ходил к нам в гимназию учитель немецкого языка, Иван Мироныч Федоров. Собирались мы в гимназию рано, часов в восемь. Соберемся, прочитаем молитву перед классом, и начинается занятие. Иван Мироныч делал всегда, помню, перекличку учеников по журналу. Длинная книга была такая, этот журнал! Начиналось спрашивание уроков. «Знаешь ли ты урок?» — обращается Иван Мироныч к кому-нибудь из учеников. Ну, когда знаешь, то рассказываешь и получаешь бумажку-нотату (для отметок). В этот раз, про который идет речь, Иван Мироныч, помню, стоял у доски и писал немецкие буквы. Около него стоял кто-то из учеников. Воспользовавшись случаем, когда Иван Мироныч был занят, ученик смастерил линейку из бумажки и подвесил ее к пуговице учительского сюртука. На линейке были написаны стихи:

«У Мирона на плеши разыгралися три вши: одна скачет, друга пляшет, третья песенки поет, а четвертый таракан по всей плеши проскакал».

Иван Мироныч не заметил за работой, как злополучная линейка со стихами была прицеплена к его сюртуку. Все мы сидим, хохочем, а Иван Мироныч важно расхаживает по классу с бумажкой. Наконец, как-то он догадался по нашему смеху, в чем дело, вышел из себя, пожаловался директору Абатурову, и нас многих хотели высечь. К счастию, дело обошлось как-то благополучно. Секли тогда не часто, но все-таки секли. Если вина неважная, так высекут тут же на месте, в классе. Позовут сторожа Алексея, придет он, станет в дверях с розгами и по приказу начнет неприятную операцию. Но это еще наказание было неважное: дадут два-три удара, и кончено! Ну, а если дело поважнее, так операция производилась

на заднем крыльце у колокольчика, в который всегда давали звонок. Туда попасть уже гораздо неприятнее, потому что тут секли «по счету».

Такие проказы бывали нередко. Обыкновенно на учителей писались стихи. Раз в пятом классе был написан пасквиль на того же Туношенского. Он тогда преподавал риторику и логику. По первой было печатное руководство — «Риторика» Кошанского, по второй были у нас письменные заметки на основании объяснений учителя. На эти-то заметки, довольно трудные, неудобопонятные, и были написаны приблизительно такие стихи:

«Туношенского наука — учить ее скука! Лучше в ... сидеть и на сибирское золото глядеть, лучше вниз туда свалиться, чем Туношенского логике учиться!»

Кто сочинял такие стихи, сказать трудно, может быть, тут принимал участие и Некрасов [4].

Дисциплина вообще у нас в то время была не особенно строга. Ученики и до начала уроков, и во время их часто дрались. Помню один случай со мной. Стоял я у открытого окна и смотрел на улицу. В это время подскочил ко мне Коська Сукин и ударил камнем в лоб. Потекла кровь, поднялся везде переполох. Дошла сейчас же весть о происшедшем и до Петра Павловича Абатурова [5], квартира которого была тогда при гимназии; явилась жена его и какой-то примочкой стала залечивать мой разбитый лоб. На сцену явился с розгами наш Алексей, и Сукина немедленно высекли. Драка царила у нас не только в стенах гимназии, но даже была обычным явлением и вне гимназических стен: например, у нас были организованные бои семинаристов с гимназистами. Сходились все перед началом боя у Спасского монастыря, около церкви Михаила Архангела. Сойдутся, заспорят, начнется драка. Приказчики из соседних лавок всегда, бывало, принимают нашу сторону, а на помощь семинаристам приходят мастеровые — рабочие из-за Которосли. Свалка, начавшись у церкви Михаила Архангела, заканчивается внизу набережной на Михайловском поле. Бой велся всегда с соблюдением известных правил: «лежачего не бить», «медными пятачками или чем-либо вроде этого не драться» и т. д. Я помню, чуть раз не заколотили до смерти одного мужика, у которого оказался старый медный пятак. Дрались во время боя все без стеснения, потому что не присутствовало никакой полиции, да и вообще о ней тогда мало было слыш-

но. Эти бои были в наше время, тогда, когда я учился в первом классе, после их почему-то не стало, вероятно, они были запрещены.

Некрасов участвовал вместе с другими и в тогдашних гимназических прогулках. Большей частью гуляли мы в Полушкиной роще. Соберутся, бывало, своекоштные ученики, воспитанники Сиротского Дома (Дом призрения ближнего) со своим надзирателем, и все отправятся в рощу. Бегаем там, играем в лапту и в городки. Когда подходишь из Ярославля к роще, то поправее ее есть площадка, где и происходили игры. Тут, около площадки, помню, была сосна, которая долго существовала и после. Соберемся мы около этой сосны и стреляем в нее пулями из захваченных нарочно для этого из дому пистолетов. И теперь, если только цела она, то в ней сидит, вероятно, немало наших пуль. Гуляли мы и в осиновой рощице около берега Волги. Теперь у Полушкиной рощи уже нет этой осиновой заросли, вся она вырублена, и место расчищено, но в наше время она была еще цела. В рощу ездили мы иногда на лодках, которые брали у перевоза в Ярославле, иногда ходили туда пешком. Во время поездки в лодке распевали мы песни, самая любимая, помню, была:

Век юный, прелестный,
Друзья, пролетит,
И все в поднебесной
Изменой грозит.
Лети стрелой,
Наш век младой!
Как сладкий сон,
Минует он!
Лови, лови часы любви,
Пока огонь горит в крови!
Как май ароматный,
Веселье весны,
Как гость благодатный
С родной стороны,
Так юность дней...
Вся радость в ней!
Друзья, скорей,
Все в жертву ей!
Затмится тоскою
Наш младости пир,
Увянет мечтою
Украшенный мир [6].

Пели все, кто хотел и кто мог петь. На обратной дороге из рощи затягивали обыкновенно «Вниз по матушке,

по Волге». Во время таких прогулок в рощу нередко переезжали мы и на противоположный остров. Теперь вид его не такой, какой был в то время: теперь тут устроен лесопильный завод, навалены бревна и доски; в тогдашнее время тут все росли дубки. Переедем, бывало, мы на остров и займемся окармливанием рыбы. Из Заостровки молока достанем, рыбы наловим, теплинку разведем; сядем около, бегаем, кричим и воображаем себя братьями-разбойниками. Кипит и жарится на сковородке рыба; вдруг кто-нибудь поднимется и кричит: «Надо посолить рыбу!» И в ту же минуту горсть песку летит в сковородку. Рыбу, конечно, сейчас же выбрасываем вон и начинаем жарить новую.

Наружность Некрасова помню до сих пор хорошо,— как живой, стоит он передо мной: коренастый, небольшого роста, красивый по наружности, остриженный, в своем форменном однобортном со светлыми пуговицами и с красным воротником сюртуке. Впрочем, форма введена была у нас в гимназии только с 1833 года, с тех пор, как преобразована была гимназия; раньше Некрасов, как и другие гимназисты, ходил в обыкновенном черном сюртуке. С Некрасовым пробыл я года два. Помню, переведен я был в шестой класс. В петровки мы, гимназисты, разъехались по домам. Кончилось вакационное время, снова собрались мы, но Некрасова уже не было. Куда девался он, отчего прекратилось его учение, я не знаю. Никаких слухов о причине его исчезновения между нами не было[7]. После я уже не встречал Николая Алексеевича. Стали после появляться в печати его стихотворения, и мне казалось все странным, что автором их был мой школьный товарищ. Слыхал я и про приезды его в Карабиху, но увидеть его мне не удалось. Брат его, Андрей, учившийся с ним вместе в гимназии, умер еще гимназистом, но, должно быть, не в Ярославле, потому что иначе эта смерть едва ли бы прошла для нас, товарищей, незаметной, и у меня о ней сохранились бы какие-нибудь воспоминания[8]. Я хорошо помню, что у Некрасова была еще сестра, должно быть, учившаяся гделибо в частном пансионе, которые тогда существовали в Ярославле. Помню печальные похороны ее в Воскресенской церкви; помню, как живую, в гробу. Я был в это время, если не ошибаюсь, в пятом классе и в летнюю пору сам присутствовал при ее отпевании[9].

В. А. Панаев

Валериан Александрович Панаев (1822—1899), двоюродный брат И. И. Панаева — инженер путей сообщения.

Публикуемая глава является частью обширных «Воспоминаний» В. А. Панаева, которые печатались в «Русской старине» (1893—1906). Помимо главы, включенной в настоящий сборник, Некрасову посвящен раздел в XXIII главе, в которой автор вспоминает эпоху 40-х годов и, рассказывая о встречах с Некрасовым, стремится защитить его от всевозможных грязных инсинуаций, раздававшихся после смерти поэта в его адрес. «То, что он писал, было у него прочувствовано, и искренность этого прочувствованного слишком выразительно выливалась в его, зачастую вдохновенном, слове» (*РС*, 1901, № 9, стр. 499). «Некрасов, — по словам Панаева, — это громадный самородок, как и Кольцов. Оба они самые характерные выразители абсолютно русской народной поэзии, совершенно самостоятельные и друг на друга не похожие. Некрасов писал много стихотворений и не народного характера и достигал иногда такой силы и такой звучности, какой не достигал никто». Примером такого стихотворения Панаев называл «Родину» (т а м ж е, стр. 499—500).

По всей вероятности, рассказы В. А. Панаева о строительстве Николаевской железной дороги, в котором он принимал участие, послужили одним из источников стихотворения Некрасова «Железная дорога».

Панаев, придерживавшийся либеральных взглядов, по его собственному признанию, пытался склонить

руководителей «Современника» поддержать либеральную политику только что взошедшего на престол Александра II. «В это время, — вспоминал он, — я, можно сказать, прожужжал уши Некрасову и Ивану Ивановичу, взывая их открыто выставить свое политическое, социальное и экономическое знамя, чтобы журнал явился энергичным помощником правительству, просветителем взглядов общества в означенных вопросах. ⟨...⟩ Увещания мои остались тщетными. Редакторы выражали... сомнение в искренности правительства...» (там же, стр. 505).

На похоронах Некрасова В. А. Панаев произнес речь, в которой отмечалась благотворная роль Белинского в развитии таланта Некрасова и подчеркивалась высота нравственных идеалов поэта. В. А. Панаев «торжественно удостоверил, что Некрасов и как человек был на высоте своего поэтического дарования» (*СПб. вед.*, 1877, № 360).

ВСТРЕЧА С НЕКРАСОВЫМ

Ко времени моего экзамена для поступления в Институт путей сообщения относится также первая моя встреча с Некрасовым [1]. К экзамену надо было представить какой-нибудь рисунок для соблюдения лишь одной формальности. В искусстве рисования я не был силен и потому обратился к одному знакомому, некоему Даненбергу, которого я знал уже три года в то время, когда он был студентом в Казани. Это был человек поистине с артистической натурой: он играл отлично на скрипке, на кларнете, на гитаре, пел и превосходно рисовал. ⟨...⟩

В то время, к которому относится настоящий мой рассказ, Даненберг был в Петербурге и готовился держать экзамен в Академии художеств на права архитектора.

Когда мне понадобился рисунок к моему экзамену, я и отправился к Даненбергу. Перед этим, за недостатком времени, я не был у него несколько месяцев. Он жил на Васильевском острове в четвертой линии, занимал одну комнату во втором этаже, окнами на улицу. Тотчас по моем приходе Даненберг взял большой лист

рябой бумаги и начал рисовать голову толстейшим, мягким карандашом. В комнате стояли ширмы, и я слышал, что за ширмами есть живое существо.

Менее чем в час рисунок подходил уже к концу, и я беспрерывно просил, чтобы Даненберг делал его похуже, дабы могло быть вероятие, что я сам исполнил рисунок; но, несмотря на это, он вышел замечательно хорош, так что когда я подал его потом профессору рисования, то он расхохотался и сказал: «Этот рисунок сделан не вами, а каким-нибудь «художником». Я, конечно, смолчал, но формальность представления рисунка была исполнена.

Во время рисования Даненберга вышел из-за ширмы человек в татарском засаленном халате, волоча ноги и хлопая туфлями, подошел медленно к окошку и, уткнув палец в притолку окна, сказал: «Три часа, пора поесть».

Когда этот незнакомец скрылся опять за ширмами, я тихонько спросил Даненберга о том, что значило указание пальцем на притолку окна? Даненберг засмеялся и сказал: «Это наши часы; на притолке отмечены чертами тени от переплета окна для солнечных часов».

Не окончив еще рисунка, Даненберг вышел в сени, и вслед затем принесены были щи; они оказались очень хороши, и мы с аппетитом поели их втроем. «Извините, — сказал Даненберг, — у нас второго блюда нет».

Поевши щей, незнакомец сказал Даненбергу, что ему надо сходить со двора. Даненберг тотчас же ушел за ширму, и я заметил, что он вышел оттуда в туфлях. Затем вышел незнакомец, уже одетый, и спросил Даненберга: «Что, сегодня свежо?» — «Да, свежо», — ответил Даненберг. «Так я надену плащик», — сказал незнакомец. «Пожалуйста», — ответил Даненберг.

На все это я обратил внимание, и когда, по уходе незнакомца, мы остались вдвоем с Даненбергом, то на мои вопросы он рассказал мне, что несколько месяцев тому назад он, случайно, познакомился с этим молодым человеком по фамилии Некрасов, находившимся в крайнем положении, и пригласил его к себе.

По поводу означенной моей встречи у Даненберга с Некрасовым, совершенно безызвестным тогда молодым человеком, я забегу вперед и расскажу другой эпизод,

послуживший сближению моему с Некрасовым и случившийся $7^1/_2$ лет спустя. Ни фамилии, ни наружности встреченного мною один раз у Даненберга незнакомца я, конечно, в памяти не удержал, так что когда в 1840 году я стал встречать Некрасова у Ив. Ив. Панаева, еще до основания «Современника», то мне и в голову не приходило, что Некрасов есть тот самый молодой человек, которого я видел у Даненберга только раз, потому что последний после того скоро покинул Петербург навсегда.

В конце 1847 года Некрасов жил уже вместе с Иваном Ивановичем Панаевым, и они начали в этом году издавать «Современник». Я жил тогда в трехстах верстах от Петербурга на Николаевской железной дороге, находившейся еще в постройке. К зиме я приехал в Петербург и по приезде в тот же день отправился к Ивану Ивановичу, и в тот же вечер собралась там компания ехать ужинать в ресторан Дюссо и затем кататься на тройках.

Надо сказать, что до половины сороковых годов дамы из общества никогда, в Петербурге, не ездили в рестораны, но около этого времени был дан толчок из самых высших сфер общества и посещение ресторанов вошло в моду. ⟨...⟩

В собравшейся нашей компании приняли участие 4 дамы и 7 мужчин: жена Ивана Ивановича (ныне Головачева), жена поэта Огарева, жена профессора Кронеберга с сестрой Ковалевской, Некрасов, живописец Воробьев с братом, я с двумя братьями и седьмого не помню. ⟨...⟩

Когда названная компания поужинала, то все попросили Некрасова рассказать про свое житье-бытье по приезде его юношей из Ярославля в Петербург и о претерпенных им бедствиях.

Рассказывая вкратце эту свою историю, Некрасов, между прочим, передал нам следующий эпизод:

— Когда, — говорил он, — я истратил все деньги и профессор, у которого я жил и готовился в университет, пригласил меня удалиться от него [2], я попал в критическое положение и стал пописывать забавные стишки для гостинодворцев. Некоторое время я кое-как перебивался, но наконец пришлось продать все скудное мое имущество, даже кровать, тюфяк и шинель, и остались у меня только две вещи: коврик и кожаная подушка.

Жил я тогда на Васильевском острове, в полуподвальной комнате, с окном на улицу. Писал я, лежа на полу; проходящие по тротуару часто останавливались перед окном и глядели на меня. Это меня сердило, и я стал притворять внутренние ставни, так, однако, чтобы оставался свет для писания [3]. Однажды прошло уже три дня, как я питался одним черным хлебом. Хозяйка объявила мне, что потерпит еще два дня, а затем выгонит вон. Лежу я на полу, в *приятном* расположении духа после приговора хозяйки и пописываю. Вдруг появляется на пороге человек, большого роста, очень видный, в светло-сером плаще, и спросил меня: «Здесь ли живет господин N?» Я ответил ему раздраженным тоном, что никакого N тут нет, отвернулся и продолжал писать. Вижу, однако, что господин в плаще не уходит. Подождав немного, я ему сказал:

— Что вам нужно? Небось любуетесь на мою обстановку.

— Признаюсь, — ответил он, — ваша обстановка озадачила меня; хотя я тоже не в завидном положении, но у меня есть в кармане двадцать рублей и довольно хорошая квартира; не пожелаете ли поселиться у меня? Пожалуйте хоть сейчас, я живу очень близко отсюда.

— Мне нужно заплатить хозяйке пять рублей, — сказал я.

— Вот вам пять рублей, заплатите и идемте со мною.

Я тотчас же расстался с хозяйкой, взял под мышку коврик и подушку, и мы отправились вместе с господином в плаще. Фамилия этого человека была Даненберг [4]; мы прожили с ним немалое время; выходили мы со двора поочередно, так как сапоги мои были негодны и у меня не было шинели, а у него был плащ. (Этот плащ, довольно оригинальный, я видел на Даненберге еще в Казани.)

Тогда я вспомнил нашу встречу с Некрасовым у Даненберга, вспомнили мы с ним и оригинальные солнечные часы, и вкусные щи, и после того много, много Некрасов рассказал еще доброго о Даненберге.

В тот же вечер, после ужина, по просьбе компании я прочел наизусть стихи Некрасова, от которых я был в восторге и которые не были напечатаны; их я списал у Ивана Ивановича Панаева. Это стихотворение

называлось «Родина» и появилось в печати лишь через девять лет под заглавием: «Старые хоромы», с посвящением их, в первом издании 1856 года, мне. Почему последующие издатели выкинули это посвящение [5], этого я не знаю. Упомянутый вечер и был первым моим настоящим знакомством с Некрасовым, и с этого же вечера, после декламации мною его стихов, и установились у нас дружеские отношения, не прекращавшиеся до последнего дня его жизни.

А. А. Алексеев

Александр Алексеевич Алексеев (1822—1895), настоящая фамилия Киленин, — артист Александринского и провинциальных театров. С Некрасовым он познакомился в начале своей артистической деятельности в 1839 году, когда будущий поэт занимался сочинением водевилей и переделывал французские пьески, к которым Алексеев как актер проявлял интерес. Их дружеские отношения продолжались до отъезда Алексеева из Петербурга в конце 1842 года.

ЗНАКОМСТВО С Н. А. НЕКРАСОВЫМ

С Николаем Алексеевичем Некрасовым я познакомился в «Фениксе» [1]. Тогда еще был он непризнанным поэтом и только что пробовал свои силы в драматургии. Он исправно посещал «Феникс» и заводил дружбу с актерами, которые так или иначе могли содействовать его поползновениям сделаться присяжным драматургом.

В то время Некрасов материально был крайне стеснен и нуждался чуть не в куске хлеба. Я с ним сблизился, и прожили мы с ним неразлучными друзьями несколько месяцев. Он часто оставался у нас ночевать, и мы укладывали его, как и Ленского, на наш полуразрушенный диван, который он шутя прозвал «гробом» [2]. Не умея по молодости лет рассчитывать деньги, я и сам оказывался часто в стесненных обстоятельствах,

настолько стесненных, что приходилось отказывать себе в трактирном обеде и довольствоваться каким-нибудь грошовым сухоядением. Хотя в «Фениксе» всем нам и был открыт кредит, но я оказывался постоянным должником сверх положенной цифры. Памятный до сих пор буфетчик Ермолай Иванович, при всей своей любезности и услужливости, должен был в дальнейшем кредите мне, как и многим другим, в том числе и Некрасову, отказывать.

Однажды, в одну из безденежных минут, является ко мне Некрасов и говорит:

— Есть у тебя на обед деньги?

— Нет.

— А с «Фениксом» не расплатился?

— Отдал частицу в последнюю получку, но опять с излишком наверстал ее.

— А ведь пообедать-то нужно.

— Да, не мешает.

— Знаешь что? Отправимся-ка к Ермолаю Ивановичу и убедим его в нашей честности...

— Ну его к черту! Заскулит... кусок в глотку не полезет...

— В таком случае мы можем устроить наш обед на более благородных основаниях.

— На каких это?

— У меня с собой есть книжка со стихами, я заложу ее...

— Не примет...

— Что? Буфетчик такого просвещенного заведения, как «Феникс», не примет в залог стихов? Этого не может быть! Головой своей ручаюсь...

— Попробуй!

Приходим в трактир.

— Вот, Ермолай Иванович, — начал Некрасов, отведя в сторону буфетчика, — у меня есть книжка собственных стихотворений ...видите, какая толстая?.. Не возьмете ли ее на время к себе... может быть, поинтересуетесь почитать?

— Некогда нам читать-то...

— Ну, так пусть бы полежала у вас... на днях я получу деньги и возьму ее...

— Ах, вам в долг чего-нибудь надо? — догадался Ермолай Иванович и решительно произнес: — Никак нельзя-с, за вами и то уже очень много считается...

— Вовсе не в долг, а под залог, так сказать... эта книга очень дорогая...

— Я в книгах не понимаю-с и сказать ничего не могу, но если она точно дорогая, то посоветую вам продать ее...

— Ах, господи! Да на это нужно большое время!

— Что делать-с, а я не могу-с!

— Так-таки решительно отказываете?

— Совершенно.

Операция не удалась. Мы уселись с ним за свободный стол и стали выжидать какого-нибудь щедрого знакомого, который угостил бы нас обедом. Такое выжиданье в то время повторялось нами неоднократно и в большинстве удавалось как нельзя лучше [3].

Первая пьеса Николая Алексеевича называлась «Шила в мешке не утаишь, девушку под замком не удержишь» [4]. Написал он ее в несколько дней у нас на квартире, по переписке ее я был его усердным помощником. У нас дело шло быстро: он писал, я переписывал за тем же столом набело. Кажется, до сего времени в библиотеке императорских петербургских театров эта пьеса сохраняется в том самом виде, в каком она тогда представлена была в дирекцию, то есть написанная моею рукою [5].

С отъездом моим в провинцию, знакомство с Некрасовым прекратилось и уже не возобновлялось вовсе по приезде моем обратно в Петербург. 〈...〉

М. Т. Лорис-Меликов

Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825—1888) — государственный и военный деятель, принадлежавший к «верхам» самодержавной России. Его знакомство с Некрасовым относится к началу 40-х годов, когда он учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Свои воспоминания о Некрасове он рассказал врачу Н. А. Белоголовому который опубликовал их в мемуарном очерке «Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. 1878—1888» (*РС,* 1889, № 9).

⟨ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ⟩

(В ПЕРЕСКАЗЕ Н. А. БЕЛОГОЛОВОГО)

Знакомство это относится к 1841 или, еще вернее, к 1842 году [1], то есть к тому темному периоду существования поэта, когда он изыскивал всякие средства, чтобы не быть затертым нищетой и безвестностью. Крайне нуждавшийся Некрасов приютился тогда у некоего профессора Бенецкого, имевшего у себя несколько воспитанников для приготовления в разные петербургские школы; юнкер Лорис, посещая одного из этих пансионеров, познакомился тут же и с Некрасовым. Как раз около этого времени Лорис и его однокашник Нарышкин задумали нанять себе маленькую квартирку в городе, чтобы иметь собственный приют, так как их, как вы-

пускных юнкеров, отпускали не только на праздники, но позволяли отлучаться из школы и среди недели; Некрасов, узнав об этом плане, тотчас же предложил, чтобы и его приняли в компанию, и они втроем наняли себе квартирку где-то около Николаевской, в то время грязной, в доме Шаумана. Зажиточностью товарищество похвастать не могло: Лорис получал от родителей двадцать пять рублей ежемесячно, Нарышкин столько же, а Некрасову в описываемое время отец ничего не давал, и только изредка, в неправильных промежутках и понемногу, высылала ему мать, да, кроме того, он состоял корректором в «Репертуаре и Пантеоне» Ф. Кони и сдавал в этот же журнал свои плохо оплачиваемые стихи, так что весь его доход едва ли превышал доходы его сожителей[2]. Все трое были очень молоды, любили весело пожить и, получивши свои небольшие доходы, чрезвычайно быстро спускали их с рук и потом, в ожидании следующей получки, впадали в меланхолию и жили отшельниками. Вот в эти-то тощие недели и периодические безденежья Некрасову приходилось особенно бедствовать и терпеть от голоду и холоду, тогда как для его товарищей юнкеров школа служила спасительною пристанью, в которой они имели все необходимое. Некрасов уже и тогда очень любил писать стихи, но выше заурядности не поднимался, и, по словам Лориса, трудно было предположить, чтобы впоследствии мог выработаться из него такой сильный поэтический талант; однако и тогда он отличался большим остроумием и наблюдательностью, которую прилагал особенное старание развивать в себе, заводя для того знакомство повсюду и с самыми разнообразными личностями; он и Лориса нередко увлекал с собой для компании в гости к разным мелким чиновникам, жившим по окраине Петербурга, а однажды, чисто для изучения типа, он свел дружбу с полицейским сыщиком, приглашая его к себе и потом с большим остроумием изображал Лорису характерные особенности своего нового знакомого. Остался от этого сожительства еще один забавный эпизод в памяти Лориса, и который он передавал с неподражаемым юмором: раз на Рождестве Некрасов предложил ему отправиться, замаскировавшись обоим, на вечеринку к одной чиновничьей семье в Измайловский полк; они вечером зашли в костюмерную лавочку, выбрали для себя костюмы,

Некрасов — венецианского дожа, а Лорис — испанского гранда, и, тут же переодевшись, оставили у костюмера свое платье и условились, что они на следующее утро заедут за своим платьем и тогда заплатят и за костюмы. Взяли карету и отправились; еще дорогой они проверили свои капиталы, — хватит ли их на уплату за экипаж и костюмы? — и нашли, что хватит; но случилось так, что с вечеринки они заехали еще куда-то, что-то выпили и, только возвращаясь под утро домой, спохватились, что у них недостанет денег на выкуп платья. Лорис живо вспоминал себе этот трагикомический день, когда они сначала бегали в маскарадных костюмах по своей нетопленной квартире, тщетно стараясь согреться в коротеньких тогах и в длинных чулках вместо панталон и недоумевая, как выйти им из такого нелепого положения, и как потом, чтобы отогреть окоченевшие члены, они решили пожертвовать для растопки печи одним стулом из своей убогой меблировки и поддерживали огонь мочалкой, выдернутой из дивана, а сами расселись на полу перед печкой, на ковре, привезенном Некрасовым из деревни; скоро заговорил в них голод, а есть было решительно нечего и купить было не на что, и только после долгих переговоров лавочник, у которого были раньше заложены две серебряные ложки, единственная драгоценность Некрасова и подарок его матери, согласился отпустить им в долг студени, и дож и гранд благородно поделили между собой эту незатейливую трапезу. Приятели разослали в разные концы записки к знакомым с просьбой их выручить, но отовсюду получили отказ, и лишь к вечеру Нарышкин добыл денег и выручил их из беды. Вскоре после этого сожительство с Некрасовым прекратилось, не по причине какого-нибудь разлада, а просто по изменившимся обстоятельствам; Лорис вышел в офицеры, и приятели потеряли друг друга из виду, а когда, примерно года через два, Лорис столкнулся с Некрасовым на Невском и последний затащил его к себе на квартиру у Аничкова моста, то дела поэта, видимо, уже стали процветать: и сам он ходил щеголем, и квартира его была меблирована не без изящества. Это было их последнее свиданье. Лорис уехал вскоре на Кавказ и не возвращался в Петербург до 1878 года; Некрасов же умер в 1877 году; только когда Лорис состоял уже начальником Терской области, он получил письмо от Некрасова,

в котором поэт, напоминая их прежние отношения, просил его принять участие в литераторе Благовещенском, отправленном по болезни на Кавказ, на продолжительное житье и без всяких средств к существованию, и Лорис исполнил просьбу старого приятеля [3]. Я нарочно рассказал подробно все, что знал о сношениях Лориса с Некрасовым, потому что, с одной стороны, факт этот может послужить для биографов того и другого, а с другой, объяснить отчасти ту любовь к поэзии и к литературе, которую питал Лорис. ⟨...⟩

Д. В. Григорович

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) первые свои шаги в литературе в начале 40-х годов сделал при содействии Некрасова. В автобиографических заметках он писал: «Знакомство у Плюшара с сыном Н. И. Греча и Некрасовым, заведовавшим тогда литературным отделом «Литературной газеты», издаваемой Краевским. Пишу первую повесть в «Литературную газету»: «Собачка», вторую: «Театральная карета» и фельетоны о художественной выставке в Академии художеств. Некрасов оставляет «Литературную газету», и я пишу для него разные брошюрки и некоторые статьи для издания «Физиология Петербурга»: 1. «Шарманщики», 2. «Лотерейный бал» (*ИРЛИ*, ф. 82, ед. хр. 39).

Повесть «Петербургские шарманщики» принесла Григоровичу успех. Некрасов в рецензии на сборник заметил, что это произведение «молодого литератора, впервые выступающего на литературное поприще, и выступающего чрезвычайно умно и удачно» (IX, 144). Вскоре Григорович становится активным сотрудником «Современника», где печатаются его лучшие произведения той поры: «Антон Горемыка» (1847), «Капельмейстер Сусликов», «Бобыль» (1848).

Григорович сотрудничал и в других журналах, но «ближайшие мои связи, — вспоминал он, — были все-таки с «Современником» благодаря старому знакомству с Некрасовым, симпатии к Панаеву и другим лицам кружка ⟨...⟩. Все мы были почти одних лет, интересовались одним и тем же предметом. Редкий день не схо-

дились мы в редакции, помещавшейся тогда на Невском ⟨...⟩» (Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, 1961, стр. 121). «С мыслью о вас, с вами, — писал Григорович в конце 40-х годов Н. М. Сатину, — соединяются близко, близко и «Современник», и Панаев, и Некрасов, и Авдотья Яковлевна, — словом, все, к чему так привык и что люблю крепко-накрепко» (*РМ*, 1902, № 12, стр. 165).

Годы деятельного сотрудничества с Некрасовым были наиболее плодотворными в жизни писателя. Некрасов ценил его литературный талант. В 1853 году он писал ему: «Ваш роман «Рыбаки» без преувеличения удивительно хорош. Это все находят в Петербурге, и здесь я отовсюду слышу ему похвалы ⟨...⟩. Я еду на самое место действия Вашего романа — в деревню, лежащую при Оке, и мне любопытно будет посмотреть, насколько верны Ваши описания» (X, 192). Некрасову «ужасно понравился» «Пахарь» (X, 273). Когда журнал нуждался в материалах, он обращался к Григоровичу: «У нас, право, ничего нет, то есть ничего нет с *именем* и *хорошего*. Итак, Вы нас выручите в самую нужную и критическую минуту» (X, 239).

Григорович в своих мемуарах достоверно и содержательно воспроизвел петербургский период жизни Некрасова. Но, придерживаясь либеральных взглядов, он тенденциозно осветил отношения поэта с Тургеневым, его роль в редакции «Современника». В 1855 году Григорович опубликовал в «Библиотеке для чтения» сатирическую повесть «Школа гостеприимства», в которой содержался пасквиль на Чернышевского. Отмечая ее «беззаботный и добродушный смех», Некрасов осудил автора за то, что он внес в свое произведение «свои антипатии» (IX, 308). С начала 60-х годов, когда Григорович отошел от активной литературной деятельности, его общение с Некрасовым прекратилось.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

В 1839 или в начале сорокового года находились мы в рекреационной зале; вошел в нее дежурный офицер Фермор, придерживая в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предлагая нам покупать их, он рассказывал, что автор стихов, заключавшихся в

брошюрах, молодой поэт, находится в стесненном денежном положении. Брошюра имела такое заглавие: «Мечты и звуки»; имя автора заменялось несколькими буквами [1].

Это происходило в самый разгар моего литературного увлечения. Стихи неизвестного писателя, сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного впечатления. Но для меня довольно было тогда слова «поэт» и знать, что такой поэт существует здесь, в Петербурге, чтобы пробудить любопытство, желание хотя бы глазком взглянуть на него. Последнее, к великой моей радости, не встретило затруднения. Один из моих товарищей, Тамамшев, племянник Фермора, знаком был с поэтом; он сообщил, что настоящее имя поэта Некрасов, и обещал свести меня к нему в первый свободный праздник. Можно себе представить, как радостно было принято предложение. Мы отправились в первое воскресенье. Что-то похожее на робость овладело мной, когда мы стали подходить к дому, где жил Некрасов. Дом этот находился на углу Колокольной улицы и Дмитровского переулка; надо было проходить через двор и подняться по черной лестнице. На звон дверь отворил нам слуга, довольно чисто одетый; мы вошли в небольшую светлую прихожую, перегороженную стеклянною перегородкой, за которой помещалась кухня. В следующей комнате, довольно просторной и светлой, бросался прежде всего в глаза беспорядок; подоконники, пол, кровать, небольшой стол были завалены ворохом бумаг, газет и книг; на одном из подоконников из-под газет выглядывало несколько тарелок. Нас встретил молодой человек, среднего роста, худощавый, говоривший глухим, сиплым голосом; он был в халате; на голове его красовалась шитая цветными шнурками ермолка, из-под которой свешивались длинные, жиденькие волосы каштанового цвета.

Чем объяснил я ему наш неожиданный приход, как принял нас Некрасов, что говорилось при этом, — решительно не помню; надо думать, впечатление не настолько было сильно, чтобы врезаться в памяти.

Кроме стихов в известной брошюре, Некрасов успел уже тогда написать несколько рассказов, в числе которых повесть «О пропавшем без вести пиите» [2]. Но гонорар в то время платили только известным литераторам; остальные должны были считать за счастье, когда удо-

стоивали печатать их произведения; если им платили, то настолько скудно, что жить одним литературным трудом едва ли было возможно. Практический ум Некрасова помог ему обойти затруднения: он свел знакомство с Куликовым, главным режиссером русской труппы, и стал работать для театра. Из пьес его помню только водевиль: «Шила в мешке не утаишь, девушку под замком не упрячешь»[3]. Он тогда же перевел пятиактную драму: «La nouvelle Fanchon» под названием: «Материнское благословение»[4]. Каким образом ухитрился он это сделать, не зная буквально слова по-французски, остается непонятным. Сколько нужно было воли, терпения, чтобы, частью пользуясь объяснениями случайно заходивших знакомых, частью по лексикону, довести до конца такую работу. ⟨...⟩

Не помню хорошенько, в 1842 или 1843 году отправился я в ипподром Сулье, на Измайловском плацу. Там, в большом пространстве, загороженном досками, давались конные ристалища, скачки в раззолоченных колесницах, которыми управляли наездницы в ярких римских костюмах, происходили различные гимнастические и акробатические представления. Я занял скромное место подле какого-то молодого человека, который вдруг назвал меня по имени; присмотревшись, я узнал в нем Некрасова. Мы встретились, как старые знакомые[5]. Когда я сказал ему, что занимаюсь литературой, он сделался словоохотлив и пригласил меня к себе на дачу. Меня почему-то потянуло к нему. На другой же день отправился я по адресу на парголовскую дорогу. Дача была не больше, как простая изба, отдаваемая внаем огородником.

Я стеснялся спросить, что он именно теперь пишет, но видел на столе множество листов исписанной бумаги. Он говорил, что мало работает, большую часть дней проводит на охоте с ружьем. Не помню, конечно, в чем состояла наша беседа и как мы расстались. Осенью, встретившись на Невском, мы снова разговорились, и он снова пригласил меня к себе. С тех пор мы часто стали видеться. Он жил в доме каретника Яковлева за Аничковым мостом и занимал в нем небольшую квартиру; в одной из комнат было большое угловое итальянское окно, смотревшее на Невский.

Денежные обстоятельства Некрасова должны были быть тогда весьма незавидны. Я не раз заставал его за

рукописью, порученною ему каким-то стариком для исправления в ней языка; рукопись трактовала о различных способах ухода за пчелами. Такая работа не могла приносить ему много, и надобно было нуждаться в деньгах, чтобы за нее взяться.

Пример молодого литератора, жившего исключительно своим трудом, действовал возбудительно на мое воображение. Жить также своим трудом, сделаться также литератором казалось мне чем-то поэтическим, возвышенным, — целью, о которой только и стоило мечтать. Я не давал себе покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повести. Сотни раз, набросав сгоряча начало, прежде чем успел обдумать конец, я сокрушался, обескураженный, и бросал работу. ⟨...⟩

У меня было столько охоты к литературным занятиям, что, несмотря на мои неудачные попытки, я нимало не падал духом. Некрасов поддерживал такое стремление, обещая дать мне работу. Спустя несколько времени он принес мне полдюжины французских брошюрок, заключавших целый трактат о танцах «польки» и «редовы», вошедших тогда в моду; Некрасов просил меня составить из них книжку, название которой он заранее придумал: «Полька в Петербурге»[6]. Работа была мне не по вкусу; я ждал от него чего-нибудь более живого, литературного; но я согласился, так как Некрасов приглашал меня в то же время к участию в периодическом издании юмористического сборника «Зубоскал», которое было у него в проекте. «Зубоскал», к которому я написал предисловие и для которого изготовлена была заглавная виньетка, был запрещен до появления первого выпуска. Одна неосторожная фраза в объявлении: «Зубоскал» будет смеяться над всем, что достойно смеха», — послужила поводом к остановке издания[7]. Но Некрасов был человек упорный, настойчивый; запрещение «Зубоскала» не охладило его издательскую деятельность. Вскоре придумал он новую книжку: «Первое апреля»[8]. Я снова написал к ней предисловие и небольшой рассказ «Штука полотна».

Обе эти книжки — «Полька в Петербурге» и «Первое апреля» — дали мне случай познакомиться с двумя литераторами, и оба раза при одинаковых условиях. Вечером как-то зашел я к театралу К. И. Огареву в ту минуту, когда какой-то господин бледного вида и с большими отвислыми бакенами разносил в пух и прах лю-

дей, способных писать и печатать такую гадость, как «Полька в Петербурге». Огарев поспешил представить меня как автора этому господину; это был поэт Губер, переводчик «Фауста». «Первое апреля» доставило мне случай познакомиться с Тургеневым. И. И. Панаев в своих воспоминаниях ошибочно упоминает о нашем знакомстве по этому поводу;[9] ему весьма легко было ошибиться: лет за пятнадцать до того, как он думал писать свои воспоминания, я рассказал ему о моей забавной встрече с Тургеневым; по прошествии такого долгого промежутка времени не мудрено было ему запамятовать случай и перемешать лиц. Я шел по Невскому с Некрасовым; нас догнал высокий господин смеющегося вида и тотчас же начал трунить над изданием «Первого апреля», особенно подымая на смех рассказ «Штука полотна». Некрасов указал на меня как на сочинителя рассказа. Тургенев удивленно взглянул на меня, рассеянно пожал мне руку и продолжал смеяться над книжкой. ⟨...⟩

Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием «Физиологии»; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. ⟨...⟩

Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков.

Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди,— итальянцы по большей части,— добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольной комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с певцами, плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими salto mortale на голой мостовой; сколько

помнится, они тогда никому не мешали — ни жителям, ни общественному порядку, — напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями могли они добраться до нас из Италии, сколько должны были перенести лишений в своем странствовании, как они у нас устроились, где и как живут, довольны ли, или с горечью вспоминают о покинутой родине и т. д. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» — казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели», — повести, которую я с жадностью перечитывал. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подъяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию. ⟨...⟩

Рукопись «Шарманщиков» очень понравилась Некрасову [10]. Она уже печаталась, когда утром раздался сильный стук в мою дверь; отворив ее, я увидел Некрасова с толстой книжкой в руках.

— Григорович, — сказал он, спешно входя в комнату, — вчера умер наш знаменитый баснописец Крылов... Я принес вам сочинение Бантыш-Каменского, материалы для биографии Крылова; садитесь и пишите его биографию, но не теряйте минуты... Я уже прежде, чем быть у вас, заехал в литографию и заказал его портрет [11].

«Дедушка Крылов» — книжка, написанная мною в десять дней, не многим отличалась в литературном отношении от предшествовавших — «Первое апреля» и «Полька в Петербурге» [12].

Все эти мелкие, плохие книжонки сбывались Некрасовым книгопродавцу Полякову, издававшему их почти лубочным образом, но умевшему сбывать их с замечательной ловкостью.

И. И. Панаев

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — писатель, журналист, познакомился с Некрасовым, по-видимому, в 1839 году у своего родственника и приятеля востоковеда М. А. Гамазова, но сблизился с ним с середины 40-х годов, когда поэт стал общаться с Белинским и кружком молодых сотрудников «Отечественных записок», группировавшихся вокруг него. Панаев высоко ценил поэзию Некрасова. В. А. Панаев вспоминал: «...Когда Некрасов напишет, бывало, стихотворение, которое не пропускала в то время цензура, — а таких было много, — Иван Иванович знакомил с ними общество в рукописях» (*РС*, 1901, № 9, стр. 503). Когда в 1852 году орган славянофилов «Москвитянин» выступил против Некрасова и его стихотворения «Блажен незлобивый поэт», утверждая, что «оно из рук вон плохо» (№ 7—8), Панаев опубликовал заметку в защиту поэта и его творчества (*С*, 1852, № 6).

С 1847 года до самой своей смерти Панаев совместно с Некрасовым издавал журнал «Современник» и был активным и деятельным его участником. «Не надо думать, — писал в 1869 году Некрасов, — чтоб я имел тогда то влияние на Панаева, какое приобрел впоследствии. Он был десятью годами старше меня и находился в эту эпоху наверху своей известности ⟨...⟩; он был для меня авторитет...» (XI, 130).

Мемуары Панаева, посвященные Белинскому и его эпохе, написаны в 1860—1861 годах и были опубликованы в «Современнике» (1861, №№ 1, 2, 9, 10, 11).

I

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

В начале 40-х годов к числу сотрудников «Отечественных записок» присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним [1]. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет семнадцать, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием «Мечты и звуки», которую он впоследствии скупал и истреблял [2]. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет. Он, как и все мы, очень увлекался в это время Жорж Сандом. Он был знаком с нею только по русским переводам. Я звал его к себе и обещал прочесть ему отрывки, переведенные мною из «Спиридиона» [3]. Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания...

С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов и принес однажды Белинскому свое стихотворение «На дороге» [4].

Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни — и которому Белинский всегда мучительно завидовал.

Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш... Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.

Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:

— Некрасов пойдет далеко... Это не то, что мы... Он наживет себе капиталец! [5]

Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента, и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением.

Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение «На дороге», у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах:

— Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?

С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его. Его стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг[6]. Он выучил его наизусть и послал его в Москву, к своим приятелям... У Белинского были эпохи, как я уже говорил, когда он особенно увлекался которым-нибудь из своих друзей... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем...

Некрасов сделался постоянным членом нашего кружка...

II

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ»

Его небольшая квартира у Аничкова моста в доме Лопатина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845 год, отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостию и уютностию. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою «Обыкновенную историю». Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие сношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее? Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его соб-

ственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну, что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..

На этой же квартире появился у него автор «Бедных людей», еще до печати этого произведения.

Надобно сказать, что первый узнавший о существовании «Бедных людей» был Григорович. Достоевский был его товарищем по инженерному училищу.

Он сообщил свою рукопись Григоровичу, Григорович передал ее Некрасову. Они прочли ее вместе и передали Белинскому, как необыкновенно замечательное произведение[7]. Белинский принял ее не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался за нее.

Он в первый раз взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии. В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполнявшие его впечатления...

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Достоевского! — были первые слова его.

Потом он, задыхаясь, передал ему свои впечатления, говорил, что «Бедные люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее.

Ф. М. Достоевский

Отношения Достоевского (1821—1881) с Некрасовым были сложными и неровными. «Первая встреча моя с ним в жизни, — вспоминал Ф. М. Достоевский историю своего знакомства с Некрасовым, — была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная» (*Достоевский*, т. XI, стр. 22). Поэт одним из первых признал талант Достоевского, привлек его к участию в издаваемых им сборниках, восторженно встретил его первое произведение «Бедные люди», о котором писал тогда: «Роман — чрезвычайно замечательный» (X, 43). Достоевский ценил в Некрасове его деловую энергию, его литературный вкус, его бескорыстное отношение к молодым литераторам. Совместно с Некрасовым и Григоровичем Достоевским была написана шуточная повесть «Как опасно предаваться честолюбивым снам», опубликованная в 1846 году в альманахе «Первое апреля». Первый конфликт между Достоевским и Некрасовым произошел, когда руководители редакции «Современника» выразили желание, чтобы Достоевский стал постоянным сотрудником этого нового органа, а не «Отечественных записок». В ноябре 1846 года Достоевский писал брату: «Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова. Он, досадуя на то, что я все-таки даю повести Краевскому, которому я должен, и что я не хотел публично объявить, что не принадлежу к «Отечественным запискам», отчаявшись получить от меня в скором времени повесть, наделал мне

грубостей и неосторожно потребовал денег. ⟨...⟩ Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать» (Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, ГИЗ, М. — Л. 1928, стр. 102—103).

Помимо нежелания Достоевского порвать с «Отечественными записками» настороженность Некрасова и его литературного круга вызывали неровность поведения молодого писателя, его самолюбивый характер.

Среди литераторов даже распространился слух, будто Достоевский требовал от Некрасова, чтобы он печатал «Бедных людей» в отличие от других статей альманаха «особенным типографским знаком» (*Анненков*, стр. 283). Такое поведение Достоевского осмеивалось в пародийном стихотворении Некрасова и Тургенева «Витязь горестной фигуры...» (I, 423—424). Позже в незавершенном произведении о литературной жизни 40-х годов Некрасов создает образ писателя Глажиевского, самолюбивого сочинителя повести «Каменное сердце», в котором легко угадывался автор «Бедных людей» (см. VI, 454—483).

По возвращении Достоевского из ссылки редакция «Современника» хотела возобновить сотрудничество с ним. А. Н. Плещеев в письме к Достоевскому от 4 августа 1858 года описал одну из бесед с Некрасовым и Панаевым: «Они с большим участием расспрашивали меня о вас и говорили, что, если вы желаете, они тотчас же пошлют вам денег; и не станут вас тревожить, пока вы не будете иметь возможность написать для них что-либо» (*ЛА*, 6, стр. 256—257). Но сотрудничество это не состоялось, несмотря на то, что первоначально Достоевский и предложил «Современнику» «Село Степанчиково».

Помимо преград, связанных с журнальными условиями, возникали и другие, общественно-политические. Достоевский и Некрасов возглавили журналы, которые вели между собой резкую полемику, выражая различные позиции в литературно-общественном движении 60-х годов. В 1861 году Достоевский опубликовал в своем журнале «Время» статью «Г-н — бов и вопрос об искусстве», направленную против эстетической платформы «Современника». Сочувственно принимая мотивы покаяния в поэзии Некрасова, Достоевский отри-

цательно относится к ее революционно-демократическим тенденциям. В «Записках из подполья» (1864) он с пародийной целью использовал сюжет стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», а в издаваемом совместно с братом М. М. Достоевским журнале «Эпоха» опубликовал статью Н. Н. Страхова «Заметки летописца» (1864, № 12), отрицающую значение поэзии Некрасова.

Однако журнальная полемика не привела к разрыву между обоими писателями. Некрасов в журнале «Время» (1863, № 1) напечатал отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» («Смерть Прокла»), а Достоевский в том же году предполагал отдать «Современнику» свою повесть «Игрок». «Статья моя «Современника», наверно, не изуродует, — писал он из-за границы Н. Н. Страхову. — Во всяком случае, можно обратиться прямо к Некрасову. Это sine qua non*. И с ним решить дело. Это бы даже очень недурно. Даже лучше «Библиотеки», Некрасов, может быть, не очень на меня сердит. Да и человек он, по преимуществу, *деловой*» (*Ф. М. Достоевский*, Письма, т. I, стр. 335). В 1865 году Достоевский даже предложил Некрасову стать компаньоном по изданию «Эпохи». На что Некрасов не согласился. Тем не менее до 1874 года между ними не было постоянных и тесных контактов.

В 1875 году Достоевский отдал роман «Подросток» по просьбе Некрасова в «Отечественные записки». В письме к жене он сообщил о том, как Некрасов пришел, «чтобы выразить *свой восторг* по прочтении конца первой части» романа, «которого он еще не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед началом печатания книги». В этом же письме Достоевский передает суждения Некрасова о «Подростке»: «Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе». «И какая, батюшка, у вас свежесть... Такой свежести, в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя...» Вообще Некрасов доволен ужасно. «Я пришел с вами уговориться о дальнейшем. Ради бога, не спешите и не портите, потому что слишком уж хорошо началось» (Ф. М. Достоевский, Письма, т. III, стр. 151—152).

* Непременное условие (*лат.*).

Известие о тяжелой болезни Некрасова, о его страданиях пробудили в Достоевском былые чувства к поэту, воспоминания о прошлом, о той роли, которую он сыграл в его литературной судьбе. В одно из своих посещений больного Некрасова Достоевский получил от него в дар книгу «Последних песен» (1877) с вписанными поэтом строками стихотворения «Молебен», которые им не были ранее включены по цензурным соображениям (см. *РЛ,* 1969, № 1, стр. 187—188).

В речи на похоронах поэта (см. стр. 481—485), в статьях, написанных после его смерти, Достоевский энергично защищал Некрасова от клеветы, измышлений, восторженно отзывался о его поэзии. Его привлекала личность поэта, «вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя» (*Достоевский,* т. XII, стр. 357—358).

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок»[1]. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного. Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно)[2], но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, —из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с са-

мыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник[3]. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню а пока жил, некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись» (сам он еще не читал ее): «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу»[4]. Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказал с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии» «Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и — «осмеет он моих «Бедных людей!» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на

пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитуя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один [5]. Писал он тоже чуть не с шестнадцати лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно

повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверно, уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим, — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство»; как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому

несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»...

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; и к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя

у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что́ были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его. «Это я об вас тогда написал», сказал он мне [6]. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещие их недопеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен [7].

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..

В РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»

А. Я. Панаева (Головачева)

Воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой (1819—1893) в мемуарной литературе о Некрасове занимают особое место.

Некрасов с Панаевой сблизился в середине 40-х годов, когда он еще только вступал в литературу. Их совместная жизнь была трудной и неспокойной. Толки и сплетни вокруг этого «незаконного», гражданского брака, характер того и другого, сложная история с огаревским наследством — все это повлияло на их взаимоотношения. Некрасов писал, обращаясь к А. Я. Панаевой:

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

В. П. Боткин сообщал Д. П. Боткину в апреле 1855 года: «Некрасов с Панаевой окончательно разошлись. Он так потрясен и сильнее прежнего привязан к ней, но в ней чувства, кажется, решительно изменились» (цит. по *ЛН*, т. 53—54, стр. 130). Но окончательно разошлись они позже, в 1863 году, и до разрыва их отношения были очень сложными, что нашло отражение во многих стихах поэта, посвященных Панаевой. В его «мрачном настроении», о котором вспоминает мемуаристка, есть доля ее вины. Летом 1860 года Некрасов с горечью писал Добролюбову: «Сколько у меня было души, страсти, характера и нравственной силы — все этой женщине я отдал, все она взяла, не поняв (в ту пору, по крайней мере), что таких вещей

даром не берут, — вот теперь и черт знает к чему все пришло» (т. X., стр. 422).

Поэта с Панаевой помимо большой и трудной любви связывала еще общность интересов и совместная творческая работа. Чернышевский считал, что сближение Некрасова с Панаевой имело на поэта «благотворное влияние» (*Чернышевский,* т. I, стр. 748). Некрасов после разрыва с ней писал:

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас,
Мы на один алтарь сложили —
И этот пламень не угас!» *

Перед глазами Панаевой прошла почти вся история «Современника» с момента приобретения его Некрасовым и Панаевым. Она сама много писала для журнала: повести, рассказы, «физиологические» очерки. Вместе с Некрасовым ею созданы романы «Три страны света», «Мертвое озеро». История «Современника» в ее мемуарах освещена на широком фоне общественной и литературной жизни. В ее воспоминаниях есть немало субъективного: она не скрывает своей неприязни к Боткину, Огареву, крайне предвзято изображает Тургенева. Разногласия между либеральной частью редакции «Современника» и Некрасовым объясняются ею не вполне точно, без ясного понимания их объективного смысла. Но многие эпизоды из истории «Современника», борьбы Некрасова с цензурой, его отношений с Добролюбовым, с писателями-демократами, а также его рассказы о своем прошлом, о его встречах с Белинским переданы ею правдиво и живо. Некрасов является центральной фигурой многих глав мемуарного труда Панаевой, особенно в той части, где речь идет о судьбе «Современника» в 50—60-е годы. Это особенное внимание к Некрасову, литературное мастерство мемуаристки делают ее книгу одним из наиболее значительных произведений в мемуарной литературе о поэте.

---

* Об отношениях Некрасова с Панаевой см.: Корней Чуковский, «Авдотья Панаева и Некрасов» в кн.: Авдотья Панаева, Семейство Тальниковых, «Academia», М. — Л. 1935; Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, «Academia», М. — Л. 1933; «Некрасов и Авдотья Панаева». Публикация К. Марцышевской, С. Рейсера, сообщение С. Дымова, *ЛН*, т. 53—54, стр. 117—130; *Евгеньев-Максимов*, III, стр. 225—230.

В имении Толстых нам всем жилось хорошо[1]. Хозяева старались предоставить своим гостям все удобства деревенских развлечений и полную свободу проводить время, как кто желал: Некрасов охотился, Панаев, любитель длинных прогулок, выхаживал по 25 верст и был в восхищении от живописных видов в окрестностях. Я ездила верхом и удила рыбу. Книг, журналов, газет было вдоволь, а за обедом и ужином, когда все собирались вместе, завязывались жаркие разговоры о разных тогдашних вопросах. ⟨...⟩

Некрасов получил письмо от Белинского, который совершенно случайно уехал из Петербурга с Щепкиным, отправившимся на два месяца гастролировать в большие южные города. Перед нашим отъездом из Москвы Щепкин сообщил нам о своем намерении совершить прогулку в провинцию.

— Вот вы бы, Михаил Семенович, — сказал Панаев, — захватили Белинского с собой, ему необходимо проехаться и освежиться.

Щепкин очень обрадовался этой мысли и написал Белинскому, который охотно принял его предложение, тем более, что на эту поездку не требовалось расходов. За ужином, по поводу письма, полученного от Белинского, речь зашла о нем. Толстые высказали свое удивление, каким образом до сих пор в кружке Белинского никто из литераторов не начал издавать журнала, хотя бы на паях, как это делается в Париже. Некрасов заметил на это, что многое, применимое за границей, еще недоступно для России.

— Если бы русские литераторы надумали издавать на паях журнал, — прибавил он, — то оправдали бы пословицу: у семи нянек всегда дитя без глазу. Я много раз рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту, к несчастию, невозможно без денег.

— Предприимчивости, как видно, нет в вас, господа, — сказал Толстой.

— Денег нет, да и трудно конкурировать теперь с «Отечественными записками», упрочившими себе твердое положение, — возразил Панаев.

— Да кто его упрочил? Белинский и большая часть сотрудников из его кружка, — заметили Толстые.

— Смешно бояться конкуренции, — подсказал Некрасов, — у «Отечественных записок» могут быть свои подписчики, а у нового журнала — свои. Не испугался же Краевский конкуренции «Библиотеки для чтения» и с грошами начал издавать «Отечественные записки».

— Ему легко было, — возразил Панаев. — Он первые годы даром получал большую часть материала для своего журнала, а если и платил сотрудникам, то ничтожную плату.

— Если такое бескорыстное участие принимали литераторы в успехе «Отечественных записок», как же не рассчитывать на еще большую поддержку новому журналу, где во главе сотрудников будет Белинский? — заметил Толстой.

— Ну, теперь рассчитывать на даровой материал не следует, — сказал Некрасов. — Да не в этом дело, а в том, что без денег нельзя начинать издания.

— А много нужно для начала? — спросил Толстой.

Некрасов стал считать, во что должна приблизительно обойтись каждая книжка журнала.

— За печать и бумагу, — прибавил он, — можно уплачивать половину каждый месяц, а остальную часть перевести на следующий год.

— А если подписка на журнал на следующий год будет плохая, чем же уплачивать долг? — заметил Панаев.

— Почему же не рассчитывать на успех журнала, если добросовестно издавать его и если все литературные друзья Белинского приложат свои старания? Риск — дело благородное, потребность к чтению сильно развилась за последние годы. Ведь мне от «Петербургского сборника» предсказывали одни убытки, а если бы я не струсил и напечатал на полторы тысячи экземпляров больше, то все были бы раскуплены. Если бы явился новый журнал с современным направлением, то читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают все новые и новые общественные вопросы; надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризовал читателей, пробудил бы в них жажду к деятельности. Лиха беда начать дело, а продолжать его будет уже легко.

Белинский и Панаев сильно уверовали в литературную предприимчивость Некрасова после издания им

«Петербургского сборника», который быстро раскупался. Оба они знали, с какими ничтожными деньгами он предпринял это издание и как сумел извернуться и добыть кредит.

— Если бы у меня были деньги, — произнес со вздохом Панаев, — я ни минуты не задумался бы издавать журнал вместе с Некрасовым. Один я не способен на такое хлопотливое дело, а тем более вести хозяйственную часть.

— Была бы охота, а деньги у тебя есть! — сказала я, не придавая никакого серьезного значения своим словам.

— Какие деньги? — спросил с удивлением меня Панаев.

— Продай лес и на эти деньги издавай журнал.

Толстые подхватили мои слова и стали приставать к Панаеву, почему бы ему в самом деле не употребить свои деньги на хорошее дело.

— Не увидите, как проживете их, — говорили они.

— Нет, нет! — возразил Панаев, — эти деньги по вашему же совету я внесу в Опекунский совет, чтобы не так тяжело было бы платить проценты за заложенное имение.

Пока у него не было денег в руках, он всегда благоразумно рассуждал об экономии.

— Разрешите Панаеву употребить деньги, вырученные за продажу леса, на журнал, как на дело хорошее? — обратился ко мне Толстой.

— Охотно! — отвечала я.

— Так, господа, по рукам! — воскликнули Толстые.

— Разве хватит таких денег? — обратился Панаев с вопросом к Некрасову.

— Хватит, хватит! — ответил тот. — Кредитоваться будем.

Панаев протянул руку Некрасову и произнес:

— Идет! Будем вместе издавать.

Толстые розняли руки по русскому обычаю и радостно произнесли «ура!».

Мне не верилось, что из этого разговора выйдет что-нибудь.

Некрасов, весь сияющий, сказал Панаеву:

— Деньги не пропадут, только надо энергически взяться за дело.

Панаев тотчас же заговорил, что надо написать Белинскому, но Некрасов возразил, что прежде надо хорошенько обсудить дело и лучше всего лично переговорить с Белинским. Он упросил Панаева никому из своих приятелей не писать об их планах.

Мы засиделись почти до рассвета, ведя разговоры о новом журнале. Возник вопрос, у кого купить право, так как новых журналов в то время не разрешали издавать. Перебирали разные журналы, которые находились в летаргическом сне, но ни один не оказывался подходящим. Уже стали прощаться, чтобы идти спать, как вдруг Панаев воскликнул:

— Нашел! «Современник»!

Некрасов радостно сказал:

— Чего же лучше! как это сразу не пришел нам в голову «Современник»? — И снова затянулся разговор.

Право на «Современник» принадлежало Плетневу, с которым Панаев давно был знаком [2]. Все так были возбуждены, что забыли о сне. Толстые вставали рано и нашли, что не стоит ложиться спать на каких-нибудь два часа, и потребовали чаю, так что солнце совсем взошло, когда мы стали расходиться. Некрасов, выйдя на террасу, сказал:

— Посмотрите, господа, как великолепно сегодня сияет солнце! После трех дней пасмурной погоды оно предсказывает успех нашему журналу.

Некрасов решил ехать скорее в Петербург, чтобы переговорить с Белинским и начать хлопоты по журналу. Толстые шутили над ним, уговаривая его остаться еще недельки на две, так как в конце августа была самая лучшая охота [3].

— До охоты ли мне теперь! — отвечал Некрасов, не поняв шутки. — Не знаю, как дождаться того дня, как увижу первый номер «Современника»!

Панаеву же надо было дождаться денег от продажи леса.

Уезжая из деревни, Некрасов просил Панаева не засиживаться в Москве и не проболтаться о затеваемом деле. ⟨...⟩

Некрасов купил для «Современника» у Белинского все статьи, обещанные ему его московскими и петербургскими приятелями [4]. За сотрудничество Белинского

в «Современнике» была положена плата восемь тысяч рублей в год. Эта цифра сорок лет тому назад казалась баснословной. Сами друзья Белинского удивлялись щедрости издателей журнала, а один из них с жалостью говорил Панаеву:

— Это сумасшествие с твоей стороны — так швырять деньгами.

— Если хорошо пойдет журнал, — отвечал Панаев, — мы еще прибавим; мы сами литераторы, стыдно усчитывать сотрудников.

— Так я тебе предсказываю, что ты гроша не будешь иметь барыша от журнала, если так будешь роскошничать. И что это Некрасов смотрит? — он человек коммерческий. Нельзя, нельзя так вести денежные дела, будет банкротство журнала, помянете меня, да поздно будет, что не послушались моего благоразумного совета. Жаль, очень жаль тебя, любезнейший Панаев, — там, где люди наживают деньги, ты прогоришь!

Но за первую же статью, которую поместил в «Современнике» этот благородный советник, он потребовал прибавки за лист, говоря Некрасову:

— Если я отнесу мою статью в «Отечественные записки», мне с радостью еще дороже дадут!

С появлением «Современника» быстро поднялась цена на литературный труд.

На другой же день после своего приезда — утром — Панаев отправился к Плетневу. Белинский, в ожидании возвращения Панаева домой, все время страшно волновался, и когда Панаев вернулся, то выскочил в переднюю с вопросом:

— Наш «Современник»?

— Наш, наш! — отвечал Панаев.

Белинский радостно вздохнул.

— Уф! — воскликнул он, — я измучился... мне все казалось, что уже у нас его кто-нибудь переб...

Он не окончил фразы.

Сильный приступ кашля стал душить его. Он весь побагровел от натуги и махнул рукой Панаеву, который начал было передавать Некрасову свой разговор с Плетневым. После этих приступов кашля Белинский всегда долго не мог отдышаться и с передышкой произнес:

— Ну... теперь рассказывайте.

Белинский возмутился, что Плетнев выговаривал себе четыре тысячи в год за право и едва согласился на три.

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь! Надо, господа, соглашаться — пусть его подавится этими тремя тысячами!

Страшным ударом для Белинского было, когда в цензурном комитете нашли, что Панаев и Некрасов не настолько благонадежные люди, чтобы их можно было утвердить редакторами. О редакторстве Белинского нечего было и думать, потому что «Северная пчела» уже несколько лет постоянно печатно твердила о зловредном направлении его статей; беспрестанно писались куда следует доносы, с указанием на статьи, в которых он будто бы проповедует безбожие, безнравственность и глумится над патриархальными чувствами русских и т. д.

Надо было приискать подходящего человека, которому разрешили бы редактировать «Современник». Обратились к Никитенке, он согласился[5]. Белинский кипятился, что прибавится еще новый тысячный расход на фиктивного редактора, но делать было нечего.

Понятно, что слухи о намерении Некрасова и Панаева издавать «Современник» породили толки в разных литературных кружках. Сначала многие не верили, но потом стали смеяться, говоря, что ничего дельного не выйдет из планов Некрасова и Панаева. Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: «Пусть их смеются и не верят, а как мы им преподнесем первый номер «Современника», так позеленеют от злости». Белинский письменно отказался от сотрудничества в «Отечественных записках», но это была только одна формальность, потому что все знали, что он будет сотрудничать в «Современнике». Некрасов велел печатать объявления об издании «Современника» в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит очень дорого и вовсе не нужно, но Белинский ему возразил:

— Нам с вами нечего учить Некрасова; ну, что мы смыслим! мы младенцы в коммерческом расчете: сумели бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и

с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться.

Такая масса объявлений об издании «Современника» дала повод литературным врагам глумиться печатно над издателями. Говорили, например, что они апраксинские молодцы, которые с нахальством тащат в свою лавку всякого проходящего и расхваливают свой товар и т. д. ⟨...⟩

В 1848 году строгость цензуры дошла до того, что из шести повестей, назначенных в «Современник», ни одна не была пропущена, так что нечего было набирать для ближайшей книжки.

В самом невинном рассказе о бедном чиновнике цензор усмотрел намерение автора выставить плачевное положение чиновников в России. Приходилось печатать в отделе беллетристики переводы. Роман Евгения Сю не был дозволен, оставалось пробавляться Ламартином[6]. Некрасову пришла мысль написать роман во французском вкусе, в сотрудничестве со мной и с Григоровичем. Мы долго не могли придумать сюжета. Некрасов предложил, чтобы каждый из трех написал по главе, и чья глава будет лучше для завязки романа, то разработать сюжет, разделив главы по вкусу каждого. Я написала первую главу о подкинутом младенце, находя, что его можно сделать героем романа, описав разные его похождения в жизни. Григорович принес две странички описания природы, а Некрасов ничего не написал. Моя первая глава и послужила завязкой романа; мы стали придумывать сюжет уже вдвоем, потому что Григорович положительно не мог ничего придумать. Когда было написано несколько глав, то Некрасов сдал их в типографию набирать для октябрьской книжки «Современника», хотя мы не знали, что будет далее в нашем романе; но так как писалось легко, то и не боялись за продолжение. Некрасов дал название роману «Три страны света», решив, что герой романа будет странствовать. Цензор[7] потребовал, чтобы ему представили весь роман, не соглашаясь иначе пропустить первые главы. Некрасов объяснил, что роман еще не весь написан. Цензор донес об этом в главный цензурный комитет, ко-

торый потребовал от авторов письменного удостоверения, что продолжение романа будет нравственное. Я ответила, что в романе «Три страны света» «порок будет наказан, а добродетель восторжествует», Некрасов подтвердил своею подписью то же самое, и тогда главное цензурное управление разрешило напечатать начало романа [8].

До этого времени в русской литературе еще не было примера, чтобы роман писался вдвоем, и по этому поводу В. П. Боткин говорил Панаеву: «Нельзя, любезный друг, нельзя срамить так свой журнал — это балаганство, это унижает литературу» *

Бедный Панаев потерялся, так как от других слышал, напротив, похвалы о начале романа. Я предложила, чтобы Некрасов один ставил свое имя, но он не согласился. К удивлению нашему, в конце ноября подписка на «Современник» возобновилась, а на Новый год в декабре иногородние подписчики стали требовать высылки им и 1848 года, так что все оставшиеся экземпляры этого года разошлись; их даже не хватило для удовлетворения всех требований. В. П. Боткин изменил свое мнение и с участием осведомлялся о ходе нашей работы. В редакции было получено много писем от иногородних подписчиков с благодарностями за «Три страны света», но получались и такие письма, в которых редакции предлагали роман, написанный десятью авторами, под названием «В пяти частях света», и писали, «что этот роман будет не чета вашему мизерному бездарнейшему роману».

Мы встречали немало досадных препятствий со стороны цензора: пошлют ему отпечатанные листы, а он вымарает половину главы, и надо вновь переделывать. Пришлось бросить целую часть и заменить ее другой. Некрасов писал роман по ночам, потому что днем ему было некогда, вследствие множества хлопот по журналу; ему пришлось прочитать массу разных путешествий и книг, когда герой романа должен был отправиться в путешествие. Я писала те главы, действие которых происходило в Петербурге [10]. Иногда выдавались такие минуты, что мы положительно не знали, как продолжать

---

* Впрочем, я должна оговорить, что две главы в романе написаны, по просьбе Некрасова, Ипполитом Панаевым [9]. (*Прим. А. Я. Панаевой.*)

роман, потому что приходилось приноравливаться к цензуре. Боже мой, как легко стало, когда мы закончили «Три страны света». Но Некрасов тотчас же уговорил меня писать новый роман «Мертвое озеро»[11].

⟨...⟩ Я слышала от самого Некрасова, как он бедствовал некоторое время в начале своего пребывания в Петербурге.

Он с юмором передавал, как с неделю прожил в пустой комнате, потому что его квартирная хозяйка, желая выжить своего жильца, в его отсутствие вынесла всю убогую мебель из комнаты, и Некрасов спал на голом полу, подложив пальто под голову, а когда писал, то растягивался на полу, уставая стоять на коленях у подоконника.

На моих глазах произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке и жизни Некрасова.

Конечно, многие завидовали Некрасову, что у подъезда его квартиры по вечерам стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал из Англии ружья и охотничьих собак; но если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное — он сам себе противен, то, конечно, не завидовал бы ему...

В хандре он злился на меня за то, что я уговаривала его изменить свой образ жизни, который доставлял ему по временам такие мучительные страдания; я припоминала ему, что, несмотря на все лишения прежней своей жизни, он не испытывал такого убийственного настроения духа. Некрасов находил, что я будто бы нарочно усиливаю своими разговорами его и без того ужасное настроение:

— Чем бы развлечь человека, а вы его добиваете.

— Развлекателей у вас развелось с тех пор много, как вы сделались капиталистом, — отвечала я.

Некрасов раздражительно прерывал меня:

— Я не так глуп, чтобы не видеть перемены в отношениях к себе людей, начиная с невежд и кончая образованными.

Потом уже я поняла, что в самом деле глупо возбуждать подобные вопросы, когда от них не могло быть иного результата, кроме неприятного впечатления, остающегося после таких разговоров.

Стихотворение «У парадного подъезда» было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе.

Накануне того дня, как было написано это стихотворение, я заметила Некрасову, что давно уже не было его стихотворений в «Современнике».

— У меня нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем лицам и спрятать их в ящик письменного стола... Да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь.

На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ [12].

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятиям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому. Швейцар, выметая лестницу, прогнал их; они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде.

Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда».

Некрасов писал прозу, сидя за письменным столом и даже лежа на диване; стихи же он сочинял, большею частью, прохаживаясь по комнате, и вслух произносил их; когда он оканчивал все стихотворение, то записывал его на первом попавшемся под руку лоскутке бумаги.

Он делал мало поправок в своих стихах. Если он сочинял длинное стихотворение, то по целым часам ходил по комнате и все вслух однообразным голосом произносил стихи; для отдыха он ложился на диван, но не умолкал; потом снова вставал и продолжал ходить по комнате. Некрасов мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений, когда бы то ни было сочиненных.

Как бы оно ни было длинно, он не останавливался ни на одной строфе, точно читал по рукописи. Впрочем, он помнил наизусть массу стихотворений и других русских поэтов.

⟨...⟩ Я коротко, с детства, знала одного молодого медика, года два как окончившего курс.

Однажды он заехал ко мне, и я ему рассказала, что заграничные доктора нашли у Некрасова горловую чахотку, посылали его на остров Мадеру, но он возвратился в Петербург.

— Не так же ли ошиблись доктора в болезни его горла, как ошиблись относительно одного из моих пациентов, которому предсказывали близкую смерть от горловой чахотки; а он не только остался жив, но выздоровел совершенно! Как бы мне посмотреть горло у Некрасова?

Я с большим трудом уговорила Некрасова показать горло, и он согласился на это крайне неохотно. Молодой медик, внимательно осмотрев и исследовав его, произнес:

— Через два месяца у вас совершенно заживет горло. Та же самая болезнь, которая была у моего пациента.

Некрасов в волнении спросил:

— А голос вернется?

— Командовать полком вам трудно будет, но говорить вы будете громче и не так сипло, как теперь.

— Что же это такое значит? Меня лечили не так?

— В практике самых опытных докторов бывают ошибки в диагнозе болезни; особенно, если они не специалисты по какой-нибудь части. Если бы с самого начала, как вы почувствовали боль в горле, вас лечили от той болезни, какая у вас оказалась, то в две недели вы бы выздоровели, но теперь болезнь запущена, и излечение будет продолжительнее.

По желанию молодого медика был собран консилиум из специалистов (Шипулинского, Григоровича), который вполне подтвердил поставленный им диагноз и предположенную систему лечения. Месяца через два Некрасова уже нельзя было узнать, горло его быстро стало поправляться, а вместе с тем исчезли и мрачные мысли о близкой смерти.

Выздоровев, Некрасов совершенно забыл советы молодого медика — вести строго правильную жизнь. Когда я напоминала ему об этом, он доказывал, что и так всю жизнь прожил в лишениях: в молодости от неимения средств, потом от болезни, и теперь требуют, чтобы он жил не так, как ему хочется.

— Не только для вас, — заметила я, — а и для богатырского организма такой образ жизни, какой вы ведете, был бы вреден: вы превращаете ночь в день, а день в ночь, и притом вечно находитесь в возбужденном состоянии.

— Я очень хладнокровно играю в карты, — отвечал он.

— Трудно поверить, чтобы, ведя такую большую игру, можно было сохранять хладнокровие.

— Я скоро покончу игру! — говорил Некрасов, — а теперь глупо бросать ее, когда мне везет такое дурацкое счастье.

Но он уже не раз повторял, что скоро бросит игру.

У Некрасова появились приметы в игре: например, он брал из конторы «Современника» тысячи две рублей и вкладывал их в середину своих десятков тысяч рублей для счастья, или полагал, что непременно проиграет, если выдаст деньги в тот день, когда вечером предстояла большая игра.

В «Современнике» сотрудничал один молодой человек Пиотровский, который постоянно брал вперед деньги у Некрасова. К несчастью, случилось однажды так, что утром Пиотровский выпросил у Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму. Не прошло недели, как Пиотровский прислал к Некрасову с письмом какую-то женщину, снова прося денег.

Некрасов дал ответ женщине, что не может исполнить просьбу Пиотровского, а когда она ушла, стал ворчать на то, что Пиотровский опять просит денег.

— Да еще глупейшее письмо пишет, — прибавил он, — угрожая, что если я откажу в трехстах рублях, то ему придется пустить себе пулю в лоб.

— Может быть, и в самом деле он в безвыходном положении, — заметила я. — Пошлите ему денег.

— Не дам!.. Он не более недели тому назад взял у меня двести рублей, тоже говоря, что у него петля на шее. Да и я по его милости проигрался [13].

Я посмеялась, что Некрасов превратился в старую купчиху, которая верит во всякие приметы.

— Знаю, что все это глупо, но я положил себе за правило не давать денег в тот день, когда предстоит мне большая игра, потому что всегда остаюсь в проигрыше! Да и вчера сосчитал, сколько роздано вперед денег по журналу, оказалось около двадцати пяти тысяч!

— Ну, уж еще триста рублей — капля в море! — заметила я.

Некрасов упрямился, но потом сдался и обещал завтра же послать Пиотровскому триста рублей.

На другой день Некрасов встал почти к самому обеду. Когда подавали пирожное, вошел Чернышевский. Он был так бледен, что я шепнула Добролюбову — не случилось ли какого несчастья в семье у Чернышевского. Добролюбов спросил его, что с ним [14].

Чернышевский взволнованным голосом ответил:

— Сейчас только от несчастного Пиотровского, он застрелился!

Все были поражены таким ужасным известием, а Некрасов, страшно изменясь в лице, вскочил с своего места и ушел в кабинет.

Я одна поняла, почему такое удручающее впечатление произвело на него это известие, другие же приписали его волнение нервности.

О самоубийстве Пиотровского сообщил Чернышевскому один из товарищей несчастного, и Чернышевский поспешил к нему на квартиру, но нашел его уже мертвым.

Оказалось, что бедный молодой человек не бог знает как и запутался в долгах; он был должен всего тысячу рублей, но мысль, что ему придется сидеть в долговом отделении, которым ему грозил один из кредиторов, если он немедленно не уплатит ему по векселю триста рублей, побудила его покончить с жизнью.

Надо же, чтобы обстоятельства сложились таким роковым образом, что Некрасову предстояла вечером большая игра, а на другой день он встал поздно и не успел послать Пиотровскому денег.

Некрасов дал Чернышевскому денег, прося распорядиться похоронами несчастного молодого человека и уплатой всех его долгов.

Три дня Некрасов не выходил из кабинета и был сильно потрясен; он говорил мне:

— Ну могло ли мне прийти в голову, что из-за трехсот рублей человек может застрелиться? Это ужасно! Я охотно дал бы десять тысяч, чтобы избежать такого мучительного состояния, в котором теперь нахожусь...

⟨...⟩ Добролюбов обладал наблюдательностью в высшей степени; от него не укрывалось ничто фальшивое в людях, как бы они ни старались замаскировать эту фальшивость. Когда в редакции бывали литературные обеды, всегда многолюдные, то от Добролюбова не ускользала ни одна фраза, ни одно выражение лица присутствующих на обеде.

Добролюбов всегда сидел на этих обедах возле меня и беседовал со мной, почти не принимая участия в общем разговоре. Между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! и какая чертовская память!

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — отвечал Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский [15].

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике»!

— Увидишь, — сказал Некрасов.

— Меня удивляет, — возразил Тургенев, — как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове,

чтобы можно было его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то — сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего. ⟨...⟩

Теперь расскажу — каким образом произошел разрыв между Тургеневым и «Современником».

Добролюбов написал статью о повести Тургенева «Накануне», и она была послана к цензору Бекетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий.

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

— Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно оскорбился его статьею... и как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника»! Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина [16] с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне Колбасиным, Добролюбов будто бы глумился над его литературным авторитетом, и вся статья переполнена какими-то недобросовестными, ехидными намеками.

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов

мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе, как Тургенев.

Я удивилась, — каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить [17]. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал:

— Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи... нельзя же ссориться с ним!

— А вы находите, что с Добролюбовым можно? — спросила я. — Он, наверно, не захочет признать за Тургеневым цензорские права над своими статьями.

— Добролюбов настолько умен, что поймет всю невыгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев! — ответил мне Некрасов.

— Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится.

Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал:

— Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне.

Предположение Некрасова не имело основания: Добролюбов в обществе никогда не касался личностей литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась — почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику?

— Ну, что толковать о пустяках! — ответил Некрасов. — Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился.

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

— Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? — сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю. Тогда Добролюбов продолжал:

— Отличился Тургенев! по-генеральски ведет себя... Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову. Я заметила, что не стоит тратить время на объяснение.

— Как не стоит! — возразил Добролюбов. — Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения кому ему вздумается.

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда торжественно объявлял: «Я, господа, опять получил выговор от начальства — это третий в один месяц!», и Бекетов с гордостью обводил глазами всех. Тургенев потешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России! Простодушный Бекетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах.

Когда Бекетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал:

— Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости!

Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью.

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, подавая мне записку, сказал:

— Мне не удалось опять застать дома Тургенева, я оставил ему письмо [18] и вот какой получил ответ — прочитайте-ка.

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: «Выбирай: я или Добролюбов» [19].

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил:

— Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал!.. Какая черная кошка пробежала между нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Современником». Это повредит журналу, да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыплются разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого... Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала:

— Я явилась к вам как парламентер.

— Догадываюсь — предлагают сдаться? — с усмешкой спросил он.

— Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала; Некрасов получил записку от Тургенева...

— Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью, — перебил меня Добролюбов. — Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения; я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

— Нет, уж если вы взялись за роль парламентера, так выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову.

Идя от Добролюбова, я встретила в передней Пана-

ева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова.

— О чем хлопочет Некрасов? — сказал Панаев. — Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили, как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником», потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи... Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев! Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анненков воспользовался этим и нарочно громко говорил, чтобы все его слышали... Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он, верно, за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике.

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова.

— Ну, вот, недоставало этого! — с досадою воскликнул Некрасов.

В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжко вздохнув, произнес:

— Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбова! — И, обратясь ко мне, он продолжал: — Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень я расстроен! Лучше завтра утром поговорим; нам обоим надо успокоиться.

Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, Добролюбов пожал плечами и заметил:

— Напрасно они думают, что стоит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят!.. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства!.. ⟨...⟩

Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне:

— Добролюбов — это такая светлая личность что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго

сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности. Но, бог даст, все недоразумения выяснятся, и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе.

Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с «Современником», это не повлияет на их давнишнюю дружбу. Он имел право так думать, потому что, когда прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову:

— Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням. Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не поверил же? Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить.

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для «Современника». Принявшись за повесть «Накануне», он уверял, что пишет ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть в другой журнал, оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись[20]. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для «Современника» и он скоро ее напишет.

Некрасов говорил: «Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинутся нахрапом; мне надо было поступить так же, а я имел глупость этого не сделать... взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в «Современнике».

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи оповещали

всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех как прежних, так и современных авторитетных писателей.

Когда вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне», то в оправдание себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бекетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил цензора, чтобы он выгораживал его[21].

⟨...⟩Добролюбов по-прежнему, если еще не с удвоенным рвением, заботился о журнале, и, не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензорам.

В самых первых числах октября он приехал к нам от цензора в десятом часу вечера, сильно раздраженный тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычеркнутые места в чьей-то статье.

Некрасов только что встал после обеденного сна и флегматически заметил:

— Охота вам была в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Через два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он и позабудет, что уже читал ее, и наверное пропустит. Надо послать в типографию сказать, чтобы набрали другую статью.

Добролюбов пристально смотрел на Некрасова, и я заметила, что он раздражается его флегматическим тоном.

— Что же? мы будем преподносить читателям запоздалые статьи о вопросах, которыми живо интересуется общество?.. — спросил Добролюбов.

— Ну, что делать! — возразил Некрасов.

— А небось, — иронически отвечал Добролюбов, — если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам бы подали подогретые кушанья, то не так покойно отнеслись бы к этому. Положим, мое сравнение неудачно, но для вас оно, может быть, в эту минуту будет понятнее.

Некрасов встрепенулся и произнес:

— Было время, что и я так же волновался, как вы!.. Я вовсе не охладел к журналу, а из горького опыта убедился, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.

— Выйдет! — убежденным тоном ответил Добролюбов. — Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три буду сидеть у него и толковать ему, что он словно пуганая ворона — куста боится!

— Еще более расстроите себя, если цензора не уломаете! Плетью обуха не перешибешь! — заметил Некрасов и начал рассказывать, что в 1848 году проделывали цензоры со статьями и какие курьезные объяснения ему приходилось иметь с ними.

— Однако вы тогда были настолько неблагоразумны, что употребляли все усилия добросовестно исполнять свою обязанность перед читателями «Современника», — сказал Добролюбов, — как же теперь хотите издавать «Современник» спустя рукава, оправдываясь благоразумием!

— Ну, делайте, как знаете! — отвечал Некрасов и пошел одеваться, чтобы ехать в клуб, а Добролюбов уселся за работу.

Уходя, я спросила его, прислать ли ему чай, но он отвечал, что придет ко мне пить чай, как только окончит работу; но не прошло и часа, как человек пришел мне сказать, что Добролюбову нездоровится. Я нашла Добролюбова лежащим на диване; у него был сильный пароксизм лихорадки, и он едва мог проговорить: «Согрейте меня!.. только, ради бога, не посылайте за доктором!» Я укутала Добролюбова и напоила его горячим чаем; после озноба у него сделался сильный жар. Когда он перестал гореть, то встал на ноги, но так был слаб, что не мог стоять и снова сел, сказав:

— Как же я доберусь до дому?

— Я вас не пущу домой, если бы вы даже и не чувствовали слабости.

— Я охотно останусь у вас ночевать, мне противна моя мрачная квартира, похожая на склеп... да и я в таком настроении, что не хочется оставаться одному.

Я советовала ему лечь спать, но он просил меня посидеть около него и прибавил:

— Это напоминает мне детство. Я был хворый мальчик и часто страдал бессонницей; мать, бывало, ночью придет посмотреть на меня и, увидя, что я не сплю, сядет около меня, и мы разговариваем.

Добролюбов с чувством начал рассказывать, какая была его мать умная, развитая и добрая женщина, и потеря ее была так для него ужасна, что в первое время ему приходила мысль лишить себя жизни, в таком был он отчаянии.

Чтобы отвлечь Добролюбова от тяжелых воспоминаний, я стала ему рассказывать о Белинском, о котором он и прежде много меня расспрашивал.

В час ночи вернулся Некрасов, и Добролюбов его встретил словами:

— Я думаю, вы никак не ожидали опять найти у себя ночлежника?

— Хорошо сделали, что остались, погода отвратительная! — отвечал Некрасов.

— Поневоле остался: такой был сильный пароксизм лихорадки, что я стоять не могу на ногах. Спасибо, Авдотья Яковлевна согрела меня и даже рассеяла мои мрачные мысли, рассказав мне много интересного о Белинском.

— Жаль, что вы сами не знали этого человека! — сказал Некрасов, сев около дивана, на котором лежал Добролюбов. — Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... Вы вот вступили в жизнь и в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я!..

Некрасов махнул рукой и продолжал:

— Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше! Я был бы не тем человеком, каким теперь!

Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет.

— Тяжелые минуты он переживает в сегодняшнюю ночь, — тихо заметил мне Добролюбов.

— Есть и хорошая сторона в этих тяжелых минутах для него, — отвечала я. — После них он всегда принимается писать стихи.

— В таком случае пусть он почаще вспоминает о Белинском, — произнес Добролюбов.

Через четверть часа Некрасов пришел к нам и сказал:

— У меня тоже нет сна, давайте пить чай!

Некрасов, ложась спать, распорядился послать рано утром записку к доктору Шипулинскому, чтобы он приехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, что посещение случайное.

Шипулинский, выслушав Добролюбова, объявил Некрасову, что дело принимает серьезный оборот, что Добролюбову не встать с постели, так истощен его организм.

Мы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать у нас в большой светлой комнате, нежели в его маленькой квартире. Я распорядилась, чтобы ему принесли халат и туфли.

— Значит, вы намерены оставить меня надолго здесь? — спросил Добролюбов.

— Да, пока вы не поправитесь, — отвечала я. — Разве вам неудобно будет у нас?

— Каких еще удобств можно мне желать, — отвечал Добролюбов, но начал беспокоиться, что может стеснить Некрасова, да и братьев ему не хотелось оставлять одних с дядею.

Я успокаивала Добролюбова тем, что его братья могут только ночевать в квартире, а целый день будут находиться у меня.

— Это опять мы все трое очутимся на ваших руках? Для нас-то хорошо, а вам будет много хлопот! — проговорил он. 〈...〉

Вскоре после появления «Отцов и детей» Тургенев приехал из-за границы[22] пожинать лавры. Почитатели носили его чуть не на руках, устраивали в честь его обеды, вечера, говорили благодарственные речи и т. п. Я думаю, что ни одному из русских писателей не выпало при жизни столько оваций.

В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недостаточных студентов, были всегда полны; даже аристократическая публика посещала их.

Впрочем, нужно заметить, что артисты итальянской оперы постоянно участвовали в этих концертах безвозмездно. Распорядители-студенты сами являлись к некоторым литераторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить им уважение от лица всей студенческой корпорации.

Но после напечатания «Отцов и детей» Тургенев не получил билета. Это произвело сенсацию в кругу его друзей литераторов. Со стороны их посыпались обвинения, что все это произошло по интригам Некрасова и семинаристов, сотрудников «Современника», которые вооружают молодежь, распространяя о Тургеневе сплетни [23].

Я бы не упомянула об этой сплетне, если бы только ею ограничились обвинения Некрасова; но вслед за тем распространилась новая клевета, будто Некрасов проиграл чужие деньги. Тургенев в виде предостережения некоторым литераторам в их денежных расчетах с Некрасовым рассказывал, что при встрече с Некрасовым в Париже, узнав, что он едет в Лондон, поручил ему передать 18 000 франков Герцену; но Некрасов, в первый же день по прибытии своем в Лондон, проиграл их в игорном доме и скрыл это, пока Тургенев не обличил его; что Некрасов клялся уплатить в скором времени проигранные 18 000, но, конечно, не уплатил, воспользовавшись оплошностью Тургенева, который не взял с него никакого документа.

Это обвинение Некрасова в растрате чужих денег я могу фактически опровергнуть.

Некрасов в первый раз находился в Париже в 1857 году, о чем я уже говорила раньше. Вторая его поездка за границу состоялась в 1863 году, уже после разрыва с Тургеневым из-за Добролюбова. Следовательно, только в первую поездку Тургенев мог дать Некрасову подобное поручение. Но зачем было Тургеневу делать это, когда он сам вместе с Некрасовым ездил в Лондон из Парижа?

При мне Тургенев стал уговаривать больного Некрасова ехать вместе в Лондон, где ему почему-то необходимо было побывать, если не ошибаюсь, кажется,

потому, что Виардо давала там концерт. Я заметила Некрасову, что ему не следует ехать в Лондон, потому что он может простудить на пароходе свое больное горло. Но Тургенев все-таки настоял на своем. Некрасов поехал с ним в Лондон, и они вернулись вместе назад, поездка их продолжалась не более десяти дней [24]. На другой день по возвращении из Лондона, Тургенев пришел к Некрасову и сказал:

— Сосчитал ли ты, сколько я должен тебе за расходы, заплаченные тобою в отеле за меня и за билеты в дороге?

— Да после сосчитаемся, — отвечал Некрасов, кутаясь в плед, потому что чувствовал лихорадку после дороги.

— Я боюсь, чтобы ты не присчитал этого долга к моему старому долгу. Ты смотри также, не смешивай моего долга лично тебе с долгом «Современнику».

— Да ну, хорошо! — ворчливо произнес Некрасов. — Точно не успеем сосчитаться, когда будут у тебя деньги.

— Тебе теперь можно не считать, тебе нипочем бросать тысячи.

— Я всегда бросал деньги, — заметил Некрасов, — бывало, не задумываясь, тратил последние десять рублей, лежавшие в кармане, и оставался на другой день без обеда; это, брат, у нас наследственная помещичья безалаберность в обращении с деньгами. Спросить у тебя, сколько ты проживаешь в год — наверно, не знаешь [25].

Тургенев рассмеялся и отвечал:

— Скажу лучше — я не знаю даже, сколько прожил денег в мое короткое пребывание в Париже.

И Тургенев начал удивляться, как он ухитряется проживать столько денег и вечно сидеть без копейки.

Возможно ли, чтобы Тургенев, ведя с Некрасовым такой разговор об их расчетах, не упомянул ни слова о долге в 18 000 франков, если бы таковой действительно существовал? Да можно ли допустить, чтобы Тургенев, после того как Некрасов «прикарманил» у него 18 000 франков, продолжал бы по-прежнему находиться с ним в дружеских отношениях до тех пор, пока из-за статьи Добролюбова порвал с ним всякое знакомство и даже перестал кланяться, встречаясь на улице.

Однако можно предположить, что Тургенев видел во сне, будто передал Некрасову 18 000 франков, и этот сон

так живо запечатлелся в его памяти, что он смешивал его с действительными фактами.

Когда Некрасов узнал, что Тургенев взводит на него подобное обвинение, то у него разлилась желчь, он три дня не выходил из дому, никого не принимал, ничего не мог есть и находился в таком возбужденном состоянии, что до изнеможения ходил по кабинету из угла в угол.

Желая успокоить Некрасова, я советовала ему брать пример с покойного Добролюбова или с Чернышевского, которые относились к распространяемым о них клеветам с полнейшим презрением.

— Между ними и нами огромная разница, — отвечал Некрасов. — Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголочки, а под нашу можно бревна подложить. Они в своих нравственных принципах тверды как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя! Всем известно, что я имею слабость к картам, вот и может показаться правдоподобным, что я проигрываю чужие деньги.

— Но если ваша совесть не упрекает вас, то нечего и приходить в такое отчаяние.

— Большое утешение! Вообще в подобных случаях легко давать советы, но каково переживать такие минуты человеку... Право, уж прибавили бы за один раз, что видели, как я передергиваю в картах!..

Говоря это, Некрасов задыхался от волнения и после некоторого молчания прибавил:

— Мне в голову не приходило напомнить Тургеневу после нашей размолвки, что он мне лично остался должен около трех тысяч, а тем более рассказывать об этом всякому встречному, придавая грязную подкладку. Человек просто мог позабыть о долге, а если вспомнит, то сам отдаст. Положительно, только в умопомрачении можно наболтать на другого такую небывалую, позорную вещь. Я уверен, что Тургенев сам потом ужаснулся, до чего дал волю своей мести — и за что? за то, что я взял по справедливости сторону Добролюбова; да ведь Тургенев, с его умом, сам должен бы сознавать, что был неправ перед Добролюбовым. Вот до какого ослепления доводит бесхарактерность самого умного человека! Нажужжали ему в уши сперва про Добролюбова, а потом про меня, что мы ему враги. Дай ему бог побольше таких врагов, как я. Я был уверен, что, проведя вместе

нашу молодость, мы вместе проживем и нашу старость. Лучше бы он из-за угла убил меня, чем распространять про меня такую позорную небывальщину!

Некрасов весь дрожал, стиснул зубы, как бы боясь, чтобы у него не вырвалось стона, и быстро, порывисто зашагал по комнате.

Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он ни обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам. Я более никогда не слыхала, чтобы Некрасов сделал даже намек относительно враждебных к нему чувств и действий Тургенева; он по-прежнему высоко ценил его талант.

В характере Некрасова было много недостатков, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных литераторов мог упрекнуть его в зависти к их успеху на литературном поприще или в том, что он занимался литературными сплетнями. Некрасов никогда не обращал внимания на то, что ему говорили друг про друга литераторы, и, если между ними происходили ссоры, старался примирить враждующих. 〈...〉

Я уже говорила о том, что до редакции «Современника» доходили слухи о собиравшихся над ним тучах. И, действительно, гроза разразилась очень скоро. В начале июня 1862 года «Современник» лишился главного своего сотрудника[26], а вскоре за тем был приостановлен на восемь месяцев.

В 1863 году, после восьмимесячного отдыха, «Современник» снова стал выходить, к огорчению его недоброжелателей. Из числа этих недоброжелателей литераторы торжествовали было уже победу и пропели вечную память «Современнику», рассчитывая, что Некрасов не захочет больше возиться с изданием. Можно судить, как были они изумлены, когда разнесся слух, что «Современник» не только возникает вновь, но в нем будет напечатан роман Чернышевского.

Эти слухи были приписаны выдумке Некрасова с целью чем-нибудь заманить подписчиков.

Между тем редакция «Современника» в нетерпении ждала рукописи Чернышевского. Наконец, она была

получена со множеством печатей, доказывавших ее долгое странствование по разным цензурам.

Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, находившуюся недалеко — на Литейном, около Невского. Не прошло четверти часа, как Некрасов вернулся и, войдя ко мне в комнату, поразил меня потерянным выражением своего лица.

— Со мной случилось большое несчастье, — сказал он взволнованным голосом, — я обронил рукопись!

Можно было потеряться от такого несчастья, потому что черновой рукописи не имелось. Чернышевский всегда писал начисто, да если бы у него и имелась черновая, то какие продолжительные хлопоты предстояли, чтобы добыть ее!

Некрасов в отчаянии воскликнул:

— И черт понес меня сегодня выехать в дрожках, а не в карете!.. И сколько лет прежде я на ваньках возил массу рукописей в разные типографии и никогда листочка не терял, а тут близехонько не мог довезти толстую рукопись!

Некрасов не мог дать себе отчета, в какой момент рукопись упала с его колен:

— Задумался, смотрю: рукописи нет; я велел кучеру повернуть назад, но на мостовой ее уже не было, точно она провалилась сквозь землю... Что теперь мне делать?

Я торопила Некрасова написать объявление в газеты о потере рукописи и назначить хорошее вознаграждение за ее доставку. Некрасов назначил 300 рублей награды [27]. Он глухо обозначил, что это была за рукопись, так как ему, понятно, не хотелось, чтобы в литературной среде узнали о его потере и воспользовались этим для неблагоприятных толков; и он просил меня не говорить пока никому о случившемся.

Некрасов так был взволнован, что не мог обедать; был то мрачен и молчалив, то вдруг начинал говорить о трагической участи рукописи, представляя себе, как какой-нибудь безграмотный мужичок поднял ее и немедленно продал за гривенник в мелочную лавку, где в ее листы завертывают покупателям свечи, селедки, или какая-нибудь кухарка будет растапливать ею плиту и т. п.

На другое утро объявление было напечатано в «Полицейских ведомостях», и Некрасов страшно волновался, что никто не является с рукописью в редакцию.

— Значит, погибла она! — говорил он в отчаянии и упрекал себя, зачем он не напечатал объявление во всех газетах и не назначил еще больше вознаграждения.

В тот день, по обыкновению, Некрасов обедал в Английском клубе, потому что там после обеда составлялась особенная партия коммерческой игры, в которой он участвовал. Он хотел остаться дома, но за ним заехал один из партнеров и почти силою увез с собой.

Некрасов перед своим уходом пришел на мою половину и просил меня немедленно прислать за ним в клуб, если кто явится с рукописью, и удержать это лицо до его возвращения.

Не прошло четверти часа после его отъезда, как лакей пришел сказать мне, что какой-то господин спрашивает редактора. Я поспешила выйти в переднюю и увидала пожилого, худощавого господина, очень бедно одетого, с отрепанным портфелем под мышкой. Можно было безошибочно определить, что он принадлежит к классу мелкого чиновничества. Я его спросила — не рукопись ли он принес?

— Да-с... по объявлению... желаю видеть-с самого господина редактора, — конфузливо отвечал он.

Я пригласила дорогого посетителя войти в комнату и подождать несколько минут, и послала человека за Некрасовым в клуб, который помещался тогда очень близко, на Фонтанке, около Симеоновского моста, написав два радостные слова:

«Рукопись принесли».

Я начала беседовать с чиновником; он сперва конфузился, но потом разговорился и рассказал мне, что поднял рукопись на мостовой, переходя Литейную улицу у Мариинской больницы, и долго стоял, поджидая — не вернется ли кто искать оброненную рукопись.

Я спросила его, почему он раньше не принес рукопись.

— Газеты не получаю-с, со службы хотел зайти просмотреть газеты, да, уходя домой, случайно услышал от своих товарищей объявление о потере рукописи. Я-с прямо и пришел сюда.

Я успела узнать, что у чиновника большая семья: шесть человек детей и старуха мать, что он лишился казенной службы вследствие сокращения штатов, и теперь занимается по вольному найму в одном ведомстве

за тридцать пять рублей месячного жалованья и на эти деньги должен содержать всю семью.

Явился Некрасов и впопыхах, не снимая верхнего платья, вошел в комнату и спросил чиновника:

— Где рукопись?

Чиновник переконфузился и, запинаясь, отвечал:

— Дома-с... я пришел только...

Некрасов перебил его:

— Скорей поезжайте за ней, скорей!

Чиновник торопливо вышел из комнаты.

Я заметила Некрасову, что, может быть, у такого бедняка нет денег на извозчика. Некрасов вернул его и, вынув из бокового кармана пачку крупных ассигнаций, сунул ему в руку 50 рублей, говоря:

— Ради бога, скорей поезжай за рукописью!

— Какое счастье, что она нашлась! — радостно произнес Некрасов.

Но недолго продолжалось его радостное настроение: он начал волноваться от нетерпения:

— Вот дурак-то! дома ее оставил, жди теперь его.

— Чего ты теперь-то волнуешься? — заметила я. — Слава богу, она нашлась.

— Нашлась! Мало ли что может случиться: наедет на него карета... выпадет с дрожек!..

Должно быть, рукопись у чиновника находилась поблизости у кого-нибудь на хранении, потому что он никак не мог так скоро съездить на Петербургскую сторону.

Лицо Некрасова просияло, когда он увидал рукопись в руках вошедшего чиновника. Он отдал ему деньги, взял рукопись и стал пересматривать, в целости ли она.

Надо было видеть лицо чиновника, когда в его дрожащей руке очутилась такая сумма денег, вероятно в первый раз. Он задыхался от радостного волнения и блаженно улыбался; но, однако, торопливо возвратил 50 рублей Некрасову, проговорив:

— Это-с, что вы дали прежде.

Некрасов и позабыл об этих 50 рублях.

— Оставьте их у себя, пожалуйста! — отвечал Некрасов. — Есть у вас дети?

— Много-с!

— Так это им от меня на игрушки.

— Господи, господи! думал ли я, поднимая с мостовой рукопись, что через нее мне будет такое счастье! —

проговорил чиновник и стал благодарить Некрасова, который ему отвечал:

— И я вас благодарю за доставление мне рукописи.

Если бедный чиновник был счастлив, то Некрасов, конечно, не менее его. ⟨...⟩

День был неприемный, да и было еще очень рано, чтобы кто-нибудь из посторонних мог находиться в редакции. Я вошла в комнату, взяла со стола книгу и, когда повернулась, чтобы уйти, заметила господина, сидящего в углу. Это был молодой человек небольшого роста, в черном поношенном сюртуке, наглухо застегнутом. Он исподлобья взглянул на меня и мгновенно опустил глаза. Я подивилась, что человек Некрасова не предупредил посетителя, что ему придется очень долго ждать редактора. Некрасов вставал поздно. Выражение лица молодого человека было такое хмурое, что я не решилась предупредить его об этом и ушла из комнаты; встретив в передней лакея, я спросила его, почему он не предупредил посетителя, что ему придется ждать очень долго. Оказалось, что лакей предупреждал молодого посетителя, но тот ответил, что живет очень далеко и лучше подождет.

Я приказала человеку подать посетителю газеты, а в двенадцать часов послала ему стакан кофе с хлебом.

Я поинтересовалась узнать от Некрасова о терпеливом посетителе.

— Из Перми приехал, — ответил Некрасов, — принес свое произведение; я обещал ему дня через три посмотреть рукопись и дать ответ[28]. Пожалуйста, напомните мне завтра об этом. Видно по всему, что молодой человек, должно быть, в очень плохом денежном положении.

— Во всяком случае, если рукопись окажется плохой, то вы лично переговорите с ним. Как у приезжего, у него, может быть, нет никого знакомых в Петербурге.

Часто случалось, что Некрасов возвращал рукописи новичкам-авторам не лично сам.

— Конечно, переговорю с ним. Я проспал и спешу выехать, не успев хорошенько расспросить молодого человека, да и он сам не был расположен говорить, — сказал Некрасов и добавил: — Вы бы хоть начало рукописи прочитали, стоит ли мне и приниматься за нее.

Я вечером же села читать рукопись под названием

«Подлиповцы» и, не отрываясь, прочла ее всю. Я очень обрадовалась за молодого автора, так как не сомневалась, что он должен будет получить самый благоприятный ответ от Некрасова. Действительно, когда последний прочитал «Подлиповцев», то расхвалил их и при этом заметил мне:

— Вот опять поставят в укор «Современнику», что в нем печатаются произведения только одних семинаристов! Должно быть, сколько еще талантливых людей гибнет в этом сословии, если в короткое время из этой среды появилось столько писателей... Я пригласил Решетникова сегодня обедать; если он придет до моего возвращения, то примите его, а то, чего доброго, он убежит да еще обидится. Он смотрит совершенным медвежонком.

Решетников пришел за час до обеда. Я старалась занять его разговорами, но он отвечал мне только одними отрывистами «да» и «нет», и выражение его лица было так сердито, что я сочла за лучшее оставить его в покое.

Наружность Решетникова не отличалась ни красотой, ни здоровьем. Он был небольшого роста, держался сутуловато, цвет лица у него был бледный, а черты неправильные, рот очень большой, движения угловатые.

К обеду пришло еще несколько человек гостей. Решетников, видимо, неловко чувствовал себя в незнакомом ему обществе; он ничего не говорил за обедом, но его живые глаза перебегали от одного гостя на другого. К концу обеда хмурость его, однако, прошла, и он улыбался, слушая рассказ Некрасова, как его мальчиком с братом привезли в Ярославль готовиться к поступлению в гимназию и поселили на квартире с крепостным ментором, который обязан был присматривать за ними, чтобы они аккуратно ходили в класс к учителю, и готовить им обед. Но крепостному ментору после деревни представлялось столько соблазнов в Ярославле, что он, не желая возиться с стряпней, выдавал мальчикам на руки тридцать копеек, оставляя на их произвол продовольствовать себя. Мальчики очень были довольны своим ментором и, в свою очередь, нашли лучшим, вместо ученья, с утра отправляться на загородные прогулки, запасаясь хлебом и колбасой, и до вечера не являлись

домой. Но привольная жизнь крепостного ментора и его питомцев продолжалась недолго. Раз, вернувшись вечером с прогулки, мальчики пришли в ужас: их встретил отец, до которого дошли слухи о их привольной жизни. У крепостного ментора обе скулы были сильно припухши, и он был отправлен в деревню, а к мальчикам был приставлен другой ментор, тоже крепостной, но более старый и строгий. Они очень скоро подметили, что этот строгий ментор, уложив их спать, дозволял себе после дневных трудов выпить. Некрасов с братом вылезали из окна и отправлялись в трактир, где маркером был тоже крепостной их отца, отпущенный по оброку, и практиковались в игре на бильярде, быстро приобретали большие познания в ней, но зато в науках успехи их были очень плохие.

Некрасов был в духе, и его рассказ был очень комичен, особенно в описании двух дворовых, которых отец возвел в степень менторов.

Решетников, по приглашению Некрасова, приходил обедать каждый день, скоро перестал дичиться и часто после обеда подолгу сидел у меня. Он рассказывал о своем печальном детстве и юности, как убежал из бурсы, как, служа при почтовой конторе почтальоном у своего дяди, крал газеты, чтобы удовлетворить жажду к чтению, как открыли его проделку, найдя в пустыре, которым был огорожен двор, кучу газет, куда забрасывал их юный чтец. Рассказывал про свое пребывание в монастыре, куда его отправили в наказание. Страшно было слушать его рассказы — чего только он не перенспытал с раннего своего возраста! Удивительно, каким чудом могли в нем сохраниться его честный взгляд на жизнь, стремление к образованию, отзывчивость к ближнему и готовность помочь каждому, чем только мог. ⟨...⟩

Решетников рассказывал, что его поразила наружность Некрасова, когда он его увидел в первый раз.

— Я почти все стихотворения Некрасова наизусть знаю, я его себе представлял высоким мужчиной, с мужественной наружностью, с курчавой головой, — и вдруг вижу лысого, тщедушного, сгорбленного человека, с желтым лицом, говорящего сиплым голосом. Я и сам был взволнован, ничего не мог путем сказать, а тут еще хорошенько не мог расслышать вопросов Некрасова.

Я поскорей убежал, написал ему письмо, изложив то, что хотел ему сказать.

— Ваше письмо пришло тогда, когда уже Некрасов прочел половину «Подлиповцев», — сказала я.

— А я в это время места не находил, — продолжал Решетников. — Три дня для меня тянулись без конца. Зато, когда я уходил от Некрасова, так чуть на улице не пустился в пляс, что возвращаюсь от него без своей рукописи да еще с двумястами рублями в кармане, которые Некрасов дал вперед. Такой суммы отродясь у меня не было в руках, я только на полдороге очнулся и сознал, что могу взять извозчика, что я теперь богач.

А. Н. Пыпин

Александр Николаевич Пыпин (1833—1904) — известный историк литературы, профессор Петербургского университета (1860—1861), академик, автор ряда работ о литературно-общественном движении в России XIX века. Начал печататься в «Современнике» с 1854 года и вскоре стал одним из его постоянных сотрудников. В молодости Пыпин находился под обаянием поэзии Некрасова. В июле 1857 года он писал Чернышевскому из Саратова по поводу первого издания стихотворений поэта: «Когда увидишься с Некрасовым, передай ему мое глубочайшее почтение от моего лица и за много других лиц. Поблагодари его за книжку стихотворений, доставляющую истинное наслаждение его читателям. 〈...〉Да! Теперь Некрасов единственный поэт, которого может слушать порядочная публика...» (*ЛН*, т. 53—54, стр. 155). В письме от 3 декабря 1858 года чешскому филологу Вацлаву Ганке Пыпин писал: «Из современных поэтов больше всех любим Некрасов. 〈...〉Некрасов подлинный поэт, его поэтическая мысль всегда своеобразна, лишена всякой трафаретности. 〈...〉Мы ценим поэзию Некрасова как наиболее оригинальное и наиболее яркое выражение мыслей современного поколения» (цит. по статье: К. Пушкаревич, А. Н. Пыпин о Н. А. Некрасове. — Ученые записки Ленинградского пединститута имени М. Н. Покровского. Факультет языка и литературы. Вып. I, 1938, стр. 75, 76).

В 1863 году Пыпин стал членом редакции «Современника», а последние два года до закрытия журнала — его вторым ответственным редактором.

Пыпин не вошел в редакцию «Отечественных записок» из-за солидарности с Антоновичем и Жуковским. Он встал на их сторону в конфликте с Некрасовым, поддерживал их денежные претензии (см. прим. 26 к стр. 234), но по-прежнему проявлял интерес к творчеству поэта, к его делам. Получив от Некрасова «Отечественные записки» с поэмой «Княгиня М. Н. Волконская», Пыпин писал ему в январе 1873 года: «...она меня тронула, чего давно не случалось испытывать от последней нашей литературы. ⟨...⟩Повидаться с Вами было бы мне очень приятно; так давно уже мы не встречались» («Звенья», V, стр. 506). Он оставил записи своих бесед с Некрасовым во время его болезни (см. стр. 448—452).

Вскоре после смерти Некрасова Пыпин стал собирать материалы для биографии поэта — письма, воспоминания о нем. Особенно его интересовала история отношений Некрасова с Добролюбовым и Тургеневым в период, когда в редакции «Современника» назревал раскол. Летом 1881 года Пыпин получил от Тургенева письма Некрасова к нему.

В декабре 1883 года он обратился к Чернышевскому с просьбой изложить свое мнение о роли Добролюбова в журнале, о его влиянии на взаимоотношения Некрасова и Тургенева (ответ Чернышевского см. стр. 140). Однако его замысел составления биографии поэта не был тогда осуществлен. Пыпин вернулся к нему значительно позднее. В декабре 1902 года он сообщил корреспонденту «Петербургской газеты», что «намерен в самом недалеком будущем приняться за капитальный труд о Некрасове», в который также войдут его воспоминания о поэте (1902, № 345). Работа Пыпина была напечатана в журнале «Вестник Европы» (1903, №№ 11, 12; 1904, №№ 3, 4). Во вступительной статье к публикации писем Некрасова к Тургеневу Пыпин сформулировал свое отношение к поэту: «Я знал Некрасова давно; очень близок с ним я не мог быть, — слишком велика была уже разность поколений, — но я довольно близко его видел в делах журнальных. Не все мне было симпатично в этом характере; но большой ум, многие черты поэзии, тонкий литературный вкус были привлекательны; во всяком случае, это было замечательное лицо, о котором должна быть сохранена историческая память» (*ВЕ*, 1903, № 12, стр. 567).

⟨...⟩Я видел в первый раз Некрасова в 1854 году; в начале шестидесятых годов я принял близкое участие в «Современнике», когда он возобновился после закрытия его в 1861 году[1]. Это участие продолжалось до окончательного прекращения журнала в 1866 году. После того, — это было в те годы, когда Некрасов издавал «Отечественные записки» с М. Е. Салтыковым и другими, — я видал его мало, и нередко навещал его во время его последней продолжительной болезни. В первые годы знакомства и сложились мои представления о Некрасове; потом они мало изменились. Многое в этом характере не давало нравственного удовлетворения; но в общем счете и по силе благоприятных впечатлений, в моих впечатлениях скорее преобладали и преобладают симпатии.

Для всякой исторической оценки необходимым основанием должно быть определение условий времени и среды. Для более молодых поколений нашего времени эти условия обыкновенно совсем неизвестны, — или представляются только в общих чертах, без тех реальных подробностей, какие в свое время действовали в жизни каждый день и на каждом шагу. То время, когда складывался характер Некрасова, несомненно наложило на него свой отпечаток. Прежде всего, это было время полного разгара крепостных нравов и бюрократического самовластия. В так называемом обществе человек имел значение прежде всего или по числу принадлежащих ему «душ», или по служебному положению. У Некрасова не было ни того, ни другого. Известны рассказы о том, как он бедствовал, когда беспомощным юношей приехал в Петербург. Домашнее обучение было скудное; между тем он желал поступить в университет... Он не стеснялся своих бедственных воспоминаний и рассказывал, например, как он с грехом пополам учился латыни, необходимой для экзамена, у какого-то учителя из семинаристов, который принимал его в халате, подпоясанный полотенцем, и урок шел за штофом водки; этого учителя он, впрочем, хвалил, это был человек неглупый и учил хорошо[2]. Из этого ничего потом не вышло, потому что для дальнейшего ученья вообще было слишком много препятствий. «Петербургские углы», которые Некрасов описывал впоследствии, были известны ему

по наглядному собственному опыту. Таким образом, эта тяжкая и элементарная сторона жизни была одним из первых и довольно продолжительных опытов, какие пришлось ему изведать и которые, конечно, не могли не оставить своего трудно изгладимого следа. 〈...〉

Но в молодом человеке, так тяжело испытуемом судьбою, жило тем не менее решение не покоряться этой судьбе, приобреталось реальное знание жизни; закалялся сильный характер; но вместе с тем он и грубел. 〈...〉

Как я сказал, я почти в одно время познакомился с тем и другим журналом[3]. У Краевского собиралось по четвергам довольно многолюдное литературное и артистическое общество, очень разнообразное — тут были всего больше писатели, но бывали также художники, актеры, важные чиновники; в те годы Краевский был одним из самых видных, как бы «представителей печати». Здесь, например, я видел в первый раз А. П. Заблоцкого-Десятовского (еще в конце сороковых годов он поместил в «Отечественных записках» знаменитую статью «О колебании цен на хлеб в России» — это было замечательное, хотя по обстоятельствам времени очень прикрытое указание на ненормальность крепостного права);[4] здесь бывал В. В. Самойлов; здесь я в первый раз познакомился с И. Ф. Горбуновым, которого тогда вывез из Москвы Островский и который уже на первых порах производил большой эффект и имел успех в разных слоях петербургского общества; здесь бывал Писемский, Д. В. Григорович и пр.; бывали, наконец, и мои знакомцы по исследованиям в старой литературе; гости обыкновенно разбивались на отдельные кружки... Понятно, что этот круг представлял очень много интереса для меня, вчерашнего студента, уже начавшего «литературные изучения»; бывало много неизвестных мне раньше любопытных людей, сообщались литературные и общественные новости, между прочим, в это время готовился, а потом и совершился, столетний юбилей Московского университета, еще небывалое до тех пор научно-литературное торжество, происходил финал Крымской войны.

Совсем иного характера был кружок «Современника». Там не было «журфикса», на который могла собираться многолюдная и случайно соединявшаяся толпа. Сходился только определенный, ближайший кружок,

который обыкновенно и соединялся в одном общем разговоре... В первый раз, когда я видел Некрасова, он жил в доме, еще недавно сохранявшемся в том же виде на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы. Здесь у него я встретил в первый раз И. С. Тургенева.

При этом первом знакомстве с кружком редакции «Современника» я уже достаточно знал принадлежавших к нему лиц по их литературным трудам и репутации; уже вперед этот кружок имел для меня самый живой интерес. Действительно, здесь собрались самые лучшие силы тогдашней литературы — притом не в случайной встрече по журнальным делам (как это бывало в редакции «Отечественных записок»), а в сознательном единении, которое внушалось общими литературными взглядами и задачами, сродством художественного вкуса и взаимной оценкой,— и это единение переходило в дружеские отношения; многих (как, например, Тургенева, Григоровича, Анненкова, Боткина) связывало дружество еще со времен Белинского. В литературном отношении «Современник», без сомнения, был лучшим журналом того времени. Здесь начались и продолжались «Записки охотника» Тургенева, оставшиеся самым замечательным его произведением; помещались повести Григоровича (другие, второстепенные вещи его, как «Проселочные дороги» и т. п., помещались в «Отечественных записках»), здесь появлялись произведения Гончарова, Дружинина, художественно-критические статьи В. Боткина; в дружеских отношениях с редакцией был П. В. Анненков; далее, Ег. П. Ковалевский, В. П. Гаевский, братья Жемчужниковы и т. д. Нет сомнения, что писатель, которого можно было справедливо назвать писателем-художником, должен был гораздо больше тяготеть к редакции «Современника», чем к «Отечественным запискам». В последних для такого писателя был только один материальный вопрос — вопрос напечатания повести, романа и т. д. и гонорар; здесь, напротив, он мог быть уверен в интересе целого кружка к самому произведению, его художественному значению и общественному смыслу; в случае успеха, он мог ожидать искреннего сочувствия, а также и критики, внушаемой опытным вкусом, — того и другого всегда жаждет писатель-художник, серьезно относящийся к своему труду. Эти отношения чувствовались и впоследствии, когда я

ближе видал редакцию «Современника» и убеждался, что это было действительно так.

Кроме названных лиц, здесь встречались и другие известные писатели того времени: бывал Писемский, Я. П. Полонский; ни тот, ни другой не были, сколько припоминаю, частными посетителями; позднее, едва ли не после известных статей Добролюбова, бывал А. Н. Островский.

Характеры лиц были довольно разнообразны; но в целом это был, без сомнения, лучший литературный круг того времени. В самом деле, в этом кругу в известной степени чувствовалось превосходство над обычною массой тогдашней литературы. И это не было лишено основания: за этим кругом стояло славное предание Белинского и сороковых годов; высокая степень дарований, литературного вкуса и опыта. К этому чувству превосходства присоединилось, вероятно, и некоторое, уже не зависевшее от литературы, барство. Кружок мог напоминать слова г-жи Сталь, что в России несколько «gentilhommes» * занимается литературой **. Большею частью это были люди именно дворянского круга, с еще привычными тогда его чертами; последние принимались и другими, у которых дворянское барство заменялось барством купеческим, как, например, у В. П. Боткина.

Самым сильным по таланту и самым крупным по литературному значению (до Л. Н. Толстого) в этом кругу был, несомненно, Тургенев; по уму и общественному пониманию едва ли не превосходил всех Некрасов. Некоторые особенности этих двух характеров бросились мне в глаза, когда я увидел их обоих, придя в первый раз к Некрасову. Некрасов заговорил просто, прямо о деле; обо мне он знал раньше. С Тургеневым у меня дел никаких не было; мое имя он знал и был любезен, но с некоторым, правда, едва заметным тоном покровительства, — быть может, такой тон казался ему естественным относительно молодого человека, впервые вступавшего в литературную жизнь. Эта черта известного, хотя и прикрываемого, высокомерия иных прямо раз-

---

* Джентльменов (*франц.*).

** 〈...〉 Фет, отчасти примыкавший к этому кругу, с некоторой гордостью утверждал, что тогдашняя литература была «дворянская» — он скорбел, что потом в эту литературу вошли «разночинцы», а из прежних деятелей многие изменили «дворянским интересам» (во время освобождения крестьян). (*Прим. А. Н. Пыпина.*)

дражала. Она, действительно, бывала иногда заметна и, следовательно, неуместна, и я не сомневаюсь, что она, наряду с другими подобными чертами характера, была в числе тех мотивов, которые, несмотря на значительную долю благодушия, уже вскоре стали создавать холодное отношение к Тургеневу — от «Современника» половины пятидесятых годов до «Отечественных записок» времен Салтыкова в семидесятых. Тургенев в кружке Некрасова был интересный собеседник, между прочим, по обширному знанию европейской литературы. Здесь вровень с ним стоял А. В. Дружинин, который, впрочем, особенно увлекался тогда и после «британской» литературой. Бывший гвардейский офицер, кажется, довольно богатый человек, Дружинин держал себя английским джентльменом, строго корректным во внешности и манерах; при всей этой немного искусственной и, по-английски, холодной манере, он был очень хороший человек, — недаром из «британской» словесности он вычитал идею литературного фонда и был первым инициатором нашего учреждения этого имени[5]. Боткин только по временам жил в Петербурге и тогда бывал частым посетителем Некрасова. Когда мы видели его здесь, время дружбы с Белинским давно миновало; характер немало изменился в сторону деловых интересов и приемов; он был тогда главным руководителем богатой фирмы. По-видимому, издавна принадлежала ему свойственная его практической деятельности сухость; он не был приветлив; из молодого поколения он, кажется, не сблизился ни с кем; в особенности он считал себя судьей в деле художественной критики, и немалая опытность у него, несомненно, была. Со старыми друзьями, как Некрасов, Тургенев, у него были короткие отношения, и я припоминаю, как он делал желчные выговоры Тургеневу за его эстетические ошибки. Дело в том, что Тургенев был очень податлив на покровительство молодым талантам. В это время, около половины пятидесятых годов, он отрекомендовал Краевскому одну повесть, о которой наговорил и своим друзьям в «Современнике»; когда повесть явилась в печати, Боткин прочитал ее и обрушился на Тургенева — как он мог видеть в повести какие-то достоинства, которых в ней вовсе не было, что нельзя судить так легкомысленно и т. д.; Тургенев не находил оправданий[6].⟨...⟩

Пятидесятые годы, именно их середина, были знаменательным временем в целой новейшей русской истории, временем кризиса в жизни государства и великого перелома в умах общества и даже народа. То был канун и вскоре начало Крымской войны. Литература переживала тяжелое время. Под гнетом цензуры трудно было сказать что-нибудь живое, стать в какой-либо степени не то что органом, но хотя бы слабым отголоском общественного мнения. Это было то время, когда по внушениям «негласного комитета» [7], который был настоящим пугалом литературы и самой цензуры, распространилась особенная боязнь печатного слова и преследование всякого намека на критическую мысль... Гроза была неотвратимая, и с нею нужно было считаться, чтобы сохранить существование журнала. Одного специального цензурного учреждения казалось мало: каждое министерство или крупное ведомство имело особых цензоров из своих чиновников, которые должны были просматривать или целые статьи, или отдельные места, где речь касалась их компетенции. Обыкновенный цензор отмечал в посылаемых ему корректурах, что статья или отчеркнутое место должны были быть направлены к особому цензору того или другого ведомства. Сколько помню, тогда насчитывали до семнадцати подобных цензур. Понятно, что такое положение вещей не представляло для редактора журнала ни удобства, ни удовольствия: во всяком случае, это была неприятная проволочка, которой старались избегать... К счастью, специальным цензором «Современника» был тогда В. Н. Бекетов, человек более или менее простой, довольно благодушный и благожелательный. Конечно, сам находясь под ферулой, он не мог уступать и не уступал своих цензорских обязанностей, но, по крайней мере, он не был мелочен и не прибавлял к обязанностям официальным личной придирчивости и каприза. Я много раз встречал его за обедами или ужинами Некрасова.〈...〉

В тяжелых условиях времени, для журнала, который в конце сороковых годов начат был деятельностью Белинского, невозможно было думать о непосредственном продолжении начатого Белинским. На ту минуту не было и людей, которые были способны к юношескому энтузиазму Белинского, — мы увидим дальше, что сталось с его ближайшим другом Боткиным (который, впрочем, и никогда не был близким участником жур-

нальной работы) [8]. Но так или иначе, завет Белинского не иссяк совсем. Высоко ставилось дело литературы; с делом литературы само собою соединялось (у более серьезных людей) и предполагалось известное нравственное достоинство и общественная обязанность. В журнале соединились лучшие литературные силы; к нему примыкали и несколько замечательных людей другой области, ученые и публицисты. В первое время журнала в нем работал Кавелин; присылали свои труды С. М. Соловьев, А. Н. Афанасьев, И. Е. Забелин; много работал Владимир Милютин; одно время усердным сотрудником был Ушинский и т. д. В 1853 к блестящей плеяде Тургенева, Гончарова, Григоровича присоединилось имя, или, на первое время, три буквы, которые тотчас привлекли всеобщее внимание [9]. Эти буквы были Л. Н. Т. «Детство», «Отрочество», «Юность» и вскоре затем «Севастопольские рассказы» поставили гр. Л. Н. Толстого в первом ряду русских писателей. О нем самом пока знали только по слухам, и в первый раз в литературных кругах увидели его в 1856 году, когда, после севастопольской осады, он приехал в Петербург; его приняли с распростертыми объятиями...

В этом характере журнала и в этом составе редакции вступил в «Современник» Н. Г. Чернышевский и, года через два потом, Добролюбов [10]. Положение вещей было таково. На первый раз вступление Н. Г. Чернышевского в редакцию не произвело на членов кружка особенного впечатления, — но уже вскоре, при всем согласии основных стремлений к успехам литературы, сказалась весьма существенная разница в понимании ее общественного значения. Различие этих оттенков восходило к различию понятий теоретических и общественно-исторических. ⟨...⟩

Если принять буквально все отзывы Тургенева, Фета и прочих, роль Некрасова была относительно их какая-то предательская: он удерживал в редакции лиц, неприятных старым друзьям, а последних уверял, что ужасно их любит... Некоторые историки и решали вопрос категорически против Некрасова — на основании отзывов Тургенева, Фета и прочих, но, в сущности, наобум...

Вражда между прежними друзьями бывает обыкновенно самая раздражительная и ядовитая. Так было и здесь — со стороны врагов Некрасова, потому что с его

стороны не видим такого озлобления. Прежде всего, отзывы Тургенева и его друзей выражали, конечно, их личное мнение, и в этом смысле историк и может приводить его; но было бы слишком поспешно заключать, что это мнение было совсем правильное. Напротив, это мнение очень часто было предвзятое, внушенное раздражительной нетерпимостью, иногда мелочной, которая была, к сожалению, в характере Тургенева, по свидетельству самих его ближайших друзей. Например, Тургенев не однажды говорит о «штуках» Некрасова, состоявших в том, что, не принимая чью-нибудь статью в журнал, он ссылался на «сотрудников», которые, по его словам, этого не желали. Эта ссылка была, по утверждению Тургенева, только «штукой»; в действительности, эта ссылка могла быть совершенно справедлива, потому что, раз предоставивши сотрудникам участие в ведении журнала, Некрасов не мог не слышать их мнений; взгляды во многих отношениях бывали иные, чем прежде, и люди были иногда вовсе не уступчивые, — как прежде, например, Добролюбов, впоследствии Елисеев или Салтыков... Скажем даже больше: Некрасов — в том, что Тургенев называл его «штуками» («я их знаю»)[11], — вовсе не прятался за «сотрудников»; в действительности ему просто приходилось иногда уступать им. Дело в том, что в общем Некрасов соглашался с основным характером их понятий, но во многих частностях, вероятно, с иным не соглашался; иным, быть может, даже несколько тяготился, но предпочитал уступать мнениям сотрудников, чем начинать раздор. Прибавим еще, что в последние годы он вообще был как будто утомлен и меньше работал для журнала, чем в первые годы, когда на нем лежала почти вся тяжесть дела. Источником заблуждения Тургенева было именно то, что Тургенев знал эту прежнюю журнальную работу Некрасова, но он не знал последующего хода дела; в прежнее время Некрасов был главный хозяин и главный работник в журнале; потом болезнь и пребывание за границей прервали его постоянную работу по журналу, а потом, вернувшись, значительную долю этой работы прямо передал сотрудникам. Чернышевский и Добролюбов оба много работали, и Некрасов очень ценил их труды по самому существу.

Здесь, а не в каких-нибудь журнальных мелочах, и заключалась основная причина раздора. В «Очерках

гоголевского периода»[12] подробно изучен был ход развития новейшей русской литературы и указано было то ее великое приобретение, что она становилась художественным выражением живой общественной действительности. Высшим выразителем этого момента художественного развития представлялся Гоголь; одушевленным критическим истолкователем его был Белинский. Было совершенно естественно, и вместе чрезвычайно любопытно и поучительно, понять сознательно этот исторический момент, в котором заключалось и указание на дальнейший труд, предстоявший для деятелей русского художества и критики. Естественно также, что критика не ограничивалась только чисто эстетическими соображениями, но все более обращалась на эту общественную сторону, и когда стало несколько возможно, вопросы общественные стали господствующим интересом. Известно, что Белинский в последние годы его деятельности именно искал для литературы этого реального общественного содержания, и то направление молодых литературных поколений, которое казалось новым, в сущности было развитием мыслей и стремлений Белинского.

Друзья старого кружка редакции этого не понимали. Из дальнейших сопоставлений мы увидим, что новая критика была им неприятна; «политика», то есть вопросы общественные, была неинтересна; «разные экономические вопросы» (а речь шла об освобождении крестьян) просто невразумительны[13]. Словом, интересы молодых поколений, — те самые, которые подняты были в тревожную пору Крымской войны и волновали лучшую часть общества, — были как будто чужды старым друзьям, когда, напротив, для молодых поколений это были интересы животрепещущие.

Но то, что было чуждо или нелюбопытно старым друзьям, было Некрасову вполне понятно, — и нетрудно было человеку, несколько восприимчивому к общественным вопросам, понять, в годы кризиса Крымской войны, общественное возбуждение; понять, что оно должно было быть тем сильнее в поколениях молодых, всегда наклонных к идеализму и еще не успевших зачерстветь в рутине себялюбия и самодовольстве. Некрасов сумел понять идеалистическое настроение, представителями которого были два новые сотрудника журнала. С другой стороны основою дружеских отношений с ними была собствен-

ная деятельность Некрасова: в эти самые годы его поэзия получила тот характер, который и сам Тургенев, не признававший его поэзии, признал в своем отзыве (в декабре 1856) о первом его сборнике: «а Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, — жгутся»[14]. Так и принимало их в особенности молодое поколение, искавшее наконец в литературе какого-либо ответа на свои общественно-идеалистические мечты и порывы. Здесь была прочная почва для взаимного понимания. Некрасов видел интерес первых работ своих новых сотрудников и естественно мог им сочувствовать. Он видел, что в общественном настроении начинается перелом, — которого давно надо было ожидать, — и что литература, чтобы сохранить свой давний исторический смысл, должна удовлетворить нравственным требованиям общества. Взаимное понимание выразилось в том, что в «Современнике» основан был тогда новый отдел — «Заметки о журналах», который доставлял повод касаться различных вопросов, затронутых литературой, и становился публицистикой. Заметки введены были Чернышевским, но (вначале, сколько и я помню) иногда с близким участием Некрасова: есть страницы, начатые одним и продолженные другим *. Некрасов таким образом непосредственно знал новое направление и во многом сполна разделял его: без сомнения, он понимал значение и своевременность «Очерков гоголевского периода», понимал упомянутый шуточный разбор детской книжки[16], понимал колкое стихотворение Добролюбова после поминального обеда[17] и т. п., видел, что тут есть правда, и вовсе не раздражался... Он сознавал, что более верными хранителями предания Белинского были не собеседники поминального обеда, а люди нового поколения.

Очевидно, что Некрасову было нетрудно прийти к этим впечатлениям и заключениям; но этого не могло понять, и помириться с этим, большинство старых друзей. Им представилось, что это только расчет и потом измена старым друзьям; когда при этом Некрасов продолжал высказывать им дружеские чувства, это считали лицемерием и обманом. Взглянув на дело проще, не-

---

* В. П. Горленко, в статье о литературной деятельности Некрасова (в «Отеч. записках», 1878, декабрь) приписал «Заметки о журналах»[15] сполна Некрасову, но это совсем неверно. ⟨...⟩ (*Прим. А. Н. Пыпина.*)

трудно видеть, что для человека спокойного разница взглядов, собственно теоретических, нисколько не вызывала надобности забыть дружеские отношения, существовавшие многие годы. Несомненно опять, что Некрасов в этом случае вовсе не лицемерил, и когда он старался сглаживать возникавшие столкновения, он оберегал старых друзей, в душе считая их раздражительность неуместною и мотивы — мелочными. Всего больше он был привязан к Тургеневу, и об этой привязанности он говорил мне в последние дни своей жизни, когда я навещал его и когда, в минуты облегчения своих страданий, он обращался к воспоминаниям о старых временах [18].

Н. Г. Чернышевский

Н. Г. Чернышевский (1828—1889) теснейшими узами связан с жизненной и творческой судьбой Некрасова. С 1853 года он начинает печататься в «Современнике». В конце 1854 года, оставив сотрудничество в «Отечественных записках», Чернышевский переходит в журнал Некрасова и Панаева, где вскоре начинает в значительной мере определять направление журнала. Уже в 1856 году, отправляясь за границу, Некрасов оставляет его полновластным редактором «Современника». Дружески деловые отношения Чернышевского с Некрасовым перерастают постепенно в тесную душевную приязнь людей, близких по убеждениям и общему делу, одушевленных идеей быть полезными русскому обществу. «Нельзя его не любить, — пишет о Чернышевском Некрасов в 1861 году Добролюбову, — и вот что, репутация его растет не по дням, а по часам — ход ее напоминает Белинского, только в больших размерах» (X, 447). В 1863 году Некрасов опубликовал в «Современнике» роман «Что делать?» находящегося под следствием Чернышевского. В период его заключения в Петропавловской крепости и в годы ссылки Некрасов оказывал материальную помощь его семье. Ему посвящает он свое стихотворение: «Не говори: «Забыл он осторожность...» — одно из самых задушевных своих поэтических раздумий.

В свою очередь Чернышевский питал к Некрасову самую искреннюю и неизменную симпатию. Он высоко ценил его душевные качества, его оригинальный и

смелый ум, сильную волю. В поэтическом даре Некрасова он уже в 50-е годы видел «прекрасную надежду» русской литературы, «талант первоклассный» (*Чернышевский*, т. XIV, 325, 315). С годами это убеждение окрепло. Чернышевский был один из немногих, кто еще при жизни Некрасова назвал его великим поэтом России.

В годы сибирского заточения Чернышевский остается, как и прежде, горячим поклонником поэзии Некрасова, с безграничным уважением говорит о его гражданском мужестве как редактора «Современника»: «Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его заслуги» (*Чернышевский*, т. XV, 793). «Отечественные записки», издаваемые и редактируемые Некрасовым, которые Чернышевский получал в ссылке, продолжали поддерживать эту прочную его духовную связь с поэтом. В 1877 году, узнав о безнадежном состоянии Некрасова и о близкой и неотвратимой его смерти, Чернышевский, потрясенный этой вестью, шлет ему слова последнего привета в письме к А. Н. Пыпину от 14 августа 1877 года: «Скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов» (*Чернышевский*, т. XV, 88).

Воспоминания Чернышевского освещают разные периоды жизни поэта. Здесь и первые впечатления, вынесенные Чернышевским из встреч с Некрасовым в начале 50-х годов, и рассказ о драматическом эпизоде раскола в «Современнике», событии, которое послужило поводом для множества сбивчивых, а порой и откровенно предубежденных суждений о Некрасове. История этих воспоминаний, написанных почти одновременно, такова. В августе 1877 года Чернышевский получает в Виллюйске весть об умирающем Некрасове. «Последние песни», которые он читал и которые казались ему рожденными тяжелым душевным состоянием поэта, в действительности, как он узнал, — отзвуки приближающейся трагической развязки. «О Некрасове я рыдал, — пишет Чернышевский, взволнованный рассказом о мучительном его угасании, А. Н. Пыпину, — просто: рыдал по

целым часам каждый день целый месяц, после того, как написал тебе о нем» (*Чернышевский*, т. XV, 150). В письмах Чернышевского этой поры появляются отдельные характеристики Некрасова, наброски воспоминаний об эпизодах из его жизни и его окружения. Пыпин поддержал это желание воскресить былое. В ноябре 1883 года, сообщая Чернышевскому о намерении довести свои занятия историей русской литературы до 50-х годов XIX века, он обращается к Чернышевскому с просьбой помочь заполнить своими воспоминаниями пробелы в его памяти: «Ты сделал бы мне теперь великое одолжение, если бы написал мне — когда будет охота, конечно, — свои воспоминания о 50-х годах... Некрасов, Тургенев и пр. уже принадлежат если не истории, то биографии; она теперь начинает интересовать общество» (Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. 3, М.—Л. 1930, стр. 540). В декабре 1883 года Чернышевский приступает к работе над своими воспоминаниями. Они должны были составить, по мысли автора, два раздела. Первый — о Некрасове, другой — «о всех остальных». Результатом этой работы оказались, однако, всего лишь «Воспоминания о Некрасове». Начав, по собственному признанию, со «второго отдела», Чернышевский закончил тем, что отправил рукопись в печь и обратился к рассказу о своих встречах с Некрасовым. «Его я любил, — пишет Чернышевский А. Н. Пыпину. — Потому мои воспоминания о нем не будут, вероятно, действовать на тебя неприятным тебе образом» (*Чернышевский*, т. XV, 434). Рукопись первого фрагмента «Воспоминаний» была отправлена с письмом к А. Н. Пыпину 9 декабря 1883 года.

Чернышевский, очевидно, предполагал продолжать свои воспоминания о Некрасове, когда 20 декабря 1883 года отправлял А. Н. Пыпину второй фрагмент обещанной рукописи (см. заключительную фразу «Воспоминаний о Некрасове», стр. 140). Продолжения воспоминаний, однако, не последовало. Чернышевский, уже отправив этот текст, получает письмо А. Н. Пыпина от 24 декабря 1883 года, где его корреспондент, в ответ на его предложение присылать интересующие его вопросы, предлагает ему вопрос: «о деятельной роли Добролюбова в журнале» и «об отношениях его со старым кружком журнала». «Мне было бы очень любопытно иметь об этом более точные сведения, — пишет А. Н. Пыпин Чернышевскому, — в частности, об его

встречах и отношениях с Тургеневым» (Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. 3, М.—Л. 1930, стр. 542). Ответом на вопрос А. Н. Пыпина и явились «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым». В письме к Ю. Пыпиной от 21 января 1884 года Чернышевский сообщает, что вместе с письмом отправил посылку для «передачи Сашеньке» — А. Н. Пыпину (*Чернышевский*, т. XV, 447). А. Н. Пыпин в этих действительно заботливых и трогательных отношениях с Чернышевским остается историком литературы, отлично отдающим себе отчет в том, какое значение для будущих исследований эпохи 50—60-х годов могут иметь воспоминания Чернышевского — крупнейшего из деятелей этой литературной поры, непосредственного участника многих событий в редакции «Современника», известных именно ему, пережитых некогда им самим и приобретающих в его изложении строгую доказательность, бесспорную достоверность.

Воспоминания Чернышевского — драгоценный источник для характеристики личности Некрасова. Они пишутся в то время, когда литература, посвященная Некрасову, полна очевидных кривотолков и достаточно поверхностных заключений. Чернышевский тогда и произносит свое «доброе слово» о нем, поэте и человеке. Он основывается исключительно на своих впечатлениях и предлагает нам не итог, а сам процесс работы своего сознания, само былое. Он восстанавливает факты, сопоставляет события, постигает их скрытый смысл. Время, однако, наложило свой отпечаток и на эти воспоминания: отдельные хронологические вехи порой смещаются; важнейшие события литературной эпохи в сознании автора трансформируются. Чернышевский, например, склонен преуменьшать свою роль в истории разрыва либеральной группы литераторов с «Современником», выдвигая на первый план, по своему обыкновению, Добролюбова; что касается Тургенева, то он не всегда в столь неприглядном свете рисовался автору воспоминаний: в середине 50-х годов он для него — «честнейший и благороднейший человек между всеми литераторами» (*Чернышевский*, т. XIV, 330).

Некоторая фрагментарность воспоминаний не лишает их глубины и значительности характеристик, касающих-

ся и общих закономерностей литературного процесса, и роли в нем отдельных его участников.

Не идеализируя личности Некрасова, Чернышевский с большой душевной теплотой рисует в своих воспоминаниях образ человека, каким сохранила ему его память, — не лишенного слабостей, но сердечного и великодушного, проницательного редактора, литературного деятеля, оказывавшего огромное влияние на сознание современников.

I

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

Мы приехали в Петербург в мае 1853 ⟨года⟩, Оленька и я [1]. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А. А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым. Краевский стал давать мне работу в «Отечественных записках», сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в «Современнике». Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, Панаев. Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде, чем я нашел случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей, знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники «Современнику». Пусть я приду завтра утром. Я пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принес Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в «Современнике», и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить.

Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило увидеть его таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне в ответ на мой поклон, и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел...» спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев...» — я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву — это была минута или две, — он повернул, — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека, и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от своего знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот, прежде познакомься: это —»... он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь, сказал своим шепотом «Здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне — дальше двери, — где сидели

Панаев и я, и, приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шепот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поравнялся с ним; и поравнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может, пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще о том, что относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уже несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, остававшиеся у меня, я отдал две недели тому назад ***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал деньги. «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будéте работать для «Современника», сколько будете успевать. Пойдем ходить по комнате». Я встал, и мы пошли ходить по комнате.

Этому началу первого моего разговора с Некрасовым теперь двадцать девять лет[2]. Разумеется, я не могу

ручаться, что помню слово в слово то, что говорил он в эти две, три первые, навсегда установившие мои отношения к нему, минуты, пока я сидел, а он оставался стоять. Но смысл и тон был тот самый, это прошу считать достоверным.

Мы стали ходить по комнате. Он говорил мне о денежном положении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую правду, безо всякой утрировки. (Я довольно скором времени стал сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существенные черты тогдашнего положения «Современника» были: он обременен большими долгами за прежние годы издания. (Не умею теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, около конца осени 1853 ⟨года⟩, быть может, не очень ошибаюсь, думая, будто мне помнится. что сумма долгов за прежние годы была около 25 000.) Расходы по изданию едва покрываются с году на год подпискою; да и то лишь при помощи кредита: те из расходов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор — Прац (хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). Он человек с хорошим состоянием, много денег лежит у него в запасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты долгов за прежние годы с году на год и отсрочку уплат за каждый текущий год до новой подписки. И он не алчный человек, не ростовщик; проценты берет не грабительские. Но цены работ в его типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он берет дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хорошими рисунками и на дорогой бумаге. А в журнале, печатающемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. (Если не ошибаюсь, тысячи четыре рублей в год.) Следовало бы перенести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. Но до сих пор не было возможности сделать этого, потому что журнал связан с типографиею Праца долгами ее хозяину. — И так далее, и так далее, с этою же точностью вел Некрасов подроб-

ный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения журнала. Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современника», он перешел к рассказу о своих денежных отношениях к журналу. Хозяин, и по совету, и по деловому расчету, не он один; Панаев имеет на журнал равные с ним денежные права. А Панаеву нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он легкомысленный ветреник, любит сорить деньги. «Я держу его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. Но за всякою мелочью не усмотришь; коечто он успевает захватить из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия[3]. А надобно же нам с ним и жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство с ними стоит очень дорого, потому что для этого надобно жить довольно широко. Но это расход, необходимый для поддержания журнала», — и так далее, обо всем, относящемся к личным расходам Панаева и его самого, и обо всем, тому подобном. «Сам я не в тягость кассе журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из нее или занимаю, делая заем иногда как заем журнала у книгопродавцов, в магазинах которых его конторы; в особенности у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при магазине Базунова). «Вообще, я расходую и деньги подписки, и займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы уплачиваю всегда все. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов, в вознаграждение себе за редакторский труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но — не могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж очень порядочные деньги. Но как наберется у меня столько, чтоб можно

было начать играть в банк, не могу удержаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю все, с чем начал игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы журнала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться» *. Он продолжал говорить, объясняя мне, какие расчеты и надежды можно иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и заключил свое всестороннее, точное объяснение всего выводом совета мне:

«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журналы не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев говорил, вы уж работаете для Краевского. Он враг нам, то есть мне. Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор,

---

* После, когда возобновлял он разговор о том, что, как начнет играть в банк, непременно проигрывается, я стал объяснять ему, почему это неизбежно должно всегда бывать так: он тогда понтировал; а по условиям игры в банк понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает. Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок дает понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, которые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остается проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести возможность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу оборотов игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает.

как найдете лучшим для вас. А пока я буду — я уж говорил — до новой подписки буду давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у меня денег дать вам. Начнется подписка, вы будете писать для меня столько, сколько будете успевать писать». После этого он повел разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» на следующий месяц, и соображать, какую работу и сколько работы для этой книжки даст он мне.

Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков был первый его разговор со мною.

Я полагал, что человек, говорящий так просто и прямодушно, заслуживает полного доверия. Само собою разумеется, что это оказалось справедливым. Я постоянно видел, что Некрасов держит себя относительно меня совершенно так, как обещал.

Когда Краевский увидел, что Некрасов считает меня полезным сотрудником, стал и сам считать меня таким. Это предсказание Некрасова сбылось; и дело пошло дальше тем самым ходом, как он предсказывал. Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудости кассы и шаткости дел «Современника», о денежной надежности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предвидел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и шаткости положения «Современника» благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему. У него иной раз мало, иной раз вовсе нет денег. Но он все-таки не допустит меня слишком нуждаться: как, при безденежье, берет у Базунова или у

какого-нибудь другого книгопродавца деньги для своих безотлагательных надобностей, так будет находить деньги и для моих. Он полагает, что ему недолго остается жить на свете. Это, вероятно, так. Но это лишь вероятность. А пока он жив, он не допустит меня нуждаться, это не вероятность, а достоверность. Потому не будет ли мне благоразумнее, наперекор его совету, держаться его? Краевский несколько раз возобновлял разговор о своем желании, чтоб я работал исключительно для него, и с каждым разом говорил настойчивее. Я по-прежнему отвечал ему, что посоветуюсь об этом с Некрасовым; говорил с Некрасовым снова и снова, и слышал от него все прежний совет: «Благоразумнее будет вам держаться Краевского». Наконец, Краевский сказал мне то, чего, как предсказывал Некрасов, да и сам я теперь понимал, следовало ожидать: «Вам нельзя участвовать вместе и в «Отечественных записках» и в «Современнике». Вам надобно выбрать между мною и Некрасовым». Я отвечал: «Почему ж нельзя мне участвовать вместе в обоих журналах? Участвуют же в них очень многие другие». — «Это совсем не то, — сказал Краевский. — Другие, на которых вы ссылаетесь, кто они, чем участвуют они в журналах моем и Некрасова? Это поэты, беллетристы. Написал стихи или роман, отдал редактору, и только всего. Участия в редакционной работе они не принимают. Я не говорю с ними о делах моего журнала; Некрасов не говорит с ними о делах своего. Они посторонние журналам люди, и отношения между журналами не касаются их. Ваше положение не то. Вы пишете статьи в тех отделах журналов, которые составляют редакционную часть их; вы участвуете в редакционной работе. Я говорю с вами о делах моего журнала, Некрасов о делах своего. Вы по необходимости вмешаны в отношения между нами и нашими журналами. А эти отношения враждебны. Помогать вместе и мне и Некрасову — это неудобно. Ваше участие в редакционной работе и у меня и у Некрасова растет, и отношения, бывшие прежде только неудобными, становятся неудобными до невозможности. Нельзя долее откладывать решение. Чтобы быть сотрудником «Отечественных записок», вы должны отказаться от сотрудничества в «Современнике». Откажитесь». — Я отвечал, что посоветуюсь с Некрасовым. Он, выслушав, чем мотивировал свое требование Краевский, сказал: «Теперь, когда вы услышали это от него,

я скажу вам, что он прав. Ваше положение сотрудника в двух враждебных один другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для вас предположениям. Вы живете вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в «Современнике» против «Отечественных записок», в «Отечественных записках» против «Современника». Говорят, вы передаете мне редакционные тайны «Отечественных записок», а Краевскому редакционные тайны «Современника». Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаете ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасаюсь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель. Он совершенно вправе находить невозможным, чтобы вы, участвуя в его журнале, оставались сотрудником моего». Я понял, что действительно хочу невозможного, желая убедить Краевского отказаться от его требования, и сказал Некрасову, что, убедившись теперь в необходимости сделать выбор между ним и Краевским, я откажусь от сотрудничества Краевскому. Он отвечал: «Не пришлось бы вам раскаиваться. Подумайте хорошенько». Я отправился к Краевскому и сказал, что, убедившись в основательности его требования, благодарю его за расположение, которое он постоянно оказывал мне, и прошу его принять без гнева мой отказ от сотрудничества ему. Он ждал противоположного и сказал это без утайки; не стал скрывать и того, что не может не осуждать моего решения, кажущегося ему неблагоразумным; но прибавил, что, бывши в самом деле расположен ко мне, останется, несмотря на досаду, которую я сделал ему своим неблагоразумным выбором, человеком, искренно желающим мне добра. Словом, он держал себя при прощаньи со мною, как прилично человеку хорошего тона и, в сущности, не дурной души. Кстати замечу, что во все продолжение моего сотрудничества он был неизменно ласков и искренно доброжелателен ко мне, так что я не могу сказать о его отношениях ко мне ничего, кроме

хорошего; и насколько я знаю его — а я мог в то время узнать его довольно близко, — я знаю его за человека не дурного. Когда я пришел к Некрасову и сказал, что остался при своем решении и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: «Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может, вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским».

И, разумеется, я не имел причины раскаиваться. Об этом нечего и говорить; потому что, если б я не был доволен своими отношениями к Некрасову, что ж помешало бы мне, сделавшемуся через несколько времени человеком, пользующимся расположением публики, возвратиться к Краевскому? Он не отказал бы мне в хороших условиях сотрудничества. Нуждается ли эта моя уверенность в доказательствах? Вероятно, нет. Но если бы нуждалась, достаточно припомнить один из многих фактов, отнимающих возможность сомнения. Когда я начал писать для «Современника», самым важным и самым деятельным сотрудником по собственно журнальным отделам его был Дружинин. Этот бойкий журнальный работник любил мальтретировать тех, нападать на кого приходила ему охота; а охота полемизировать была у него чрезвычайно сильная. Главною целью своих нападений он избрал Краевского и восхищался тем, что постоянно раздражает его своими насмешками. Когда Некрасов говорил с людьми, близкими и ему и Краевскому, что вражда между «Современником» и «Отечественными записками» дело напрасное и что лучше бросить ее, Краевский возражал, что он не может примириться с «Современником», пока в этом журнале пишет Дружинин; если Некрасов перестанет позволять Дружинину нападать на него, этим он не может удовлетвориться; в наказание за обиды ему Дружинин должен быть выгнан из «Современника»; он не может допустить, чтобы такой дрянной забияка оставался терпим в литературе. Когда я стал писать исключительно для «Современника», я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих; и при моем возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов «Современника» Дружинин оказался непригодным для него

по образу мыслей. Как только увидел, что ему надобно вовсе удалиться из «Современника», Дружинин предложил свое сотрудничество Краевскому и был принят им с распростертыми объятиями. Предположим — хоть и мудрено предположить, — что прежде я не знал, рад ли будет Краевский моему предложению вернуться к нему. После приема, сделанного им Дружинину, не могло не стать ясно для меня, что он будет очень рад мне. Ни в одной из статей «Современника», о которых возможно было ему думать, что они писаны мною, не было ничего обидного лично ему, ничего подобного нападениям на него, насмешкам над ним, которыми непрерывно раздражал его Дружинин. И вытеснивший Дружинина из «Современника» журналист несомненно должен был казаться сотрудником, приобрести которого будет для «Отечественных записок» гораздо важнее, чем было для них приобрести сотрудника, забракованного «Современником». Что же мешало бы мне возвратиться к Краевскому, если б я не был доволен отношениями Некрасова ко мне?

Нахожу надобным говорить об этом потому, что людям, не знавшим денежных расчетов между Некрасовым и мною, могло казаться совершенно противное тому, что было на деле. Меня знали как человека, не умеющего отстаивать свои денежные интересы; о Некрасове некоторые думали, что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости. Разница между нами в этом отношении была не совсем та, какую можно было предполагать людям, не знавшим фактов. Во все продолжение моих деловых отношений к Некрасову не было ни одного денежного вопроса между нами, в котором он не согласился бы принять мое решение. И, кроме одного случая, он принимал мое решение без малейшего противоречия. Этот единственный случай денежного спора между нами был таков, что я сам считал себя неправым в своем требовании. Я и не возражал на доводы Некрасова; я только говорил, что остаюсь при своем требовании. И он, после длившегося часа три, тяжелого для нас обоих разговора, вполне принял мое решение. Дело в том, что я придумал это решение из желания успокоить болезненную мнительность Добролюбова (бывшего тогда за границею). Я жертвовал интересами Некрасова и Панаева, чтоб избавить Добролюбова от фантастических сомнений. За свои интересы Некрасов не стоял; он

хотел только охранить интересы Панаева. И был совершенно прав, доказывая, что я требую нарушения их. Но я, ничего не возражая, не принимал никаких резонов, и, скрепя сердце, Некрасов пожертвовал мне интересами — не своими: свои он с первого слова отдал на мой произвол — но интересами постороннего спору, беззащитного при покинутости Некрасовым, беспомощного и безответного Панаева. — Если доведу рассказ до того времени, к которому относится этот спор, изложу его с подробною точностью[4].

II

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно, и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определенных воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения, Добролюбову и мне случалось говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых, долгих разговорах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем; едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Но, вероятно, в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.

По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно, талантливость и добродушие

Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или мне.

Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда, и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения, он был очень любезен и с Добролюбовым, но об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям.

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова, и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 году [5]. Переселение Добролюбова в квартиру рядом с квартирой Панаева и Некрасова произошло таким образом.

Добролюбов, человек с довольно большими практическими способностями в ведении тех дел, которыми интересовался, совершенно неглижировал своей житейской обстановкой, и потому она, насколько ее устройство зависело от его участия, всегда была очень неудовлетворительна.

По выходе из Педагогического института Добролюбов поселился на квартире, сырой и производившей неприятное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка которых была старая, полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хозяев) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, служившая приемною, представляла вид амбара почти пустого. Мне не раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посещений не выходило, разумеется, никакого результата для улучшения его житейской обстановки. Как только вздумалось Некрасову побывать у него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо ко мне и начал разговор прямо словами: «Я сейчас был у Добролюбова, я не воображал, как он живет. Так жить нельзя. Надобно приискать ему другую квартиру». За этим началом следовало продолжение, переполненное упреками мне за мою беззаботность о Добролюбове. «Положим, вы сам не умеете ни за что взяться, но хоть

сказали бы вы мне». Особенно много огорчала Некрасова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если останется в такой обстановке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату (Федору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добролюбова. Дал такое же поручение и своему слуге Василию. Когда я зашел к Некрасову, часа через два, через три после того, как он был у меня, он говорил уже о том, что затруднений с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квартиру и меблировать ее, разумеется, нетрудно, но это еще ничего не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. Как быть с этим? Обедать каждый день в ресторане это скучно да некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушел. Когда пришел к Некрасову на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось удобнее, чем можно было надеяться.

Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире в доме Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По черной лестнице этой квартиры, в том же этаже, было помещение из двух комнат с передней. Не умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой небольшой квартире или она стояла пустая. Но так или иначе она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некрасову. Ее тотчас же начали поправлять *, и дня через два или три Некрасов уже мог переселить туда Добролюбова.

Поселившись тут, Добролюбов не имел своего особенного обеда; он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особо от Панаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или с Некрасовым, или с Панаевым. Изредка ему случалась надобность обедать на своей квартире. Это бывало, например, ко-

* Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с радостью передали Некрасову квартиру, получив от него вознаграждение за согласие переселиться из нее. Кажется, именно так и было: квартира была куплена у прежних жильцов.

гда у него гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хотелось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову было недосуг оторваться надолго от работы на время обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый; по окончании его обедавшие пили чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, или потому, что у него был кто-нибудь. Но утром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оставался тут и завтракать. Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей работы по редижированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова.

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр, или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом, Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день.

Та половина квартиры Панаева и Некрасова в доме Краевского, которую занимал Некрасов, состояла из двух комнат: зала и спальной. Была, кроме передней, еще одна комната, но ту нечего считать, потому что она служила только умывальной. В ней никогда никого не бывало, и даже мне случалось заходить в нее лишь тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами руки. Вход в нее был из передней прямо. Из передней

налево были двери в зал — это была очень большая комната. Двери из передней были с длинной стороны, противоположной окнам. В дальней налево поперечной стене зала были двери в спальную. Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели; пил утренний чай в постели; если не было посетителей, то оставался в постели иногда и до самого завтрака. Он и читал рукописи и корректуры и писал, лежа в постели. Тургенев, конечно, не принадлежал к тем посетителям, которые мешали Некрасову оставаться в ней. Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрака, Некрасов переходил в зал и после того вообще оставался уже в этой комнате. Тут вдоль всей стены, противоположной дверям в спальную (вдоль поперечной стены направо от дверей из передней), был турецкий диван, очень широкий и мягкий, а невдалеке от дивана по соседству с окном стояла кушетка: Некрасову было так же удобно валяться на этой мебели в зале, как на постели в спальной, куда он, раз вышедши в зал, уходил только по каким-нибудь делам; например, для того, чтобы заняться работой без помехи от гостей, продолжавших и без него благодушествовать в зале, или для того, чтобы без помехи от них переговорить с кем-нибудь, уводимым туда для деловой беседы. Таким образом, вообще говоря, одна из двух комнат половины Некрасова оставалась пустою: пока Некрасов в спальной, там с ним те близкие знакомые, кого принимает он в спальной; переходит он в зал, переходят с ним туда и они. Мне, разумеется, очень часто была надобность оставлять Некрасова и его гостей в зале и уходить в спальную одному, чтобы работать там. Иногда делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь не хотел переходить с работою в свои комнаты; но вообще даже я оставался в той комнате, где Некрасов. Тем больше надобно сказать это о Добролюбове: когда я должен был исполнять подвернувшуюся на квартире у Некрасова спешную работу, не имея времени уйти с нею домой, то я занимался ею один; мои работы были такие, в которых Некрасов не принимал участия. А доля Добролюбова в редижировании журнала относилась более всего к тому отделу, которым занимался и Некрасов, так что они любили работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. Тургенев, разумеется, мог проводить время в той из комнат Некрасова, в какой хотел; он был тут свой человек, вполне свободный делать, как

ему угодно и что ему угодно; но он бывал тут собственно для того, чтобы разговаривать с Некрасовым, и потому постоянно держался подле него. Некрасову часто случалось по деловой надобности уходить от Тургенева; Тургенев от Некрасова не отходил, кроме, разумеется, тех случаев, когда бывало много гостей и гости разделялись на группы.

Как держал себя Добролюбов относительно Тургенева в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мною об этом: он не имел охоты быть экспансивным со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне.

Итак, человек ненаблюдательный, я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу, или если, может быть, иной раз и замечал, чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти, во всяком случае, маловажные для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею определить годами и месяцами: но помню, что, когда Добролюбов писал свой разбор романа Тургенева «Накануне» и я читал эту статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-нибудь особенном в отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мною: горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, однако ж, и всякому желанию расходиться между собою. Через несколько времени после того, как вышла книжка «Современника» с статьею Добролюбова о «Накануне», я, разговаривая с Тургеневым (у Некрасова, я с ним виделся в то время почти только у Некрасова), услышал от моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, звучавшие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои разговоры со мною о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлобление против него. Когда через несколько ли минут, или через час, через два остался я один с Некрасовым (не помню, ушли ли мы с ним в другую комнату

говорить о делах или уехал Тургенев), я, кончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее для меня и, вероятно, для него — о каких-то текущих делах по журналу, спросил его, что такое значит показавшийся мне раздраженным тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом. «Да неужели же вы ничего не видели до сих пор? — Тургенев ненавидит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой ненависти. «Их две, — говорил он мне. — Главная была давнишняя и имела своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно, когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», — встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После множества таких случаев Тургенев отстал, наконец, от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону.

Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое обращение с ним. Но, вероятно, он умел бы и дальше скрывать от меня свое неудовольствие на Добролюбова, если б оно не усилилось в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи Добролюбова о его романе «Накануне». Тургенев нашел эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его, как писателя без такого таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей [6]. Я сказал Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал статью без

внимания. При этих его словах я сообразил, что действительно просматривал ее торопливо, пропуская строки и целые десятки строк и целые столбцы корректуры. Дело в том, что я вообще уже давно перестал читать статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству[7]. Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, чтоб я взглянул, не сделал ли какой ошибки, излагая мысли о предмете мало ему знакомом. Так было и тут. Добролюбову приходилось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских патриотов, о том, до какой степени возможно находить их желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье только этих мест, пропуская все остальное нечитанным. Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что не нашел в них никаких ошибок.

Услышав от меня, что и в самом деле так: я читал статью Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью: она очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет читать безусловный панегирик своему роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его романа, я и теперь не знаю сколько-нибудь положительным образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова[8], я, разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она в «Современнике» с рукописью Добролюбова (в типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора. Но, конечно, мое внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем, и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нем.

Некрасов имел тогда еще очень большое расположение к Тургеневу, но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добролюбову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева на панегирик роману; посмеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, я принялся убеждать его не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинство которого старался изобразить Добролюбову в самом

привлекательном и достойном уважения виде; но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова, я говорил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневе точно так же, как он; Тургенев не может не быть скучен и неприятен и для меня. Если мне угодно не выказывать этого Тургеневу, я могу не высказывать, он не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно редко; а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, нашел бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от внушения моих прекрасных чувств Добролюбову.

Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь, поэтому довольно будет заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем. Если я не желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, занимательностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.

Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и Тургеневым довольно долго: они беспрестанно встречались в комнатах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров между собою не имели, но посторонним людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их свидания: отъездом ли Добролюбова за границу или ссорою Тургенева с Некрасовым;[9] не помню, который из этих фактов предшествовал другому, но, во всяком случае, когда оставался другом Некрасов, Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению против Добролюбова.

Из-за чего произошел разрыв между Некрасовым и Тургеневым, я не имею положительных сведений[10], мне никогда не случалось спросить об этом у Некрасова,

потому что я очень мало интересовался дружбой Тургенева с ним, а еще меньше того озлоблением Тургенева на него. А с очень давних пор без прямого моего вопроса Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей личной жизни. При начале знакомства со мной он хотел иметь меня обыкновенным приятелем-собеседником, какими бывают у каждого хорошие его знакомые, и рассказывал мне о том интересном лично для него, что случалось ему припомнить по ходу разговора; деловой разговор прекращался, заменяясь обыкновенным приятельским. Но скоро Некрасов бросил это; не умею сказать, почему именно. Быть может, ему стало казаться, что я не интересуюсь ни его воспоминаниями о давнем, ни его личными радостями и печалями в настоящем. Быть может, на его экспансивность подавляющим образом действовала моя замкнутость: я в то время не любил говорить ни о чем, относящемся к моей внутренней жизни; по крайней мере, мне самому так казалось. Вероятно, и Некрасову казалось так. Если ему действительно казалось так, то понятно, что у человека такого умного, как он, скоро должно было исчезнуть влечение быть экспансивным с человеком, который не отвечает тем же. Разумеется, мне нравится выставлять эти причины, которые не бросают на меня дурной тени. Но могло быть и то, что я перестал казаться Некрасову человеком, с которым удобно говорить откровенно о делах, не представляющихся ему заслуживающими серьезного симпатичного внимания. Я мог своими замечаниями на его рассказы шокировать его. Для ясности расскажу один случай этого рода, относящийся к очень позднему времени наших отношений. Мы сидели вдвоем у круглого стола в зале Некрасова; вероятно, он завтракал и я кстати ел что-нибудь; вероятно, так, иначе незачем было бы нам сидеть у этого стола. Я сидел так, что когда опирался локтем на стол, мне приходилось видеть камин. На камине стояла бронзовая фигура, изображавшая кабана. Хорошей ли работы она была или нет, и потому дорогой ли вещью была или дешевой, я никогда не интересовался знать; мне никогда не случалось и взглянуть на этого кабана сколько-нибудь пристально. Впрочем, a priori я был уверен: эта вещь хорошей работы; иначе не стояла бы тут. Произошла какая-то маленькая пауза в разговоре: по всей вероятности, Некрасов говорил что-нибудь и на эту минуту

остановился, чтобы отодвинуть тарелку и взять другую. А мне в это время случилось повернуться боком к столу и опереться на него; подвернулся под глаза мне кабан, и я сказал: «А хороший кабан». Некрасов, которого редко видывал я взволнованным и почти никогда не видывал теряющим терпение, произнес задыхающимся голосом: «Ни от кого другого не стал бы я выносить таких оскорблений». Я совершенно невинным и потому спокойным тоном спросил его, что же обидного ему сказал я? — Он, уже снова овладев собой, терпеливо и мягко объяснил мне, что я множество раз колол ему глаза замечаниями о том, что этот кабан хорош, и рассуждениями, что такие хорошие вещи стоят дорого; а так как эти мои соображения были вставками в разговоры о денежных делах между нами и неудовлетворительном положении кассы «Современника», то получался из них ясный смысл, что он тратит на свои прихоти слишком много денег, отнимая их у «Современника», то есть, главным образом, у меня. Я постиг в моих мыслях, что если бы пауза длилась еще несколько секунд, то я успел бы и произнести предположение о приблизительной цене кабана, и моему умственному взгляду явилась истина, что действительно рассуждения мои о кабане должны были по ходу наших разговоров очевиднейшим образом иметь тот самый смысл, какой теперь нашел я в них при помощи Некрасова. Я произнес одобрение себе, вроде спокойного подтверждения истины: «Ну, так» или «А что же, так», — и, как ни в чем не бывало, повел разговор о том, о чем шла речь раньше. Хоть по этому ничтожному случаю легко сообразить, сколько любезности приводилось, по всей вероятности, находить Некрасову в моих замечаниях, делаемых по рассеянности безо всякого внимания к их смыслу для него. Само собой понятно, что не могла не остыть в нем охота рассказывать что-нибудь интимное о себе такому собеседнику, который вставлял в паузы рассказа совершенно посторонние делу замечания, отношения которых к предмету рассказа не замечал, потому что произносил их без всякого намерения, не придавая им никакого значения.

Не умею рассудить, достаточны ли эти соображения для объяснения тому, что Некрасов вскоре после начала моего знакомства с ним утратил влечение к интимным рассказам мне о своей личной жизни, или были ему

даны моими неловкостями еще какие-нибудь мотивы, догадаться о которых не приходит мне в голову. Но факт в том, что после двух, трех вечеров вдвоем с ним у него, при самом начале знакомства, я уже не слышал от него рассказов о его личной жизни иначе, как по какой-нибудь очень серьезной надобности ему предоставить мне участие в его отношениях к какому-нибудь из людей очень близких или очень интересовавших его. Одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого привелось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее, и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу[11].

Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда, при отсутствии интереса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что, в сущности, я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить «Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая.

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел ее. Я развернул: это был один из томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавия, Шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое: «Тургенев очень хвалит их и советует перевести в «Современнике»; особенно настаивает на том, что надобно перевести один из этих рассказов, на котором и вложена закладка». У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я

никогда не читывал, но достаточно знал по панегирикам, из которых видно было: он жеманник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора не заслуживающим перевода в «Современнике», но что я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я переменю мнение о нем и что, в частности, тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть «Barfüssele». Она не понравилась мне. Других рассказов я и не пробовал читать. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из нее переводить не стоит[12]. Тургенев долго не отставал и много раз спорил со мною и был очень раздражен неуспехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, кроме нас, не известной; а другой случай подобного рода произошел в присутствии многочисленного общества.

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них, постоянно бывал приглашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, бывал Арапетов.

Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. Панаева никогда не бывал приглашаем на эти собрания. (Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими обыкновенно бывали те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.

И вот, после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех вы-

слушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. (Камин был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея — высокое художественное произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант и т. д., и т. д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал с своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось[13]. Не помню, каким языком вел я спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще, при моем вступлении в «Современник» Тургенев имел большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редижировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего

против рекомендации плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу.

Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нем, я не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей часть своих поместий. Огарева умерла. Поместья должны были быть возвращены Огареву. Но управлявший поместьями, дальний родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший свое, прежде довольно большое, состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, лежавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в поверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некрасова за те годы, в которые были делаемы г-жою Огаревой неприятные ее мужу распоряжения. Но Герцен имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать которые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде

не заслуженных Некрасовым обид известна теперь всем, оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и всем ученым, занимающимся историею русской литературы того времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена [14].

Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, то есть тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться с мыслями Герцена и, подобно людям менее робким, более твердым, как, например, П. В. Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена. И кончилось тем, что он поддался Герцену [15].

К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желания других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева.

Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок; но вчера я получил «Посмертное издание стихотворений Некрасова» (четыре тома 1879). Просматривая «примечания», помещенные во второй части четвертого тома, я нашел в них цитату из моей статьи («Полемические красоты», напечатанной в № 6 «Современника» за 1861 год). — Вот это место, очевидно, служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с «Современником», то есть по необходимости и с Некрасовым, — рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из

того, что в моем ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? — Ссылаемся на самого г. Тургенева».

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что единственным, решившим дело, мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», то есть на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю все, то, разумеется, были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова, и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышали только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин великий поэт и что он умер от раны, полученной на дуэли; а, вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собой; но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видеться у Некрасова. Не говоря о чем другом, надобно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета «Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым» в первый год по основании этого Общества. Комитет собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петро-

вича Ковалевского, который был председателем. До начала заседания долго шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете; по окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьезных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я, постоянно повертывавший разговор в шутливое направление, говорил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще, мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими; но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу, несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова; тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову, этого нельзя было не понимать и наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня; и, однако же, Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.

Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал Пассажа. Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по которым развешивался занавес, так что образовывался особый отдел вроде кабинета не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведовавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читалось публике, я никогда не был повинен. Натурально,

всякий другой из членов комитета, усердно слушавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду его о том, как всегда обижал, теперь, после разрыва его с Некрасовым, еще больше обижает его Добролюбов [16]. Под конец он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. Какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нем так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы поправить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое горе в шутку. Мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно, иное; именно так: «Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце.

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбова, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого Тургенева, — иначе я не мог бы ссылаться на него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне.

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети» [17]. Мне

случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова; попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений [18]. Но то были только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал, — рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то или в Италии, или во Франции; быть может, в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отмстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил, как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его.

Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается, ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. Это, действительно, портрет действительного лица, но совершенно иного; это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило его. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания [19].

Госпожа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман ⟨...⟩

Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в самом деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил г-же Мар-

кович (говорил впоследствии времени и многим другим; быть может, даже и заявлял что-нибудь такое в печати; мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моем воспоминании). Но если предположить, что публика была права, находя в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя б и карикатурного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ораторы и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая годилась бы в признаки, что он должен изображать собой Добролюбова. Разве одно: я слышал сейчас, что Базаров высок ростом; но я слышу это, как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный по возможности сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев[20]. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? — Написал ли он после «Отцов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? — Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об «Отцах и детях»[21].

Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остается прибавить то, что я знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после разрыва между ними. Я не умею припомнить никаких отзывов моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за это время. Но, разумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне иногда говорить о нем что-

нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову о Тургеневе, все было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким образом, он имел с моей стороны возбуждение говорить мне о Тургеневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нем тоном человека, дорожащего воспоминаниями своей прежней дружбы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком жестким; но если не всегда в своих поступках (надобно помнить, что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший от безденежья, после того больной), то всегда в своих чувствах он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек справедливый и великодушный.

М. А. Антонович

С 1859 года, еще не закончив курса Петербургской духовной академии, Максим Алексеевич Антонович (1835—1918) начинает сотрудничать в библиографическом отделе «Современника». С первых же литературных опытов молодого критика Некрасов начинает ценить его полемический талант и с доверием относиться к его мнениям.

После ареста Чернышевского Антонович возглавил литературно-критический отдел «Современника». Но, оставаясь верным идеям Чернышевского и Добролюбова, Антонович значительно уступал своим предшественникам в глубине и принципиальности оценок литературно-общественных явлений, допускал частые тактические просчеты, полемические его выступления нередко приобретали характер мелочных выпадов. Сам Антонович впоследствии признавал, что «Современник» не мог удержаться «на прежней высоте» («Материалы для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869, стр. 29). В свою очередь, попытки Некрасова в обстановке цензурных репрессий в 1866 году спасти «Современник» не встречают сочувствия у Антоновича, вызывают подозрение в том, что Некрасов изменил своей прежней вере и своим убеждениям.

В состав редакционной коллегии «Отечественных записок» Антонович не был приглашен Некрасовым. По-видимому, это решение было принято отчасти и под давлением Совета главного управления по делам печати, требовавшего устранить Антоновича от участия в

«Отечественных записках» (см.: Б. Папковский и С. Макашин, Некрасов и литературная политика самодержавия, *ЛН*, т. 49—50). В 1869 году появляется брошюра М. Антоновича и Ю. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы», где авторы, рассчитывая скомпрометировать Некрасова в литературных кругах и в общественном мнении, не гнушаются откровенно демагогическими приемами, а нередко и просто клеветой в отношении редактора «Современника». «Литературное объяснение» Антоновича с Некрасовым полно намеков на вероломство, беспринципность и лицемерие Некрасова по отношению к бывшим сотрудникам, отрицательных суждений о его творчестве.

Естественно, что после такого выступления, образчика «литературного бешенства», по словам Салтыкова-Щедрина, после волны откликов, прокатившейся по страницам многих русских журналов в связи с «обличениями» Некрасова, наконец, после мало обоснованных денежных претензий Антоновича к Некрасову (он обращался с жалобой на него в Литературный фонд) прежние отношения уже не могли наладиться. Для Антоновича же разрыв с Некрасовым, с лучшим из русских журналов, и, по существу, с близкими его убеждениям литературными силами, группирующимися вокруг него, означал закат его так многообещающе начавшейся литературной карьеры.

Со временем Антонович пересмотрел многое в своем отношении к Некрасову. В статье-некрологе «Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове» («Слово», 1878, № 2) он уже более положительно оценивает литературную, издательскую и редакторскую деятельность Некрасова, его личность. На основе этой статьи и был создан спустя четверть века его мемуарный очерк «Из воспоминаний о Николае Алексеевиче Некрасове» («Журнал для всех», 1903, № 2). По сравнению с некрологом, Антонович вводит в текст новые эпизоды, подробности, которые в сочувственном тоне рисуют Некрасова и как «замечательно умного и практичного» редактора, и как оригинальную и яркую личность, полную своеобразного обаяния, человечности и простоты. Прежняя концепция в отношении Некрасова как поэта, по мысли Антоновича, преимущественно «дидактического», «одностороннего» сохраняется и здесь, хотя выступает в более смягченной

форме. В основном Антонович в своих мемуарах отказывается от былых предубеждений, раздраженная резкость суждений уступает место более объективному и спокойному взгляду на прошлое. Однако и в воспоминаниях порой проявляется старая неприязнь к Некрасову. Когда же Антонович опирается на собственные впечатления о встречах с Некрасовым, о времени, которое они провели в совместной работе над изданием «Современника», тогда он рисует индивидуальность поэта объективно и с очевидной симпатией.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ НЕКРАСОВЕ

После пятилетней совместной журнальной работы с Николаем Алексеевичем Некрасовым в «Современнике» мы расстались очень недружелюбно, да прямо-таки сказать, даже с враждебными чувствами, которые выразились с моей стороны в горячем и страстном полемическом нападении на него[1]. В основе этой враждебности лежали, конечно, серьезные и общие причины; но в возбуждении и подкреплении ее участвовали также элементы не важные, временные, личные, излишняя горячность и жар увлечения. С тех пор прошло более 35 лет, и этого долгого времени было более чем достаточно для того, чтобы утишилась и исчезла всякая враждебность, особенно вызванная личными мотивами, чтобы улетучилось и забылось все мелкое, случайное, личное и чтобы поэтому выступило в надлежащем свете все существенное, общее и непреходящее. И вот теперь, когда я спокойно и объективно вспоминаю о Некрасове, рассматриваю его издали, на расстоянии, так сказать, исторического выстрела, то те черты его личности, которые когда-то казались недостатками, представляются теперь ничтожными и мелочными в сравнении с основными крупными и доминирующими чертами ее, точно это будто только родинки или пятнышки на красивом лице, которые нисколько не умаляют его красоты, — точно пыль на хорошем портрете, которая заметна только при близоруком рассматривании и нимало не вредит достоинству портрета при надлежащей точке зрения на него. Рассматриваемая с исторической

объективностью, в общем и целом, личность Некрасова является перед нами очень выдающеюся, мало того, очень замечательною, весьма крупною и чрезвычайно даровитою, не говоря уже о нем, как о поэте. 〈...〉

Поэтические заслуги Некрасова общеизвестны и общепризнаны; но этого нельзя сказать об его не менее значительных заслугах в области журналистики. Эти последние или упускаются из виду, или недостаточно ценятся. А между тем и они очень важны. Некрасов был идеальным редактором-издателем и довел свой журнал «Современник» до почти идеального совершенства. Конечно, в этом деле ему много помогли его сотрудники; но, во всяком случае, он был здесь инициатором и центром, окружившим себя такими сотрудниками. И честь выбора подходящих к его редакторским целям сотрудников всецело принадлежит ему. Что Некрасов привлек в свой журнал Белинского, это не было особой заслугой с его стороны и не служило доказательством его редакторской проницательности. Литературная репутация Белинского тогда уже прочно установилась в литературных кругах, общим голосом которых был признан его критический талант, и, таким образом, Некрасов следовал только общему голосу, приобретая Белинского для своего журнала. Если бы Некрасов предоставил свой журнал в распоряжение Чернышевского и Добролюбова уже после того, как они заявили себя такими дельными, серьезными и талантливыми журналистами и публицистами, то в этом также не было бы никакой заслуги. Но Некрасов привлек Чернышевского в «Современник» еще тогда, когда Чернышевский был просто скромным сотрудником в «Отечественных записках» Краевского, который не пускал его дальше библиографии. Вне же журнальной сферы Чернышевский казался ученым неудачником, который позорно провалился со своей магистерской диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности» и не получил искомой ученой степени[2]. Но Некрасов не смутился этим; пригласивши в свой журнал и поближе узнавши этого ученого неудачника, он сразу оценил его и предоставил ему критический отдел в журнале. Добролюбов в глазах литераторов, сверстников и друзей Некрасова, был мальчишкой, не имевшим солидной подготовки и подкладки и умевшим скрывать

отсутствие их заносчивостью и самоуверенностью. Но Некрасов тоже сразу оценил и этого мальчишку и своим опытным редакторским взглядом увидел в нем драгоценного сотрудника и принял его в состав редакции. Он сошелся и сблизился с Добролюбовым больше, чем с Чернышевским, и Добролюбов с своей стороны очень привязался к нему и подружился с ним. В одном из писем Добролюбова к Чернышевскому есть такое место: «А письмо его (Некрасова к Добролюбову) недоброе (уведомляло о болезни с предчувствием смерти)... Не дай бог никому получать такие записочки за границей от близких людей. Успокаивает меня только то, что вы ничего не говорите о его болезни. Но, пожалуйста, напишите мне в Одессу, что он и как. Ведь, кроме вас да его, у меня никого нет теперь в Петербурге. В некоторых отношениях он даже ближе ко мне»[3]. Общество этих двух сотрудников или, вернее, соредакторов было для Некрасова новой высшей школой, довершившей его самообразование, еще более расширившей его умственный кругозор и закрепившей то, что было приобретено им в кружке Белинского. Много он мог вынести из общения с этими людьми, столь богатыми всякого рода новыми идеями и одушевленными энергией и энтузиазмом, особенно при его восприимчивости и чуткости ко всему разумному и доброму.

Предоставление этим двум новым сотрудникам решающего голоса в редакции журнала получает еще большую цену вследствие того, что оно потребовало от Некрасова значительного пожертвования личными расположениями и привязанностями, так как оно вызвало натянутые, а потом даже враждебные отношения между ним и его сверстниками и приятелями. Эти новые сотрудники не только относились к приятелям Некрасова, старым, заслуженным литераторам, без должного почтения и уважения, но еще позволяли себе посматривать на них свысока, относиться к ним покровительственно, как относились в известном романе «дети» к «отцам», как Базаров — к родителям Аркадия и к его почтенному дядюшке. Некрасов же, невзирая на это, вполне подчинился влиянию новых сотрудников, плясал под их дудку, что, конечно, не могло не оскорблять его приятелей[4]. Некрасову, видимо, не хотелось прерывать всякие связи, а тем более враждовать с давнишними приятелями, и он всячески старался устроить

между ними и новыми сотрудниками хоть какой-нибудь мир, хоть какой-нибудь modus vivendi *. Для этого он, между прочим, устраивал обеды, на которые приглашались обе враждующие стороны; тут бывали: Тургенев, Панаев, Гончаров, Григорович, Полонский, Анненков, Боткин, Островский и др. На некоторых из этих обедов случалось бывать и мне. Тут было очевидно, что сближение сторон невозможно, что примирение не клеится. Между сторонами не было согласия даже в гастрономическом отношении. Я был свидетелем такого случая. Хозяйкой на этих обедах была Панаева-Головачева. И вот на одном обеде она, обращаясь к Чернышевскому, сказала: «Я знаю ваши вкусы, Николай Гаврилович; у меня есть для вас ваши любимые кушанья, — щи да каша и хороший квас» Нужно было видеть, с какой миной и с каким обиженным видом литераторы-гастрономы посмотрели на этих плебейских любителей щей да каши, к которым была так любезно внимательна хозяйка. Вместо примирения получалось еще большее обострение отношений, и, наконец, дело дошло до того, что приятели Некрасова поставили ему ультиматум: выбирай, или *мы*, или *они*. Некрасов выбрал *они*, и давнишние приятельские отношения кончились полным враждебным разрывом. Мне известно, что уже после этого Некрасов писал Тургеневу дружеское письмо с целью примирения; но неизвестно, отвечал ли, или что отвечал Тургенев. Как бы то ни было, но примирения между ними не последовало. Впоследствии Тургенев печатно заявил, что не Некрасов отверг его, а он сам отшатнулся от Некрасова, несмотря на то, что последний писал ему заискивающие письма и говорил в них, что часто видит его во сне [5].

Обзаведшись двумя надежными соредакторами, Некрасов не только не уменьшил и не ослабил своих редакторских работ и забот, но с большим увлечением весь отдался ведению журнала. Вместе с Добролюбовым они составляли программы книжек, придумывали темы для статей, разрабатывали разные журнальные проекты, комбинации и планы литературных нападений или отражения враждебных нападений. А между тем Некрасов в не литературной, но начальственной относительно литературы сфере распространял и поддерживал

---

* Форму отношений (*лат.*).

такое убеждение, что он не принимает никакого участия в редактировании журнала, что он интересуется журналом только с материальной стороны, что его сотрудники что хотят, то и делают, без его ведома и согласия. И такое убеждение действительно держалось в этих сферах. Одна особа сказала однажды Некрасову: «Мы знаем, что вы человек вполне благонадежный, что вы сами ни в чем не повинны, но что все неодобрительное творит ваш главный штаб, и вся ваша вина только в том, что вы дали полную волю вашему штабу, вовсе не смотрите за ним; поэтому советую вам...» и т. д. Так мало осведомлена была особа об истинном положении дела: она не знала и не воображала, что в этом главном штабе почти главную роль играл именно сам же Некрасов.

Я познакомился с Некрасовым в 1861 году, когда Добролюбов был за границей, и после того, как уже было помещено в «Современнике» несколько моих статей. Чернышевский передал мне, что Некрасов желает видеть меня, и при этом сказал, чтобы я как-нибудь отправился к нему, всего лучше пораньше утром. Я пришел к нему утром, в половине двенадцатого. Человек объявил мне, что Некрасов еще спит; но всё-таки спросил мою фамилию и пошел доложить. Тотчас же он вернулся и повел меня к Некрасову, который принял меня в постели. Он встретил меня, как говорится, с распростертыми объятиями и с восклицаниями: «Ах, как я рад: уж давно хочу познакомиться с вами, а вы все не являетесь». Затем он начал говорить, что меня, вероятно, удивляет и неприятно поражает то, что он до самого полудня валяется в постели. «Да, батенька, — сказал он, — вы бы еще больше удивились и осудили меня, если бы знали, что я не спал почти всю ночь и занимался такими некрасивыми делами, как картишки. Ничего не поделаешь, — такая уж у меня страсть». Перейдя к деловому разговору, он стал говорить о том, что о моих серьезных статьях он судить не может, но что Чернышевский их одобряет, и он с ним согласен; а ему самому больше нравятся некоторые мои напечатанные библиографические рецензии и нравятся, главным образом, своим игривым юмористическим тоном, который подходит к тону «Свистка»[6] при «Современнике». «Без Добролюбова, — говорил он, — мы никак не можем соорудить ни одного выпуска «Свистка»; вот

бы вы попробовали помочь нам в этом многотрудном деле. Но его нужно сделать как следует, серьезно, а то Добролюбов рассердится и забранит нас: ведь вы знаете, какой он строгий и суровый!» Затем он распространился о том, что в «Свистке» необходимо строго выдерживать тот тон, который задан в нем Добролюбовым, то есть тон серьезный, важный, ученый, даже слегка педантичный, выражающий самоуверенность и гордое самомнение, а чтобы сатира, юмор и ирония заключались в самом содержании. — Мы с ним беседовали довольно долго, придумывали разные темы для «Свистка», остановившись на некоторых, и он поручил мне разработать их, причем несколько раз повторял, что «Свисток» дело серьезное и важное и что во многих случаях он может действовать сильнее, чем серьезные статьи «Современника». Некоторые мои обработки удовлетворили его, а другие он забраковал. Через несколько времени Некрасов отдал мне визит, чего я не желал, не ожидал, не предполагал и чем он только смутил и сконфузил меня, так как ему пришлось пробираться ко мне в трущобу, на четвертый этаж, в темном и смрадном коридоре, вследствие того, что в доме, где я жил, не было еще ватерклозетов, а существовали патриархальные русские устройства подобного рода в холодном коридоре.

С течением времени я ближе познакомился с Некрасовым, встречаясь с ним у Чернышевского и иногда бывая у него на обедах. Он сразу очаровал меня простотою обращения, доходившею до фамильярности и панибратства, совершенно конфиденциальною откровенностью, неожиданною и даже изумительною между не особенно близкими людьми, и, наконец, искренними признаниями и строгим самообличением, обезоруживающим и сильно подкупающим в его пользу. Плетешься, бывало, по Невскому в скромном затрапезном облачении; вдруг Некрасов в коляске, на великолепной паре нагоняет меня и приглашает к себе в экипаж. «Я вас подвезу домой», — говорит он и затем начинает рассказывать, где он был, зачем сделал или сказал такую-то глупость и т. д. Разговор льется непринужденно, так, как будто это едут два равных пэра, а не то, что как было на деле, один — знаменитый писатель и важный барин, а другой — безвестный, скромный и невнушительный молодой человек, начинающий журналист.

Между тем наступили тревожные времена. Некрасов и Чернышевский с нетерпением ожидали возвращения Добролюбова из-за границы. Он возвратился, но не на радость: совсем больной, расстроенный, он спустя недолго умер[7]. Смерть его поразила и глубоко опечалила Некрасова, и он, лишившись помощника, еще с большим рвением занимался журналом. Но «Современник» должен был приостановиться на восемь месяцев. Некрасов упал духом и на лето 1862 года уехал из Петербурга с мыслью, что едва ли будет возможность продолжать издание журнала. В этой мысли должно было еще более укрепить его то обстоятельство, что в это время сошел с журнальной сцены и Чернышевский, его другой помощник, так что в редакции он оставался только один[8]. Вскоре после этого, еще до возвращения Некрасова в Петербург, до нас, второстепенных сотрудников «Современника», дошли неприятные вести, или слухи, исходившие, по-видимому, из самых достоверных источников. По этим слухам, Некрасов, в бытность свою проездом в Москве, уверял своих московских приятелей, что хотя ему и жаль Чернышевского, но он очень рад, что хоть таким неприятным путем избавился от него и от того ярма, в котором держал его Чернышевский, самовольно и самоуправно распоряжавшийся в журнале[9]. Этот слух сообщил мне Г. З. Елисеев и при этом высказал уверенность, что Некрасов если даже и будет продолжать издание «Современника», то в ином направлении и уж ни в каком случае не пригласит в журнал никого из своих бывших сотрудников. Поэтому он предложил мне принять участие в редактировании вместе с ним новой газеты «Очерки», которую решился издавать Очкин, бывший арендатор «С.-Петербургских ведомостей»[10]. Елисеев взял на себя общую редакцию газеты, а мне предоставил политический отдел в ней. В газетах появилось объявление о новой газете с именами Елисеева и моим. Это объявление очень смутило Некрасова, и по приезде в Петербург он тотчас же навел справку у одного общего знакомого, почему мы с Елисеевым вступили в новую газету и разве мы не желаем больше сотрудничать в «Современнике». Этот знакомый сообщил ему, что наш поступок вызван слухами об его речах и жалобах в Москве в кругу его старинных приятелей. Некрасов энергически и решительно опровергал эти слухи и уверял, что все эти отречения

его от Чернышевского и от направления «Современника» ложь и выдумка, что он не говорил приятелям ничего даже похожего, что он решил продолжать «Современник» в прежнем направлении и с прежними сотрудниками, и т. д. Затем Некрасов пригласил меня к себе и разговор начал с того, что объявление об «Очерках» поразило его точно обухом по лбу; затем он стал упрекать меня за то, что я мог поверить таким нелепым слухам о нем, тогда как мне, более чем кому-либо другому, должны были быть известны те чувства искреннего расположения и глубокого уважения, какие он питал к Добролюбову и к Чернышевскому, так высоко поднявшим его журнал, и тогда как, с другой стороны, я должен знать и те чувства, какие питают к нему его бывшие приятели, которые готовы выдумать и распространять про него всякие нелепости, чтобы только отомстить ему за то, что он отверг их и стал на сторону тех людей, которые им антипатичны и т. д. Несколько раз и с особенной настойчивостью он уверял, что он твердо и бесповоротно решил продолжать «Современник» в прежнем направлении и, конечно, с прежними сотрудниками. Он говорил с таким жаром и таким чувством, что я поверил искренности его слов, и он взял с меня слово, что, несмотря на «Очерки», я буду по-прежнему деятельно сотрудничать в «Современнике» и уговорю Елисеева не оставлять сотрудничества в его журнале. В заключение он просил меня подумать о статьях для первой по возобновлении книжки «Современника».

Таким образом, дело устроилось прекрасно, к общему удовольствию. Решено было вести «Современник» в прежнем направлении и с прежними сотрудниками. Организована была коллективная редакция с Некрасовым во главе, состоявшая из г. Пыпина, Елисеева и меня; впоследствии в состав ее вошли Салтыков и г. Ю. Г. Жуковский. Елисеев не хотел, однако, вполне отдаваться «Современнику» и, по прекращении недолго просуществовавших «Очерков», решился издавать на артельных началах и редактировать газету «Век»[11], тоже просуществовавшую недолго, после чего Елисеев уже вполне отдался «Современнику». В это время уже вследствие совместного ведения общего дела я еще больше сблизился с Некрасовым, еще более узнал и оценил его как редактора. Да, это был образцовый редактор: умный, дельный, энергичный, практический и усердный.

Несмотря на все свои клубные и спортивные развлечения и увлечения, он зорко следил за своим журналом и ни в каком случае не полагался беззаботно и безотчетно на своих соредакторов; все статьи он внимательно прочитывал в корректурах, или же только пробегал статьи, если они были индифферентными, заурядными. Затем в нем не было мелкого редакторского самолюбия, или, лучше сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности у других редакторов и издателей, которых постоянно мучит опасение, как бы их не сочли только номинальными, фиктивными редакторами, которые дрожат при мысли, что кто-нибудь может подумать, что не одни они несут на своих гигантских плечах циклопическую тяжесть издания, но что им помогает, а может быть, даже и руководит ими обыкновенный смертный, простой сотрудник, и которые поэтому, к явному ущербу издания, суют свой нос всюду, даже туда, где они ничего не понимают, во все мешаются, не спрашивают и не слушают советов, действуют по-своему, упрямы без всякого резонного основания, а единственно из желания показать свою самостоятельность и заявить о своей независимости. Им и в голову не приходит, что вся эта боязливая и ревнивая забота о сохранении своей самостоятельности именно и производит то, чего они боятся, устанавливает то мнение о них, которое они хотят предупредить или разрушить. Некрасову было совершенно чуждо подобное самолюбие, подобная амбиция. Он предоставлял своим соредакторам полную свободу, нимало не стеснял их и не подавал решающего голоса в тех журнальных вопросах и делах, в которых он считал себя некомпетентным. Когда в таких сомнительных случаях обращались к нему за решением, он обыкновенно отвечал: «Делайте, господа, как сами знаете; только смотрите, хорошенько обсудите дело». И общему решению он подчинялся беспрекословно.

Был, например, такой случай. Давнишний приятель Некрасова, Я. П. Полонский, принес ему для помещения в «Современнике» свою драму «Разлад», сюжетом которой были, между прочим, сцены из польского восстания начала 60-х годов. Некрасов прочитал ее, одобрил и нашел, что ее можно напечатать в журнале, однако без согласия всей редакции не решался печатать и предлагал кому-нибудь из соредакторов прочитать драму и сказать свое мнение. Все отнекивались и почему-то зва-

лили это дело на меня. Некрасов прислал мне ее при следующей записке: «Пожалуйста, прочтите эту вещь поскорее (т. е. завтра, например, к обеду). Что до меня, то я такого мнения, что ее следует взять в «Современник»: она эффектна, о ней говорят и будут говорить, и относительно содержания (обстоятельство, по которому преимущественно я и препровождаю ее к вам) тоже, кажется, не представляется препятствия. — Но этот вопрос предоставляю окончательно решить вам» [12]. Я, не полагаясь на себя, отправился к Елисееву, и мы вместе с ним прочли драму, нашли, что сцены изображены в ней очень односторонне и притом освещены каким-то странным, неестественным светом, что вообще она слаба и неудовлетворительна, особенно для такого автора, как Полонский, и что печатать ее в «Современнике» не стоит. Я отправился к Некрасову и решительно сказал, что, по моему мнению, драму печатать не следует. (Она была напечатана в «Эпохе» в № 4, 1864 г.) Он совершенно спокойно, без всякой обиды и без всякого самолюбивого неудовольствия, просто сказал: «А если вы находите, что ее не следует печатать, так и не напечатаем; и я ее возвращу Полонскому» [13]. И больше ни слова; дальше пошли обыкновенные разговоры; мы вместе позавтракали и расстались самым мирным образом. Нужно при этом принять в соображение следующее. Редактор, и не какой-нибудь заурядный редактор, не Краевский или Дудышкин, не Корш или Благосветов; а редактор Некрасов, поэт и специалист по изящной словесности, находит пьесу удовлетворительной и решается напечатать ее в своем журнале. И вдруг какой-то сотрудник, может быть, даже не компетентный, находит, что ее не следует печатать. И редактор беспрекословно подчиняется этому решению своего подручного и находит, что этим он не роняет своего редакторского достоинства и не обижает своего издательского самолюбия! Вот черта, которая редко встречается у редакторов и которая делает большую честь редакторской корректности и добросовестности Некрасова!

Но зато и сотрудники с своей стороны столь же просто, благодушно и внимательно относились к замечаниям, возражениям и протестам Некрасова, принимали их без всяких обид и самолюбивых неудовольствий и так же охотно подчинялись его решениям и уступали его настояниям в тех случаях, когда он был компетентен и

прав. Но и в таких случаях он никогда не прибегал к своей редакторской власти, а действовал убеждением, урезониванием. Если он находил статью неудовлетворительною, неуместною или неловкою, то обыкновенно говорил автору: «Если вы настаиваете и непременно хотите напечатать статью, то я против этого ничего не имею, особенно, если вы подпишете ее полной фамилией; но вы примите в соображение, что скажут наши противники, что подумает публика, какие возможны перетолкования» и т. д. Слушаешь, бывало, такие резоны и возражения Некрасова, человека и редактора многоопытного, прекрасно знавшего и читателя, или, как он всегда выражался, *подписчика,* и литературных соперников, и предержащую власть над печатью, — и невольно согласишься с ним, сдашься на его убеждения. Вследствие его резонов и возражений я не одну свою статью, уже набранную, брал назад и разрывал. То же случалось, например, и с Салтыковым, впрочем только относительно его фельетонов и мелких заметок.

И Некрасов поступал так не только с нами, заурядными соредакторами, но и с соредакторами гораздо более авторитетными и внушительными. Был, например, такой случай. Чернышевский написал и отдал в типографию набрать статью под заголовком: «В изъявление признательности. Письмо к г. З—ну»[14], который в своей статье утверждал, что Чернышевский во всех отношениях выше Добролюбова и был его учителем и руководителем. Это возмутило Чернышевского, и он сильно и резко порицал З—на. Некрасов прочитал корректуру статьи и послал ее Чернышевскому, написав на ней следующие пометки: «1. Н. Г. В замеченных местах есть фразы, которые можно истолковать тем, что мы вас стесняли, при вашем вступлении в наш журнал, из почтения к авторитетам. Если это и так, то на Панаева рано и неуместно бросать подобную тень, да и мне, признаюсь вам, лично это не нравится. По крайней мере, *Добролюбова я никогда не стеснял* (курсив в оригинале). — 2. Дальше имена Тургенева, Толстого, Анненкова, Боткина производят в этой статье такое впечатление, как будто вы кадите мертвому с намерением задеть кадилом живых. Ругайте их в каких угодно других статьях, я ни слова не скажу. Вы имели добрую цель; но, во-первых, вы преувеличили опасность, предстоящую памяти Добролюбова оттого, что Зарин поставил вас выше его, а во-вторых, ужасно будет

обидно, если пойдут трепать газетчики имя Добролюбова по поводу этой статейки. Поверьте мне, тон «Полемических красот»[15] не идет к строкам, где мы имеем целью защитить любимого и высоко ценимого человека. Скажу вам мое впечатление от этой статьи: в ней героем являетесь вы, а не Добролюбов. Я ничуть не против откровенности, не против заявления личного высокого или низкого мнения о самом себе, когда человеку пришла к тому охота; но охота-то пришла не вовремя, когда мы взялись защищать другого... И вдруг боязно, чтобы кто не подумал, что «мы ценим себя низко», и на эту тему все заключение. Словом, эти прекрасные две страницы, посвященные вами себе, лучше бы поместить во всякую другую статью. — Однако, я должен сказать, что начал говорить только с целью сказать то, что у меня отмечено цифрой 1. Все же остальное — мое мнение, которое может остаться без последствий. Я только скажу, что, говоря о человеке, которого мы оба так любим, не излишня никакая щепетильнейшая осторожность. Этим извините настоящие строки, если они вам покажутся не заслуживающими внимания». — Вот это типичнейший и яркий образец редакторской самостоятельности, мужества и редакторской тактики Некрасова! Мое мнение, говорит он, такое, а там как хотите. Этого правила он держался всегда. Мимоходом можно заметить, что Чернышевский отчасти согласился с Некрасовым: место под № 1 он сократил и изменил, сделал значительные сокращения и в других местах, но речь о себе в смысле самоосуждения оставил.

Несмотря на многочленность новой редакции «Современника», она действовала вполне успешно; литературные дела журнала шли плавно, без запинок и неудач[16]. Бывали, конечно, в редакции небольшие семейные раздоры, размолвки, препирательства и пикировки, например, между Салтыковым и мною; но все это оканчивалось мирно, дружелюбно, не оставляя никаких неприятных следов ни в личных, ни в литературных отношениях. Бывали иногда стычки с издательством на почве денежных расчетов; но и они оканчивались мирно, приводили к полюбовному соглашению и к общему удовольствию. — Некрасов довольно часто устраивал редакционные обеды, на которых, кроме членов редакции, приглашались и

другие сотрудники, а также и посторонние лица, артисты, музыканты и т. п. Это были живые, веселые, интересные и поучительные обеды. На этих обедах Некрасов, обыкновенно осенью, по возвращении из деревни, читал нам свои новости. Нужно заметить, что лучшие его произведения того времени были задуманы и отчасти обработаны летом в деревне, вдали от столичной суеты, от журнальных и клубных хлопот, забот и развлечений. В его чтении новые его произведения много выигрывали, и мы приходили от них в восторг, и тем легче, что сами в эти минуты находились в прекрасном настроении. Иногда беллетристы и драматурги, например, Островский, читали здесь свои новые произведения. А то какой-нибудь артист сыграет или споет что-нибудь, или актер представит какую-нибудь комическую сценку, или Садовский, в бытность в Петербурге, произнесет рассказ из народного быта, или, наконец, Горбунов представит генерала Дитятина. Словом, это были обеды не только литературные, но и артистические. На этих же обедах происходили редакционные совещания, обсуждались и частные редакционные и общие литературные, политические и всякие другие вопросы. И здесь я постоянно удивлялся чуткости и восприимчивости Некрасова, его поразительной способности и умению сразу схватывать всякий предмет, всякую мысль, так сказать, ловить их на лету. Во время этих рассуждений и споров Некрасов, бывало, молчит; но вот кто-нибудь вскользь выскажет дельное замечание или новую, оригинальную мысль, и Некрасов даже подскочит на своем кресле, подхватит эту мысль, дополнит и разовьет ее с таким искусством, что приведет в изумление самого автора мысли. Вот, например, после мастерского и эффектного прочтения одного беллетристического произведения самим автором, все пришли в восторг и единодушно хвалили произведение. На другой день в редакции один соредактор мимоходом заметил, что мысль произведения не совсем ясна. Некрасов подхватил это замечание, развил его и доказывал, что мысль произведения не только туманна, но и фальшива, что его личное впечатление с самого начала было неудовлетворенное, а вот он теперь ясно понимает причину этой неудовлетворенности и т. д. — В другой раз горячо дебатировался вопрос, как объяснить некоторые, по-видимому, странные пункты в первой части романа «Что делать?»; вторая часть еще никому не была из-

вестна. Предлагалось несколько остроумных решений; этот же соредактор высказал почти с неуверенностью свою, по-видимому, маловероятную догадку. Но Некрасов ухватился за нее и стал развивать ее столь красиво и убедительно, что его заслушался сам автор догадки. И таких примеров было множество.

Так мы жили и работали мирно и безмятежно, не испытывая никаких особенных бедствий, если не считать маленьких неприятностей с цензурой. А затем мы дождались даже так называемой «свободы печати»[17] и освобождены были от предварительной цензуры за ответственностью редактора и с залогом издателя — что, однако, не очень улучшило наше положение. Некрасов великодушно или предусмотрительно уступил г. Пыпину часть редакторской ответственности, требовавшейся по новому положению о печати. И г. Пыпин имел случай испытать значение этой ответственности. Этот казус Некрасов изобразил в стихотворении «Суд», в котором героем является не г. Пыпин, а вообще поэт[18]. Затем по новому же положению о свободе печати «Современник» получил предостережение — memento mori. Но все это были беды относительно небольшие, переносимые, не заставлявшие падать духом ни нас, ни Некрасова. Но вот наступил роковой 1866 год. Общественная атмосфера была страшно наэлектризована; мы упали духом, а Некрасов еще больше. Он сильно боялся, и, трудно сказать, за что: за себя ли лично, или за судьбу своего журнала. В нем, как редакторе, произошло полное превращение: он оставил путь убеждения и товарищеского соглашения, а выпустил редакторские когти и стал показывать редакторскую власть. Для 4-й книжки «Современника» была уже набрана моя статья по поводу вышедшего тогда перевода книги Прудона об *искусстве*[19]. В статье я проводил параллель между взглядами на искусство Прудона и Чернышевского и указал, что во многих пунктах они буквально сходятся между собою. Некрасов сразу и категорически объявил, что этой статьи он ни за что не напечатает в таком виде, или напечатает только в том случае, если рассматриваемые в статье взгляды на искусство будут порицаемы и опровергнуты, и для образца таких порицаний он сделал в корректуре несколько вставок. Я, конечно, не согласился на это условие, и статья не была напечатана. Этот инцидент заставил нас, сотрудников, сильно призадуматься и ломать голову над

разрешением вопроса, по каким побуждениям и соображениям и с какою целью Некрасов решился показать нам редакторские когти и к чему все это поведет. Дальше — больше; представился новый повод для нашего раздумья. Некрасов написал для напечатания в «Современнике» стихотворение «Негромка моя лира», которого от него не требовал Аполлон в виде священной жертвы и которое он нам прочитал[20]. На некоторые наши соображения относительно стихотворения он решительно, демонстративно и с какою-то торжественностью заявил, что стихотворение написано им совершенно искренно и выражает настоящие его мысли и задушевные убеждения, за исключением одного пункта, и он указал при этом на один чисто метафизический пункт. Это заявление ужасно, как громом, поразило нас своей неожиданностью, и у всех невольно мелькнуло подозрение, что Некрасов переменил свои мысли и убеждения и решился перестроить свою лиру на иной лад, петь другие песни и держаться нового направления. Это опасение скоро оправдалось, по-видимому, и фактически. В один прекрасный день Некрасов объявил нам, что он больше не нуждается в наших услугах и содействии и должен расстаться с нами, что он только для того, чтобы не возвращать подписных денег, доведет журнал до конца года как-нибудь один и без нас, а затем бросит его. При этом он обещал выдать каждому из нас в виде отступного известную сумму денег и скоро действительно исполнил обещание в некоторой части. — Таким образом, мы расстались по-хорошему, не враждебно, но и не дружелюбно, без сожаления и с порядочным осадком горечи в наших чувствах вследствие последних инцидентов. — После этого вскоре разнесся очень достоверный слух о другом новом стихотворении Некрасова, которого тоже не требовал от него Аполлон[21]. Всего более возмутило нас всех в этом стихотворении то, что поэт в конце его взывал к беспощадной строгости, говорил о каком-то большом зле, которое нужно истребить с корнем. Самые снисходительные люди находили, что этот конец был совершенно не нужен. Боже мой, думал я: что бы было с неумолимо и неподкупно строгим Добролюбовым, если бы это случилось при нем и если бы какой-нибудь злой человек сказал ему: вот каков ваш приятель! Он весь сгорел бы от разочарования и негодования. Мы, сотрудники, после этого окончательно решили, что наши сомнения и опасе-

ния оправдываются, что Некрасов перестроил лиру и переменил направление. Но все это — и два стихотворения на перестроенной лире, и данная нам отставка — не помогло и не достигло цели, которую, может быть, Некрасов имел в виду: «Современник» был запрещен, на этот раз уже навсегда ⟨...⟩

Между тем время шло; наши сомнения и опасения относительно Некрасова не оправдались. Он и не думал перестраивать своей лиры на иной лад, но продолжал в прежнем ладе петь песни, столь же сильные и энергичные, столь же звучные и возбуждающие, как и его прежние песни. Таким образом, оказывается, что диссонансовые стихотворения Некрасова не выражали его искренних чувств и убеждений, а были плодом его временного, минутного упадка сил, мимолетного отречения от себя и измены себе шагом, сделанным под гнетом необычайных, ошеломляющих обстоятельств, и, может быть, под влиянием желания спасти свой журнал, чего бы то ни стоило [22]. Общим итогом и характером своей поэтической деятельности Некрасов вполне искупил как этот свой грех, так и другие свои недостатки. Его огромные заслуги во много крат превышают и покрывают его однократное отречение; всею своею деятельностью он заслужил полное всепрощение. В истории мы нередко видим примеры людей выдающихся, с характером вообще твердым и стойким, но подвергающихся временным припадкам отречения, даже неоднократного, что, однако, не умаляло ценности, важности и благотворности общего итога всей их жизни, и история при своих приговорах и оценках игнорировала и совершенно забывала их временные колебания и отречения.

Таким образом, мы ошиблись относительно Некрасова. Вопреки нашим опасениям, он снова пошел твердым и бодрым шагом по своему прежнему пути. За это честь ему и слава! ⟨...⟩

Г. Н. Потанин

Гавриил Никитич Потанин (1823—1910) — автор произведений, изображавших людей и быт провинциальной России.

В жизненной судьбе Потанина, в его писательском самоопределении очень большую роль сыграл Некрасов. Летом 1860 года Некрасов писал Добролюбову: «Пришел ко мне 〈...〉бедный, выгнанный из штатных смотрителей человек по фамилии Потанин и принес роман — он его писал десять лет и еще не кончил, думаю, что вещь замечательная, талант большой и русский, народного элемента много (то есть не то чтобы действовали мужики, а по-русски дело ведется и рассказывается), столько еще не бывало в русском произведении, как дальше будет, а десять глав, мною прочитанные, мне очень понравились. Я ему дал денег, и он уехал в Бугульму к семейству и — дописывать. Осенью думаю пустить эти десять глав, если он их вышлет. Хлопотал я, чтоб ему дали место, да покуда не добился, а выгнали его за то, что сочинил сатиру на местные власти!» (X, 419).

Некрасов помог устроиться Потанину в Петербурге преподавателем Введенской гимназии. Его роман «Крепостное право» под названием «Старое старится, молодое растет», имеющий автобиографическую основу, печатался в «Современнике» (1861, №№ 1—4). Позже Потанин так оценил роль Некрасова в своей судьбе: «Этот человек сделал для меня много хорошего: он первый сказал мне одобрительное и бодрительное

слово, первый просто и открыто благословил меня на новое поприще, и, признаюсь, не встреться я с Некрасовым ⟨...⟩, я и до сих пор не напечатал бы ни строки» (*ИРЛИ*, 14130/XXVIII, б. 3).

Но в начале 60-х годов отношения Потанина с Некрасовым осложнились. Потанин, очень мнительный по своему характеру, поверил слухам об «эксплуатации» Некрасовым своих сотрудников, ложно истолковал требования и предложения, которые исходили из редакции «Современника». Совет Некрасова писать повести, «пока не пишется роман», Потанин счел «пошлым» (*ИРЛИ*, 3820/XXI, б. 2). Он оказался не способен объективно разобраться в той сложной ситуации, в которой находился тогда орган революционной демократии, в содержании деятельности его редактора и порвал с «Современником». Роман «Крепостное право» так и остался незавершенным. В 1871 году Потанин вернулся на свою родину, в Симбирск, где продолжал педагогические занятия. Но к Некрасову он навсегда сохранил любовь и благодарность. Прочтя в 1877 году «Последние песни», Потанин ставит редактору «Дела» Г. Е. Благосветову «непременное условие» посвятить свою повесть «Новый суд» Н. А. Некрасову, дабы «утвердить любимого Николая Алексеевича, что есть люди, которые знают, помнят и ценят Некрасова как человека замечательного на Руси, как поэта, влияние которого на нас всех было громадно и неотразимо ⟨...⟩» (цит. по статье Л. Ф. Макеева « Г. Н. Потанин о Некрасове».— сб. «Материалы IX научной конференции литературоведов Поволжья», Пенза, 1969, стр. 67).

Сотрудник «Исторического вестника» писал, вспоминая одну из встреч с Потаниным в 1909 году: «Будучи одиноким, он весь ушел в себя и в свое прошлое. В новой литературе ему ничего не нравилось. Последним настоящим поэтом на Руси он считал своего излюбленного Николая Алексеевича Некрасова» (И. П. Ювачев, Гавриил Никитич Потанин.— *ИВ*, 1911, № 5, стр. 525). В 900-е годы Потанин работал над воспоминаниями о Гончарове (напечатаны в 1903 году), о Некрасове.

В своих воспоминаниях Потанин явно преувеличивает свое место в «семье» «Современника», свою близость к поэту. Некоторые сцены, повествующие о встречах Некрасова с Тургеневым, «доверительные» разговоры поэта с Потаниным о Герцене, о Тургеневе — не

соответствуют фактам, многословные восторженные оценки Некрасова в ряде случаев расходятся с вышеприведенными оценками Потанина 60-х годов. И все же его мемуары интересны — правдивым воспроизведением бытовой обстановки, в которой жил поэт, жизнеописанием молодого провинциального литератора, судьба которого оказалась тесно связанной с поэтом и его журналом. Отстаивая свою высокую оценку Некрасова, Потанин писал 19 мая 1904 года редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «Вы правду сказали, что мои воспоминания о Некрасове похожи на «панегирик»: я иначе о нем писать не могу!» (*ГПБ*, ф. 874, оп. 1. ед. хр. 98, л. 76).

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. НЕКРАСОВЕ

⟨...⟩Николай Алексеевич жил тогда в доме Краевского на Литейном. Новые писаки не все бойки. С робостью подходил я к дому и, признаюсь, перекрестился перед дверями. Человек ввел меня в приемную и пошел доложить. Ждать мне пришлось очень долго, и я начал осматриваться, где я, да, признаюсь, и любопытство подстрекало взглянуть, как наши поэты живут. Приемная — большая комната, у дверей чучело медведя на задних ногах с огромной орясиной в лапах, против него беломраморный бюст Тургенева на высоком пьедестале, на стене две прекрасные гравюры: типография Гутенберга и наша славянская друкарня, — картины, кажется, те же, которые я видел потом в кабинете Гончарова; посреди комнаты большой стол, крытый зеленым сукном, конечно, с чернильницей; два ряда стульев с высокими спинками резными мелкой работы, у стены широкий турецкий отоман, обитый малиновым бархатом или трипом, большое покойное кресло того же цвета и материи, много статуэток и фотографий на столах и окнах, занавеси пестрой шелковой материи — больше не помню.

Вышел заспанный высокий мужчина в халате и спрашивает, позевывая: «Что вам?»

Я объяснил.

Не приглашая меня сесть, поэт апатично, точно нехотя, едва выговорил:

— Оставьте, посмотрю.

Я робко спросил:

— Когда ответ?

— Через неделю, — ответил он еще апатичнее и ленивее и пошел.

Я едва нашел двери к выходу; точно выстрел прострелил мне голову, такой сухой ответ. «Еще неделя, а там Оля, Вера»...[1] и т. д. С отчаянием я пришел домой и только мог выговорить соседу: «Ничего не будет толку! это какой-то деревянный господин!» Эту адскую неделю я провел без сна, почти без пищи, словом, теперь не могу рассказать, что было тогда. Наступил решительный день; нехотя я побрел за ответом и всю дорогу шептал: «Нет, нет! от него я не дождусь ничего!» Однако с надеждой опять перекрестился и робко вошел.

— Пожалуйте, — весело выговорил докладчик и поспешил доложить. Ждать мне не пришлось; в ту же минуту вышел совершенно другой Некрасов, веселый, радостный, и с первого слова несказанно обрадовал меня:

— Ваша рукопись прелесть, я с особенным удовольствием ее читал. Садитесь, поговорим.

Начался экзамен: кто я? откуда? как попал в Петербург? зачем? Все это милый Николай Алексеевич выслушал ласково, внимательно и между прочим сообщил, что он с удовольствием готов печатать мой роман.

— Вы ничего не имеете против того, если я предложу вам печатать ваш роман с нового года? Теперь лето, мало читают, и такой интересный роман, как ваш, может много потерять?..

— Ах, ради бога, распоряжайтесь мной, как угодно! Для меня важно одно, если он будет напечатан в таком журнале, как ваш «Современник».

— В этом не может быть никакого сомнения. Я еще повторяю: ваша рукопись прелесть. А скоро вы отправитесь домой?

— Да, признаюсь вам, я так смертельно соскучился по семье, что готов хоть завтра.

Николай Алексеевич задумался над моим ответом и долго молчал.

— Так желаю вам обрадовать семью!..

Последнее слово он выговорил печально.

— Рукопись возьмите с собой, там на свободе просмотрите еще. Желаю вам радостной встречи со своими.

Некрасов крепко пожал мне руку, проводил в прихожую и точно нечаянно спросил:

— А в каких номерах вы остановились?

На другой день я весь был занят покупкой кукол, игрушек, расставлял их по окнам, столам, стульям; любовался ими, как ребенок, и не вытерпел — сообщил соседу мое ребячество:

— Идите смотреть, прелести вам покажу!

Но не успел я рассказать студенту мою счастливую встречу с Некрасовым, как вошел коридорный и сообщил:

— К вам какой-то господин, спрашивает, можно ли войти.

Не успел я ответить, как в дверях показался Николай Алексеевич. Я решительно не знал, что подумать, и, взглянув на мои игрушки, осовел.

— А я, почтенный Гаврила Никитич, пришел вас проводить. Вы вчера были не совсем откровенны со мной, а я заметил, что вам недостает чего-то в дорогу — примите от меня это по дружбе, — и он подал мне толстый пакет.

Я решительно не понимал, что делается со мной. Некрасов внимательно осмотрел мою конуру; с грустной улыбкой взглянул на мои игрушки и печально прибавил:

— И в этом виден любящий отец! До свидания! — крепко сжал мою руку и уехал.

Я открыл таинственный пакет: там было 500 рублей на дорогу.

— Вот оригинальный поэт! Смотрите! — обратился я к студенту, — человек совершенно не знает, кто я, — даже рукопись возвратил. Разве я не мог оказаться мазуриком, удрать из Петербурга, сказать на суде, что я никакого Некрасова знать не знаю, и показать ему шиш!

— Ну, милый Гаврила Никитич, Некрасов истинный поэт, он сердцем чуял, кто такой вы.

— Положим, так, а все это истинное великодушие с его стороны.

— Да! — ответил мой собеседник, и мы задумались над этим глубоко.

Нечего рассказывать, какая радостная встреча была отца с игрушками в соломенном городке;[2] какие очаровательные личики были у дочерей, когда они рассматривали такие петербургские прелести, которые видели в первый раз. «Теперь едем, едем в Петербург, — говорил беспрестанно отец, целуя детей, — там не то еще увидите».

Осенью я приехал в Петербург и тотчас пошел к Некрасову.

— А! Приехали, очень рад,— встретил меня весело Николай Алексеевич и повел в кабинет.

Кабинет поэта не был похож на приемную — там была другая отделка и обстановка. Белые обои, оранжевые занавеси, небольшой письменный стол на толстых резных ногах, оклеенный зеленым сукном, изящная бронзовая чернильница, перья на подставке, песочница в виде вазы, тяжелый каменный пресс, изображающий собаку, и лампа с подъемным абажуром; на полу тигровая шкура, обшитая красным сукном, под столом корзина для бумаг, а перед столом кресло, обитое зеленым сафьяном; в одном углу шкаф с книгами, в другом часы в футляре, и только. Ни портрета хозяина, ни картин и ничего лишнего не было.

— Садитесь, побеседуем,— пригласил меня ласково Николай Алексеевич.— Первый и важный вопрос: что вы намерены здесь делать? Петербург казенный город, батюшка Гаврила Никитич, здесь все служат взапуски! Не хотите ли и вы служить?

— Да, откровенно говоря, от службы отечеству я не отказывался никогда и, признаюсь, не был ленив, да дело в том, что я до знакомства с вами полгода уж бродил в вашем Петербурге, измучился до смерти, нигде не добился ничего! Куда ни приходил,— я лично получал везде один ответ: «Места нет», а куда просьбы подавал, везде через полицию возвращали их мне с пометкой: «Оставить без последствий».

Некрасов улыбнулся и похлопал меня по плечу.

— Не с того конца начали, почтенный Гаврила Никитич! Подумайте о службе и, если решите, так приходите — мы это дело устроим! Вы по какому министерству?

— Да я был учителем и смотрителем училища.

— Это еще легче. Подумайте и решите.

Долго думать и решать было нечего. Через неделю я пришел к Некрасову просить места. Приемный час для просителей, десятый, давно уж прошел, а поэт еще не вставал. Впрочем, ждать мне не пришлось, Николай Алексеевич тут же вскричал:

— Идите сюда в спальню! — и извинился, лежа в постели.

Спальня имела другой вид, чем кабинет и приемная. Темно-гранатные обои на стенах, зеленые занавеси на окнах, фонарь на потолке, ковры на полу, низкая ореховая кровать с выдвижными ящиками, комод с овальным зеркалом и полный мужской туалет: щетки, гребенки, щеточки для зубов, пилки для ногтей, бритвенный ящик, склянка одеколона, эликсир для полоскания и зубной порошок. У другой стены такой же широкий турецкий диван, как в приемной, и небольшой круглый столик, на котором много почтовой бумаги, мелко исписанной карандашом, и только. Сам поэт лежал на кровати, совершенно утонувший в пуховую перину и до половины покрытый малиновым стеганым одеялом, шитым в мелкий узор; голова была обложена многими большими и малыми подушками-думками; ворот расстегнут, грудь нараспашку, руки по локоть обнажены и закинуты за голову.

— Что скажете нового?

— Пришел места просить.

— А! это казенное дело, полно валяться — встаем!

Он натянул халат, надвинул туфли и перешел на диван.

— Я проспал лишний час, вчера долго писал, да немного не дописал — сейчас кончу и тогда к вашим услугам.

Он уселся на отомане по-турецки, ноги под себя — впоследствии я узнал, что это была любимая поза Некрасова так писать. Он отдернул занавеску на окне, придвинул столик, уставил, как удобно, и принялся за работу, исписывая листок почтовой бумаги тонко очиненным карандашом. Это были наброски прекрасной его поэмы: «Кому на Руси жить хорошо» [3]. Она долго после того не выходила в печати.

— Вот и кончил! Теперь идем и едем, — и тут же велел заложить коляску.

В то время, за отсутствием министра народного просвещения, заведовал министерством Ковалевский [4], и мы отправились к нему. Холод меня пронял, когда и здесь я встретил неудачу; швейцар доложил, что министр болен и не принимает.

— Скажи, что приехал Некрасов — по делу.

Я, конечно, с трепетом ждал ответа. Но вместо ответа вышел военный генерал, сам Ковалевский.

— Ах, Николай Алексеевич, извините, для вас я всегда здоров и принимаю — милости прошу.

Ковалевский пытливо посмотрел на меня.

— Я вас долго не отвлеку от дела — рекомендую: вот господин Потанин имеет к вам покорнейшую просьбу, он хочет получить место по вашему министерству.

— Очень, очень рад услужить! Какое же место угодно иметь господину Потанину, в провинции или здесь в Петербурге?

— Да это будущий мой сотрудник, так, конечно, лучше бы здесь.

— С удовольствием, дорогой Николай Алексеевич, чтобы не откладывать — я сейчас... — Ковалевский присел к столу и на небольшом лоскутке бумаги написал, кажется, немного слов.

— Вот это, господин Потанин, вы потрудитель передать Ивану Давидовичу Делянову, попечителю, — там для вас сделают все, что вам угодно.

Я, кажется, с благоговением принял записку министра, но тут же мелькнул вопрос, как я объявлю мою фамилию Делянову, когда он первый тогда написал на моей просьбе — оставить без последствий. А идти все-таки было нужно, и я записку министра в тот же день отнес. Прием мой в кабинет попечителя был просто удивительным Иван Давидович, как только взглянул на записку министра, сейчас же обязательно подвинул мне кресло, ласково пригласил сесть и с особенным вниманием выслушал, что мне нужно.

— Какое вам будет угодно место?

«Вот как! — подумал я. — Теперь не то, что тогда!» Иван Давидович предлагал мне места на выбор.

— Я, ваше превосходительство, в Петербурге человек новый и, главное, невзыскательный, мне нужно для начала только поступить на службу, а куда? Этот выбор я предоставляю вашему превосходительству.

Он спросил: где я служил и чем был? Затем просмотрел список вакантных мест и заговорил:

— Вот у нас в Петербурге есть шестиклассное училище — это тоже гимназия, гимназия для приготовления чиновников на службу, там особенные предметы и особенное преподавание. Вот в этой гимназии две свободные кафедры: общие формы законов и бухгалтерия, угодно вот занять обе?

— Я, ваше превосходительство, как русский подданный, не имею права отзываться неведением наших законов, но относительно бухгалтерии должен вам

сказать откровенно — я понятия не имею о бухгалтерии, особенно об итальянской двойной.

— Но это ничего не значит! Предмет этот там преподают поверхностно, лишь бы понять, что такое бухгалтерия. Возьмете дельную книгу, почитаете немного и через неделю будете знать, как преподавать.

Мне после этого осталось только согласиться на предложение попечителя. Я поступил в Введенскую гимназию и к Новому году за усердное преподавание незнакомой бухгалтерии получил награду сто рублей. Прожив восемьдесят лет, я до сих пор надивиться не могу, какие в Петербурге есть волшебные записочки министров, которые творят с чиновниками такие чудеса. Незабвенный Николай Алексеевич Некрасов был очень доволен моим успехом по службе и до конца жизни заботился обо мне, как отец [5].

Появление первых глав моего романа имело большой успех [6]. Но, признаюсь откровенно, робко и трусливо я ждал первого отклика критики о новом писаке. Прибегает мой милый доктор и с первых слов так меня напугал, что побледнел, как после объяснила жена.

— Ну, батюшка, как вас подлец критик отхватил! Это ни на что не похоже, слушайте, я газету принес, вот! — и начал читать: «Роман нового писателя, г. Потанина, далеко не заурядное явление, в нем такой тонкий психологический анализ, что автора не обинуясь можно сравнить с Диккенсом» [7] и т. д. Доктор бросился восторженно меня целовать и мгновенно вылечил от минутного страха. Некрасов сам привез мне первую книгу «Современника» и поздравил с успехом. Точно как бы предисловие к моему роману, в этой книге журнала было прекрасное стихотворение Некрасова «Детство Валежникова», где поэт трогательно вспоминает свое детство [8]. Он напомнил мне милую Волгу с ее узорными островами и песками и монастырь на острову, который звоном своим так волновал детскую душу Некрасова. Я всплакнул, читая детство Некрасова. Все это дорогие, незабвенные воспоминания старика.

Так неожиданно вступил я в милую семью «Современника». При первом появлении моем в редакцию вышел из кабинета милый Иван Иванович Панаев и приветствовал меня:

— Ах, Гаврила Никитич, какая у вас изумительная наблюдательность над ребенком Васей, признаюсь, я редко читал что-нибудь подобное.

— В семье живу, дорогой Иван Иванович, невольно наблюдаешь и учишься у детей.

— Да к этому он еще чуткий отец, это я уже видел по игрушкам, — прибавил Николай Алексеевич, улыбаясь. Затем я познакомился с другими членами редакции. ⟨...⟩

Относительно печати, несмотря на свободу того времени, у меня немало было неприятностей с цензурой. Правда, наш цензор в «Современнике», Владимир Николаевич Бекетов, был вольнолюбивый, но крайне робок и щепетилен. Так, например, роман мой, по моему соображению, первоначально был назван «Крепостное право»; он никак не согласился выпустить его под этим заглавием.

— Помилуйте, это немыслимо; теперь мы так горячо хлопочем о свободе народа и вдруг в печати крепостное право!

— Да ведь я не похвалу пишу крепостному праву, — вы читаете, так знаете, как я в романе распинаю это проклятое крепостное право.

— А все-таки нельзя! Одно название может всякому метнуться в глаза!

Так цензор не соглашался барыню Курондову назвать Марией Александровной потому только, что императрица звалась Марией Александровной.

— Так что же, по-вашему, всех баб в России нужно перекрестить и назвать иначе?

— Ну, это мы оставим.

А затем начинались в корректуре поправки моих слов и речений. Как цензор Оберт в моей повестушке «Концерт»[9] вместо «горничная девка» умышленно выписывал «девушка», — немец совершенно не понимал, что в чистом русском языке между словами: крепостная девка и вольная девушка — большая разница, то же случилось и с русским цензором.

Вместо слова Васьки «мамынька» Бекетов везде выправил нежно «маменька». Но всего нестерпимее было то, что он поправками часто искажал самый смысл речи. Так, например, в одном месте попалось ему речение: «гальчиное гнездо», — он зачеркнул слово «гальчиное» и написал «галочье», находя, верно, неприятным это простонародное слово и совершенно не понимая, что галки никогда не вьют гнезд для себя, они вьют их для галчат и по выводе детей оставляют гнезда и не

возвращаются в них; галкам гнезда не нужны. А поправок таких, чем дальше, тем становилось больше; я, наконец, не вытерпел и пошел к Некрасову просить, чтобы он избавил меня от такого цензора, который не знает чистого русского языка, и окончательно отказался переменить первое название романа. «Как хотите назовите мой роман, другого верного названия я не нахожу!» Некрасов без моего согласия назвал мой роман «Старое старится, молодое растет», что совершенно неверно. Относительно цензора Николай Алексеевич высказал мне горькую правду:

— Бекетов, Гаврила Никитич, лучший у нас цензор, что можно — так можно, а чего нельзя, в том его не вините, вините лучше цензуру, цензура у нас собака, да еще не простая, а австрийская собака, — намекая тем на одного члена цензурного комитета, который был австриец, в чем я после сам убедился и с Некрасовым согласился [10]. Но были неприятности еще горше; цензор зачеркнул почти всю одиннадцатую главу моего романа, а глава была листа полтора печатных. Некрасов пишет: «Не задержите печати, замените *чем-нибудь* вычеркнутое и уладьте главу. Нельзя ли доставить ее в типографию *завтра*? Ждем» [11]. Пришлось сидеть ночь, работа была спешная, клочьями, кое-как, и совершенно меня не удовлетворила, ибо могла не сойтись с будущим. Скрепя сердце, я к утру кончил и послал, а между тем думал: так нельзя! Добросовестная работа требует времени и труда, а так спешно строчить, кое-как я не умею. Если так будет вперед, так придется отказаться. Вскоре после того мне в самом деле пришлось отказаться, и я бросил печатать роман.

И. А. Панаев

Ипполит Александрович Панаев (1822—1901), двоюродный брат И. И. Панаева, инженер по образованию (он, как и его брат В. А. Панаев, окончил институт путей сообщения), обладал еще литературным дарованием. В «Современнике» в 1849—1854 годах было напечатано несколько его беллетристических произведений. С 1856 по 1866 год, до закрытия «Современника», Ип. Панаев заведовал конторой журнала и его хозяйственными и денежными делами. Издатели «Современника» ценили в Ип. Панаеве честность, энергию, трудолюбие. В письме к П. А. Плетневу Некрасов подчеркивал: «Уже более двенадцати лет книги «Современника» ведутся на строго коммерческом основании, не мною, а лицом Вам известным, имеющим доверенность от меня и имевшим ее от Панаева; по этим книгам можно проследить и доказать (ибо на всякий грош, выданный из редакции и конторы, сохраняются расписки), что все сказанное мною здесь о положении «Современника» и о моей роли в нем справедливо...» (XI, 57).

Воспоминания Ип. Панаева писались в 1878 году (дата указана С. Рейсером. *ЛН*, 49—50, стр. 536), но не были завершены.

⟨О НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ ПОЭТА⟩

С Николаем Алексеевичем Некрасовым я, пишущий эти строки, был знаком более тридцати лет. Многих, еще при жизни его, занимал вопрос: таков ли Некрасов

в действительности, каким можно было предполагать его, судя о нем по его сочинениям? В обществе часто заводили разговор об этом, и многие, зная мое близкое знакомство с ним, обращались и обращаются ко мне с подобными вопросами. После смерти Николая Алексеевича вопросы не прекращаются, и раз даже один преподаватель словесности говорил мне, что ему весьма важно иметь настоящее понятие о личности Некрасова, потому что он (преподаватель) находился часто в затруднении отвечать что-либо с уверенностью на постоянные вопросы своих учеников о нравственных качествах народного поэта.

Я хорошо знал Некрасова и никогда не сомневался в добрых и достойных уважения качествах его сердца. Поэтому вопросы о нем, в которых порою звучала как бы нота иронии и проглядывало некоторое злорадство, задевали меня за живое. На него возводили множество небылиц и распускали про него немало самых возмутительных клевет. Отвечать на вопросы я никак не мог хладнокровно. Каждому спрашивающему я объяснял подробно всю нелепость ходивших слухов и, в подтверждение моих уверений, вызывался представить доказательства, — а что я мог это сделать, читающий эти строки увидит из того, что будет изложено ниже.

Прежде, нежели буду говорить о некоторых частностях, которые играли немалую роль в составлении об Николае Алексеевиче мнений, — скажу несколько слов о том, каким человеком вообще я сам разумел Некрасова.

Для публики важно знать: существовало ли противоречие между всем прекрасным и добрым, наполнявшим его произведения, и нравственными качествами того, кто так хорошо выражал это прекрасное и доброе? Существовал ли разлад между добрым чувством, выраженным прекрасным стихом, и чувством, живущим в сердце поэта?

На это я твердо и не колеблясь отвечу: никакого разлада не было. Некрасов по своим нравственным качествам не противоречил вовсе тому образу, который рисовался воображением многих не знавших его почитателей его таланта.

Это был человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой; но достаточною твердостью характера он не обладал. Обстоятель-

ства сложились так, что ему почти всю жизнь пришлось проводить в полуофициальных кружках. Это не была его естественная среда, а потому в ней он не мог чувствовать себя свободным: внутренние движения были связаны, женированы; сердце — сжато. Вследствие этого, несмотря на врожденные мягкость, снисходительность и простосердечие, — внешние приемы казались иногда сухими, угловатыми и от них как бы веяло холодом.

Смолоду он был чрезвычайно застенчив в обществе и сам сознавался в этом, сказав:

На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.

Улыбнусь — непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу — шутка плоская:
Покраснею мучительно я! [1]

С годами таковая застенчивость стала выражаться (говоря его же словами) «*маскою наружного холода*» и тем, что называется: mauvais humeur *. Недостаток этот, то есть эти mauvais humeur, развиваются у людей, вступающих в хлопотливое, спешное дело и обязанных болтать, когда не хочется говорить, — видеть многих, когда желаешь видеть только близких или когда даже не хочешь никого видеть, и, приходя к Некрасову в такие недобрые минуты, я, бывало, сижу несколько времени у него молча. И он молчит, лежа читая или дремля... А потом вскоре... снег растает и растает непременно... Чувствовать обиду, как бы наносимую холодностью приема, тому, кто знал характер Некрасова, было невозможно.

Но не все были ему близки, а потому нет ничего удивительного, что многие судили о нем, как о человеке неприветливом и холодном.

Не знали многие и того, что Николай Алексеевич никогда не пользовался полным здоровьем и долго думал о себе так, как когда-то и выразился:

Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив! [2]

* Дурное настроение (*франц.*).

Нервы его были сильно расшатаны и раздражены; особые обстоятельства его грустной молодости, известные его близким, не могли не отзываться на настроении его духа, и правдив был поэт, говоря:

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой музы [3].

Да, повторяю еще раз: это, в сущности, был самый простой человек, человек с настоящею примитивною русскою натурой, — веселый и грустный, способный увлекаться и весельем и горем до чрезмерности, не рассчитывающий на завтрашний день и живущий этим русским: «Авось!», на которое мы часто негодуем, но в глубокий смысл никогда не вникаем.

Жизнь полуофициальная, жизнь в Петербурге была его искусственною жизнью... Истинная натура его проявлялась при другой обстановке — проявлялась в кругу близких, простых, невысокоумных людей, в кругу людей, ничего от него не ожидающих и не состоящих с ним в каких бы то ни было делах. Летом он обыкновенно уезжал в деревню. Там он уходил из дома иногда на несколько дней охотиться с своими приятелями крестьянами-охотниками, проводя дни и ночи с ними и ночуя по разным деревням, в избах своих приятелей-крестьян. Вот в этой-то среде, — я уверен, — он, как говорится, был в своей тарелке, — веселый, свободный, не женированный и бодрый. Я видал его по возвращении из таких странствований по лесам и болотам, продолжавшихся несколько дней, довольного, свежего в самом хорошем расположении духа. Вспомним посвящение его «Коробейников» *другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии):*

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Житейская обстановка Некрасова должна была бы устроиться подобно простой и увлекательной обстановке другого народного певца, именно — Беранже: кружок близких приятелей, сельская природа и отсутствие всяких непосредственно касающихся его, смущающих интересов и дел. Беранже имел характер устроить так свою

жизнь; у Некрасова характера на это не хватало, и он поплатился за это чувством постоянного стеснения в течение своей полуофициальной жизни, живя в противоречии с своими настоящими сердечными потребностями и вкусами.

Вопросы посторонних лиц о нравственной личности Некрасова скоро сводили и сводят на вопросы об отношениях (то есть денежных отношениях) его с другими литераторами, участвовавшими в издаваемых им журналах.

Если кто-либо усомнится в компетентности моего суда о характере Некрасова вообще, что уже в ответе на последние вопросы усомнившийся должен будет признать вполне мою компетентность, когда узнает, что в период существования журнала «Современник», издаваемого Н. А. Некрасовым совместно с двоюродным братом моим Иваном Ивановичем Панаевым, я в течение десяти лет заведовал хозяйственною частью журнала, и при жизни Ивана Панаева, и после его смерти.

Все распоряжения по расчетам с сотрудниками мне были известны, и уплата производилась через мои руки. До сих пор у меня целы приходо-расходные книги с расчетами и расписки получателей [4]. Сохранял я это все для того, чтобы иметь, на всякий случай, доказательство для опровержения взводимых на Некрасова клевет. Я мог бы заговорить ранее, и при его жизни, и много раз хотел это сделать, но Николай Алексеевич не допускал меня привести в исполнение мои намерения, говоря, что можно сделать это когда-нибудь, после, тогда, когда его не будет *.

И в этом случае он думал так, как и написал:

Что ты, сердце мое, расходилося?..
    Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
    Клевета по Руси, по родной.
Не тужи! Пусть растет, пусть катается.
    Не тужи! Как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
    Добрым словцом! [6]

---

* Этот мой отзыв о Некрасове был написан мною вскоре после его смерти, и я распорядился, чтобы он непременно был напечатан после моей смерти. Ввиду предстоящего выпуска в свет его биографии отдельной книгой, я решил отдать мною написанное в распоряжение составителя биографии [5].

Замечание мое о том, что я могу умереть прежде его, Николай Алексеевич оставлял обыкновенно без ответа и оканчивал какою-нибудь добродушною шуткой.

В памяти моей (могущей, впрочем, всегда быть проверенной упоминаемыми выше книгами) осталось ясным, что расчеты с участвующими в «Современнике» постоянными и случайными сотрудниками, по распоряжениям и желаниям как Николая Алексеевича, так и И. И. Панаева, производились самым широким образом, — производились так широко и нерасчетливо, что для текущих и необходимых расходов по изданию не раз встречались затруднения, вынуждавшие прибегать к займам. Затруднения отстранялись также иногда только благодаря субсидиям, даваемым Некрасовым из своих собственных денег, полученных им из источников, посторонних журналу, и о которых я скажу ниже.

При этом надо заметить, что и Некрасов, и И. И. Панаев в денежном отношении пользовались выгодами, доставляемыми журналом, весьма умеренно, и иногда получали менее, чем их постоянные сотрудники. Не говоря уже о последних, несколько литераторов едва вступивших на литературное поприще, кроме значительной полистной платы, получали ежемесячное содержание, что, по мнению Некрасова и И. И. Панаева, было необходимо для того, чтобы поддержать начинающих и дать возможность развиться замечаемым в них признакам таланта. Без всякого соображения с финансовым состоянием журнала многим деньги выдавались вперед, в счет будущих работ, — на неопределенное время. На замечания мои, что деньги расходуются несвоевременно и ставят издание в затруднение, — Некрасов часто говорил, что если денег у журнала не хватит, то для необходимых потребностей издания он даст свои собственные деньги, что неоднократно и делал.

Приходившие ко мне за получением следуемых денег часто заявляли мне, что от Некрасова уже прежде получена ими такая или другая сумма, тогда как я об этом ничего не знал. Такие выдачи из своих денег Николай Алексеевич производил беспрестанно; но, несмотря на весьма частые свидания со мною, забывал говорить о выданных деньгах. Я просил его много раз выдачи записывать; дал ему для записывания большую графленую

книгу, а человек его* купил ему большой карандаш, в палец толщиною и чуть ли не в аршин длиною (карандаш для черчения шаблонов), так как Николай Алексеевич уверял, что не записывает оттого, что не находит вовремя карандаша, зарывающегося вечно под корректурными листами, газетами, рукописями и другими бумагами. Но ничего не помогало: книга осталась совершенно чистою, и я насилу мог добиваться раза два или три в год, чтобы он уделил часок на припоминание сделанных им выдач. Припоминание происходило в моем присутствии: Николай Алексеевич брал, наконец, листок бумаги и записывал (обыкновенно лежа) то, что мог вспомнить. Разумеется, при этом немало сделанных выдач не было записано; он или действительно не припоминал их, или не хотел вспомнить, и я имею основание думать, что не одна тысяча рублей осталась незаписанною.

Много талантов Николай Алексеевич предугадал и многим, своевременным пособием в трудное время, дал развиться. Имена таких лиц известны не мне одному. Выдачи вперед, постоянные ежемесячные содержания многим лицам производились, несмотря на то, что интересы издателей сильно страдали. Почти всякому обращающемуся к ним деньги выдавались вперед. Некрасов, распоряжавшийся выдачами с согласия И. И. Панаева, никак не мог решиться отказать в выдаче просившему. Одному деньги выдавались по случаю болезни; другому — по случаю поездки за границу; третьему — по случаю выезда из Петербурга в провинцию или приезда из провинции и т. д. [8]. На средства «Современника» поддерживались семьи бывших сотрудников, воспитывались малолетние братья одного умершего литератора... [9] «Если денег не хватит для издания — я дам в кассу свои деньги», — говорил мне постоянно Некрасов.

Помню один случай. Раз, когда касса журнала была почти пуста я приехал к Некрасову, поставил ему на вид все обстоятельства дела, и он убедился, что выдач вперед в том году решительно невозможно делать, потому что предстояли по изданию разные необходимые

---

* Человек этот уже много лет живет с семьею барином в купленном им себе доме — в одном из дачных городков близ Петербурга. На похоронах Некрасова я узнал, что он получал от Николая Алексеевича ежемесячный пенсион и что пенсион этот, по завещанию Некрасова, должен выдаваться и наследниками Некрасова — до конца жизни того, кому он назначался [7]. (*Прим. И. А. Панаева.*)

уплаты, а на приход могли поступить лишь ничтожные суммы. «Не буду выдавать решительно: нечего делать», — сказал он.

Только что мы кончили наш разговор и пришли к твердому решению, как явился один из писателей, наших должников, объявил Николаю Алексеевичу, что он хочет ехать в деревню, и просил у него денег вперед. Под влиянием только что оконченного разговора Николай Алексеевич сказал: «Денег-то у нас нет; да вы, кажется, еще и нам должны». — «Да, — отвечал пришедший, — но здесь положительно ничего не могу делать... А вот поеду в деревню... Там на свободе, в лесах, в лугах... Вы, конечно, это понимаете... Я буду работать даром и пришлю вам работу». Некрасов молчал... Потом, не глядя на меня, потянулся за бумагой и написал записочку о выдаче из конторы денег. Когда упоминаемый господин ушел, мы оба рассмеялись. «Нельзя, друг, — говорил Некрасов, шутя, — что делать; всякому нужны деньги». Подобные слова он повторял мне неоднократно на замечания мои о чрезмерных расходах, стесняющих дело.

Был еще один случай, о котором я и до сих пор не могу вспоминать равнодушно. К Некрасову явился раз один молодой человек (обозначим имя его знаком X.), без всяких средств, и принес ему маленькие статейки. Они были написаны интересно, и в авторе Некрасов находил зародыш таланта. Так как молодой человек, как я уже упомянул, был без средств, Николай Алексеевич распорядился о выдаче ему ежемесячно по 75 рублей и, кроме того, об уплате за помещаемые коротенькие статейки, сколько мне помнится, тоже по 75 рублей с листа. «Надо поддержать молодого человека; из него выйдет писатель»[10].

Выдачи производились не короткое время. Имея в виду бесспорную благую цель издателей, расход этот я делал охотно. Молодой человек часто приходил ко мне за деньгами, и мне очень приятно было видеть, как он становился на ноги. Раз, тогда, когда уже за ним числилась значительная сумма, он, придя ко мне, объявил, что решился ехать за границу и что Некрасов дает ему средства на это. О выдаче денег он принес от Николая Алексеевича записку. Деньги на путешествие были выданы, и молодой человек уехал. Но месяца через два или три он, вероятно, соскучившись за границей (иностранных языков он не знал), X. написал, что желает возвратиться

в Россию, и просил о высылке ему на возвращение денег [11]. Это было летом, и Николай Алексеевич случайно тогда приехал на несколько дней в Петербург. В кассе денег было очень мало, и я потому сказал Некрасову, что г. Х. действует уже слишком бесцеремонно и что денег в настоящее время послать не из чего. Николай Алексеевич согласился со мною, но на этот предмет дал свои деньги и написал молодому человеку письмо, которое, прочитав, я послал с деньгами. В письме этом Некрасов говорил, что желание возвратиться пришло г. Х., вероятно, потому, что он совестился расходовать «современниковские» деньги, вспоминая, что он уже и без того должен, что совеститься не для чего, так как г. Х. молод и успеет рассчитаться с ним работою. Пусть же он, г. Х., продолжает свое путешествие, сколько это будет нужно для его здоровья или для его удовольствия, а о долге своем бросит беспокоиться.

Письмо было полно самой добродушной и деликатной веселости, самых искренних ободряющих выражений... [12]

Через несколько времени г. Х. вернулся, снова стал получать помесячные деньги; потом вдруг прервал всякие отношения с «Современником», разумеется, не рассчитавшись с ним, и распустил про Некрасова самую возмутительную клевету касательно денежных с ним отношений, основываясь на нелепейшем предположении о мнимых выгодах, которые Николай Алексеевич мог извлечь от издания им, Некрасовым, на свой собственный счет, собрания статей г. Х., помещенных в «Современнике», отдельной книжкой; тогда как суммой, которая могла бы выручиться от продажи экземпляров не могла бы выручить и $^1/_4$ должной г. Х. «Современнику» суммы. Николай Алексеевич так мало заботился об издании, что напечатанные листы для книги лежали в типографии несколько месяцев, и лежали в таком виде и тогда, когда г. Х. стал распускать свою клевету [13].

Когда мне передали о последней, я не хотел верить, но, убедившись, отправился к Некрасову и рассказал ему об этом. Николай Алексеевич не вознегодовал, как я имел право ожидать. «Ничего нет удивительного, — сказал он, — не в первый раз... Напрасно ты так волнуешься. Он еще вчера взял у меня деньги (сколько мне помнится, пятьсот рублей серебром)». Я предлагал Николаю Алексеевичу тотчас же изобличить г. Х. У меня

в руках для этого были все средства. Я хотел вывесить на стене конторы журнала, бывшей при книжном магазине, счет г. Х. На одной стороне было бы указано число напечатанных листов в «Современнике», на другой все сделанные г. Х. выдачи с подлинными расписками его в получении денег. Из счета было бы ясно видно, как поддерживался и как рассчитался за работу г. Х.

Некрасов не согласился на мое предложение, несмотря на то, что я сильно настаивал: «И к чему, — говорил он, — когда-нибудь узнают, что все это вздор... Вот я его позову и вымою ему голову». Действительно, Некрасов позвал г. Х. к себе... но дело кончилось тем, что Николай Алексеевич его не похвалил.

Между тем клевета распространилась, и несколько лет спустя мне пришлось опровергать ее в Вене в разговоре с одним знакомым мне студентом, австрийским славянином.

Вообще выдачи из кассы «Современника» делались в таких размерах, что у издателей никогда ничего к концу года не оставалось. После смерти Ивана Ивановича Панаева не осталось ни гроша. Если бы у Некрасова не было денег, не зависимых от журнала, то он сам, конечно, тоже был бы без гроша, — когда дело продолжалось все таким же образом.

После смерти И. И. Панаева издание журнала продолжалось. Выдав единственной наследнице И. И. Панаева, взамен права ее на полученную часть выгод, могущих получиться от издания, пятьдесят тысяч рублей серебром [14], Николай Алексеевич остался уже один хозяином дела, которое шло тем же порядком до тех пор, пока «Современник» издавался.

Одним словом, резюмируя все, что сказано мною касательно денежных отношений с сотрудниками «Современника», я скажу, что по сохранившимся у меня книгам и распискам, всякий сомневающийся может убедиться, что таких лиц из сотрудников журнала, которые не остались бы должными «Современнику», очень мало и общая сумма долгов представит крупную цифру.

А между тем в течение издания, несмотря на затруднительное порою положение кассы и свои собственные нужды, ни Некрасов, ни И. И. Панаев никогда не поминали о долгах и не допускали того, чтобы контора делала сотрудникам либо прямые, или косвенные напоминания.

Вскоре по прекращении журнала я уехал из Петербурга, и мои деловые отношения с Некрасовым кончились, но дружеские не прекращались никогда. Несколько лет назад, возвратившись из-за границы, я ему рассказал, что распускаемые клеветы проникли и в Венский университет, как я об этом говорил выше, и напомнил ему, что у меня хранятся все документы, могущие блестящим образом изобличить клеветников. «Это хорошо, — сказал он, — может быть, это когда-нибудь понадобится», — и не прибавил более ничего.

Выше мы упоминали несколько раз о том, что у Некрасова были свои деньги, а потому нас могут спросить: какие это были деньги?

Николай Алексеевич получал значительные суммы от издания своих сочинений и играл в карты, и — одно время — весьма счастливо. Хорошо ли играть в карты? — это уже другой вопрос. Много почитаемых и уважаемых людей играют в карты, и это не мешает им быть почитаемыми и уважаемыми в обществе. Клевета не касается их имени. По крайней мере, деньги, выигранные Некрасовым у людей, которым ничего не стоило проиграть, были им употребляемы уже гораздо лучше, чем деньги, выигранные другими. На деньги Некрасова много поддерживалось неимущих людей, много развилось талантов, много бедняков сделалось людьми *.

Не будем же укорять поэта за эту общую многим натурам, и иногда натурам недюжинным, слабость, тем более, что у Некрасова это было скорее средство развлечения или отвлечения от тягостных дум, чем страсть. Развилась она в нем в ту пору, когда он был болен, хандрил, собирался умирать, и натура его жаждала сильных ощущений, могущих отвлечь его от обычно терзавших его тогда грустных мыслей, с которыми он не мог справиться. Он писал тогда:

Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь.
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.

* Мне говорили, что Некрасов, несмотря на продолжительные и невыносимые страдания, предшествовавшие его смерти, успел составить самое подробное завещание. Он обязал наследников своих не прекращать выдач прежним пенсионерам и выдать таковые пособия нескольким другим недостаточным известным ему людям. (*Прим. И. А. Панаева.*)

Бедняк! И из чего попрал
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын *больной больного* века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою... [15]

Не будем упрекать покойного за то, что, ища отвлеченья от грустных дум и болезненных ощущений, он прибегнул не к истинному лекарству, а к сильному пальятивному средству. Не будем укорять его, тем более, что в душе своей он укорял себя искренне, с беспощадною строгостью, для каковой и враг его не смог бы с такою строгостью найти в нем соответствующей вины...

Что враги? Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу! [16]

Охоту Николай Алексеевич любил гораздо более, и летом в деревне, конечно, забывал о картах. В Петербурге же искусственная жизнь создала и искусственные привычки...

Отчего клевета не обходила его? Он имел громадный талант, и, кроме того, во вторую половину жизни — деньги. Как, и то, и другое!! Многие не могут переносить этого. Им как будто обидно, точно талант и деньги отняты у них... и они, многие, негодуют на такое совмещение благ... Почему негодуют? — не могу понять? * Скорее бы радоваться, особенно, когда вспомнишь о том, как неприглядны были ранние дни жизни Некрасова. Он испытал немало бедствий: и крайнюю бедность, и совершенную изолированность в те самые годы, когда люди начинают развиваться и нуждаются в нравственной и материальной помощи. Тогда он был совершенно один в Петербурге. А затем сколько лет трудовой, можно сказать, труженической жизни: да, у него, действительно (я это знаю, и не я один!), бывали дни, подобные тем, о которых он говорит в одном своем стихотворении:

---

* Не потому ли, что так горячо и так мрачно ⟨?⟩ выражал в своих произведениях свою скорбь о разных людских бедствиях. Он жил между тем сам так, как живут достаточные люди, не испытывая материальных лишений. Но тогда надо негодовать на нас всех. Все мы искренне скорбим о людских бедствиях, а живем между тем сами, как живут люди с достатком. (*Прим. И. А. Панаева.*)

Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил,
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?.. [17]

В заключение, всем интересующимся личностью Некрасова, я беру смелость сказать: «Бросьте свои сомнения; перестаньте слушать разные небылицы и клеветы, и верьте, что ваш поэт был тем, чем рисует вам его воображение и что подсказывает сердце». Те чувства, которые он пробуждал в нас своими стихами, он ощущал их сам, ощущал несомненно в те минуты, когда передавал эти чувства бумаге. Это был поэт искренний, человек простодушно добрый и, что бывает весьма редко, человек, не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому.

Тяжелые узы искусственной жизни, жизни, вовсе не подходящей его натуре, долгое время гнали его, хотя, может быть, он сам и не сознавал этого ясно. Но гнет он ощущал — и вот причина неровностей его характера.

Достаточной твердости характера он не имел; и сам сознавался в этом и, обращаясь к тени своей любимой матери, молил ее о том, чтобы она «укрепила» его «волею твердою». Могут, конечно, сказать, что все, высказанное мною о характере Николая Алексеевича, есть мое личное мнение. Да, но отчего же вышло, однако, так, что в течение тридцати лет моего знакомства с ним я не переменил о нем моего мнения? [18]

Н. А. Лейкин

Николай Александрович Лейкин (1841—1906) — известный писатель, редактор и издатель популярного в 80-е годы сатирического журнала «Осколки», в последние годы «Современника» был еще начинающим автором. В юмористических рассказах он остроумно высмеивал быт, нравы купечества Гостиного и Апраксинского дворов в Петербурге. С 1863 года его очерки и сцены печатались в «Искре». Произведения Лейкина заметили Салтыков-Щедрин и Некрасов. Щедрин, по словам Лейкина, говорил ему: «Николай Алексеевич Некрасов и я читали ваших «Апраксинцев» в «Библиотеке для чтения», и нам они очень понравились. Читали и ваши милые рассказы в «Искре». Очень своеобразно. ⟨...⟩ И вот Некрасов поручил мне заехать к вам и просит вас дать нам что-нибудь для «Современника» («Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907, стр. 181—182). В 1864 году Лейкин отдал в «Современник» повесть «Биржевые артельщики». Разговор с Некрасовым по поводу этой повести и воспроизводит Лейкин в своих воспоминаниях.

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

...Часов около двух дня пришел я в редакцию «Современника», находившуюся в доме А. А. Краевского на Литейном проспекте, на углу Бассейной улицы, при

квартире Некрасова. Первое, что я увидал в прихожей, — было чучело громадного медведя, стоявшее на задних лапах, опершись передними на толстую палку. Во второй комнате, скудно меблированной, опять два медведя — один изображавший диван, другой медведь в углу, на дыбах и с подносом в лапах, на котором стояли графин и стакан. В этой комнате меня встретили Алексей Николаевич Плещеев и Аполлон Александрович Головачев [1]. А. Н. Плещеев писал что-то за письменным столом. Кажется, он в то время был секретарем редакции [2]. Как с Плещеевым, так и с Головачевым я встретился тогда в первый раз. Я сказал свою фамилию, и мы познакомились. Плещеев тогда был полный блондин, еще без седины, с большой окладистой бородой, с добродушными голубовато-серыми глазами, с очень густыми волосами на голове; Головачев — черный, с красноватым лицом, несколько лысоватый уже и тоже с окладистой бородой. Узнав, что я желаю видеть Некрасова, они мне сказали, что он занят с кем-то, но скоро освободится.

Некрасов, действительно, скоро освободился, и я вошел к нему в кабинет, откинув тяжелую портьеру. Там, в кабинете, были опять два медведя: один лежал под письменным столом, другой стоял в углу. Некрасов был страстный охотник, и эти медведи, из которых были сделаны чучела, были им самим убиты, как рассказывали мне. Некрасов поднялся из-за письменного стола и направился ко мне навстречу, когда я вошел к нему. С маленькой черной бородкой с проседью, с редкими волосами на голове, через которые на лбу и на темени просвечивала кожа, одет он был в бархатную жакетку, и из-за жилета выглядывал кусочек яркого красного галстука. Некрасов в то время имел вид больного человека, лицо его было желтовато-серое, на ходу он как-то хлябал ногами и говорил сиплым голосом.

— Читал, все ваше читал. Знаком с вашими произведениями. Мне они нравятся. Да и вообще это такой быт, из которого надо писать теперь, кто его знает, — говорил он мне. — Теперь надо знакомить читателя с народом и с тем людом, который выходит из народа. Ведь в них вся будущность России... Пишите, батенька, нам, пишите, а мы будем печатать [3]. Ведь вы еще не окончили ту повесть, которую дали нам... Мы ждем окончания. И поторопитесь, поторопитесь окончанием.

Я обещал. Затем поднялся и стал откланиваться. Некрасов меня не удерживал. При прощании со мной, он взял мою руку одной рукой, прикрыл ее другой своей рукой и хотя сиплым, но ласковым голосом проговорил:

— До свидания... Увидимся, когда принесете окончание рукописи. Пишите, пишите... У вас хорошо выходит. Вы знаете тот быт, из которого пишете. Но одно могу посоветовать... У вас добродушно все выходит. А вы, батенька, злобы, злобы побольше... Теперь время такое. Злобы побольше...

Он потрясал мою руку и, когда я уже очутился в дверях, опять крикнул мне.

— Помните, батенька: злобы побольше!

С. Н. Терпигорев (С. Атава)

Писатель Сергей Николаевич Терпигорев (1841—1895) встречался с Некрасовым, когда жил в Петербурге у своего дяди Ф. И. Рахманинова, цензуровавшего «Современник» с перерывами в 1860—1862 годах.

Рахманинов ревностно исполнял свои обязанности и осложнял издание журнала. В начале 1861 года Некрасов сообщал Добролюбову: «...после больших хлопот мы-таки добились того, что нам дали в цензоры Бекетова! Что бы этот чудак ни стал делать, все это будет праздность после глупого Рахманинова, который с каким-то аматерским чувством относится к своей должности...» (X, 438).

В своих воспоминаниях Терпигорев рассказывает о том, к каким уловкам и ухищрениям нередко приходилось прибегать редакторам «Современника», чтобы усыпить бдительность Рахманинова, облегчить прохождение материала через цензуру. Меры Некрасова и его соредакторов не всегда достигали цели. Но без этих вынужденных тактических ходов невозможно было проводить в журнале идеи революционной демократии. Чернышевский писал в ноябре 1860 года Добролюбову: «Цензура испакостила Вашу статью о Неаполе и не пропустила «Свистка». Хлопотал я, хлопотал Некрасов, — успех оказался незавидный. Думаем переменить цензора. Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он глупая скотина. Напрасно вы с Некрасовым защищали его прежде. Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него, по крайней мере, 25 ста-

канов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда. Ну их к черту всех, от Ковалевского до Рахманинова...» (*Чернышевский,* т. XIV, стр. 415).

Терпигорев еще в гимназические годы увлекся поэзией Некрасова, о чем свидетельствует его первый незаконченный роман «Красные талы», написанный в форме диалога. «Образцом для романа, — признавался автор, — я действительно взял «Поэта и гражданина» Некрасова, причем сам был «Гражданином», а «Поэтом» один мой товарищ, и мы с ним читали наши диалоги перед любимой девушкой» (Собр. соч. С. Н. Терпигорева, СПб. изд. А. Ф. Маркса, т. VI, стр. 514). Позже в «Отечественных записках» Некрасов опубликовал его очерки «В степи» (1869), комедию «Слияние» (1870). После смерти Некрасова в этом же журнале при содействии Салтыкова-Щедрина было напечатано его самое значительное произведение — «Оскудение», изображающее пореформенную Россию, помещичье разорение. Терпигореву самому пришлось испытать цензурные гонения, и в этом смысле он сочувствует Некрасову. Но в то же время он пытается оправдать действия Рахманинова, сгладить его отношения с руководителями «Современника».

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

...Университет — университетом [1], но меня тянуло страшно тогда и к литературе. Федор Иванович часто говорил со мною об этом.

— Я не знаю, что ты хочешь из себя сделать? — рассуждал он, — если хочешь быть хорошим юристом, для чего тебе литература? Я вижу из всего этого, что ты на словах только соглашаешься на юридический факультет, но душой ты филолог. Литература и история тебя интересуют больше всего.

Познавательные способности, повторяю, у него были прекрасные; он не умел только усваивать и обобщать то, что познавал, — переваривать принятую пищу.

Однажды он входит ко мне и, не сказав ни слова, садится у окна, возле которого стоял мой письменный столик. Это было рано утром, я еще лежал на диване-кровати, закинув руки за голову, и раздумывал — идти

мне сегодня на лекцию или нет? Погода стояла отвратительнейшая.

— В университет ты пойдешь сегодня? — спросил он меня.

— Да вот не знаю — погода ужасная. А что?

— Я хотел поручить тебе отвезти письмо к Некрасову. Хочешь?

Я вскочил даже на кровати.

— Конечно!

— Он издал свои сочинения. Ему долго не разрешали издания их. Разрешили — и он прислал мне один экземпляр с надписью. Самому мне ехать благодарить его — я цензор, цензурую его журнал[2], и это будет неловко, бестактно; ничего не ответить ему на это или написать по почте — опять будет неловко в другом уж роде. Я поэтому остановился на мысли написать ему письмо, в котором благодарить его за это, и отправить его к нему с тобой. В письме я упомяну о том, что ты мой племянник.

— Я очень рад, — сказал я.

— Потому, — продолжал дядя, — что, если литератор с таким именем, как Некрасов, дарит цензору свои сочинения, это значит, что он уважает его, а это все, что цензор может получить от писателя, и чего, если он порядочный человек, должен добиваться.

Дядя был в возбужденном состоянии, он сиял точно. В это время, я уверен, он не отделял себя от Некрасова, и его взгляды, убеждения, направление считал своими и его дело тоже своим, кровным — любимое его выражение.

Он прочитал мне, пока я умывался, одевался и наскоро пил кофе, обстоятельную рацею о том, как человек должен ставить себя в жизни и вот тому пример и образчик — он, поставивший себя так, что литераторы даже, и такие звезды первой величины, как Некрасов и прочие (в это время, как сказано выше, он цензуровал «Современник», и для него не было литераторов выше, как те, которые писали в «Современнике»), относятся к нему с уважением и видят в нем прежде всего человека.

Он приходил ко мне спросить моего согласия на поездку с таким поручением, оказалось, только для проформы, письмо было уж написано у него, и он тут же передал мне его.

— И ты, пожалуйста, извозчика возьми. У тебя есть деньги на извозчика? — заботился он.

— Есть... есть... А если я его не застану дома?

— Назад, назад!.. В твоей поездке только и есть тот смысл, чтобы лично передать ему от меня письмо. А иначе что же? Я бы мог и с лакеем послать.

— А если скажут, что он скоро будет?

— Подожди. Ведь ты это можешь?

— Конечно.

Некрасов в это время жил уж на той же самой квартире, на углу Литейной и Бассейной, в доме Краевского, где он и умер потом. Я знал этот адрес и не один раз, проходя или проезжая по Литейной, всматривался в окна квартиры, не увижу ли человека, которого обожал за его стихотворения и за которого, как говорится, душу бы всю отдал. В гимназии я немножко даже пострадал за него: директор, делая у нас по ящикам осмотр или обыск, нашел однажды у меня тоненькую книжку его стихотворений (первое издание), где были и запрещенные тогда стихи: «Поэт и гражданин» [3]. Это было преступление, и заходила речь даже об исключении меня, но потом как-то замяли это дело.

В передней у Некрасова меня встретил его егерь в охотничьей одежде с зелеными обшивками и штук пять роскошнейших собак пойнтеров; все они окружили меня, обнюхивали и ласкались, я их гладил, трепал, как истый охотник сам.

— Дома Николай Алексеевич? — спросил я.

Егерь крикнул кого-то; вошел совершенно провинциального вида лакей, такой, как у нас был в Тамбове, и с серьезным лицом спросил:

— Вам что угодно?

— От цензора Рахманинова.

— Пожалуйте, — сухо сказал он и указал мне на дверь налево от входа.

Я вошел вместе с собаками в довольно большую комнату с бильярдом посредине, с чучелами медведей по углам и с гравюрами, изображавшими оленей и лосей, развешанными в массивных рамках по стенам. Собаки прыгали, ласкались, вообще встречали и продолжали занимать меня чрезвычайно радушно и гостеприимно. Я занялся ими и не заметил, как в дверях показалась фигура Некрасова в туфлях, халате и ермолке. Он был болезненно бледен, хмур и суров.

За ним стоял лакей. Некрасов полуобернулся к нему, и лакей, указывая на меня головой, сказал:

— Вот они-с.

Я приблизился и подал письмо. Некрасов торопливо, нервно распечатал его и стал читать. Я в это время рассматривал его исхудалое, пожелтевшее лицо, реденькую бородку и усы. Вдруг на губах у него показалась едва заметная, но ядовито-злая улыбка, и он, опуская письмо, перевел на меня иронически благодушно улыбавшиеся глаза. Я невольно тоже улыбнулся.

— Я очень рад, — глухим голосом и, по обыкновению, берясь одной рукой за бородку, начал Некрасов, — что я доставил Федору Ивановичу удовольствие. Пожалуйста, передайте ему мой поклон. Я бы сам к нему заехал, да вот совсем больной... простудился на охоте, должно быть... Да! — вдруг сказал он, точно вспомнив что, — закусить не хотите ли? рюмку водки; адмиральский час ведь теперь... Василий!..

Вошел тот же человек его.

— Собери-ка нам чего-нибудь, что там есть... Пожалуйста, вот сюда, — продолжал Некрасов, беря меня рукой слегка за талию.

Мы вошли в следующую комнату, с богатыми турецкими диванами по стенам, огромным круглым столом, покрытым тяжелой дорогой скатертью.

— А вы никогда не говорите, что от цензора приехали, — начал Некрасов, уж весело улыбаясь, когда мы уселись, — вы этим пугаете...

— Он такой ваш поклонник, — сказал я...

— Да и я, и все мы очень любим Федора Ивановича... Только страшно все-таки бывает! Ведь вот Фингал! — крикнул он на собаку; Фингал подбежал. — Ведь вот Фингал пес, а дашь ему плетку — несет, бережно, с любовью, а ведь тоже боится ее; скажешь; а где плетка? — слово только услышит «плетка», не знает еще, что с ним хотят делать, а уж боится, сейчас видно это. Так и мы. Шутите вы, в нашем деле — цензор! Да мы так генерал-губернатора не боимся, менторов так не боимся как цензора, — царя он страшнее!

Я молчал. Мое положение было почти неловкое. Он, должно быть, это сообразил или заметил и совсем уже благодушно, просто очаровывая меня ленивой, усталой, обычной, как я узнал это впоследствии, манерой своей,

начал расспрашивать, что я тут делаю в Петербурге, учусь или служу уже.

— Я в университете, — сказал я. (Мы носили тогда и форменное и свое платье; но я был в своем для солидности.)

Василий принес нам на подносе — громадном, какие бывали только у помещиков, — целый город закусок и бутылок, пять разных водок и поставил все это на столе.

Некрасов стал наливать водку.

— Вам какой?.. — спросил он.

— Я не пью никакой. — Я действительно тогда не пил еще совершенно ничего.

— Студент — и не пьет? что же такое это!..

Он протянул мне уж налитую рюмку и ждал, когда я возьму. Я взял ее больше уж из деликатности — как же, сам Некрасов подает! — и точно также не поставил ее обратно на стол, а поднес к губам, страшно посмотрел на нее и выпил.

— Это первая рюмка в моей жизни, — сказал я, поперхнувшись.

— Да?.. Ну, будет не последняя.

Он наложил мне целую тарелочку свежей икры и, как ни уверял я его, что это много, просил, чтобы я ел.

Я заметил, что он или нарочно тогда сказал, что он болен, или действительно теперь, со мною, хандра у него прошла, и он не замечал своей простуды: он был редко так благодушно настроен.

Провожая меня, когда я уж совсем уходил от него, он мне сказал:

— Вот когда-нибудь позавтракать с дяденькой-то зашли бы...

— Только как же тогда сказать ему о себе?

— Ну, да ведь это я шучу... Он хороший человек, я его люблю сердечно.

Федор Иванович уже ждал меня, и только что я к нему показался, он воскликнул:

— Не застал дома?

— Нет, он дома. Он кланяется, благодарит... Он закусывать меня у себя оставил.

— Ну, а так, какое впечатление? Ты заметил, как он читал мое письмо, какое оно произвело на него впечатление?

— Очень хорошее. Ему было приятно.

Я рассказал дяде о водке, что выпил первую рюмку

из рук Некрасова, но о его рассуждениях о цензуре умолчал благоразумно.

Потом, в течение нескольких дней, Федор Иванович все нет-нет да и заведет речь о Некрасове, спросит о какой-нибудь подробности моего визита к нему. ⟨...⟩

Как-то вечером, однажды, все в ту же зиму 1860/61 годов я зашел к дяде в кабинет и застал его в крайне раздраженном состоянии. Он то садился, то ходил из угла в угол по комнате в своем просиженном халате и нервно улыбался, выказывая в то же время, по-своему, крайнюю любезность и предупредительность. Он был не один, у него сидел кто-то высокий, черный, с длинной узкой бородой и, ядовито улыбаясь, продолжал что-то рассказывать. Я хотел было уйти, предполагая, что они говорят о деле, заняты, но дядя остановил меня.

— Куда ты?.. Пожалуйста.

Я остался.

— Это я замечал, это я и сам замечал, — на ходу говорил дядя, — действительно, как только является Некрасов, вслед за ним сейчас же и Панаев, а минут через пять и Чернышевский. Я это действительно и сам замечал.

Из дальнейшего их разговора я узнал, что речь идет о том, что они его «подводят», делают это «многообразно» и «многоразлично», как выражался черный господин, а Чернышевский, мало того пишет, насобачился писать еще и этак и так, это чтобы дядя не вычеркивал из них, он не только не терял своего стиля и слога, но, казалось, приобретал и того и другого еще больше.

Я рассмеялся при этом невольно.

— Тебе смешно?

Дядя обернулся ко мне.

— Как же это может быть?

— Техника, — отвечал высокий брюнет.

— И Панаев с Некрасовым действительно всегда заводят разговор о постороннем, сидят, болтают, несут всякую чепуху, пока не явится Чернышевский. Он начинает просить поскорее прочитать и подписать корректуру, даже останавливает Панаева не мешать мне, не рассказывать всякий вздор; но могу ли я в это время спокойно заниматься?.. Ну, и проскакивает...

Оказалось, что этот черный господин был какой-то служащий в цензурном ведомстве и принес дяде изве-

стие, что ему будет сделано замечание или выговор за какую-то пропущенную им в «Современнике» статью[4]. И он же «открыл» дяде глаза на способ, употребляемый Некрасовым, Панаевым и Чернышевским для того, чтобы он поскорее и, стало быть, кое-как читал статьи для их журнала.

— Но довольно! Теперь я понимаю, и довольно! — решительным тоном говорил дядя, шагая по комнате. — Довольно!..

Дверь в это время тихонько приотворилась, и горничная, выглянув в нее, проговорила:

— Господин Некрасов.

— Проси! — крикнул дядя, запахиваясь и не зная, уходить ему переодеваться или так его встретить. Высокий брюнет с черной бородкой поднялся и стал прощаться с дядей; я тоже поспешил уйти.

Через час, проходя зачем-то в «собственную» комнату квартирной хозяйки, для чего надо миновать переднюю, я услыхал веселый смех дяди и голос Некрасова, что-то договаривавшего. Он его провожал и был в самом наилучшем настроении.

— Ну, что? — спросил я его, когда он, проводив его, зашел к старухе Шпильге.

— Ты про что? — уж с удивлением спросил он меня.

— Было объяснение с Некрасовым?

— Ну, вздор какой... Нет, есть люди, — всякие добрые отношения, которые они видят у других, для них нож вострый, и они всеми силами стараются испортить их.

Он, очевидно, этим намекал на высокого брюнета с черной бородой и свои отношения с Некрасовым, Панаевым и Чернышевским.

Но, к сожалению, я узнал, много лет спустя, что это было именно так. Бедный мой дядя, веривший в искренность и расположение к нему Некрасова и Чернышевского, жестоко в этом заблуждался... Десять лет спустя, когда я ближе познакомился с Некрасовым, и не как писатель, а на охоте, я однажды на привале вспомнил старину, мою первую с ним встречу, заговорил и об этом «способе» его и Чернышевского в отношении Рахманинова.

— Да как же с ними! на каждого зверя особая ведь уловка должна быть, — ответил он, закидывая руки за голову и потягиваясь на разостланном мягком ковре.

— Он добрый малый был... для вас, — возразил я.

— Конечно. А знаете, отчего происходит добрый малый? — и, смеясь, повернулся на бок ко мне лицом и сам же ответил на свой вопрос, — от добра моего...

Кто-то из сидевших и лежавших тут же на ковре — чуть ли не Ераков — начал этому смеяться. Тогда Некрасов приподнялся, сел на ковре и уж не шуточно, а совсем серьезно и с страшной вспыльчивостью заговорил о том, что он вытерпел и вынес от цензуры...

Сидевшие, вообще протестовавшие, тут молча слушали его. Но он недолго говорил об этом, замолчал, потом круто повернул на что-то другое.

Такого выражения у него в глазах я никогда не видывал после... Охотники видят это выражение в глазах у смертельно раненного медведя, когда подходят к нему и он глядит на них.

В РЕДАКЦИИ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Г. З. Елисеев

С Григорием Захаровичем Елисеевым (1821—1891) Некрасов сотрудничал около двадцати лет. В конце 1858 года в «Современнике» была опубликована первая статья Елисеева «О Сибири», а через год он становится постоянным сотрудником журнала. С 1861 года он ведет в «Современнике» «Внутреннее обозрение», раздел, посвященный критическому обзору событий в России и русской прессы. О том, каким авторитетом пользовался Елисеев в редакции «Современника», можно судить по следующему отзыву Чернышевского: «...Читал ли кто статьи Григ. Зах. Елисеева? Никто. Ответственность за них лежала на мне. Я никогда не читал их (кроме первых, по которым увидел, что можно доверять Елисееву). А Некрасов тем меньше читал их» (*Чернышевский*, т. XV, стр. 783—784). После ареста Чернышевского Елисеев становится одним из руководителей журнала, сотрудничая в то же время и в других демократических изданиях. Совместно с В. С. Курочкиным и Н. А. Степановым он редактировал «Искру». Формируя состав редколлегии «Отечественных записок», Некрасов считал Елисеева «в предполагаемом деле нужным и полезным...» (XI, 92) и настаивал на его кандидатуре как будущего члена редакции. В «Отечественных записках» Елисеев, как и Салтыков-Щедрин, был одним из соредакторов. В конфликте Некрасова с Жуковским и Антоновичем (см. стр. 163) Елисеев встал на сторону поэта. Отвергая обвинения бывших сотрудников «Современника», изложенные в брошюре «Материалы для характеристики

современной русской литературы» (1869), Елисеев писал: «По отношению к специальной своей цели, то есть диффамации г. Некрасова, книжка гг. Антоновича и Жуковского не дает никаких веских данных» (*ОЗ*, 1869, № 4, стр. 336).

Елисеев и Некрасов не были близки между собой. Между ними часто возникали несогласия, расхождения в трактовке современных общественно-политических событий. Несмотря на то, что отдел публицистики в журнале возглавлял Елисеев, Некрасов нередко поручал ответственные выступления по этому разделу Щедрину. Иногда разногласия настолько обострялись, что Елисеев намеревался уйти из журнала. Так было в марте 1876 года.

Отношение Елисеева к Некрасову было противоречивым. Михайловский писал: «Он, конечно, всегда признавал ум и талант Некрасова и огромность его заслуги в литературе. Но вместе с тем мне случалось слышать от него очень резкие отзывы о нравственной личности поэта...» (Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., т. VII, СПб. 1909, стлб. 472). С. Н. Кривенко считал, что Елисеев умел «ладить с Некрасовым», но питал к нему неприязнь. «Впоследствии, когда мы ближе познакомились, он, уже не стеснялся, прямо бранил Некрасова и истолковывал некоторые его действия так, что мне приходилось не раз оспаривать его, выставляя совершенно другое объяснение...» (*РМ*, 1901, № 7, отд. II, стр. 112).

Эти отношения стали более дружественными в последние годы жизни поэта. Узнав о болезни Некрасова, Елисеев писал ему 27 сентября 1876 года в Крым: «Не могу выразить Вам, как эта весть огорчила не только меня, но и мою жену, и не эгоистично только, не потому, что Вы стоите во главе нашего общего дела, а лично за Вас» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 258).

После смерти поэта, отбросив былые предубеждения, Елисеев оценил его с точки зрения задач и интересов демократического движения. В некрологе, вырезанном цензурой из «Отечественных записок» (1878, № 1), он писал: «Своим сочувствием к покойному, признанием его заслуг, интеллигентное общество указало тот путь, по которому должен идти каждый талант, чтобы удостоиться общественного признания. За *каплю крови*, общую с народом, сохраненную поэтом до конца жизни,

оно не вспомянуло на его могиле о тех случайных отклонениях, которые он делал на пройденном им пути и которые так смущали совесть поэта в последние годы его жизни». Елисеев характеризовал Некрасова как народного поэта, главу «нового направления литературы» и журналистики («Пролетарские писатели — Некрасову», изд. «Московский рабочий», 1928, стр. 66).

В суждениях Елисеева о Некрасове была и «неверная нота». Елисеев эволюционировал от демократизма к либеральному народничеству. Он оправдывал тактику компромиссов и «неверные звуки» поэзии Некрасова. «Некрасову, по словам Елисеева, приходилось говорить иногда приспособительно к обстоятельствам и ad hominem *. Это бросало на него фальшивый свет и в глазах людей, действовавших вместе с ним, и в глазах сторонних лиц. Но без этого Некрасов в своей журнальной деятельности едва ли бы долго мог идти против течения в качестве руководителя» (*ОЗ*, 1878, № 3, отд. II, стр. 120).

В ответ на резкое обвинение каракозовцем И. А. Худяковым (в книге «Опыт автобиографии») Некрасова за его «муравьевскую оду» Елисеев в 1882 году написал обширное «примечание» (об его истории см.: «Из неизданной переписки П. Л. Лаврова и Г. З. Елисеева». — *ЛН*, т. 19—21, стр. 260—261; «Из разысканий о Некрасове в архивных фондах III Отделения и департамента полиции». Публикация С. Макашина, *ЛН*, т. 53—54, стр. 207—208), в котором свою точку зрения сформулировал еще более отчетливо: «...Во мраке *того глубокого рабства, в котором жила и до сих пор живет еще Россия,* ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело, не могут явиться без компромиссов, *ибо все может явиться только с соизволения*». *«Жертва, принесенная Некрасовым чудовищу, была, по нашему мнению, не только вполне законна, но и необходима...»* (*«Шестидесятые годы»*, стр. 460, 462). Некрасова Елисеев причислил к «героям-рабам» и считал, что в России возможен именно такой тип общественного деятеля.

В последние годы жизни Елисеев занимался историей русской журналистики 60—70-х годов. В центре этой большой незавершенной работы (откуда и берутся

---

* к человеку (*лат.*).

ниже публикуемые воспоминания) две фигуры: Некрасов и Салтыков-Щедрин.

Мемуары Елисеева посвящены очень важному в истории русской общественной жизни событию — созданию нового демократического журнала «Отечественные записки», участником которого был Елисеев.

О своих противниках — Антоновиче и Жуковском — мемуарист пишет с нескрываемой иронией и преувеличивает свою роль в определении демократической программы преобразованных «Отечественных записок».

⟨ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

Всем известно, что в шестидесятых годах «Современник» имел для русского общества громадное воспитательное значение, но не многие знают, что «Современник» не просуществовал бы и двух лет, если бы его не охраняла от бесчисленного множества разных напастей умелая и ловкая рука Некрасова, можно сказать, неусыпно о нем заботившаяся. Какие он употреблял для этого меры и средства, пока далеко не всем известно. Но если бы перечислить даже то, что известно, то всякий честный человек, без всякой брезгливости и с наслаждением пользовавшийся плодами его трудов, с отвращением взглянул бы на эти меры и средства и сказал бы: «Нет, я к этому не способен, я не мог бы этого сделать, это переворачивало бы всю мою внутренность». Положим, так. Но почему мы, честные люди, знаем, что и у Некрасова не переворачивались внутренности от этих мер и средств. Голодный вор, который идет воровать хлеб, чтобы не умереть с голоду и прокормить себя и свою семью, наверное, не стал бы воровать, если бы у него было столько хлеба, чтобы питаться ему с семьею. Но если у него нет никаких средств добыть себе пищу, кроме воровства, и приходится без этого погибать с семьей голодом, он по необходимости пойдет воровать. ⟨...⟩ Какое же мы имеем право обвинять или осуждать Некрасова за те унизительные средства и меры, какие он употреблял для блага литературы, когда эти меры и средства практиковались большинством общества для своих личных целей.

Говорят, Некрасов заботился о «Современнике» вовсе не для литературы, а для самого себя, для своего обо-

гащения, или эпикурейского наслаждения жизнью. Однако Некрасов умер, не оставив после себя ни гроша. Может быть, у жены малая толика и осталась, на которую она может жить, не прибегая к помощи Литературного фонда. И только. Это ли богатство? Что касается до его эпикурейского наслаждения жизнью, то оно известно всем нам, ближайшим сотрудникам «Современника». Он жил никак не лучше и не роскошнее каждого директора департамента средней руки. По самому точному расчету о доходе «Современника», сделанному одним из сотрудников «Современника», стоящим ныне во главе Государственного банка [1], доход, получаемый Некрасовым от «Современника» не превышал 20 тысяч рублей в год. Какое же на эти деньги возможно эпикурейство? Некрасов имел и должен был иметь в качестве редактора одного из выдающихся в то время журналов, приличную квартиру, держать лошадей, вообще жить прилично ради литературы, иначе разные большие и маленькие люди, власть над литературой имеющие, не стали бы пускать его к себе на порог для литературных объяснений и третировали бы, как какого-нибудь рассыльного; затем, для литературы же он тратился на бывавшие у него нередко обеды, ибо все мы знаем, что на этих обедах его лучшими и единственными гостями были люди, имевшие то или другое влияние и отношение к литературе, и потом мы, его сотрудники. Если затем из высчитанных нашим доморощенным политикоэкономом 20 тысяч у Некрасова что-нибудь и оставалось, то ведь всякий почти шеф высшего правительственного учреждения получает ту или другую, смотря по рангу, негласную сумму денег в его личное распоряжение, в которой никому не дает отчета. Мог ли обходиться без такой суммы Некрасов со своими новыми идеями в то только начавшееся время русского прогресса, когда большинство крепостнического общества тяготело к старому строю жизни и не могло отстать от его привычек? Представим себе, что к нему приходит человек, сочувствующий этим идеям и имеющий влияние и отношение к литературе, и говорит: «Не можете ли, Николай Алексеевич, ссудить мне на несколько времени две или три тысячи рублей. Денег нет, а за границу ехать необходимо: жена и дети больны». Разве мог такой умный человек, как Некрасов, отказать такому сочувствующему к новым идеям человеку в каких-нибудь двух, трех тысячах рублях? А с другой стороны, мог ли

Некрасов выдачу такой суммы записать в расход и объявить нам, сотрудникам «Современника». Помилуйте, да мы все, сотрудники «Современника», были честные люди. Честность была самым лучшим нашим украшением. Мы бы все в один голос закричали: «Да это подлость», «Это подкуп», и немедленно убежали бы из «Современника»; нам тогда и в ум не приходило, куда нам бежать. Бежали бы из «Современника», да и все. А бежать действительно было некуда. Был единственный журнал, кроме «Современника», который сочувствовал известным идеям, — это «Русское слово», но редактор этого журнала Григорий Евлампиевич Благосветлов, был человек очень странный, чтобы не сказать более, и, кроме того, несимпатичный. Пристроиться у него навсегда мы ни под каким видом не согласились бы. Некоторые из нас пробовали было основаться самостоятельно — издавать свои сочинения отдельными книжками. Но дело не пошло на лад. Книжки известнейших по журналу сотрудников публика покупала в количестве 400—500 экземпляров. В итоге получались гроши, на которые жить было нельзя. А мы хоть не эпикурейцы, как Некрасов, но были избалованы хорошим гонораром, который давал «Современник», и привыкли к некоторым удобствам жизни. Притом уже у всех нас были супруги, которым нужно было дать приличную обстановку.

И вот мы, честные люди, по инициативе нашего политикоэконома, решились заставить Некрасова именно сделаться таким же честным человеком, как и мы. Один раз, когда Некрасов стал жаловаться на бедность доходов журнала, на недостаточность денег и на наши возражения предложил нам поверить его конторские книги, то мы, о срам, вызвались идти и делать самоличную поверку. Признаюсь, при одном воспоминании об этом по малой мере неприличном походе для ревизии конторских книг «Современника» у меня до сих пор выступает краска на лице. Контора «Современника» помещалась в то время в квартире заведующего конторой Ипполита Александровича Панаева, недалеко от Технологического института. И вот гурьбой все мы, сотрудники «Современника» — я, Ю. Г. Жуковский, М. А. Антонович, В. А. Слепцов, А. Ф. Головачев — отправились к Панаеву. Не помню, был ли на ревизии А. Н. Пыпин. Панаев принял нас очень любезно, раскрыл все книги и стал давать объяснения по своим бухгалтерским счетам. Мы, не знакомые

с бухгалтерским счетоводством, шутили, спорили, смеялись над теми qui pro quo *, которые получались в наших понятиях по объяснениям Панаева к терминам бухгалтерии. Наш поход или, лучше сказать, набег на контору журнала был для нас в некотором роде partie de plaisir ** и не доставил нам ничего, кроме удовольствия, хотя мы далеко уже были не детьми: младшему из нас, Антоновичу, было не менее 30 лет, я был старше его на 15 лет, возраст остальных варьировал между этими двумя цифрами. Все мы, неглупые, кончившие курс в высших учебных заведениях, дипломированные, сами себя считали людьми умнейшими во всей России. Вдобавок ко всему этому надобно сказать, что мы вовсе не были злы. Но никому из нас и в голову в то время не приходило: какое жестокое издевательство совершаем мы над Некрасовым. Никто не подумал о том, что должен был передумать и перечувствовать этот человек во время этой ревизии. А еще больше, что он должен передумать и перечувствовать после того, как эта неслыханная не только у нас, но и во всей литературе ревизия сотрудников над кассою своего редактора огласится в литературных и журнальных кружках. Ведь подобная ревизия равносильно объявлению редактора если не доказанным, то подозреваемым вором [2].

Таких унижений, самых оскорбительных для самолюбия всякого человека, от нашей честности Некрасов претерпел немало, так что, обращаясь на прошедшее, думаешь, как мог выносить все это Некрасов, чего я уверен, не вынес ни один из известных мне бывших и существующих редакторов, а тем более не вынес бы никто из нас, считавших себя вправе оскорблять его. Всякий на его месте сказал бы: «Да ну вас к черту, честные люди», бросил бы все, и конец. Тем более и тем скорее сделали бы это мы, бывшие сотрудники «Современника», ибо все мы были с великим гонором и великого о себе мнения. Представляю, однако, и еще несколько примеров унижения Некрасова от нашей честности.

Вместе с пожарами Апраксина двора в Петербурге в 1862 году и взятием под стражу Чернышевского, «Современник» был остановлен на девять месяцев [3]. Все друзья и враги интересовались знать, почему остановлен «Современник», и все приставали к Некрасову с этим

---

* недоразумения (*лат.*).

** увеселительная прогулка (*франц.*).

вопросом; Некрасов всюду, куда являлся, чтобы отвязаться от вопрошающих, отвечал кратко: «Да, я не знаю, за что остановили «Современник»; верно, моя консистория там что-нибудь в нем напутала». Когда слух этот дошел до нас с Максимом Алексеевичем Антоновичем, мы с ним очень этим обиделись, обиделись до того, что порешили не участвовать более в «Современнике», если бы он и открылся [4]. Я осенью в этом году был приглашен редактировать имевшую открыться с нового 1863 года газету «Очерки» [5]. Антонович согласился писать в будущей газете политическое обозрение и, кроме того, решил искать другой работы. Чем мы тогда обиделись, теперь даже и понять трудно. По существу, Некрасов, действительно, ответил так, как стояло тогда дело. «Современником» тогда безраздельно почти заведовал один из членов этой консистории, человек умный, даровитый и высоконравственный, которому Некрасов вполне безгранично доверял [6]. Многого, что печаталось тогда в журнале, Некрасов, вероятно, часто не читал за недосугом. И если что напутано было в журнале, то напутала, конечно, консистория. Но своим ответом Некрасов вовсе не отрицал своего согласия с тем, что напутано, а тем более своей главной ответственности за напутанное перед правительством. Со стороны Некрасова дать почувствовать вопрошающим, что он сам все напутал, было бы не только несправедливо, но походило бы на хвастовство, а главное было бы совсем не умно. Ведь если бы дать такой ответ, то ему после не разрешили бы продолжать издание «Современника». Но мы, конечно, и таким его ответом не удовлетворились бы. Наша честность желала, чтобы Некрасов явился подвижником первых времен христианства, то есть предстал пред подлежащим начальством, объявил ему, что ничего напутанного в «Современнике» нет, что все, что напечатано, именно и есть сама святая истина, которую он признает умом и сердцем и что член консистории, который написал и позволил другим написать, все это сделал по его желанию и по требованию. От такого исповедничества арестованному члену консистории никакой бы пользы не было, самому Некрасову никто не поверил бы в его признаниях, а за его рыцарский подвиг его или посадили бы туда же, где сидел член его консистории, или отправили бы временно охладиться в Архангельскую губернию. Как бы то ни было, но когда в конце 1862 года Некрасов из своего имения

приехал в Петербург, его поразила неприятная новость, что мы с Антоновичем оскорблены его поведением и твердо решили отказаться от участия в «Современнике», а я даже законтрактовался работать в газете. Положение Некрасова накануне открытия «Современника» — срок оплаты «Современника» истекал в январе 1863 года — было незавидное. Блестящий штаб «Современника» совсем исчез. Добролюбов умер, глава консистории продолжал сидеть, и не было надежды, что он выйдет оттуда. Примыкавший к этому штабу, в качестве некоего многоценного алмаза, на коего все надежды возлагал арестованный глава консистории, Антонович ушел из «Современника»; я, хотя и не был алмазом, но тоже, как примыкавший к прежнему блестящему штабу, более или менее был известен тогдашней публике, — также отошел от «Современника». Из старых постоянных сотрудников «Современника» остался один А. Н. Пыпин. Некрасов немедленно отправляется к Антоновичу и ко мне, умоляет нас, чтобы мы не покидали «Современник», и перед каждым из нас, а потом перед обоими вместе он клялся, призывал в свидетельство все, что было для него святого, что никогда он переданных нам слов не говорил, что он привязан и душой и сердцем к идеям, проводимым «Современником», но что, как ни дороги для него эти идеи, он не решится без нас продолжать издание журнала, что, «если мы не согласимся участвовать в нем, он немедленно закроет журнал. Мы с Антоновичем для него необходимы» [7]. Мы, наконец, смиловались над бедным Некрасовым. Я согласился, не оставляя «Очерков», в которых был законтрактован, поставлять «Внутреннее обозрение» в «Современник», а Антонович стать во главу его [8]. Не знаю, знал ли Антонович, но я знал наверное, что Некрасов действительно говорил те слова, которыми мы обиделись. Мне передал их один хорошо знакомый мне человек, который слышал сам эти слова, когда Некрасов говорил в каком-то книжном магазине, а этот человек был настолько правдив и беспристрастен, что в верности и точности переданных сказанных слов сомневаться было бы немыслимо [9]. Для меня было очевидно, что Некрасов лгал, отрицаясь от сказанных слов. И это именно обстоятельство меня очень кольнуло, где-то там в глубине души. Хотя я был тогда вполне убежден в моей честности, но мне вдруг как-то стало не по себе от этой честности. Как

Некрасов, этот лучший поэт, которым зачитывалась вся Россия, на песнопениях которого воспитывалось столько поколений, в поэзии которого свет и правду черпал даже я, его сверстник, не говоря уже об Антоновиче, — и вдруг этот человек поставлен в необходимость раболепствовать перед нами, унижаться даже до лжи... Как хотите, это было характерно. А вот и другой:

4 апреля 1866 года последовал каракозовский выстрел в покойного государя. Общество, не ожидавшее ничего подобного, пришло в страшную панику, и большинство, как всегда бывает в подобных чрезвычайных случаях, набросилось на литературу, будучи уверено, что среди нас именно надобно искать виновников покушения. В этом же сначала был, по-видимому, убежден и высочайше назначенный верховным следователем по этому делу граф М. Н. Муравьев. Он взялся круто за дело, и все участвовавшие в литературе, конечно, были в трепете, ожидая денно и нощно неизбежного арестования. В особенности должны были трепетать сотрудники «Современника», который считался главным очагом всех перверсивных якобинских идей. Поэтому, когда вскоре после происшествия в Английском клубе, вероятно, в честь высокого доверия, выказанного государем графу Муравьеву в назначении его следователем, последнему давался обед, Некрасову, который был членом Английского клуба, пришла несчастная мысль приветствовать графа Муравьева стихами. Граф принял это приветствие очень недружелюбно. На другой же день об этом разнеслось по всему городу и потом появилось во враждебных нам газетах с разными инсинуациями [10]. Нас эта история повергла в великое уныние. В первый редакционный обед мы явились в редакцию с мрачными лицами. Напрасно Некрасов хотел перед нами оправдаться, напрасно читал стихотворение, сказанное перед Муравьевым, указывая, что в нем нет противного нашей честности. Весь смысл стихотворения заключался, помнится, в том, что поэт, обратясь к Муравьеву, говорил: «Разыщи виновников и казни их». Другого, конечно, и сказать было нельзя, уж если начал говорить приветствие следователю. Но нам претили самая инициатива и факт такого приветствия, вызванного, очевидно, трусостью. Конечно, мы все трусили не менее Некрасова, и прими граф Муравьев приветствие Некрасова благосклонно, мы бы извинили Некрасову его трусость. Теперь же мы были непреклонны

в нашей честности, и он погиб в нашем мнении навсегда. А мы были тогда для Некрасова целый мир. Что мир! Больше целого мира. Мы были для него все. Признай мы поступок его, положим, необдуманным, но ничего криминального не заключающим и никакой кары не заслуживающим, каким он действительно и был, Некрасов был бы совершенно спокоен, что бы о нем ни говорили и ни писали другие. Но этого мало: мы были настолько влиятельны для общественного мнения, что если бы мы высказали твердо наш взгляд на поступок Некрасова как на дело совершенно незначащее и никакого внимания не заслуживающее, то общество перестало бы смотреть на него как на дело позорное и немедленно бы о нем забыло. Но наша честность продолжала распространять и усиливать враждебное отношение общества к Некрасову на основании этого незначащего его поступка, пока наконец вопрос о четвертаках не отделил большую часть честных людей от Некрасова и не заставил их из вражды к нему решиться для опозорения его на публичный скандал [11]. ⟨...⟩

Слухи о том, что происходило в Английском клубе на данном графу Муравьеву обеде, о стихах, сказанных здесь Некрасовым Муравьеву, и о неблагосклонном отношении Муравьева к поэту, с разными дополнениями и украшениями быстро разнеслись по городу и только увеличили общую уверенность в виновности литературы, в особенности в избранных муравьевских помощниках следственной комиссии, гвардейских офицерах — людях молодых и в следственной части столько же мало умелых, сколько неопытных. Некрасов скоро на себе должен был испытать, как неблагоразумно он поступил, выставившись с своим стихотворением перед графом Муравьевым. На другой день после моего ареста [12] Некрасов храбро явился на мою квартиру, чтобы осведомиться: что случилось и как. Я говорю храбро потому, что ни один из моих товарищей и вообще никто из сотрудников «Современника» не решился этого сделать. Ибо с того момента, как известие о выстреле Каракозова стало известно всему Петербургу, все прикосновенные к литературе тотчас поняли, что как бы ни пошло дело следствия, но литература, по установившемуся у нас обычаю, все-таки первая будет привлечена к ответу, и потому все засели дома, стараясь как можно меньше иметь между собою сообщений, исключая, разумеется,

случаев крайней нужды. Некрасов прибыл на мою квартиру как раз в тот момент, когда там присутствовал гвардейский офицер, тот самый, который накануне арестовал меня, производил обыск у меня и который теперь отбирал показания у моей жены и прислуги. Гвардейский офицер, при появлении Некрасова, немедленно арестовал его. Жена моя сначала немного смутилась и не знала, что ей делать, но потом, немного подумав, обратилась к офицеру с такой речью: «Господина Некрасова я вижу сегодня лицом к лицу в первый раз. Он мне вовсе незнаком. Он приезжал иногда к моему мужу по делам журнала, но они говорили с мужем глаз на глаз в кабинете мужа, и я никогда при этом не присутствовала. Вы вчера пересмотрели тщательно все бумаги мужа и взяли, что вам нужно, точно так же вы можете взять бумаги и у Некрасова и допросить его, о чем вам нужно, у него на дому. Некрасов — лицо слишком известное не только в Петербурге, а и в целой России. Вероятно, и вы уже учились по его стихотворениям. Он, конечно, никуда не убежит, зачем же вы будете удерживать его здесь без всякой нужды, когда и я его не знаю, ни он меня не знает»[13].

Офицер смутился, не нашел, что отвечать на слова жены, но позвал прислугу и спросил, часто ли бывал у нас Некрасов и действительно ли Некрасов незнаком с моей женой, и, получив от прислуги ответы, вполне подтверждавшие слова жены, отпустил Некрасова. Но потом, продолжая допрашивать мою жену, он одумался и раскаялся в том, что отпустил Некрасова. «А это все вы виноваты, — ворчал он то и дело, обращаясь к моей жене с упреком. — Со страху Некрасов очень легко мог бы сказать что-нибудь такое, что послужило бы нитью на раскрытие заговора. Некрасов, наверное, играет тут не последнюю роль»[14].

Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля[15]. Вскоре после взятия моего в крепость «Современник» по высочайшему повелению был закрыт. После ликвидирования его Некрасов немедленно уехал в деревню и прожил там вплоть до конца 1867 года. За все это время он приезжал, сколько мне помнится, не более одного раза в Петербург и то на короткое время[16]. Между тем, живя в деревне и несколько оправясь от страха, нагнанного каракозовским погромом, он начал задумываться об основании нового журнала вместо уни-

чтоженного «Современника». Не помню, в конце ли 1867 или в начале следующего года он прислал мне письмо, в котором, говоря об этом своем намерении основать новый журнал, он спрашивал меня: не пригласить ли ему к постоянному сотрудничеству в этом журнале некоторых новых лиц. В числе этих новых лиц были упомянуты граф А. Толстой, Я. Полонский, Карнович, других не помню [17]. Хотя названные лица были совершенно безразличны, только графа А. Толстого молодежь недолюбливала за его «Пантелея-целителя» [18], и сочинениям некоторых из них «Современник» и прежде давал место на своих страницах, тем не менее заявить об их постоянном сотрудничестве в журнале значило бы дать новую окраску журналу в глазах публики. Очевидно, что Некрасов не вполне оправился от случившегося погрома, и тенденция дать новую окраску журналу была внушена ему страхом такой же катастрофы с предпринимаемым им журналом, какую потерпел «Современник».

Я отсоветовал Некрасову давать другую окраску журналу. Что я ему писал, конечно, теперь не помню [19]. Но смысл моего письма был такой: «Современник» с вами во главе заявил себя горячим борцом за новую идею и постоянно твердо и неуклонно, шаг за шагом, шел за новыми реформами. В этом смысле его поняла и отметила читающая публика. Отступить от этого пути, хотя бы на одну пядь, было бы нерезонно и невыгодно. Вам в новом журнале следует развернуть то же самое знамя и нести его так же твердо и неуклонно, как и прежде, в полной уверенности, что новые идеи, в конце концов, все победят и всем завладеют».

Спустя некоторое время после этого в Петербург приехал сам Некрасов. Но о новом журнале и о моем письме ни слова. Когда я спросил его: «Что ваши мечты о новом журнале», он отвечал, что перестал об этом думать. «Дело это, — сказал он, — в настоящее время совсем невозможное. Издавать журнал не разрешат ни мне и никому из бывших сотрудников «Современника». Я думаю заняться изданием время от времени сборников, как издавал в прежнее время. К ним также можно приучить публику, и они будут иметь ход [20]. Напишите сами, что найдете нужным, и приглашайте других, кто захочет, приготовлять статьи для первого сборника, который я думаю выпустить в будущем тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Я согласен давать вперед

деньги в счет будущих статей». На этом мы с ним расстались. Вскоре он снова уехал в деревню.

В конце 1867 года Некрасов снова приехал в Петербург и, явившись ко мне, сказал, что он вместо предположенного сборника, может быть, будет издавать журнал, что есть все данные надеяться на успех, что прежние сотрудники «Современника», с которыми он виделся, согласны в нем участвовать, и пригласил меня на следующий день к себе для обсуждения разных вопросов по устройству нового журнала. Причем сообщил мне, что этим новым журналом будут «Отечественные записки», которыми, как нам всем было известно, давно уже тяготился Краевский, занятый изданием «Голоса», и с удовольствием готов был отдать их в аренду[21], тем более, что они не доставляли ему почти никакого дохода. Это известие, что мы, бывшие сотрудники «Современника», будем работать в бывшем органе Краевского, который мы так часто осмеивали и третировали на всевозможные лады, сначала меня немножко смутило. Но потом я подумал: что же тут дурного, что мы отнимаем орган у противной нам партии и превращаем его в орган своей партии. Тут мы не только ничего не проигрываем, напротив, приобретаем. Надобно только устроить дело так, чтобы мы стали в нем вполне независимы от собственника журнала.

Когда на другой день в назначенный час я пришел к Некрасову, там уже было несколько человек. Кроме Некрасова, здесь были М. Е. Салтыков, Д. И. Писарев. Кто были еще, не помню. Знаю, что М. А. Антонович не мог быть, ибо он был в то время за границей. Был ли А. Н. Пыпин, не знаю. Ю. Г. Жуковский в своем «Post scriptum' е» к литературному объяснению г. Антоновича с Некрасовым говорит, что он в этом собрании не был. И надобно этому верить[22]. Еще до прихода моего началась речь о том: брать ли в аренду — и все на это согласились, согласился и я. Согласились на то, чтобы «Отечественным запискам» при новой редакции дано было направление «Современника». Затем пошел вопрос о том: кого выбрать ответственным редактором «Отечественных записок». Оказалось, что нельзя было надеяться, чтобы утвердили кого-нибудь редактором из бывших сотрудников «Современника». Ибо все они были скомпрометированы, кроме запрещения «Современника» по высочайшему повелению, еще косвенным приговором

над «Современником» верховного суда по делу Каракозова[23]. После этого возник вопрос о том, нельзя ли остаться под ответственной редакцией Краевского. Возможность издавать журнал под ответственной редакцией Краевского прежде мне никогда не приходила и не могла прийти в голову. Ибо имя Краевского было все время так скомпрометировано в литературных кружках и при этом едва ли в каком-нибудь журнале оно подвергалось большему осмеянию и глумлению, чем в «Современнике», что мысль о том, чтобы сотрудники «Современника» могли очутиться под редакцией Краевского, являлась contradictio in re*, чистым бессмыслием. Потому внезапно высказанная комбинация о том, чтобы издавать прогрессивный журнал под ответственной редакцией Краевского, до того меня поразила, что я прямо и решительно сказал: «Это чистая нелепость. Это совсем невозможно». Вслед за мной и М. Е. Салтыков, которого, вероятно, еще прежде, до моего прихода, Некрасов соглашал на такую комбинацию, энергически заявил: «Это в самом деле черт знает что. Надо бросить», взял шапку и хотел уйти. Но Некрасов удержал его и стал нам говорить, что напрасно мы горячимся, что «он и сам и не думает и не желает остаться под редакцией Краевского, что он немедленно озаботится приисканием человека, которого можно было бы избрать в ответственные редакторы журнала, просит нас об этом позаботиться, ибо приискание такого редактора, который бы был вполне солидарен с направлением журнала и по нравственным качествам не причинял бы разных хлопот журналу в том или другом отношении, дело нелегкое — на приискание такого человека и утверждение его потребуется, может, не один, не два месяца, а может быть, и больше; не утвердят одного, надо будет искать другого и опять представлять на утверждение. Из-за таких пустяков, не имеющих, собственно говоря, никакого отношения к делу, может быть не начато, совсем брошено хорошее дело. Это как хотите, господа, будет совсем не умно. Отчего бы нам не оставить на один, на два, на три месяца, одним словом, на все то время, когда будем искать подходящего человека в редакторы, ответственным редактором Краевского? Мы Краевского можем обязать клятвенной подпиской, чтобы он не имел

* противоречие по существу (*лат.*).

ни малейшего касательства до литературной части журнала, больше чем имеет официальный цензор журнала, выходящего без предварительной цензуры. И раз мы увидим, что он не исполняет своей клятвенной подписи, а вздумает посягнуть хоть на одну строку из заготовленного материала для книжки журнала, не объяснив, вследствие каких цензурных соображений это делает, мы можем немедленно бросить его журнал и уйти. Поверьте, что Краевский, в качестве ответственного редактора, будет тише воды, ниже травы. Журнал до сих пор не давал ему ничего, кроме чистого убытка и хлопот, а теперь он будет получать арендную плату, и если журнал пойдет хорошо, то сверх того и некоторую часть из чистой прибыли. Что касается до криков других журналов и газет об этом странном соединении прежних сотрудников «Современника» с Краевским, об измене их прежнему направлению, то ведь за нас будет говорить сам журнал. Из него увидят все, изменили ли мы прежнему направлению». В таком роде держал к нам свою речь Некрасов, и мы с Салтыковым не могли не признать ее резонною [24]. Потому и было решено: временно оставить Краевского ответственным редактором «Отечественных записок», но потребовать от него, чтобы он собственноручной подпиской заявил, что он как ответственный редактор отдает в полное наше ведение и распоряжение литературную часть журнала, предоставляя полную свободу нашей мысли, и будет заботиться только о том, чтобы не было таких инцидентов, за которые цензура может задержать журнал [25].

Здесь я должен сказать, что все разговоры об «Отечественных записках» Некрасов вел отдельно с каждым из нас, бывших в Петербурге троих сотрудников «Современника», по крайней мере, с Пыпиным и Жуковским отдельно от меня [26]. Пыпин и Жуковский не были на том общем совещании, о котором я сказал выше, на котором присутствовали Салтыков и Писарев, когда речь шла о взятии в аренду «Отечественных записок». После каракозовской истории я стал в некоторые особенные отношения к Некрасову. Когда я только что вышел из крепости и, не находя нигде работы, не имел чем содержаться, Некрасов написал мне из деревни письмо [27], в котором предлагал мне заняться приготовлением статей для предполагаемого сборника, обещая мне в счет этого будущего издания давать время от

времени некоторое количество денег на мое содержание. Я, конечно, с охотой на это согласился и занялся приготовлением статей. Вследствие этого по приезде Некрасова из деревни я виделся с ним часто, с остальными же товарищами по выходе из крепости я совсем не виделся, кроме Антоновича, к которому я тогда искренне был привязан, но он вскоре уехал за границу; к Жуковскому и Пыпину особой привязанности я не имел, но смотрел на них как на добрых товарищей, с которыми приятно стоять у одного дела. Верно, во время моего сидения возникло во мне некоторое сомнение относительно Жуковского, именно когда жене моей объявили в исследовавшей мое дело каракозовской комиссии, что меня выпустят из крепости, если она найдет поручителя за меня, и жена обратилась с просьбой к Антоновичу найти таких поручителей, а Антонович направился к Жуковскому, у которого поручители имелись, то Жуковский наотрез отказал принять на себя хлопоты по этой просьбе. Но и такому отказу я не придавал никакого значения. Ввиду той страшной паники, которая охватила тогда все общество по случаю каракозовского выстрела, о какой в настоящее время и представить нельзя, не было ничего удивительного, что Жуковский отказался искать для меня поручителя, тем более, что он имел основание бояться и трусить более, чем другие. Когда раз Некрасов, по приезде пришедши ко мне, объявил, что, может быть, вместо «Сборника» он будет издавать журнал и что есть все данные надеяться на успех, что прежние сотрудники журнала, то есть Жуковский и Пыпин, соглашаются в нем участвовать, то я очень этому обрадовался. Но я продолжал сидеть дома, заниматься приготовлением статей для будущего «Сборника» или журнала и не виделся ни с кем из прежних участников «Современника», кроме Некрасова. ⟨...⟩

Я был в полной надежде, что прежний «Современник» возродится в «Отечественных записках» в полном составе всех бывших сотрудников «Современника».

Как вдруг произошло нечто совсем для меня невероятное. Раз Некрасов приезжает ко мне и настоятельно зовет меня ехать вместе с ним на совещание об «Отечественных записках» к А. М. Унковскому, где, дескать, будет Жуковский. Я долго отказывался от поездки, говорил, что дело обойдется без меня, что я вперед

согласен, на чем порешат они с Жуковским, но Некрасов продолжал настаивать и требовал, чтобы я непременно ехал. Наконец я согласился, и мы поехали. Когда мы пришли, Жуковский был уже там. Некрасов начал речь с того, что прямо сказал Жуковскому, что если он, Некрасов, и согласится с ним, Жуковским, издавать журнал с тем, чтобы чистая прибыль от журнала делилась между ними двоими, то все же надобно вперед определить, из кого составить редакцию и кто будет оплачивать членов, входящих в состав редакции. На что Жуковский отвечал, что «он согласен, чтобы в состав редакции вошли Пыпин и Антонович, и согласен, чтобы их труд по редакции оплачивался». «А как же Елисеев, — спросил Некрасов. — Ведь он тоже находится в составе редакции». — «Если вам угодно, — отвечал Жуковский, — можете оплачивать его из своей доли прибылей, но я не имел его в виду». Эти слова, сказанные Жуковским в моем присутствии, так меня поразили, так показались мне невероятными, что, если бы мне передал их сам Некрасов и при этом клялся и божился, что он слышал их от Жуковского, я никогда бы ему не поверил. Надобно полагать, что Некрасов еще прежде слышал от Жуковского о предполагаемом исключении меня из числа членов редакции в новом журнале, нужно было употребить все усилия, чтобы вытянуть меня из дома и заставить ехать присутствовать при совещании об «Отечественных записках» с Жуковским, чтобы я собственными ушами выслушал предположенный его план обо мне. То, что я услышал, никак, конечно, не могло утвердить во мне товарищеские чувства не только к Жуковскому, но и к Пыпину. Я не вступил ни в какие пререкания с Жуковским, но для меня вполне выяснилась та коварная махинация, которая предпринята была им относительно меня через ведение сепаратных, секретных от меня переговоров с Некрасовым относительно новых оснований, на которых будут вестись «Отечественные записки». Они были уверены, что раз переговоры ведутся секретно от меня, согласятся ли они с Некрасовым, пойдут ли, не согласившись с ним, к Тиблену, я все равно, ничего не подозревая, по чувству товарищества, пойду за ними. В первом случае секрет, конечно, мог обнаружиться впоследствии, но тогда, когда роптать на это и принимать надлежащие меры было бы уже поздно.

Когда мы вышли с Некрасовым с этого совещания, Некрасов раскрыл передо мною и остальные карты моих бывших товарищей. Господин Жуковский поставил следующий ультиматум Некрасову: он объявил, что согласен участвовать в журнале только в том случае, когда вся прибыль журнала будет делиться на две половины: одна отдаваться ему, другая — Некрасову. Но так как то или другое количество чистой прибыли зависит от того или другого количества расходов по журналу, то он потребовал, чтобы ему не только открыты были все эти расходы, не только в предварительной смете годового бюджета и в годовой поверке по окончании года, но чтобы ему было предоставлено право соглашаться или не соглашаться на эти расходы при самом их производстве, так что он мог положить veto на печатание каждой статьи, которую он признал ненужною для журнала, но и на количество выплачиваемого за нее гонорара, на наем каждого рассыльного, которого признал бы он лишним, и т. д. Одним словом, он хотел сделаться не только постоянным наблюдателем, ревизором всех расходов журнала, но и настоящим его хозяином, распоряжающимся и всем внутренним содержанием. Некрасову оставалось только быть у него на побегушках. Так высоко ценил себя г. Жуковский после всех трескучих и блиставших краснотою фельетонов. Ему казалось невозможным, чтобы и после этих фельетонов Некрасов не признал в нем такую же палату ума, какую признавал в бывшем члене консистории, теперь уже сосланном в Сибирь на каторгу. Обстоятельства сложились так, что вполне благоприятствовали замыслам Жуковского на полное пленение в рабство Некрасова[28].

Само собою разумеется, что после заявленного мне г. Жуковским остракизма я не мог идти вместе с моими бывшими товарищами. Они не сошлись с Некрасовым в преобразованных «Отечественных записках». ⟨...⟩

Н. К. Михайловский

Наиболее прогрессивный период публицистической и литературно-критической деятельности известного народника Николая Константиновича Михайловского (1842—1904) связан с журналом «Отечественные записки».

Первые же статьи Михайловского, опубликованные в «Отечественных записках» в 1868—1869 годах («Жертва старой русской истории», «Что такое прогресс?», «По поводу «Русских уголовных процессов»), встретили одобрение редакции и критики. Елисеев, под опекой которого был на первых порах Михайловский, писал Некрасову в июле 1969 года: «Михайловский, как видно по последним статьям его, оказывается даровитейшею личностью и может быть даже *надеждою* литературы в будущем. Для журнала он человек незаменимый...» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 250). Некрасов тогда же представил Михайловского Краевскому: «...теперь ясно, что это самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, очень энергичен и работящ. «Отечественным запискам» он может быть полезен сильно и надолго» (XI, 147). Михайловский стал постоянным сотрудником журнала; он вел ежемесячные литературные и журнальные обозрения. С его мнениями считались и Некрасов, и Щедрин. После смерти Некрасова Михайловский вместе с Салтыковым-Щедриным и Елисеевым стал соредактором журнала.

Михайловский стал сотрудником «Отечественных записок», когда имя Некрасова возбуждало самые про-

тиворечивые толки, вызванные стихами, которыми поэт безуспешно пытался спасти «Современник», и клеветническими измышлениями о сотрудничестве Некрасова с Краевским. «Враги 〈...〉ликовали, — вспоминал Михайловский, — друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились 〈...〉. Не мудрено, что я упирался идти в «Отечественные записки... Смущала сама личность Некрасова, которого я когда-то так горячо, хотя и заочно, любил, которым зачитывался до слез» (Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 47—48).

Не случайно, «свет» и «тени» — основная тема размышлений Михайловского о личности Некрасова, а «покаянные стихи» — главный предмет анализа. В обзоре литературы о Некрасове, появившейся к двадцатилетней годовщине со дня смерти поэта, критик писал: «...Хоть «на час», но Некрасов бывал «рыцарем». Судьба нашего поэта так сложилась, что этот великий поэтический час уходил преимущественно на работу совести: поэт часто поднимался духом только затем, чтобы из достигнутой им высоты заклеймить самого себя» (Н. К. Михайловский, Отклики, т. II, СПб. 1904, стр. 39).

В «работе совести» Некрасова Михайловский увидел лишь особенности его личности, выключив ее, по существу, из сложных процессов общественного движения 60—70-х годов. Но критик решительно отметает измышления противников Некрасова, пытавшихся «развенчать» поэта. Он приходит к бесспорному выводу, что «Некрасов никогда не изменял голодным, холодным и униженным ни в своей поэзии, ни в своей журнальной деятельности» (Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, стр. 77). Воспоминания Михайловского полемичны. Он резко возражает против досужих домыслов, печатных инсинуаций реакционных публицистов, стремившихся опорочить память поэта. Полемика определила стиль мемуаров. Михайловский предупреждал: «Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за последовательность и аккуратность. Оставляя за собой право (которое может при случае обратиться даже в обязанность) оборвать воспоминания на любом моменте, потому ли, что он мне покажется щекотливым, или просто потому, что надоест вспоминать...» (там же, стр. 2).

Воспоминания Михайловского о Некрасове впервые были опубликованы в журнале «Русская мысль» в цикле статей «Литература и жизнь» (1891) и получили разноречивые оценки. М. Горький отозвался о них неодобрительно, считая, что мемуарист не имеет права вмешиваться в личную жизнь писателя (см. его статью «Как ссорятся великие люди» в «Самарской газете» от 18 апреля 1895 года). В. Г. Короленко полемизировал с Горьким, разделяя точку зрения Михайловского (об этой полемике см. стр. 8—9). За «слишком строгое» отношение Михайловского к Некрасову критика порицал один его анонимный «почитатель» (см. публикацию писем читателей к Н. К. Михайловскому М. В. Теплинским в «Заметках о Некрасове». — «Ученые записки Хабаровского пединститута», 1968, т. 15). П. И. Вейнберг писал А. Н. Плещееву 16 августа 1891 года: «Самое интересное — воспоминания Н. К. Михайловского в «Русской мысли»: очень живо и умно, а для бывшего кружка «Отечественных записок» представляет особый интерес» (*ГБЛ*, М. 8225/196).

С воспоминаниями о Некрасове Михайловский выступал 27 декабря 1897 года на литературно-музыкальном вечере, организованном в Петербурге Литературным фондом.

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА»

⟨...⟩ Не знаю, что говорил обо мне Курочкин Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою «Борьбу» не просто взяли для прочтения, а предложили мне прочитать ее самому в присутствии всей редакции[1]. Так обыкновенно не делается, и я был сконфужен. Конфуз мой достиг высшего предела, когда я в назначенный день и час приехал вместе с Курочкиным в редакцию «Отечественных записок» и увидал там Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многих. Как будто и А. М. Скабичевский тут был, и красивое, точно точеное, но, как маска, мертвенное лицо Слепцова помнится. Но в этом я не уве-

рен. Внешнею обходительностью редакция «Отечественных записок» никогда не отличалась, даже в тех случаях, когда по существу была вполне доброжелательна. В данном же случае смущение мое было тем сильнее, что, когда мы уселись за большой стол, покрытый зеленым сукном, возле меня оказался Салтыков и стал смотреть в тетрадь, по которой я читал, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время от времени покряхтывая громким басом: э-гм! Как близки и понятны стали мне потом эти якобы суровые глаза и как они меня смущали тогда! Между прочим, дойдя до одной главы, я почему-то вдруг тут же сообразил, что она неудачна и требует таких-то и таких-то переделок. Я хотел ее пропустить, и это было тем удобнее, что она была вводная. Я уже перевернул две-три страницы, ища следующей главы, но Салтыков меня остановил: «Что же вы пропускаете?» — «Да тут переделать надо». — «Нет, уж читайте все подряд!»

Чтение кончилось. Прочитал я только первую часть, так как из остального были лишь наброски, и я даже не захватил их с собой. Наступило молчание. Прервал его Салтыков сердитым басом: «Надо кончать! А то что же так-то, без хвоста!» Некрасов сказал то же самое, но гораздо любезнее. Елисеев сидел молча, насупившись, поглаживая правою рукой левый ус и, по-видимому, совсем о моей «Борьбе» не думая. Курочкин отвел Некрасова в сторону и что-то пошептал ему, после чего Некрасов подошел ко мне с вопросом, не нужно ли мне денег. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вместе со мной из редакции, Курочкин меня очень бранил за этот отказ, а о романе выразился так: «Бойко написано, бойко прочитано, впечатление получилось недурное, а, в сущности, бросьте-ка вы этот роман, право, не ваше дело!» Я и сам в эту именно минуту почувствовал, что надо бросить и что это не мое дело.

Несколько позже, нуждаясь в беллетристическом материале, Некрасов напомнил мне о романе, но я ответил, что решительно не могу его кончить, не пишется. Он просил меня, по крайней мере, выделить из «Борьбы» один эпизод, — он указывал, какой именно, — и обработать его в рассказ, но я и этого не мог сделать, будучи увлечен совсем другими работами[2].〈...〉

К начинающим писателям он относился с большим вниманием, охотно давая им разные советы. Нельзя было при этом не любоваться его умом. Он отлично знал пробелы своего образования и никогда не старался их скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомых ему предметах у него находилось умное слово, заимствованное из его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчив он не был, и когда молодой сотрудник сколько-нибудь оперялся, он предоставлял его самому себе и лишь в крайне редких случаях выражал свое удовольствие. Благодаря безусловному доверию Некрасова к своим главным сотрудникам и соредакторам, редакционные дела «Отечественных записок» шли точно сами собою, точно никто ничего и не делал, тогда как, в действительности, все много работали. Какие-нибудь пререкания были величайшей редкостью. Тот же порядок был и потом, когда после смерти Некрасова ответственным редактором стал Салтыков. Только Салтыков, в силу своей крайней экспансивности, не мог удержать в себе ни одной мысли, ни одного чувства, тогда как Некрасов, напротив, был до такой степени замкнут и скрытен, что иной раз и догадаться было невозможно, что он думает. Со мной был следующий характерный в этом отношении для Некрасова случай. Дело было в 1874 году, когда я был уже вполне своим человеком в редакции «Отечественных записок». Однажды студент, помнится, Института путей сообщения, по фамилии Шмаков, принес мне тетрадку своих стихотворений. Они показались мне пригодными к печати, и я передал их Некрасову, но без всякой, со своей стороны, рекомендации: посмотрите, мол. Через несколько дней получаю от Некрасова записку: «Ваш поэт Шмаков вытолкнул меня из постоянного гнусного настроения, в котором я, черт знает отчего, нахожусь уже давно, — у него есть талант, и он непременно будет хорошим поэтом, если будет строго работать и овладеет вполне формою, без которой нет поэта... Если он здесь, то не скажете ли ему, чтоб зашел ко мне»[3]. Молодой поэт был у Некрасова, три или четыре его, действительно, недурных стихотворения были напечатаны в том же 1874 году в «Отечественных записках»[4], но затем он куда-то исчез, и что-то я не знаю теперь такого поэта. Некрасов больше о нем не вспоминал. Много времени спустя, уже незадолго до своей смерти, Некрасов признался мне

в случайном разговоре о стихах, что сначала он считал Шмакова псевдонимом, под которым укрылся я, конфузясь своих стихотворных опытов, и что он был очень разочарован, увидав настоящего, живого Шмакова. Почему он думал, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая их за чужие, я не знаю. На мой вопрос об этом он ответил только: «Так мне показалось». Но и его предположение насчет моей хитрости, и его долгое молчание кажутся мне очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкий, но вообще в Некрасове было что-то загадочное, невысказанное, затаенное от всех посторонних взглядов. Тем поразительнее были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и все-таки не могло вырваться вполне.

В 1869 году появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковского «Материалы для характеристики современной литературы» [5], в которой заключались крайне ядовитые нападки на Некрасова, на Елисеева, на «Отечественные записки». Она состояла из двух частей: из «Литературного объяснения с Н. А. Некрасовым», написанного г. Антоновичем, и из статьи г. Жуковского «Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год». И самая эта брошюра, и, тем более, ее интимная подкладка представляют собой нечто совсем чужое большинству нынешних читателей. Я и сам узнал эту прискорбную историю во всех ее подробностях только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорий Захарович, видимо, придавал ей большое автобиографическое значение, и потому я, может быть, расскажу ее его собственными словами, когда дело дойдет до воспоминания о нем. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковского содержит в себе много злобно выраженных неприятных намеков и предположений насчет Некрасова, Елисеева и «Отечественных записок». Значительная часть этих намеков и предположений давно, так сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали решительное отклонение «Отечественных записок» от того направления, которого Некрасов, Салтыков и Елисеев держались прежде в «Современнике», а этого, как известно, не случилось (Салтыков в брошюре не поминался по имени, ему представлялось узнать себя в общей формуле «разной шушеры и шелухи из «Современника»). Авторы брошю-

ры потратили много остроумия насчет объединения Некрасова и Краевского, слития их в одну литературную фирму, а такого объединения и слития никогда не было. Но «Отечественные записки» были еще тогда внове; за один год существования они успели, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для них были вполне безразличны нападки бывших сотрудников «Современника». При том же, в брошюре заключалась крупица истины, хотя и вполне бестактно выраженной; и это было тем неприятнее, что крупица истины находилась в связи с обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тень в 1866 году. Никогда, ни до, ни после этой брошюры, Некрасов не был «развенчан» так грубо, так открыто и беспощадно, — и кем же? — не каким-нибудь отпетым проходимцем, а «своими», людьми, объявлявшими себя истинными хранителями лучших литературных преданий. А за одно с Некрасовым призывался к ответу и весь журнал, в лице, впрочем, главным образом, Елисеева. Не мудрено, что, придя в ближайший редакционный день в редакцию, я застал там переполох. Салтыков рвал и метал, направляя по адресу авторов брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеев сидел молча, поглаживая правою рукой левый ус (его обыкновенный жест в задумчивости), и думал, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: он ничего подобного не ожидал, если не от г. Жуковского, то от г. Антоновича, и был тем более оскорблен в своих лучших чувствах, что имел о Некрасове свое особое мнение. Сам Некрасов произвел на меня истинно удручающее впечатление, и я, пользуясь тем, что не был еще тогда членом редакции и, значит, не обязан был сидеть в ней, скоро ушел. Тяжело было смотреть на этого человека. Он прямо-таки заболел, и как теперь вижу его вдруг осунувшуюся, точно постаревшую фигуру в халате. Но самое поразительное состояло в том, что он, как-то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что-то объяснить, что-то возразить на обвинения брошюры и не мог: не то он признавал справедливость обвинений и каялся, не то имел многое возразить, но, по закоренелой привычке таить все в себе, не умел. Это просто невыносимое зрелище я видел еще раз потом, в трагической обстановке предсмертных расчетов Некрасова с жизнью... 〈...〉

Некрасова часто упрекали (между прочим, и в упомянутой брошюре), например, за излишнюю разносторонность знакомств. Он, действительно, яшкался с самыми разнообразными сферами, в том числе и с такими, которые могли иметь разве только отрицательное отношение к «Современнику» и «Отечественным запискам». Он, бесспорно, находил в этих знакомствах удовлетворение своим избалованным вкусам богатого барина и крупного игрока, что, пожалуй, было и не к лицу редактору таких журналов. Но здесь же он находил для этих журналов те «щиты и громоотводы», о которых говорит г. Антонович. Он полагал, впрочем, что литератору, как литератору, необходимо все знать и видеть.

В начале семидесятых годов в Петербурге существовало какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обеды, куда знатоки гастрономического дела, люди, конечно, богатые и избалованные, а также известные столичные рестораторы поставляли — кто одно блюдо из своей кухни, кто другое, кто одно вино из своего погреба, кто другое. Все это серьезнейшим образом смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывал на этих обедах и Некрасов. И не только сам бывал, а и других тащил, между прочим, и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству, не мог видеть в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы разврата. Когда я выразил Некрасову свое мнение на этот счет, он со мной согласился, но привел три резона, по которым он на эти обеды ходит: во-первых, там можно действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать и те сферы, в которых такими делами занимаются; в-третьих, это один из способов поддерживать знакомство с разными нужными людьми. В гастрономическое общество я не попал, но в балет меня однажды Некрасов затащил-таки, и это единственный раз в жизни, что я был в балете. Боюсь, что читатель заподозрит меня по этому поводу в похвальбе тем, что французы называют pruderie *. Отнюдь нет, не в суровой добродетели тут дело, а просто в том, что условные, размеренные движения танцовщиц и танцовщиков показались мне некрасивыми и невыносимо скучными. Но речь не обо мне, а о Некрасове. Балет привлекал его теми же тремя сторонами: это

---

* показная добродетель (*франц.*)

красиво, это надо знать, это почва для сближения с нужными людьми. Если кто вздумает придраться к этому расположению аргументов, к тому, что на первом плане стоят вкусная еда и красота балета, то это будет тщетная придирка. Я отнюдь не уверен, что Некрасов располагал свои три резона именно в таком порядке. Он, впрочем, никогда не прикидывался презирающим «минутные блага жизни».

В числе других видов обращения с нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедельно специальные собрания, на одном из которых был и я. Это было некрасивое зрелище. Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores * Олимпа нужных людей, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим играл в карты и Салтыков, по обыкновению, раздражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и прочее. За его спиной стал один из неигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход. Салтыков проворчал что-то вроде: «Ну, да! советчики!» Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политичную музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог. Я больше не бывал на этих собраниях, и не только потому, что мне на них делать нечего было, так как в карты я не играю, — просто почти бессознательно чувство брезгливости протестовало.

Скажут, может быть, что вот не поцеремонился же Салтыков с нужным человеком, а ведь и он, после смерти Некрасова, тянул лямку ответственного редактора. Действительно, политика Салтыкова как редактора резко отличалась от некрасовской. Но не надо забывать, что

* не самые выдающиеся (*лат.*).

ко времени редакторства Салтыкова литература была уже далеко не так поставлена, как в ту мрачную пору, когда Некрасов начал свою журнальную деятельность и получил свое воспитание как редактор-издатель; да и всероссийские нравы изменились. Литература наша, к сожалению, и доселе не пользуется доверием правительства в той степени, в какой это было бы желательно нам, писателям, да и не только нам. Но каковы бы ни были претерпеваемые ею неудобства и невзгоды, их и сравнить нельзя с прежним положением вещей, когда самое существование литературы было едва терпимо. В наше время «щиты и громоотводы», для сооружения которых Некрасов приносил столько моральных и неморальных жертв, утратили свое значение; они частью не нужны, частью невозможны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал. И Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы и светлых мыслей, постепенно ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии. Но практика постоянной изворотливости, практика постоянного искания или сооружения щитов и громоотводов не может служить к украшению личного характера практиканта. Она непременно должна положить на него более или менее густые тени, приучив его ко всякого рода компромиссам, житейский противоречиям и непоследовательностям, сделкам с своею совестью. Это и случилось с Некрасовым. А он был к этому и без того слишком подготовлен основным противоречием его жизни, — противоречием между клятвою не умереть на чердаке и искренним сочувствием к обитателям чердаков, ко всем голодным, холодным и обездоленным. Все это сплеталось в Некрасове в один запутанный пестрый клубок, многосложность и пестрота которого тяжелее всего отзывалась на нем самом. Поверхностные и пустопорожние люди думают, что жизнь Некрасова была, за вычетом горечи молодых годов, каким-то сплошным праздником. Это — глубокая ошибка. ⟨...⟩

Финансовые мои обстоятельства поправились в «Отечественных записках». Я много работал и достаточно

зарабатывал. Но частью потому, что дела мои были очень расстроены предыдущими невзгодами, частью по всегдашнему моему неумению как следует обращаться с деньгами, на мне скоро оказался довольно значительный долг конторе «Отечественных записок». На беду, весной 1870 года мне понадобились экстренные средства на отправку одного близкого мне больного человека за границу. Я изложил Некрасову исключительность обстоятельств, но он очень сухо отказал в деньгах, указав на мой долг. Я понимал, что он прав, но все-таки с горьким и обидным чувством вернулся домой, а тут еще надо было статью дописывать. Дописал, сдал в редакцию и уехал на несколько дней из Петербурга искать денег, потому что состоятельных знакомых у меня в Петербурге не было. Однако и поездка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, как быть, получаю от Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Он заговорил со мной тем же сухим, деловым, сумрачным тоном, но уже другими словами: «Вы просили денег, сколько вам надо? — «Столько-то». — «Так я вам дам записку в контору, вы нам человек нужный». Хотя слова эти выводили меня из трудного положения, в благополучном выходе из которого я уже отчаялся, они все-таки оставили во мне тяжелое впечатление. Опять-таки Некрасов был несомненно прав: если б я не был нужен журналу, так незачем мне и льготы оказывать, а коли нужен, так надо обратить внимание. Но как-то уж очень это жестоко и обнаженно вышло...

Не всегда, однако, Некрасов был так жесток и сух. Мне кажется, что на него действовала в этом отношении петербургская жизнь, в особенности *его* петербургская жизнь — шумная, пестрая, но нескладная. Летом сердце его, вероятно, размягчалось и уста разверзались для мягких и ласковых слов. Сужу так частью по его писаниям, а частью по собственному опыту. Очень, впрочем, незначительному. Однажды я был у него на даче, в Чудове, а в другой раз столкнулся с ним за границей, в Киссингене. Он был там с женой и сестрой, подобрались и еще знакомые, в том числе Елисеев с женой. Киссинген, хотя и имел честь лечить своими водами таких высокопоставленных особ, как император Вильгельм I и Бисмарк, есть один из самых мирных курортов. Развлечение своим многочисленным и разноязычным гостям он представляет самые скромные: еда самая умеренно-

немецкая, в гастрономическом смысле оставляющая многого желать; музыка ниже посредственной; скромные ассамблеи в «ротонде», где под звуки той же музыки, а то и рояля, танцуют немчики с немочками; игорных учреждений никаких; театра нет, — по крайней мере, нет постоянной труппы, а наезжают третьестепенные актеры. Может быть, во время пребывания особ, вроде Вильгельма и Бисмарка, все это изменяется, но я видел Киссинген таким два раза, в 1871 году и в 1873 году, когда столкнулся там с Некрасовым[6]. И Некрасов, видимо, отмякал, если можно так выразиться, в этой простой обстановке.

Верстах в двух от Киссингена есть развалины древнего замка Боденлаубе. Предание гласит, что замок этот был построен знаменитым миннезингером XIII века, поэтом-рыцарем Отто фон Боденлаубе. Теперь в этих живописно заросших зеленью развалинах ютится элементарный ресторанчик, где можно получить яйца всмятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидели там с Некрасовым. Он разговорился, рассказывал про Белинского, Чернышевского, Добролюбова, отзываясь о них почти восторженно. Предание о рыцаре-поэте, в развалинах замка которого мы теперь пьем скверный немецкий кофе, навело разговор на поэзию вообще, потом на поэзию Некрасова. Он говорил грустно и задушевно и както вдруг стал не то оправдываться, не то казнить себя. Мне живо припомнился тот Некрасов, которого я видел в 1869 году после брошюры гг. Антоновича и Жуковского. Не было того острого волнения, но та же затрудненная, смущенная, сбивчивая речь человека, который хочет сказать очень много, но не может... Я очень хорошо помню, что ни единым нескромным вопросом не вызывал его на откровенность. Он сам начал, а я даже не поддерживал этого щекотливого разговора. 〈...〉

П. Д. Боборыкин

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921) в 60-е годы сотрудничал в журнале «Библиотека для чтения», враждовавшем тогда с «Современником». Будучи редактором-издателем этого журнала (1863—1865), он помещал в нем антинигилистические произведения, осмеивал «петербургских мудрецов» — так Боборыкин называл сотрудников «Современника». После прекращения издания журнала он уехал за границу, где встречался с Герценом, присутствовал в качестве корреспондента на Брюссельском конгрессе (1868) I Интернационала, стал сочувственно писать о борьбе пролетариата. В конце 1867 года Боборыкин, узнав о перемене редакции «Отечественных записок», предложил Некрасову ежемесячные обозрения «С перекрестка цивилизации» и какую-то «беллетристическую вещь» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 132—133). «Писал и Краевскому и Некрасову, — жаловался он в письме к Н. Н. Страхову в январе 1868 года, — но ответов, разумеется, не удостоился» (*ГПБ*, ф. 747, ед. хр. 9). В ноябре 1868 года он направил Некрасову статью о конгрессе I Интернационала в Брюсселе и о Бернской конференции международной демократической организации Лиги Мира и Свободы. Боборыкин писал Некрасову: «Я проделал оба конгресса в Брюсселе и Берне, имеющие такую тесную мыслительную и социальную связь; на мне лежит безотлагаемый долг сказать свое слово, а нигде, кроме вашего журнала, я этого сделать не могу» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 133). Но и эта просьба осталась безответной. По-видимому, редакции «Отечественных записок» были памятны враждебные выступле-

ния Боборыкина и его журнала в адрес «Современника». Кроме того, писательский авторитет Боборыкина для Некрасова в то время был невелик. В рецензии Салтыкова-Щедрина «Новаторы особого рода» (*ОЗ*, 1868, № 11) содержалась резкая критика романа Боборыкина «Жертва вечерняя» (1868) за «клубничку», за порнографические сценки.

Весной 1870 года Некрасов сам обратился к Боборыкину с предложением дать в журнал новый роман. «Считаю лишним распространяться, чтó нам нужно. Вы это сами хорошо знаете. На талант Ваш мы надеемся, а Вы, конечно, избегнете того, чтó нам не совсем по вкусу и на что указание найдете в рецензии на одно из Ваших произведений, помещенной в «Отечественных записках» (XI, 171). Некрасов явно хотел привлечь Боборыкина на свою сторону и пытался воздействовать на его творчество.

Боборыкин стал сотрудничать в «Отечественных записках», опубликовал там в 70-е годы несколько романов: «Солидные добродетели», «Дельцы», «Доктор Цыбулька», повесть «Домохи». В 1871 году он по поручению редакции написал ряд статей о событиях, связанных с Парижской коммуной.

До начала 70-х годов Боборыкин и Некрасов не были лично знакомы. «Личность Некрасова тогда только в первые две зимы, проведенные мною в Петербурге — 1871—1872 годов, выяснилась передо мною с разных сторон» (П. Д. Боборыкин, Воспоминания, т. II, «Художественная литература», 1965, стр. 131).

К воспоминаниям о Некрасове Боборыкин обращался несколько раз: очерк «Николай Алексеевич Некрасов» (1882), статьи «Памяти Некрасова» (*Р. вед.*, 1902, № 29), «Некрасов—редактор» («Слово», 1907, № 340), воспоминания о Некрасове в книге «За полвека» (гл. IX). Очерк явился основой других мемуарных произведений Боборыкина о Некрасове. В очерке «Николай Алексеевич Некрасов» запечатлелся сложный интересный облик поэта, детали его быта, образа жизни, отношений с людьми, характеризующие его как талантливого редактора, выдающегося деятеля русской литературы и «русского журнализма».

Либеральная тенденция, присущая взглядам Боборыкина, проявляется в трактовке художественной индивидуальности Некрасова, в противопоставлении в нем обличительной тенденции собственно поэтической.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

(ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

I

⟨...⟩У нас, обыкновенно, не приводят натуру, склад и особенности известной личности в связь с тем *бытовым* типом, к какому она принадлежит. Кто знает разные великорусские местности, тот, конечно, отличал в Некрасове типического человека, сложившегося в обстановке помещичьего быта в *приволжском* крае. У Некрасова посадка тела и лицо имели севернорусские черты. И редкий из наших писателей, воспитавшихся в дворянской помещичьей среде, сохранил в себе столько физиономической и бытовой связи с народным типом, хотя в последние десять лет — до смерти — (период, когда я лично знал Некрасова), да, вероятно, и прежде, он не грешил никаким народничаньем ни в костюме, ни в тоне, ни в образе жизни. Лучшие его портреты показывают этот типический склад лица и фигуры, какой вы встретите в наших волжских местностях. И бородка во французском вкусе, которую он стал запускать только в последние годы, не отнимала у его лица бытовой своеобразности. Натура у него была действительно железная, донельзя выносливая и в умственном труде, и в разных физических упражнениях. Никто бы, взглянув на него иной раз за три, за четыре года до смерти в пасмурный петербургский день, когда он весь гнулся и морщился, никто, говорю я, не зная его лучше, не поверил бы, что этот человек мог в тот же день отправиться на охоту и пробыть десять — двенадцать часов сряду под дождем и снегом. Болезни, нездоровые привычки петербургской жизни, сиденье за корректурами или за карточным столом, несладкие испытания писателя и редактора журнала и, наконец, долгие годы бедности, почти нищеты, томительного пробивания себе дороги — все это превратило бы другого человека в дряхлого старика в те годы, когда я знал Некрасова; а он смотрел совсем нестарым человеком, и только один голос, давно получивший некоторую хриповатость, показывал, что свежесть молодости утрачена.

В Некрасове сидел также типический холостяк, хотя он и умер женатым. Весь образ его жизни, обстановка, характер выездов и приемов — все это сложилось в усло-

виях холостой жизни. День начинался поздно; кроме редакционных приемов, вряд ли кому удавалось видеть Николая Алексеевича раньше часу; корректуры, посещения ближайших знакомых и приятелей, прогулка брали время до обеда. Вечер и часть ночи проводились в клубе. Квартира, памятная писателям нашего поколения, сохраняла холостой тип: зала, служившая первоначально и бильярдной, и редакционной приемной, и два больших кабинета, из которых один превращен был впоследствии в бильярдную, собаки, люди, — все говорило о холостых привычках хозяина. Отношение к *людям*, то есть к своим служителям, было у Николая Алексеевича чрезвычайно гуманное и широкое. Конечно, многие помнят его Василия[1], удалившегося за несколько лет до смерти барина. Такие камердинеры складываются только на службе в домах, где идет холостая жизнь. Они заведуют хозяйством, принимают и отказывают, кому хотят, обращаются даже с близкими знакомыми и приятелями хозяина — глядя по своему личному расположению. Вряд ли такой камердинер мог у кого-либо получать больше и пользоваться большим авторитетом. И его преемник, взятый из мужичков-охотников и оставленный в полудеревенском виде[2], придавал квартире Николая Алексеевича своеобразный оттенок. На хозяйство тратилось, вероятно, вдвое и втрое больше, чем следовало, и Николай Алексеевич относился к этому очень добродушно и с юмором, особенно, когда говорил о том, как его обворовывает повар. Всегда приятно было видеть в нем совершенно простое и часто любовное отношение к людям из народа, без всякой сладости и сентиментальности.

Это обращение с народом придавало и его манере говорить, его языку безыскусственную оригинальность; нисколько не странно звучало слово «отец», которое он любил часто употреблять, говоря с более близкими знакомыми или сотрудниками. Не совсем легко было схватить своеобразность речи Некрасова, и редко можно было вызвать его на оживленный разговор, особенно в последние два года до болезни. Приближение этой болезни, припадки хандры в связи с негигиенической привычкой очень поздно ложиться, делали его угрюмым и молчаливым, но случалось, за обедом у него или когда он захаживал посидеть — вызывать его на оживленный разговор, в особенности наводя его на воспоминания о прежних литературных эпохах или на рассказы о жизни в деревне, на

охоте, за границей. Только в такие удачные минуты и проявлялись во всей своей обаятельности ум, юмор и душевный склад Некрасова. Мне лично не случалось, с тех пор как я стал писателем, встречать более своеобразный, природно русский ум, как у него. Этот ум мог подчиняться в его произведениях известному публицистическому настроению, брать мотивы у других или, по крайней мере, колорит, окрашиванье; но в беседах о чем бы то ни было или в деловом разговоре, отрывочными фразами, ум этот сохранял всегда нечто неизменно свое и практически дельное, и человечно широкое, и привлекательное. Многие знают, как *пленителен* мог быть Николай Алексеевич, когда хотел этого. Он не говорил вам любезностей, не делал комплиментов; но одной какой-нибудь интонацией, словом, определением, а в особенности оттенком своего понимания, овладевал вашим сочувствием, и как только хандра или нездоровье, или раздражение петербургской жизни слетали с него, сейчас всплывали своего рода наивность, здоровое чувство жизни, ее хороших наслаждений, юмор и шутка. В этом человеке привычка к напряжению воли поддерживалась не только трудом, но и двумя его главными страстными утехами: охотой и картами. Ни в ком я не встречал такой внутренней заботы о том, чтобы всегда владеть собою, не сдаваться пред опасностью какого бы то ни было рода.

— Хуже трусости, — говорил мне раз Николай Алексеевич, — ничего быть не может! Как только человек струсил, он погиб, способен на всякую гадость, сейчас же превращается в зверя.

Но выдержка в крупных вещах — реже появлялась у него в обыденных фактах и сношениях жизни. На европейский взгляд, он, конечно, грешил неровностью своего тона, частой сумрачностью и мог отталкивать от себя многих, но вспышек беспричинного раздражения или того, что называется капризом, я почти никогда не видал у него. Помню одну сцену законного раздражения.

В последние десять лет Некрасова одолевали и лично и письменно просьбами о денежном пособии. Мудреного тут ничего не было: всякий знал, что он человек с хорошими средствами; по всему Петербургу ходили рассказы об его очень больших выигрышах. Но вслед за просьбами пошли и разные виды шантажа, угрозы обличений. Вот один из таких навязчивых просителей и явился раз

в приемный день. Некрасов вышел из кабинета и раздраженно крикнул:

— Что вам от меня угодно? Вы пристаете ко мне каждый день, пугаете меня; я вам сказал, что больше вам давать ничего не буду!

И потом, обратясь к нам (нас было несколько человек), прибавил:

— Просто житья нет в последнее время! Дошло до того, что дожидаются меня у подъезда и говорят всякие грубости.

Но и в этих случаях у него вырывались ноты не раздраженного только человека, а человека, умеющего дать отпор каждому, и когда следует.

II

Кто знавал Некрасова в Петербурге, тот, конечно, не мог отделить в нем человека от литературного деятеля. И тут опять являлось в нем нечто совершенно своеобразное: писатель с крупным именем и большой популярностью и, в то же время, человек с образом жизни любого помещика, приезжающего на зиму в столицу, где он проводит половину дня за карточным столом. Наверное, многие из нелитературных приятелей и простых знакомых Некрасова забывали очень часто, кто он такой. А между тем вряд ли был в последние тридцать — сорок лет редактор, более преданный интересам литературы. В нем постоянно жила не одна только хозяйственная жилка литературного предпринимателя (хотя и она несомненно сказалась в нем очень рано), но главным образом любовь к делу, к успехам свободной русской мысли, к изящной словесности, к поэзии. В этом надо было убедиться в личных сношениях; на первое же знакомство, особенно вне редакционного кабинета, Некрасов мог производить впечатление человека равнодушного, скучающего, а иногда и сухого скептика, которому ни до чего нет дела. Но в нем сидел настоящий борец за русскую мысль и слово. Без делецкой натуры он бы не мог так скоро пробиться. Первая молодость, проведенная в нищете или, по крайней мере, в очень суровой житейской школе, дала ему выдержку сообразительного и ловкого человека, выработала в нем нюх и чутье, уменье привлекать людей, заставлять их работать,

группироваться вокруг того дела, которое должно было доставлять ему известный доход. Прежде на эту тему любили распространяться в обличительном духе, но, не говоря уже о том, что весьма трудно нам восстановлять факты, бывшие сорок лет тому назад, несомненно то, что без практической способности Некрасова «Современник» не продержался бы, а потом, точно так же, после запрещения его, не возобновил бы своего существования в виде «Отечественных записок». Среди нас такая выдержка ценнее во сто раз, чем на западе: она требует гораздо больше ума и деловитости.

Каждый, кто имел дело с Некрасовым, — хозяином журнала, — согласится, что в нем как в редакторе развилось чрезвычайно драгоценное свойство: широкое отношение к работе сотрудника. Раз он признал в ком-нибудь талант, заинтересовался им, он шел прямо к нему, писал или знакомился и, без дальных проволочек и выгораживаний своего редакторского достоинства, говорил, что ему нужно или что он желает иметь от этого сотрудника. На иной взгляд, может быть, Некрасов действовал иногда уже чересчур широко, например, писал или говорил вновь приобретенному сотруднику: «Вы нам доставьте вашу вещь — иногда это бывал целый роман — к такой-то книжке». И при этом он как бы совсем не заботился ни о содержании, ни о форме этой вещи. Очень часто он отсылал в типографию рукописи, не читая их, и знакомился с ними только в корректурах, разумеется, когда дело шло о сотруднике, известном ему[3]. Но и с начинающими поступал он почти так же широко. Рукопись могла не очень скоро попасть к нему на прочтение — это правда, но вряд ли хоть одна талантливая вещь была им не замечена. Известны подробности о том, как попали, например, в сотрудники «Современника», а потом «Отечественных записок», такие начинавшие тогда беллетристы, как покойные Помяловский и Решетников[4]. В выборе и быстроте, с какой он налагал руку на талантливую вещь, в том, как он умел привлечь молодого писателя — и сказывалось его превосходство в журнальном деле. Он сам слишком хорошо знал писательскую нужду, чтобы не оказать поддержки молодому человеку, давая ему вперед денег за рукопись, а впоследствии и просто за будущее сотрудничество.

Во второй комнате теперь исторической квартиры, на Литейной, первое от двери зеркало играло большую роль

в душевных ощущениях сотрудников, не умеющих сводить в своем бюджете концы с концами. В подзеркальнике имелся узкий ящик; в него (в последние годы, по крайней мере) Николай Алексеевич клал обыкновенно деньги, возвращаясь вечером из клуба, клал их так, зря, не пересчитывая. Хозяйство «Отечественных записок» было уже арендное, и выдачи вперед делались с согласия собственника журнала; надо было каждый раз давать записку в контору. И вот очень часто Некрасов вынимал радужные ассигнации из узкого ящика, скрытого в подзеркальнике, и выдавал их сотрудникам, делая им, так сказать, личный кредит.

На это могут сказать, пожалуй: «Каждый редактор, не отличающийся мелочной скаредностью, сделает то же!» Положим; но далеко не каждый в состоянии так умно и объективно относиться к труду молодых писателей, к их оригинальности и творческой инициативе, так сдержанно пользоваться своими редакторскими правами. В этом смысле я, по крайней мере, на своем писательском веку не знавал редактора более либерального, чем Некрасов, беря слово «либеральный» в его применении к свободе авторского труда. Не очень трудно уразуметь, что в авторе такой-то повести есть талант (да и это разумение дается далеко не всем редакторам), но гораздо труднее отрешиться от своего редакторского *я*, попросту говоря — не умничать, не задергивать начинающего писателя, не заставлять его подделываться под тон издания, даже и в художественных вещах, не требовать от него разных, часто горьких и унизительных уступок, не вызываемых вовсе цензурными соображениями. В последнее время эти замашки положительно развились. Беспрестанно слышатся жалобы начинающих беллетристов на то, как обращаются с ними и тогда, когда вещи их приняты. Такие жалобы слышатся и от молодых писателей, занимающихся критикой и публицистикой. Нигде почти человеку свежему, тому, кто не хочет надевать мундира известного органа, нельзя смело и широко заявить свою литературную личность. Не говоря уже о множестве всякого журнального полемического хлама, какой накопился в последние двадцать лет, о вражде, недоброжелательстве, зубоскальстве, мелких сплетнях, чисто денежном соперничестве, — просто исчезает, если не совсем исчез, дух почина и пытливости, смелость, без которых трудно двигать вперед дело литературы; а все-

ми этими свойствами, до последних годов своей жизни, обладал Некрасов.

И если возразят на это, что «Современник», с тех пор как сделался влиятельным журналом, весьма строго держался своего знамени, то это, во-первых, не мешало беллетристическому отделу. Не только прежде, в конце пятидесятых или в начале шестидесятых годов, всякий талантливый беллетрист мог найти там гостеприимство; но даже в последние годы, когда «Отечественные записки» точно так же строго держались своих общественных идеалов, ими, по инициативе Некрасова, принимаемы были произведения писателей даже противного лагеря. Стоит мне только упомянуть о «Подростке» Достоевского. Может быть, это и была ошибка;[5] но она показывала все-таки широкое отношение к таланту и к авторской самобытности.

Да и самые оттенки направлений, какие наслаивались на журнале, издававшемся Некрасовым, были гораздо больше делом его главных сотрудников, чем его самого.

На эту тему я помню весьма отчетливо разговор с Николаем Алексеевичем и могу привести его слова, не ручаясь, разумеется, за их буквальную подлинность. Было это не больше, как за год до его болезни.

— Нельзя, — говорил он, — все самому делать. Надо предоставлять сотрудникам то, в чем они смыслят больше. Я всегда так старался поступать. Вот когда пришел к нам Чернышевский, я и вижу, что ему — книги в руки. И устранился, отдал ему в полное распоряжение все серьезные журнальные отделы. Точно то же было, когда и Добролюбов показал, какой в нем критический талант. Я опять не стал вмешиваться.

А раз это так, журнал принимает окраску самых даровитых и энергических членов редакции. В этих случаях, когда сам редактор не считает себя особенно образованным, будет всегда больше жизненности и смелости в журнале. А Некрасов нисколько не преувеличивал степени своего образования; он очень хорошо знал, что его главный запас: природный ум, искусство распознавания людей и чутье того, что в данную минуту может двигать общественное самосознание и литературное дело. Никогда не приводилось мне схватить в его замечаниях, рассказах о себе или о других, хоть малейшего оттенка именно хозяйско-издательского самомнения. Также не

было в нем и той мелочности, какая многим заменяет настоящую дельность. Все шло так, само собою; были, конечно, и упущения, при его образе жизни: рукописи по беллетристическому отделу, когда он им заведовал, частенько залеживались: но все-таки таланты получали ход. Молодой писатель чувствовал не одну только денежную, но и нравственную поддержку. Хотя Некрасов и не отличался никакой сладостью, но его похвала, выраженная двумя-тремя словами, стоила фразистого письма или одобрительного отзыва — тоном директора департамента. Так точно и во всех других сношениях по работе: он не раздражал никакой мелочностью, не требовал непременно известных строгих сроков, ставил всегда суть выше формальной стороны. Зато с чем бы вы к нему ни обращались, даже и в последние годы, когда он стал уже прихварывать, вы получали на все ответы, большею частью короткими записками, но толковые и всегда характерные.

Разумеется, веди он другой образ жизни в Петербурге, особенно в последние годы, и не чувствуй утомления от долгой возни с людьми, он мог бы придать другой характер отношениям между редактором и постоянными сотрудниками, с начала семидесятых годов, когда «Отечественные записки» уже закрепили свою новую физиономию. Я приехал тогда из-за границы и находил, что легла довольно резкая черта между членами редакции и постоянными сотрудниками. Это не происходило, мне кажется, исключительно от того, как Некрасов держал себя. Тут действовали и другие причины: разница лет, вообще не бойкость многих журнальных работников, а также и то, что редакция состояла уже из нескольких лиц. Но в отдельных сношениях с сотрудниками Николай Алексеевич оставался все тем же чутким редактором, любящим литературу, и гостеприимным хозяином.

Едва ли не он один умел поддерживать «Отечественные записки» в их официальном положении. Он ладил с разными членами подлежащего ведомства. Двоих-троих из этих господ я видал у него на обедах. Один был страстный охотник, и беседа велась на охотницкие темы, другой любил бильярдную игру [6]. Так или иначе надо было с ними ладиться. И когда выходили задержки, когда грозила опасность потерять книжку, а может быть, и совсем скомпрометировать издание, Некрасов не утрачивал спокойствия, умел делать уступки, относился ко всем

этим передрягам с чувством и тоном бывалого журналиста.

И как бы его ни утомляло долгое сиденье в клубе, все-таки вы заставали его днем с листами корректур, все-таки вы могли всегда найти в нем человека отзывчивого на то, в чем сказывался талант или умственная смелость. К молодым поэтам едва ли не он один, в тогдашнее время, и относился с настоящим сочувствием, прочитывал множество плохих и часто безграмотных тетрадок и листков, присылаемых ему отовсюду, охотно печатал все порядочное, любил разговоры о начинающих стихотворцах. Бедность талантов и по беллетристике, и по другим отделам искренне огорчала его. Помню, как он говорил об оскудении в молодых людях критических дарований за последние десять лет, и, конечно, явись в начале семидесятых годов другой Добролюбов, он нашел бы в Некрасове такую же поддержку. И ему была бы предоставлена гораздо более широкая самостоятельность, чем где-либо.

III

Писатель в Некрасове совсем не выставлялся напоказ. Его можно было наводить на рассказы из жизни литературных кружков; при этом он охотно приводил разные факты из собственных воспоминаний, но не любил вовсе наполнять беседу своим писательским *я*. К семидесятым годам его личное отношение к публике сделалось цельным, проникнутым благодарностью. Я не нарочно употребляю это слово; несколько раз мне приводилось слышать от Некрасова фразы вроде следующей:

— Мне жаловаться нечего. Я в полной мере награжден. Вряд ли кому стихи принесли столько, сколько мне.

Он указывал на крупную денежную сумму в несколько десятков тысяч, которую за последние пятнадцать — двадцать лет доставили ему издания его стихотворений [7]. Конечно, не в одном этом денежном заработке заключалась награда; но, как человек труда, знающий, как нелегко достается у нас пишущей братии материальная обеспеченность, он на цифрах и фактах показывал, насколько русская публика ценила его дарование и откликалась на мотивы его поэзии. Вообще, несмотря на надвигающуюся болезнь, потерю свежести и ясности духа,

в нем нисколько не развивалась писательская тревожность или раздраженность самолюбия. В такой натуре не могла преобладать наклонность к постоянной возне с самим собою, к раздвоению, к возделыванию своей авторской суетности. Дело редактора (хотя он в последние годы и гораздо меньше предавался ему) заставляло его жить в общении с творческой работой других. А петербургский его образ жизни, при котором сосредоточенная творческая работа была почти немыслима, отнимал возможность уходить исключительно в свои авторские заботы, мечты и тревоги. В нем прежний журнальный чернорабочий, принужденный писать что попало — и водевили, и куплеты, и романы, и рецензии, — уступил место художнику, любовно и строго относящемуся к тому, что должно остаться, что он выпускает в свет с ответственностью поэта, любимого публикой.

Когда заходила речь о творческой работе, Некрасов и молодому писателю не позволял себе, как у нас говорится, давать *генеральские* нравоучения, не указывал в пример на самого себя, а попросту сообщал, как он сам пишет. Только в деревне ему работалось. Но поэтические настроения подвергал он строгому контролю после того, как набрасывал на бумагу все то, что в первом порыве творчества лилось без удержу.

— Из пятисот, из тысячи стихов, — говаривал он, — оставишь только сотню, остальное беспощадно перехеришь.

Помню я рассказ Николая Алексеевича о том, как в деревенском доме, после удачной охоты, ночью, он записался.

— Голова так разгорелась, что образы пошли, как живые; и так заработал мозг, что я даже немножко испугался. Никогда еще не испытывал я ничего подобного. Пошел к буфету, достал там чего-то, коньяку или наливки, и стал пить. Только этим и спасся.

Мне кажется, что в нем, как в поэте, до самой смерти сознательно боролись два человека: один — поэт, другой — обличитель общественных недугов. В последнее время второй преобладал; но первый никогда — и к счастью — не сдавался, не хотел замолкнуть; а в предсмертных стихотворениях, вылившихся во время ужасных страданий, воскрес заново. Николаю Алексеевичу, сколько я заметил, всегда приятно было выслушивать тех, кто ценил в нем *поэта*, кто откровенно, иногда даже резковато,

ставил в нем сатирика на второй и на третий план. Сам он с большой любовью относился к таким своим произведениям, где творчество не поставлено в тиски известного условного тона, и, не захвати его болезнь, он, конечно, дал бы еще более широкий полет своему чисто поэтическому дарованию.

Последний разговор, какой мне удалось иметь с ним, происходил с лишком за год до его смерти, весной, в Летнем саду. Болезнь уже подтачивала его; ему трудно было ходить; но тогда еще он вряд ли смотрел на себя как на безнадежного больного. Разговор коснулся начинающих писателей — тех, кого судьба закинула в глушь провинции, — и тут Николай Алексеевич вспоминал картины жизни в уездном городке, говорил, что такое значило в эпоху его юности для какого-нибудь восприимчивого молодого малого случайно открытая поэтическая вещь, тетрадка стихов, поэма Пушкина, Лермонтова.

— Идете вы, — говорил он, — вечерком мимо домика. Окна отворены, и такой вот юнец сидит в темной комнатке и валяет целыми строфами вслух, упивается ими, а там, глядишь, и зародилось в нем что-нибудь...

Проститься с ним мне не привелось, как и многим, кто сохранил к нему цельное чувство.

Д. П. Сильчевский

Дмитрий Петрович Сильчевский (1851—1919) — библиограф, участник народнического движения. Его демократические убеждения сложились под воздействием поэзии Некрасова. Сильчевский вспоминал, как он «с детства возвеличивал» поэта «выше облака ходячего», ставил его «чуть ли не наряду с Гомером и Шекспиром» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 89). С «юношеской горячностью» он спорил с противниками Некрасова, отказывавшими ему в звании народного, национального поэта (Д. П. Сильчевский, Из воспоминаний о Г. И. Успенском. — «Новости и биржевая газета», 1902, № 84). В 1877 году Сильчевский — студент Петербургского университета, находившийся под надзором полиции, — был арестован и выслан из Петербурга. Он был обвинен во «вредной антиправительственной деятельности», которая, в частности, выразилась в том, что Сильчевский 3 февраля 1877 года на вечере в клубе художников во время разговоров о стихах Некрасова (из цикла «Последние песни») предложил составить адрес поэту и «прочел проект такого адреса». «В этой рукописи, весьма краткой, было сказано, что народ не забудет творчества Некрасова и что он будет вечно в народной памяти» (из агентурного донесения; опубликовано С. Макашиным в кн. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1957, стр. 349). Адрес был одобрен, подписан и вручен Некрасову (см. стр. 450).

Воспоминания Д. П. Сильчевского дают представление об отношении революционной молодежи к поэту, а также о работе редакции «Отечественных записок».

Н. А. НЕКРАСОВ

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ БИБЛИОГРАФА

(Посвящается Петру Александровичу Ефремову и Семену Афанасьевичу Венгерову)

I

Я познакомился с Николаем Алексеевичем Некрасовым в понедельник, 27 сентября 1871 года. Представил меня ему Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, у которого я за три дня до того провел вечер и который просил меня зайти в ближайший приемный (редакционный) день, то есть в понедельник. Щедрин был первый писатель, с которым я познакомился, приехав в Петербург с какими-то тремя рублями в кармане и с великими надеждами на свое блестящее будущее... Тогда — 20-летним юношей — я мечтал быть вторым Белинским — шутка сказать (excusez du peu!) * — которым зачитывался на гимназической скамейке... С детства меня непреодолимо влекло к книге, к чтению, а в годы ранней юности меня окрыляли великие мечты о литературной славе, о служении своей родине, своему народу, счастью и благу которого я, дескать, отдам всю свою жизнь, все свои силы и способности... Такие гордые и преувеличенные мечтания во мне, в тогдашнюю юношескую пору, были вполне понятны, потому что

Стремимся с силой роковой
Мы в юности к борьбе тревожной,
И нет для силы молодой
На свете цели невозможной...[1]

II

В назначенное Щедриным время, в половине первого, я аккуратно вступил на подъезд (с Литейной улицы, ныне Литейного проспекта) дома А. А. Краевского и поднялся по лестнице в квартиру Некрасова, в приемных покоях которой помещалась и редакция «Отечественных записок». Взглянув мельком на чучело медведя (убитого Некрасовым в одну из охот), я снял свое подбитое вет-

---

* извините (*франц.*).

ром осеннее пальтишко, повесил его на вешалку и затем с некоторою робостью вступил в «святилище», каким представлял себе приемную комнату редакции... Не забудьте того обстоятельства, что тогда я еще в первый раз в жизни входил в помещение редакции, да еще какой редакции, — тех самых «Отечественных записок», которые считались (и по праву) лучшим журналом своего времени, тех самых «Отечественных записок», которые редактировали тогда такие люди, как Некрасов, Щедрин, Елисеев, где писал Н. К. Михайловский, — а его статьи, как и все нумера «Отечественных записок» 1868—1871 годов (то есть в бытность мою в 5-м, 6-м и 7-м классах новгородсеверской гимназии), проглатывались мною с жадностью от доски до доски, как говорится...

III

Войдя в приемную комнату, я увидел в ней только одного человека, что-то писавшего у конторки. Впоследствии оказалось, что это был известный беллетрист шестидесятых годов Василий Алексеевич Слепцов *.

Слепцов был необыкновенный красавец, на вид так лет 35-ти, как мне показалось тогда, — красавец, подобного которому даже трудно и встретить.

Слепцов с утонченной деликатностью ответил на мой поклон, спросил, что мне угодно, и, когда я сказал, что явился сюда по приглашению Салтыкова, ответил:

— Не угодно ли вам сесть? — и, изящным жестом указав мне на ближайшее кресло, продолжал: — Михаил Евграфович здесь. Он у Некрасова и, вероятно, скоро выйдет сюда.

Я сел, но, скоро соскучившись ожиданием, подошел к Слепцову и заговорил с ним, предварительно осведомившись, не помешаю ли я его работе, на что он с той же изящной и предупредительной деликатностью ответил, что я нисколько ему не помешаю.

Так как мой тогдашний разговор со Слепцовым не относится к делу, то я его и опускаю здесь.

---

* В. А. Слепцов состоял тогда секретарем редакции «Отечественных записок», но с января следующего 1872 г. его место занял известный высокоталантливый поэт Алексей Николаевич Плещеев. (*Прим. Д. П. Сильчевского.*)

Не прошло, помнится, минут 15—20-ти моей оживленной беседы со Слепцовым, как дверь направо, закрытая портьерами, неслышно растворилась, и вошел Щедрин.

— А, вы здесь? — буркнул он, подавая мне руку. — Некрасов сейчас выйдет.

Обратясь затем к Слепцову, Щедрин стал говорить с ним о составе будущей книжки «Отечественных записок», а я сидел и молча слушал.

Вскоре та же самая дверь с портьерами, направо в глубине комнаты, опять неслышно отворилась, и вошел человек, в котором я сразу узнал Н. А. Некрасова. Щедрин молча подозвал меня быстрым жестом правой руки; я сорвался с кресла и подошел к нему.

— Вот, Николай Алексеевич, этот молодой человек,— как вас зовут, я забыл?..

Я назвал свое имя, отчество и фамилию.

— Так вот, — и, как будто сердясь на что-то, ворчливо, грубо и резко, продолжал Щедрин, обращаясь к Некрасову, — Дмитрий Петрович Сильчевский хочет сотрудничать у нас по отделу библиографии. Он был у меня, и я сказал ему, чтобы он пришел сюда и что только вы сами, переговорив с ним, можете решить — годен ли он для нас?

После этих слов Щедрин, вскинув пенсне на нос, быстро, нервно разгладив свои бакенбарды и быстро подойдя к Слепцову, стал продолжать с ним прежний разговор. М. Е. Салтыков-Щедрин был тогда энергичным, бодрым и резко-порывистым человеком, исполненным здоровья и силы, и нисколько не походил на того дряхлого и разбитого недугами старика в халате, каким увидел я его потом, девять с половиною лет спустя (24 февраля 1881 года). Некрасов, пожав мне руку, сказал: «Пожалуйте-ка сюда, в сторонку», — и отвел меня к одному из окон, выходивших на Литейную улицу.

Признаюсь откровенно, что я с некоторым страхом и трепетом даже, растерявшись и сконфузясь, стал сперва говорить с Некрасовым. Это происходило оттого, что он был моим кумиром с половины шестидесятых годов, что я знал все его стихотворения, как напечатанные в отдельных изданиях 1856—1869 годов, так и не попавшие в эти издания другие произведения поэта, начиная с 1838 года, — знал я все это наизусть, можно сказать, смотрел тогда на него, как на некое божество, и считал его величайшим из русских поэтов. Этого же убеждения

я держусь и доныне, как совершенно правильного, кто бы там что ни говорил, — и считаю его истинно национальным и единственным великим народным певцом, воспевшим так, как никто, народную печаль и народное горе...

Ласковый и сердечно-участливый тон некрасовского разговора скоро ободрил меня, и я совсем перестал стесняться в дальнейшей с ним беседе.

— Так вы хотите сотрудничать у нас! Но, прежде всего, скажите, отец, — «отец» было любимое словечко Некрасова, которое, как я тогда же заметил, он частенько-таки употреблял в разговоре иногда даже и некстати, — почему вы думаете, что из вас выйдет непременно писатель?

— Мои сочинения были самыми лучшими в гимназии, — ответил я Некрасову.

Он весело усмехнулся и продолжал:

— Эх, отец, да ведь все мы — и вы, и я, и многие другие — писали лучшие сочинения в гимназии. Но ведь из этого еще нисколько не следует, чтобы из нас всех выходили писатели. А, впрочем...

Некрасов на минутку задумался и затем решил так:

— Вот что, отец, мы сделаем, я дам вам записку в нашу контору. Магазин Звонарева знаете?

— Знаю, — поспешно ответил я, — это будет, когда дойдешь по Литейной до Невского, так повернуть направо, и в доме номер пятьдесят четыре магазин С. В. Звонарева. Я его заметил, идя к вам...

— Вот, вот, — перебил меня Некрасов. — Он самый и есть. Я напишу вам записку, что подателю предоставляется выбрать любые книги и взять их себе за мой личный счет. А вы выберете себе там, ну, скажем, книжки две-три из новеньких, таких, которые вы желаете разобрать у нас. Когда же вы их разберете, то снесите их к Елисееву. Он у нас этими делами занимается, он прочтет ваши рецензии и скажет вам, подходят ли они к нашему журналу и можете ли вы у нас сотрудничать. Григорий Захарыч! — обратился Некрасов к одному из разговаривавших в стороне сотрудников.

Надо заметить, что в приемной комнате редакции «Отечественных записок» в это время уже находилось несколько сотрудников. Ни одного из них я в то время не знал.

На зов Некрасова к нам подошел высокого роста, несколько сутуловатый, по-видимому, старик (хотя ему тогда

всего было только 50 лет) с замечательно умным выражением лица и с седою бородою библейского патриарха.

— Это — Григорий Захарыч Елисеев, — отрекомендовал его мне Некрасов. — А вас-то как звать, отец, я, грешен, и позабыл.

Я назвал себя.

— Так, видите ли, Григорий Захарыч, Дмитрий Петрович хочет попытаться рецензии у нас писать. Я дам ему записку в контору, он там выберет себе книги для разбора, а разбор их принесет вам на просмотр.

Елисеев и я молча поклонились и пожали друг другу руки.

Некрасов подошел к письменному столу, быстро набросал несколько строк на клочке бумаги, передал этот клочок мне и попрощался со мной.

Я обратился к Елисееву с вопросом, когда его можно будет застать дома, чтобы принести ему разборы книг, которые я выберу у Звонарева.

— Да всякий вечер я дома. Приходите так часов в семь. Мы чай пьем в это время, и кое-кто из нашей братии собирается почти каждый вечер у меня. Да вот вам — позвольте вас, господа, познакомить, это Александр Михайлович Скабичевский, — обратился Елисеев к подошедшему к нему в эту минуту очень тучному молодому человеку с апатичным лицом, которому было лет за тридцать.

Елисеев назвал меня г. Скабичевскому, и я с того времени стал добрым приятелем с нашим известным критиком.

Спрятав некрасовскую записку в боковой карман сюртука, я распрощался с Елисеевым и Скабичевским, опять вернулся к Некрасову и вновь попрощался с ним рукопожатием, а потом, отыскав Щедрина, с кем-то громко и с резкими окриками говорившего, попрощался и с ним и поблагодарил его за то, что он познакомил меня с великим национальным русским поэтом...

IV

Тогдашняя наружность Некрасова очень удачно была схвачена на его известном портрете, написанном знаменитым нашим художником-портретистом Иваном Николаевичем Крамским[2]. Худощавый, с впавшими щеками и

желто-лимонного цвета лицом, он говорил каким-то криплым, но вполне внятным полушепотом, причем ясно и твердо отчеканивал слова.

Одно, чего не мог уловить Крамской, — это выражения глаз Некрасова. Трудно, даже прямо невозможно, описать его глаза... Боже мой, что это были за глаза: они пронизывали вас насквозь, как будто читали в вашей душе, и чудесно искрились в зрачке... Эти глаза и теперь, когда уже более тридцати лет прошло после моей первой с ним встречи, — да, эти некрасовские глаза и теперь часто искрятся передо мною, когда я вспоминаю о нем, — и вот, в настоящую минуту, когда, в глухую, позднюю ночь, пишу я настоящие строки, некрасовские глаза вновь сверкают и искрятся передо мною... И это не обман зрения, не галлюцинация!.. Да! таких глаз я не встречал ни прежде, ни после (да, наверное, никогда и не встречу).

Я выбрал всего только одну книжку по некрасовской записке в книжном магазине С. В. Звонарева (это была «Эмма», социально-демократический роман известного Швейцера). Быстро прочитав ее, я написал разбор и отнес его к Елисееву, а за ответом, как назначил он мне, я пришел к нему через три дня.

— Я немного переделал было начало вашей рецензии и решился пустить ее в следующую книжку «Отечественных записок», но сюда утром заезжал ко мне Некрасов, он тоже захотел прочесть вашу рецензию, — чего обыкновенно он с рецензиями не делает, предоставляя их всегда на мое усмотрение, — но вами он почему-то заинтересовался, когда беседовал с вами.

Таковы были, после обычного приветствия, первые слова Г. З. Елисеева.

— Что же сказал Некрасов? — с нетерпением перебил я Елисеева.

— А сказал, что рецензия ваша слабовата, но что, если вы непременно этого желаете, ее можно напечатать, но не иначе, как с переделанным мною началом. Но Некрасов лучше советовал вам не делать этого. Затем он просил передать вам, что он убежден в том, что вы будете журналистом, рано или поздно станете в наши ряды и уж не покинете их... Да, это не только мнение Некрасова, но и мое собственное мнение: *вы будете журналистом!* — твердо и отчетливо выговорил Елисеев, смотря на меня.

Я взял у Елисеева свою рецензию, разорвал ее и бросил клочки ее в корзинку с ненужными бумагами[3]. Затем я спросил у Елисеева:

— Не говорил ли еще чего-нибудь Некрасов насчет меня?

— Да, действительно, говорил. Он просил передать вам, что вам еще много нужно учиться, запасаться знаниями, прежде чем выступить в литературе. Это опять-таки тоже и мое мнение.

Поздно в тот вечер я вернулся от Елисеева и — с того времени ревностно исполнял совет Некрасова (впрочем, этому совету я следовал и прежде), — учился и учился. Публичная библиотека, с первого же дня моего прибытия в Петербург, видевшая меня ежедневно в своих стенах, стала для меня кладезем всевозможных знаний и сведений.

V

Во второй раз я увиделся с Некрасовым в апреле 1874 года, в один из тех ярких весенних солнечных дней, какими иногда дарит нас сумрачно-серый Петербург, наша скупая и скудная северная природа.

Было около 10 часов утра, и я, выйдя купить бумаги и еще каких-то необходимых для одинокого жильца меблированной комнаты от хозяев вещей, возвращался домой, идя по направлению от Бассейной к Малой Итальянской, в дом № 52 (гробовщика Шумилова), квартиру № 22, где я жил в 1874—1876 годах. Идя по тротуару задумавшись, я неожиданно-негаданно наткнулся на шедшего ко мне навстречу господина.

— Ух, отец, нельзя же бродить сонному по улицам, да еще и на людей натыкаться...

С изумлением я очнулся от глубокой задумчивости (а может быть, и в самом деле от дремоты, так как провел ночь за работой), в которую незаметно погрузился, идя машинально вперед по тротуару, поднял глаза и — узнал стоявшего передо мной Некрасова, с дымящеюся сигарой в левой руке. Я узнал его сразу, да и он, как мне показалось, тоже узнал меня. Я совсем не изменился за два с половиною года, протекшие со дня нашего первого свидания.

— Что это вы, отец? — спросил Некрасов.

Я стал быстро и порывисто рассказывать, что я делал за эти протекшие два с половиною года (с того времени, как мы виделись у него в редакции), что я делаю теперь и что намерен делать впоследствии.

Некрасов молчал, слушал меня, не перебивая ни разу, попыхивая сигарой, синий дым которой вился в светлом весеннем воздухе.

Когда мы дошли до подъезда его квартиры, Некрасов сказал мне:

— Вот что, отец, занимайтесь делом, а не пустяками и не разбрасывайтесь по сторонам, ни в жизни, ни в сочинениях. Не библиография важна, важно только одно— любить народ, родину, служить им сердцем и душой. Работайте, учитесь и учите других, и господь с вами!..

Некрасов пожал мне крепко руку, входя в подъезд, и, на прощанье, взглянув опять на меня своими удивительными, несравненными глазами, произнес:

— Да не очень-то громко трещите так обо всем,— понимаете: потише, полегче... Язычок-то ваш вы бы как-нибудь укоротили себе... Не обижайтесь! Любя, жалея вас, говорю это вам, отец... Вы — умный человек и сами хорошо понимаете, что думать можно обо всем, но говорить вслух о многом нельзя... Ну, да хранит вас бог!..

Восторженный, почти до экстаза настроенный вернулся я домой. На столе лежали формы *, не доконченные мною в минувшую ночь, — но мне было уже не до корректур (хотя я очень хорошо знал, что на следующий день утром придет рассыльный или сторож из типографии В. П. Безобразова и К° (на Васильевском острове) за этими формами «Дополнения к настольному словарю Толля», над которым я усиленно и форсированно работал в 1873—1876 годах... Да, мне тогда было не до корректур, не до библиографии, не до писания. Подумайте только, что случилось со мною в то утро?! Я с гордостью и сто раз пародировал известные стихи Пушкина о нем самом, когда его отличил Державин... Я неустанно повторял:

Поэт Некрасов нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

* Первые корректуры с большими полями, на которых можно вносить несравненно больше дополнений, чем в гранках (столбцах), не говоря уже о сверстанных печатных листах. (*Прим. Д. П. Сильчевского.*)

Хотя, на самом-то деле, Некрасову оставалось тогда до гроба еще добрых три с половиною года, да и этого тогда ни я, и никто не знал, и все мы думали, что наш, всеми нами — тогдашней чуткой и отзывчивой молодежью — любимый и дорогой для России поэт проживет еще долгие годы. «Не так ждалося, да так склалося», гласит украинская поговорка...

VI

Увиделся я еще в третий и в последний раз в марте 1876 года, но при этом мы уже не обменялись с ним буквально *ни единым словом.* Произошло это так. На первой неделе поста я зашел к Вас. Петр. Печаткину, в его книжный магазин (вернее сказать: склад старых и новых книг и разного археологического старья и хлама, доставшегося В. П. Печаткину от обанкротившегося А. А. Старчевского, а последнему доставшегося от строителя Исаакиевского собора, известного в свое время архитектора Монферрана. Между разным старьем тут же хранилась и кровать злополучной французской королевы Марии-Антуанетты. Магазин или склад В. П. Печаткина, этого старого деньми старца скаредного вида, помещался тогда внутри Гостиного двора). Лишь только я начал было говорить со стариком о делах по «Дополнению к настольному словарю Толля», как дверь отворилась, и вошел Некрасов.

Взглянув на меня — по его глазам я сразу же увидел, что он опять узнал меня, как и два года тому назад,— Некрасов пожал мне руку и прямо обратился к Василию Петровичу Печаткину с такими словами:

— Что, отец, пост теперь? Немного-то теперь наторгуешь. А вот я с вами, отец, пришел посчитаться да мошну-то вашу порастрясти хорошенько...

Видя, что разговор у них тут пойдет деловой и о деньгах *, я, сочтя свое присутствие при таком разговоре

---

* В. П. Печаткин как раз перед этим издал новое, для того времени самое полное собрание «Стихотворений Н. А. Некрасова» (СПб. 1876, 3 тома в 6-ти частях) [4], да кстати переиздал и давно забытый Некрасовым грех его ранней юности «Сказку о Бабе-Яге, костяной ноге», первоначально изданную петербургским книгопродавцом конца 1830-х и начале 1840-х гг., В. П. Поляковым. (*Прим. Д. П. Сильчевского.*)

неудобным, решил отложить свои (тоже деловые и денежные) объяснения до следующего дня и, пожав руки Некрасову и Печаткину, вышел на свет божий и поспешил по соседству в императорскую Публичную библиотеку, чтобы опять поработать в ней все над тем же «Дополнением к настольному словарю Толля». (Я работал над этим «Дополнением» дома по ночам, а днем в Публичной библиотеке.)

Больше я никогда с Некрасовым не виделся, хотя судьбе угодно было, чтобы он сыграл дважды (в 1876 и 1877 годах) решающую роль в моей жизни[5].

Г. А. Мачтет

Революционер-народник, писатель, автор стихотворения «Последнее прости», ставшего народной революционной песней («Замучен тяжелой неволей...»), Григорий Александрович Мачтет (1852—1901) был одним из поклонников Некрасова. Он писал в «Автобиографии» (1896) «⟨...⟩в юношеские годы, когда начинает формироваться человек, а душа искать идеала, наибольшее впечатление на меня имели поэзия Некрасова и журнал «Современник». Им я обязан если не всем, то, во всяком случае, более всего» (*ГБЛ*, ф. 77, карт. 21, ед. хр. 34).

До приезда в Петербург в конце 1874 года Мачтет побывал в Америке (там он хотел создать земледельческую коммуну), в Германии. В 1875 году он принес Некрасову свой очерк «Германия» (*ОЗ*, 1875, № 6). Через пятнадцать лет свою встречу с Некрасовым он описал в рассказе «Первый гонорар» (1890). По условиям времени Мачтет не мог воспроизвести полностью содержание своего разговора с Некрасовым. Содержание этого разговора уточнил товарищ Мачтета Д. П. Сильчевский. Мачтет, по его словам, говорил Некрасову, что «он, как убежденный социалист, намерен отдать свои труды, собственно, не литературе, а преимущественно политической пропаганде» (Д. П. Сильчевский, Григорий Александрович Мачтет. — «Полное собрание сочинений Г. А. Мачтета», «Просвещение», СПб. 1911, стр. XIX). Это намерение, судя по рассказу, не вызвало у Некрасова возражений.

С Некрасовым Мачтет больше не встречался: в августе 1876 года он был арестован, посажен в Петропавловскую крепость, а в конце 1877 года выслан в Архангельскую губернию.

ИЗ РАССКАЗА «ПЕРВЫЙ ГОНОРАР»

Было еще очень рано, и в редакционной комнате, наполовину занятой биллиардом, никого, даже секретаря, кроме нас двоих, не было. Некрасов взглянул на меня боком, как-то исподлобья и точно пронизал этим взглядом.

— Я прочитал вашу вещь, и мы ее напечатаем! — глухо проговорил он прямо в упор, не спуская с меня пронизывающего взгляда. — Рад вас видеть!..

Я почувствовал, как целым потоком хлынула вся кровь мне в голову, как зажглись мои бледные щеки...

— Садитесь... Давно начали писать?

Я сказал... Он расспросил меня обо многом, и, когда я кончил, он насупился и заходил по комнате, заложив руки.

— Конечно, не мне отрывать вас от того, куда влечет вас сердце, — начал он сурово и хмуро, как бы ища слов, — но я все-таки скажу вам: берегите себя... Из вас может выработаться писатель...

Он остановился и посмотрел на меня пристально и прямо, и я точно окаменел от этих слов и взгляда.

— Я не скажу теперь, что вы — талант, — продолжал он, стоя, — потому что у нас определить это трудно... Наших писателей часто хватает только на одну или две вещи... Странно это, — но это так... Вон хоть Кущевский написал одну очень хорошую вещь, а дальше и ничего!..[1] Судьба уж, видно, у нас такая... Но все-таки, повторяю вам: из вас может выработаться писатель, и вы поберегите себя... У вас есть чувство, вы умеете любить и... — он улыбнулся.

— И кусаться! — добавил он, все так же улыбаясь, причем его глаза сверкнули мне из-под сдвинутых бровей ласковой и мягкой улыбкой.

А я сидел и не верил, казалось, самому себе, своему счастью, — не верил: мои ли уши слышат, мои ли глаза видят... Но я не спал, не грезил, — великий поэт, разбудивший наши сердца и затепливший в них святые искры

любви и веры, — действительно предо мной, и вы сами поймите мое состояние... Друг мой — про нас говорят, что мы вообще отрицали авторитеты... Я, конечно, не хочу спорить, но я все-таки сделаю малую оговорку... Что бы там ни говорили, своих великих людей мы умели ценить, мы умели быть благодарными и в грязь их не топтали... Тех, что учили нас любить и мыслить, мы ставили так высоко, как им, конечно, никогда и не снилось, а пыль, приставшую к их подошвам, — потому что они, как и все, ходили по земле, — мы умели отделять от их светлого духовного образа... И потому, пока говорил Некрасов, я только слухом, казалось, ловил его слова... Внутри копошилась такая масса смешанных чувств восторга, благодарности и любви к родному поэту, так рвались они наружу, так много хотелось сказать устам, скованным такой массой, что я только то бледнел, то краснел... А он все говорил; говорил о значении литературы, о долге писателя... о... ну, да о многом...

Когда я встал, он, не выпуская моей руки, спросил меня уже совсем мягко и просто:

— Вам нужны деньги?

Вместо ответа я вспыхнул.

— Ну, да, конечно! — продолжал Некрасов, улыбаясь. — Я заплачу вам на первый раз по семьдесят пять рублей за лист, — подождите...

Он вышел в соседнюю комнату и вынес сторублевую бумажку.

— Вот вам пока за лист... У вас нет сдачи?

— Нет! — улыбнулся и я на его улыбку.

— Тем лучше... Возьмите все... Там ужо сочтемся!

Теперь вы и сами нарисуете себе мое состояние, то счастливое, беспредельно счастливое состояние, какое редко повторяется в жизни... Голова у меня кружилась, сердце билось учащенно, я куда-то шел, все еще судорожно сжимая в руке первую собственную радужную бумажку, а в груди у меня царил какой-то необъятно счастливый покой, безмятежность, лишенная всяких тревог и сомнений... Я все шел и что-то насвистывал, как молодой щегленок, когда солнце, прорвавшись сквозь нависшие серые тучи, оживит все окрест своими светлыми, благодатными лучами... Я не думал, ровно ничего не думал, а все только шел и шел... Да и что мог бы я думать?! Если бы мне протянули самую роскошную диадему, если бы все блага мира повергли к моим ногам, —

я отвернулся бы равнодушно, прошел бы мимо, даже не заметив, потому что, мне казалось, я имел больше, неизмеримо больше... Я помню, в это прелестное майское утро мне все улыбалось — и солнце, и стены домов, и Нева, на набережной которой я вдруг очутился, и воздух, и реявшие в нем ласточки, щебетавшие мне, казалось, все то, что за несколько минут перед тем говорил поэт... Я сам улыбался всему, насвистывал что-то и все шел и шел...

А. Г. Степанова-Бородина

Александра Григорьевна Степанова-Бородина (1845—1914), урожд. Перетц, была известна своими статьями о воспитании детей, положении женщины. Ее симпатии демократическим идеям 60-х годов отчетливо проявились в рецензиях, критических обзорах, опубликованных в журнале «Дело», в газете «Новое время». Кроме того, она также занималась переводами сочинений Флобера, Стендаля, Мюссе.

А. Г. Степанова-Бородина полемизировала с критикой, враждебно относившейся к Некрасову. В обзоре январской книжки «Отечественных записок» за 1873 год (*НВ*, 1873, № 37) она протестовала против выступлений В. Буренина, отрицавшего художественную ценность «Русских женщин» Некрасова (см. его журнальное обозрение — *СПб. вед.*, 1873, № 27).

В другом обзоре, содержащем высокую оценку главы «Последыш» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», Степанова-Бородина поэзию Некрасова характеризовала в духе радикальных идей своего времени. «Кто из наших поэтов так глубоко прочувствовал и понял русский народ, — писала она, — кто искреннее и честнее относился к нему, кто думает его думами, говорит его языком, плачет его кровавыми слезами, — кто, как не певец скорбей родной земли? Ни одна народная книга, написанная со специальной целью поучать народ, не будет ему так понятна, как «Коробейники» и «Кому на Руси жить хорошо» (*НВ*, 1873, № 61).

Воспоминания Степановой-Бородиной о Некрасове также проникнуты признанием его заслуг перед народом,

которые особенно ценились революционной молодежью 70-х годов. Они были прочитаны в начале 1903 года на заседании кружка Русского женского взаимно-благотворительного общества.

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

В шестидесятых годах имя Некрасова было окружено таким ореолом, что каждый из нас, людей тогдашнего молодого поколения, жаждал хоть издали взглянуть на любимого поэта, хоть послушать его на литературном чтении, если уж не было надежды увидеть его где-нибудь в обществе. Сравнительно с другими, мне посчастливилось, так как, благодаря благоприятно сложившимся обстоятельствам, мне удалось не только встретиться с Некрасовым, но и довольно близко познакомиться с ним. Но, прежде чем я приступлю к рассказу об этом знакомстве, скажу еще, что и я видела его, или, вернее, слышала, в первый раз на литературном вечере. Говорю — слышала, так как сидела очень далеко и, благодаря своей близорукости, не могла даже разглядеть столь горячо чтимого мною поэта. Он читал на этом вечере свое знаменитое стихотворение «Размышления у парадного подъезда», и, когда он начал певуче декламировать своим характерным хриплым и глухим голосом:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песнью зовется, —
То бурлаки идут бечевой!.. —

вся зала, казалось, замерла, а у меня потекли безмолвные слезы, и я почувствовала в эту минуту, как зазвучали все струны моего юного шестнадцатилетнего сердца. В настоящее время, когда критическое сознание гораздо более развито в массе интеллигенции, чем тогда, вряд ли даже может быть понятен тот энтузиазм и то преклонение, какими мы были преисполнены к поэту-гражданину, нашему светочу и руководителю, воплощавшему в себе наш идеал писателя. Ни Пушкина, ни Лермонтова мы не любили и не понимали, — они казались нам тогда такими чуждыми, пели о любви к вечной природе, о красивых ножках, один глядя на жизнь оптимистом, а другой — пессимистично, и все это в то

время, когда старые идеалы добра и красоты сороковых годов, казалось, совсем уж поблекли и когда на смену им шла новая жизнь с другими требованиями и запросами, когда вместе с уничтожением крепостного права стало некогда и не на что (крестьяне уж оброков не платили) восхищаться красотой, а надо было делать будничное, но нужное дело, когда слово *польза* стояло на первом плане и, конечно, не для себя, а для народа. И с этим-то народом Некрасов впервые познакомил нас и, что самое главное, сумел заставить нас понять и полюбить всех этих Власов, школьников, Арин-солдаток, всех этих баб, замерзающих в поле, ребят, возящих дрова из лесу в шестилетнем возрасте, и, полюбив их, мы горячо привязались и к поэту, который открыл перед нами этот до тех пор почти неведомый для нас мир, и, пристрастные, как всегда бывает в юности, мы вознесли его на недосягаемую высоту, перед которой невольно мельчали в наших глазах великие поэты, которых сам Некрасов считал для себя недосягаемыми образцами.

Вторично я уж встретилась с Н. А. Некрасовым в доме близких мне людей, а именно у старика Степанова, бывшего издателя сатирических журналов «Искры» и «Будильника» [1]. Когда я вошла в гостиную, то Некрасов уже был там и разговаривал с самим Степановым; меня тотчас же ему представили, но я была так поражена неожиданностью встречи, что не сумела даже ничего сказать и молча села в углу гостиной, все время издали поглядывая на знаменитого гостя и стараясь хорошенько разглядеть его. Вскоре, впрочем, ко мне подошли сын Степанова и один из сотрудников «Искры», некий Воронов, автор книги «Московские норы и трущобы» [2]. Сначала я мало говорила и отвечала нехотя, недовольная тем, что мне мешали смотреть на Некрасова, но потом невольно увлеклась спором с Вороновым, который всегда изрекал невозможные парадоксы, и, заспорив с ним, забыла скоро обо всем окружающем, начала страстно и пылко опровергать его. Вдруг около меня раздался знакомый хриплый голос поэта, подошедшего проститься с нами, и я опять так смутилась своей невоздержанностью в споре, что могла только молча подать ему руку. Когда он отходил от меня, то довольно громко сказал провожавшему его до передней старику Степанову: «Огонь-барышня, люблю таких!..» Таким

образом, и эта встреча почти не может быть названа знакомством с поэтом, так как я не обменялась с ним ни одним словом. Между прочим, вспоминая этот эпизод, я не могу не упомянуть о том, что Некрасов был в таких хороших отношениях со стариками Степановыми, что когда их сыну минуло двенадцать лет и ему подарили альбом, то мать мальчика попросила и его написать что-нибудь в этот альбом, который был сплошь исписан знаменитыми в то время литераторами. Только на двух передних страницах мать мальчика написала прозой, но весьма сердечно, свои пожелания обожаемому единственному сыну. Некрасов, как известно, вообще горячо ценил всегда любящую мать, а С. С. Степанову он, кроме того, и глубоко уважал, как умную и энергичную женщину. И вот в этот альбом двенадцатилетнего мальчика он написал следующее небольшое стихотворение:

Пишите, други! — Начат путь!
Наполним быстро том альбомный,
Но вряд ли скажет кто-нибудь
Умней того, что прозой скромной
Так поэтически сказать
Сумела любящая мать!

17-го ноября 1859 г. *Н. Некрасов*

Приступая к рассказу о моем знакомстве с Н. А. Некрасовым, я должна прежде вкратце сообщить, при каких обстоятельствах оно совершилось и чем было вызвано. В 1873 году, ровно тридцать лет тому назад, сын историка Устрялов предпринял издание газеты «Новое время»[3], редакцию которой поручил довольно известному в то время поэту Н. Л. Пушкареву. В число сотрудников была приглашена и я для составления журнальных обозрений и библиографических отчетов о вновь выходящих книгах. Газета наша была очень мало известна, шла очень плохо и имела всего 1500 подписчиков, но мы не унывали и надеялись на то, что нам удастся, наконец, завоевать расположение публики. Собственно говоря, я имела мало отношений к остальным сотрудникам и знала только Устрялова и Пушкарева.

Когда я начала писать свои журнальные обозрения, то слава Некрасова была в своем зените, — он стоял тогда во главе «Отечественных записок», и появление каждой его вещи было событием, как для критики, так

и для публики. В этом году он печатал в своем журнале отдельными главами свою знаменитую, оставшуюся неоконченной, поэму «Кому на Руси жить хорошо». Когда появилась глава «Последыш», я, конечно, не могла пройти молчанием этой типичной и яркой картины прежнего помещичьего быта и написала о ней восторженный отзыв[4]. Вскоре после того, когда я была на журфиксе у Александра Константиновича Шеллера (Михайлова тож), с которым была хорошо знакома, он вдруг сообщил мне, что Некрасову кто-то указал на мою статейку; он прочел ее и поинтересовался узнать имя автора, так как я подписывалась всего двумя буквами. Когда ему сообщили, что это пишет женщина, то он выразил желание познакомиться со мной, чем я была, конечно, очень польщена. Тем не менее так как мне неловко было явиться к поэту прямо на дом, то, может быть, наше знакомство опять не состоялось бы, если бы не случилось, несколько времени спустя, одного обстоятельства.

Дело в том, что газета наша продолжала иметь так же мало успеха, как и вначале, и наш издатель, затратив на нее большие деньги, не находил для себя возможным продолжать ее издание и стал искать на нее покупателя. Кто-то из литераторов сообщил ему, что Некрасов желает купить газету, а когда он передал об этом редактору, то тот, зная, что поэт желал познакомиться со мною, предложил мне съездить к нему и узнать, действительно ли он желает купить газету и на каких условиях? Конечно, я с восторгом ухватилась за такой прекрасный предлог ехать к Некрасову и поспешила написать ему письмо, в котором спрашивала, когда он может принять меня по делу. Вскоре я получила от него весьма любезный ответ, в котором он назначал мне день и час, когда мог принять меня, и добавил к этому, что давно уже желал познакомиться со мною[5]. Трудно передать словами то взволнованное состояние, в котором я ехала из Лесного на угол Литейного и Бассейной, где столько лет жил Некрасов и где он и умер. До сих пор, после тридцати лет, я помню каждую мельчайшую подробность моего свидания с ним. В первой, большой комнате, через которую камердинер провел меня в его кабинет, стоял посредине большой бильярд, что мне тотчас же бросилось в глаза. Николай Алексеевич принял меня крайне любезно и тотчас же заговорил со мною о моих фельетонах (за это время мне не раз приходилось писать о его

стихах) [6] и сделал это так тонко и деликатно, точно в самом деле считал меня заправским литератором. Меня поразило и тронуло такое внимание к почти неизвестной фельетонистке весьма мало распространенной газеты, и я поспешила заметить ему, что, конечно, он-то уж вовсе не нуждается в моих похвалах. На это он серьезно и с выражением сказал мне, что напрасно я так думаю, так как его гораздо больше бранят, чем хвалят, искренняя же оценка вполне беспристрастного молодого человека, написанная с таким горячим чувством и непосредственностью, не может не тронуть глубоко человека, измученного жизнью, затравленного недругами и сознающего порой, что его талант идет на убыль. Я тогда уже понимала, что, конечно, местами столь дорогой моему сердцу и уму поэт бывает прозаичен и не всё удается ему, тем не менее автор «Русских женщин», «Коробейников» и «Кому на Руси жить хорошо» был для меня и тогда воплощением истинного поэта-гражданина, и за идею я охотно прощала ему такие ничтожные, по моему мнению, недочеты. Поэтому я начала энергично возражать ему и доказывать, что для большинства молодого поколения он все-таки остался могучим властителем наших дум. Тогда Некрасов с горечью и нескрываемым раздражением заметил, что зато старое поколение готово заживо съесть его, что ему не прощают его популярности среди молодежи и успеха его журнала. Тут только я вспомнила, по какому делу я приехала к нему, и заговорила с ним о газете. Он ответил мне неопределенно, что подумает и даст мне ответ, просил приехать еще, добавив, что ему было так приятно поговорить со свежим человеком, стоящим вне всяких литературных дрязг, сердечно простился со мной и сам пошел проводить меня до передней. После этого посещения мне пришлось еще несколько раз быть у Некрасова, и каждый раз он говорил со мною не только о литературе и о себе, но так же весьма сердечно справлялся о моей семье и о моих литературных занятиях. Помню, что когда я была у него вторично, то он спросил меня, есть ли у меня дети? Я отвечала ему, что у меня есть трехлетняя девочка, которой я часто декламирую его стихи, в особенности «Коробейников», которые она особенно любит, и, когда она хочет, чтоб я прочла ей (я всегда читала наизусть) какой-нибудь отрывок из Некрасова, она всегда говорит мне: «Мама, спой!» Стихи эти она считала песнью. Это ужасно

понравилось Некрасову, и он несколько раз повторил мне: «Вот оно, детское-то определение всех выше — «Мама, спой!», — вот вам и высшая похвала для поэта! Значит, ваша крошка умница, и позвольте мне сделать ей подарок за то, что она так меня утешила». С этими словами он встал, взял из шкапа тот том своих сочинений (по тогд. изд. III т.), в котором были помещены «Коробейники», вручил мне его на память, причем извинился, что в данную минуту не имеет первых томов, которые все разошлись.

В другое мое посещение Некрасов, который и раньше всегда весьма подробно расспрашивал меня о том, что я пишу и перевожу, так как я тогда много переводила, узнав, что я начала переводить «La Chartreuse de Parme» Стендаля и намереваюсь написать критико-биографический очерк об этом весьма мало известном у нас писателе, предвосхитившем в этом романе у Ницше тип сверхчеловека в лице будущего картезианца, предложил мне поместить этот очерк в «Отечественных записках» [7]. Позже, когда он узнал, что я начала эту работу и довела ее почти до половины, он сказал мне, чтоб я привезла написанное к нему в редакционный день, причем обещал познакомить меня с Плещеевым, бывшим у него, кажется, редактором литературного отдела [8]. Я так и сделала и привезла ему свою рукопись, но уж виделась с ним тогда не в его кабинете, как всегда, а в большой приемной с бильярдом посредине. Здесь Николай Алексеевич представил мне нескольких из бывших тут литераторов, но я помню только двух — Елисеева и Плещеева, с которым я и переговорила о своем деле.

Мало-помалу выяснилось, что Некрасов не купит нашей газеты, но пока все это не определилось, я продолжала бывать у него, пользуясь всяким к тому предлогом. Так как он был очень занят тогда своим журналом, то, обыкновенно, я заранее спрашивала, когда могу застать его дома. Однажды, помню, я застала его особенно мрачным, — цензурные дела его не клеились, и он откровенно высказал мне это. Не зная, чем его утешить, я стала ему говорить, что придет время, когда все мы прочтем каждую строчку из написанного им, и даже если он не будет жив тогда, то все-таки эта мысль должна теперь поддерживать его душевную бодрость. На это он горько заметил мне, что напрасно я думаю, что каждая строчка его стихов стоит, чтоб ее читали, что он

сам знает, что плохой борец и не умеет стойко стоять под грозой. Потом он мучительно сморщился и потер рукой свой большой, открытый глубокой лысиной, лоб и сказал: «Вы юны и восторженны и не знаете, сколько гадости у меня тут (показывая на лоб). Впрочем, ведь вы же слышите, — об этом все говорят, — что я слабый человек и способен спотыкаться». На это я, глубоко тронутая благородством такого самобичевания, тихо произнесла:

Не предали они — они устали
Свой крест нести,
Покинул их дух гнева и печали
На полпути...[9]

Некрасов молча взял мою руку, крепко пожал ее и произнес только:

— Спасибо вам!

В другой раз, когда я была у Некрасова, разговор коснулся нашей критики, и помню, как Николай Алексеевич при этом с горечью стал распространяться о том, как несправедлива к нему критика, как его травят почти во всех журналах, как строго и подчас несправедливо к нему относятся, как не хотят понять того, что он не только поэт, но вместе с тем и журналист и издатель журнала. «Другим, — говорил он, — всё прощают, а мне ставят каждое лыко в строку; дошло до того, что даже листки малой прессы считают себя вправе читать мне наставления». Желая отвести его от неприятных мыслей, я, смеясь, заметила, что ведь он большой корабль, значит, ему и большое плавание, а вот мелким литературным сошкам, вроде меня, и полемика предъявляется особого рода; так, Буренин (писал тогда в «Петербургских ведомостях» под псевдонимом Z), например, все стрелы своего остроумия направляет на меня только потому, что я «дама», как он выражается, значит, и писать могу только по-дамски.

На это Некрасов слегка улыбнулся и заметил, что читал эти выходки Буренина и был очень возмущен ими. «Стыдно ему, — добавил он, — такой талантливый человек и вводит такой неприличный тон в критику».

Особенно врезалось у меня в памяти мое последнее посещение Некрасова, перед его отъездом, кажется, в имение на большую охоту, а может быть, и куда-нибудь в другое место, наверное не припомню. Знаю только, что в этот день он был особенно мрачен и не в духе, опять журнальные дела огорчали его. Чтобы прервать это

тяжелое настроение, я стала его расспрашивать о том, что он пишет нового, заметив, что мы, молодежь, с таким нетерпением ждем каждый раз появления «Отечественных записок» и прежде всего заглядываем в оглавление, нет ли там его стихов. Обыкновенно упоминание о той популярности, какой он пользовался среди молодежи, всегда действовало на него успокоительно, и он начинал улыбаться и весь как-то расцветал, но на этот раз и это не помогло, он продолжал смотреть угрюмо и нервно пощипывал себе бородку. Тогда, удивленная, я спросила его, не случилось ли с ним чего-нибудь особенно неприятного, на что он с горечью ответил мне:

— Ах вы, восторженная головка, воображаете, что все судят по-вашему, а вот я недавно слышал, что нарождается теперь новый тип — семидесятников, которые говорят, что мои стихи прозаичны и скучны. Да ведь я и сам знаю, что теперь поэтический талант ослабел во мне, что рифма моя стала скудна и стих иногда вульгарен. Лучше всех я понимаю, например, что не совладал с таким чудным сюжетом, как «Русские женщины», и что хотел я сказать многое, но у меня не вышло.

— Умоляю вас, — прервала я его, — не говорите никогда так при мне о «Русских женщинах», Николай Алексеевич, мне больно слышать, как вы клевещете на себя. Нет, по-моему, тот истинный поэт, у кого вылились такие дивные строки! — И я продекламировала следующие стихи, описывающие свидание Волконского с женой в руднике:

Сергей торопился, но тихо шагал,
Оковы уныло звучали,
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали...
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали...
Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,
Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком: «Иду!» я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку,
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мне ласку свою

Улыбкой лицо испитое...
И я побежала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
И только теперь в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его, и готовность страдать!..
Невольно пред ним я склонила
Колени — и, прежде чему мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

Я кончила, захлебываясь от слез, и это так тронуло Некрасова, что он протянул мне обе руки и сказал: «Нет, вы правы, пока мои стихи будут вызывать такие чувства у людей, они будут истинной поэзией!»

Это было наше последнее свидание; вскоре после того я заболела, потом уехала за границу, многое изменилось в моей жизни, и я больше не видала Некрасова.

В. Н. Никитин

Виктор Никитич Никитин (1839—1908) — чиновник министерства государственных имуществ, один из директоров петербургского тюремного комитета. Его сотрудничество в «Отечественных записках» — яркий пример того, как Некрасов использовал любую возможность для получения материала, обличающего правительственные учреждения. В 1871 году он поместил в «Отечественных записках» ряд очерков Никитина о современном судопроизводстве, о жизни арестантов, кантонистов.

«Отечественные записки» сделали имя Никитина известным в русской журналистике 70-х годов. Журнал положительно отозвался на книги Никитина «Жизнь заключенных. Обзор петербургских тюрем» (*ОЗ*, 1871, № 6), «Общественные и законодательные погрешности» (*ОЗ*, 1871, № 12).

Воспоминания Никитина о Некрасове появились к 25-летней годовщине со дня смерти поэта. Его мемуарный очерк содержит новые факты о журналистской деятельности поэта, но фальшивую ноту в его рассказ вносит чиновничье-подобострастная манера изложения.

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. НЕКРАСОВЕ

⟨...⟩ Вступив на литературное поприще случайно, без всякой подготовки (22-х лет от роду, в бытность военным писарем), полемическою статьею, напечатанною (в 486 строк) в прибавлении к «Русскому инвалиду» 10 января 1862 года, против рассуждений фельетониста

«С.-Петербургских ведомостей»[1], я увлекся успехом и однажды, в воскресенье утром, с рекомендательною запискою историка Н. И. Костомарова и с толстою рукописью, явился в своей форме к Н. Г. Чернышевскому (он очень обласкал меня), в кабинет которого вскоре же после меня вошел высокий, с вида пожилой брюнет, с добрым, но утомленным лицом, и, когда заговорил с Чернышевским, — я услыхал сиплый его голос. Чернышевский показал ему записку Костомарова и представил меня.

— Пиши, пиши, братец, хорошенько, — заговорил он, потрепав меня по плечу. — Ты из народа, говори нам правду, о его радостях и печалях, а мы тебя, будь уверен, поддержим.

На вопрос Чернышевского, читал ли я стихотворения Некрасова, я ответил, что в «Современнике» некоторые читал.

— Если ты читал только некоторые, — продолжал Николай Алексеевич, — а купить тебе, конечно, не на что: ты ведь получаешь три денежки в день, — так дайте ему, Николай Гаврилович, все, а я вам взамен другие пришлю книги. Прочитай, братец, внимательно и потом расскажи нам, может ли народ понимать их.

Узнав, что предо мною сам поэт, стихотворениями которого зачитывались и восторгались все мои тогдашние начальники-чиновники, я замер от охватившего меня волнения. Затем, оправившись, я получил переплетенные книги, поблагодарил поэта за подарок, услышал от него еще несколько одобрительных доброжелательств, удостоился его рукопожатия и ушел, очарованный обхождением со мною обоих. С тех пор я почувствовал к Николаю Алексеевичу такую горячую привязанность, что, как только вычитывал, бывало, из газет о предстоявшем литературном вечере (они зимою часто устраивались) и об участии в нем Николая Алексеевича, я обязательно шел, чтобы хоть издали увидеть его и услышать его голос (подходить к нему я не осмеливался), и, когда это мне удавалось, считал для себя истинным удовольствием.

Так текли года, а слава Николая Алексеевича все росла, портреты его висели в квартирах всех образованных либеральных людей столицы; на литературных вечерах огромные залы битком наполнялись публикою; его выход, чтение и уход сопровождались безграничными

овациями. И вот, после прекращения в апреле 1866 года «Современника», Н. А. Некрасов объявлением предложил подписчикам, внесшим деньги вперед за весь год, — получить их обратно по расчету за 7—8 книг, но сочувствие к постигшей его беде было столь сильно, что в одной, например, канцелярии было счетом сорок подписчиков [2], а деньги пожелал получить только один, да и на него так напали сослуживцы за его желание, — что и он отказался.

Двухгодичное вынужденное безмолвие Николая Алексеевича нисколько, однако, не ослабило почитания к нему, потому что, приступив с 1868 года к изданию «Отечественных записок», подписчики вернулись и обаяние его поэзии восстановилось, а организованный им персонал сотрудников привлек всеобщее внимание к журналу.

В свою очередь, и я, пробираясь, понемножку, в литературу — прошел сотрудничество в «С.-Петербургских ведомстях» В. Ф. Корша, в «Судебном вестнике» профессоров А. П. Чебышева-Дмитриева и А. В. Лохвицкого и в некоторых недельных изданиях, — рискнул послать Н. А. Некрасову рукописный рассказ, а увидав его вскоре же напечатанным в «Отечественных записках» [3], решился явиться лично к Николаю Алексеевичу. Хотя в течение протекших восьми лет я достаточно перевидал редакторов и пообтерся по редакциям, но все-таки вошел смущенный в переднюю, оправился там, прочел на стене в раме печатный патент на имя Н. А. Некрасова на звание почетного члена общества охоты, за подписью покойного великого князя Николая Николаевича, а из нее вступил в большую комнату, в которой разглядел биллиард, в одном из простенков — трюмо, в другом — чучело огромного медведя, с оскаленными зубами, полукруглый диван, стулья, а пред одним окном — письменный стол. Из смежной комнаты ко мне вышел сам Николай Алексеевич. Я робко представился ему.

— Так это вы автор рассказа, — протяжно спросил он, подав мне руку. — Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь, познакомимся.

Подтвердив ему, что я автор, я сел, а он против меня.

— Ах, хорош, хорош ваш рассказец, потому скоро и помещен, а не залежался. Описываемый вами мир мрачен, очень мрачен, потому освещать его полезно. А где-то я ведь вас, кажется, видывал?

Я напомнил ему о нашем свидании у Чернышевского.

— Да, да, припоминаю, припоминаю, — продолжал он, оживляясь. — Так вы, значит, тот самый молоденький писарек? Кто же, однако, вы теперь и давно ли стали пописывать?

Я вкратце рассказал ему, как выбрался из военной в гражданскую службу, в которой получил уже два чина, штатную должность, сотрудничал в разных изданиях и посвящал досуги филантропической деятельности.

— Молодец, молодец! — произнес он, внимательно выслушав меня. — Я рад, очень рад, что вы сумели проторить себе дорожку и сделаться полезным деятелем. Народ помаленьку выдвигает своих представителей, а в числе их вот и вы, ну и стойте за его процветание. А рукопись, которую вы тогда принесли, помню, Чернышевскому, погибла ведь!

Я разъяснил ему, что мне ее возратили и она у меня цела [4].

— В таком случае принесите ее: она, припоминаю со слов Чернышевского, очень интересна, и мы ее поместим, да, батенька, поместим и ваш труд вознаградим.

Я поблагодарил его за лестное ко мне внимание.

— Соловья, впрочем, баснями не кормят, а вам, маленькому чиновнику, деньжонки, понятно, нужны. Посидите минутку.

Он вышел во внутренние комнаты, вскоре же вернулся и подал мне пакетик.

— Вот вам, батенька, за рассказ. По понедельникам от часа дня сюда приходят наши близкие сотрудники потолковать между собою. Вы мне нравитесь тем, что упорным трудом проложили себе дорогу, потому приходите запросто и вы: познакомитесь с ними, они с вами, услышите их суждения, узнаете взгляды на разные предметы, словом, многое такое, что вам неизвестно, приобретете больше знаний, а они вам пригодятся, очень пригодятся, при писательских занятиях. Так, до свидания.

Я вышел на улицу, восхищенный памятливостью, обходительностью, внимательностью, благожелательностью и щедростью Николая Алексеевича. Затем приглашением его я с прежнею же робостию поспешил воспользоваться в первый же последующий понедельник, а тогда сразу узнал лично покойных А. Н. Плещеева (считался секретарем редакции, потому оказался там раньше всех), Г. З. Елисеева, Н. А. Демерта, М. Е. Салтыкова,

Г. И. Успенского и ныне здравствующих: А. М. Скабичевского и Н. К. Михайловского. Все входили, усаживались и тихо разговаривали между собою, один лишь Салтыков, явившись последним, — еще из передней шумливо о чем-то толковал. По возрасту выглядели: самым старшим — Елисеев, с седыми бородою и длинными волосами на голове, а младшими — Успенский, Н. К. Михайловский и А. М. Скабичевский. Некрасов сперва беседовал врозь, в своем кабинете, с каждым из пришедших, о том, что их лично касалось, а потом со всеми вместе добродушно, просто, как с равными; к нему же относились почтительно все, за исключением того же Салтыкова, который говорил громко, резко, даже употреблял неудобные выражения... Беседа велась на различные темы, касавшиеся преимущественно литературы, то есть — о прочитанных журналах, книгах, статьях, о том, кто что тогда писал, при этом спрашивавшие мнения Николая Алексеевича получали от него ответы в деликатной, но наставнической форме. Кроме того, он и сам давал словесные программы, входил в суть вопросов и, по сомнительным — указывал способы, как изложить предмет сообразно с цензурными условиями, которые превосходно знал. Салтыков, случалось, прерывал его речь сильными замечаниями, и на одно из них Николай Алексеевич своим протяжным, шутливым тоном ответил ему:

— Ну, вы ведь неисправимы: судите и рядите обо всем по прежней начальнической * привычке: приказал и баста, а нам приходится держаться пословицы: «Тише едешь, дальше будешь».

Снабженные кто — книгами, кто — деньгами, кто — наставлениями, либо — и внушениями, в четвертом часу все разошлись. Беседа мне очень понравилась: я наслушался много для меня интересного, а сам, чтобы не сконфузиться, — предпочел только кратко отвечать на предлагавшиеся мне вопросы.

Побывав раз в редакционном собрании, меня так и тянуло по понедельникам на беседы, на которые я считал приятным являться, внимательно слушал их, перезнакомился и со многими другими сотрудниками и пользовался неизменным ласковым вниманием Николая Алек-

---

* Он служил раньше вице-губернатором и управляющим казенною палатой. (*Прим. В. Н. Никитина.*)

сеевича. Некоторое время спустя я получил повестку в присяжные заседатели на месячную сессию и, кстати, заявил Николаю Алексеевичу об этом.

— Как и что в течение протекших четырех-пяти лет творили в суде заседатели до сих пор, ведь ровно ничего неизвестно, — произнес он, — а между тем чрезвычайно интересно знать: как ко всему относится эта общественная совесть. Вы и вникните хорошенько во все, наделайте на память отметки, благо умеете вкратце записывать даже целые речи, а потом и опишите действия следователей, прокуроров, адвокатов, обвиняемых и самих заседателей, а беспристрастная обо всем статья произведет, я уверен, полезное впечатление. Изложите только все по порядку, без всяких темных юридических мудрствований.

Отбыв заседательство, я исполнил заказ в точности, и статья появилась в «Отечественных записках» [5].

— Спасибо вам за статью, спасибо, — сказал мне Николай Алексеевич при свидании, — вы вполне оправдали мои ожидания. Однако розы не бывают без шипов, и я уже слышал от читателей — похвалу статье, а от судейских — порицание за то, что мы напечатали ее, так как заседательские деяния подлежат, дескать, тайне, а вы ее раскрыли и за это нас с вами под суд угрожают отдать, да, под суд!.. Впрочем, бог милостив: я поговорил кое с кем из сенаторов, и они обещали поддержать нас, ну и не унывайте, авось уцелеем.

И действительно, через две недели Николай Алексеевич успокоил меня, рассказав, что о статье хотя и происходили длинные рассуждения в распорядительном заседании Сената, но подали голоса о нарушении статей закона — 12, а о полезности даже для самих сенаторов знать взгляды заседателей из подобных вашей статей 22 сенатора, о чем прямо из заседания приезжали к нему сообщить сенаторы В. А. Арцимович и А. А. Буцковский, приверженцы гласного суда.

Журнал издавался без предварительной цензуры с подписью «А. Краевский», участие которого этим и ограничивалось, а готовую, сброшюрованную книгу представляли в цензуру, где ее читали, предлагали, случалось, и вырезать целые статьи и перепечатывать части их, если усматривали несоответственные правилам, буде же ничего не находили, то по миновении трех суток дозволялось выпускать книгу. В качестве «практического

человека», опытного редактора и поэта, пользовавшегося особенным уважением и в цензуре, Николаю Алексеевичу удавалось охранять журнал большей частью неприкосновенным. Тем не менее ежемесячный выпуск книг составлял своего рода праздник для непосредственно заинтересованных в этом редактора и сотрудников. И вот, чтобы подобающим образом проходили эти праздники и удобнее сблизить сотрудников, по предложению Николая Алексеевича после выхода книг журнала все сходились вместе обедать в русский ресторан «Малоярославец». С сотрудников взималось лишь по три рубля, а по сколько затрачивал сам Николай Алексеевич — это знал достоверно только он; по предположению же сотрудников, каждый весьма роскошный обед обходился ему в сотни рублей. На обедах постоянно участвовали человек 20—30, и, кроме вышепоименованных, припоминаю: П. И. Вейнберг, В. И. Водовозов, А. А. Головачев, И. Ф. Горбунов, Д. К. Гирс, В. В. Лесевич, Е. П. Карнович, Н. С. Курочкин, Д. Л. Михаловский, А. Н. Островский, А. А. Потехин, А. М. Унковский и проч. За обедом и, в особенности, после него велись оживленные беседы, декламировались стихи, разбирались вопросы из злобы дня и т. п. Первенствовали, разумеется, также старшие, а младшие прислушивались и набирались житейской мудрости. Когда всем становилось весело — являлась полная откровенность, и каждый раз приходилось, в разных группах, слышать признательность Николаю Алексеевичу за его бескорыстное, отличительное умение прозреть и поддержать таланты, за доброту и щедрость. Например, с умилением рассказывали, как он самолично отыскивал в трущобах покойных Н. Успенского, Н. Г. Помяловского, Ф. М. Решетникова, урезонивал, снабжал деньгами без счета, давал пенсию семейству, отправлял, за свой счет, за границу и содержал там годами для освежения таланта N, предложив ему ехать и вызвавшись обеспечить его, а когда тот отозвался незнанием иностранных языков, уверил его, что ему, по прибытии в Берлин, стоит только, глядя, где колокольня православной церкви, — добраться до нее и спросить дьячка, и тот все ему покажет, расскажет и отправит его дальше, так что в Вене, Париже, Риме и прочих больших европейских городах русский дьячок наилучший проводник и знаток всего местного, добавив, в подкрепление своих слов, что, ездивши первый раз за границу, сам пользовался драго-

ценными для туристов услугами дьячков. И последовавший предложению Николая Алексеевича писатель впоследствии, по возвращении в Россию, приобрел, восполненными знаниями, громадную популярность [6]. Николай Алексеевич устроил также на службу в Петербурге с значительным жалованьем другого писателя, который долгое время имел это обеспечение к недостаточным литературным заработкам, для содержания семейства [7]. По дошедшему до Николая Алексеевича слуху о неудовольствии некоторых сотрудников на то, что он не приглашал их к себе на вечера, он откровенно и справедливо разъяснил, что у него бывали люди хотя непричастные к журналу, но полезные ему, а сводить их с сотрудниками представлялось неуместным, ибо обе категории будут лишь стеснять друг друга, а из этого получится лишь вред журналу, тогда как при заведенном порядке выходила польза, отражавшаяся на благополучии сотрудников,

Мне предложили совершить поездку для изучения одного предмета с выгодными обещаниями, в числе которых было предоставление мне права напечатать результаты. Я согласился и спросил Николая Алексеевича: возьмет ли он мой труд для «Отечественных записок»?

— Охотно, предмет интересный, — отозвался он, — но позволят ли нам цензурные условия, — вот вопрос?

Я сообщил, что мне обещали по возвращении моем из поездки дать бумагу на беспрепятственное печатание.

— Попросите-ка эту бумагу вперед, а то потом, если не угодите, раздумают.

Последствия показали, что он был как бы пророком: никакой бумаги мне действительно не дали, а без нее он не мог печатать моего труда.

— Говорил я вам, батенька, попросить записочку, но вы поцеремонились, по неопытности, ну и потрудились напрасно. Жаль, очень жаль, что вы своевременно прозевали, а теперь уже поздно. В деловых случаях необходимы большая осторожность и, главное, расписочка, а вы без нее — пеняйте на себя [8].

Между тем сам он многократно выдавал мне в конвертиках гонорар, случалось и значительный, без всяких расписок, о которых и не заикался никогда. Платил он вообще щедро, причем не только строчек, но и целых страниц до четверти листа не вычитал. Это я помню по себе и слыхал от многих, утверждавших, кроме того, что

никто из нуждавшихся никогда не уходил от него неудовлетворенным, даже сверх желания, как свидетельствует близко знавший его В. А. Панаев в своих печатных воспоминаниях[9], и то же самое подтвердил недавно печатно же бывший сотрудник «Отечественных записок» Д. Л. Мордовцев[10]. Зато он и пользовался всеобщим расположением, а как поэт и редактор — со всех сторон уважением. Например, когда он катался в санях по Невскому, в модной в 1870-х годах боярской шапке, то едва успевал отвечать на поклоны прохожих и проезжих, а как велик был его авторитет даже в самых высших сферах, наглядно характеризуется вот, например, каким фактом. Однажды при мне подъехал он к дому министра внутренних дел, генерал-адъютанта А. Е. Тимашева, и спросил стоявшего в дверях швейцара: можно ли видеть министра? Швейцар ответил, что министр никого в тот день не принимал, но полюбопытствовал, кто он, и, услышав фамилию — твердо произнес:

— Вас-то, полагаю, примет. Позвольте-ка вашу карточку, и я сию минуту доложу об вас, а вы благоволите подождать.

Николай Алексеевич дал швейцару карточку и продолжал сидеть в экипаже, а вернувшийся, минут через пять, швейцар с торжеством сказал ему: «Пожалуйте: его высокопревосходительство вас просит».

И Николай Алексеевич провел у покойного Тимашева с час...[11]

Вас. И. Немирович-Данченко

Беллетрист, автор путевых очерков, фельетонов Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936) вошел в литературу при участии Некрасова и его журнала «Отечественные записки».

В 1870 году, находясь в Архангельске, месте своей ссылки, Немирович-Данченко послал Некрасову свои стихи с просьбой их напечатать и оказать ему поддержку (см. *Некрасовский сборник,* I, стр. 208).

Некрасов ответил ему 22 ноября 1871 года: «Во уважение серьезных причин, изложенных в Вашем письме, а равно и достоинств Ваших стихотворений, редакция «Отечественных записок» напечатала некоторые из них — лучшие, по ее мнению» (XI, 198). В журнале (1871, № 11) было напечатано пять стихотворений под общим заглавием «Из песен о павших» за подписью «Д». Обрадованный автор писал 29 ноября 1871 года Некрасову: «Ваше участие дало мне новую жизнь, вывело меня на новый путь. 〈...〉 Вы протянули руку окончательно погибшему человеку. Вы спасли, положительно спасли меня. Я думал уже кончить самоубийством — другого исхода не было. Положение мое доходило до крайности. Я был без квартиры, без хлеба, без работы» (*Некрасовский сборник,* IV, стр. 211). Вскоре Немирович-Данченко послал в «Отечественные записки» новые стихи. Некрасов выбрал из них два («Освобожденный», «После войны») и опубликовал (*ОЗ*, 1872, № 2), предварительно поправив их (см. *Некрасовский сборник,* IV, стр. 212—213).

Немирович-Данченко писал 23 февраля 1872 года: «Очень и очень Вам обязан и за нравственную и за материальную поддержку. ⟨...⟩ Отчего судьба не закинула меня к Вам пять лет тому назад! Иначе была бы направлена моя жизнь!..» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 414).

В те годы Немирович-Данченко пробовал и в других литературных жанрах. Он выслал «на суд» Некрасова поэму; в декабре 1871 года отправил в «Отечественные записки» рукопись романа под названием «Тьма непроглядная (очерки из жизни подневольного странника)», по-видимому автобиографическое произведение, в котором, как писал автор Некрасову, «очерчена та тяжелая среда, которую прошел я» (*ИРЛИ*, ф. 266, оп. 2, ед. хр. 227). Однако ни роман, ни поэма в журнале не появились. В 1874 году в «Отечественных записках» (№№ 8—10) были напечатаны его очерки «За северным полярным кругом». На этом его сотрудничество в этом журнале закончилось. Немирович-Данченко стал модным очеркистом, сотрудничавшим в либеральной прессе; он пародийно изображен Салтыковым-Щедриным в очерке «Тряпичкины-очевидцы» (*Щедрин*, т. XII, стр. 480—514).

Воспоминания Немировича-Данченко были написаны в 1927 году к 50-летию со дня смерти поэта.

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

Оглядываясь в далекое прошлое, вижу в его туманных далях бесконечную галерею отошедших от нас властителей дум. Из сплывающегося фона пережитых былей едва ли не самым отчетливым выступает передо мною характерный облик Н. А. Некрасова. И сейчас в моих ушах звучит хриплый, как будто простуженный голос поэта и внимательно всматриваются его пристальные глаза, угадывающие во мне самому мне неясное. Под жесткими усами чуть скользит недоверчивая улыбка, смягченная снисходительностью к маленьким слабостям других, а может быть, и трудною памятью о себе самом.

Я уже напечатал в «Вестнике Европы» «Соловки» и начал в «Деле» очерки «У океана»[1]. Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром. Это окрылило меня. Захотелось проникнуть в «Отечественные записки», где за год перед тем Демерт уже включал в статьи о русской провинции выдержки из моих писем[2].

В то время мы, молодые, с тревогой, робостью и неуверенностью стучались в двери этой редакции, где заправилами сидели сами «боги»: Некрасов, Щедрин, Михайловский. Помню, как крупные, уже признанные таланты, вроде Глеба Успенского, поминали царя Давида и всю кротость его, ожидая свидания с грозным Михаилом Евграфовичем. Ведь Щедрин подчас был так суров и не стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними у него суровость была скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее: брови хмурились, а глаза смеялись. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. Редакторского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и тени. Никогда не мог я забыть, как растерялось одно такое восходящее и модное «светило», когда, теребя его рукопись нервными пальцами, сатирик вдруг огорошил «светило», не стесняясь присутствующими, своим громогласным басом: «Ну, батюшка, вы тут столько набоборыкали»[3]. Я, признаться, вчуже смалодушествовал и направился было к дверям, да наткнулся прямо на Николая Алексеевича. Он угадал, в чем дело, и удержал меня за локоть, смеясь: «Погодите, мы прочли ваши очерки «За северным полярным кругом». И ему (кивок в сторону Щедрина) понравилось».

— Понравиться-то понравилось, — сердито забасил опять Салтыков. — Да уж очень кругло пишете. Ни на один сучок не наткнешься... А только, чего это вы со всех колоколен зазвонили? Довольно бы и с одной! Сколько литературных просвирен взбудоражили. Не на пожар, слава богу! И «Вестник Европы», и «Дело», и «Неделя», и в «Голосе».

Некрасов вступился.

— Нет, это он хорошо. Сразу имя себе сделал.

Щедрин не унимался.

— Сделал-то сделал, но нельзя же так. Точно с луны свалился, проломил крышу и с целым грузом рукописей. Сидят почтенные Стасюлевичи, истово журчат тихою беседою, как по нотам. И вдруг этакое чудище — шарáх на головы... Получайте. Караул закричишь!

* * *

Редакторы в наше время не стеснялись. Я помню, как тот же Щедрин гильотинировал один слишком затянувшийся роман, кажется, Гирса. Роман не понравился

Михаилу Евграфовичу, он просил автора прикончить его, а тот, наоборот, пообещал еще две полновесные части. И вдруг в новой книжке журнала с ужасом прочел описание грандиозной стихийной катастрофы, в которой безвременно погибли все его действующие лица...[4]

...Надо сказать, что Н. А. Некрасов ко всему, что носило печать таланта, относился не только внимательно, но и трогательно. Особенно если молодой писатель был беден, а кто же из нас тогда был богат? Он для таких являлся не издателем, а скорее товарищем, собратом, если хотите, опекуном. Время было тяжелое. Капитал еще не врывался в печать, и самые популярные впоследствии издания начинались с такими ничтожными средствами, с какими нынче не выпустишь и тощей книжки. Случалось для очередного номера закладывать женины серебряные ложки. Разумеется, это не относилось к «Отечественным запискам», «Вестнику Европы», «Делу» или «Русскому вестнику», но и у них бывали затруднительные минуты. Ведь впоследствии средней руки автор за газетный фельетон получал больше, чем, например, Достоевский за печатный лист в мое время.

Н. А. Некрасову нелегко достался издательский успех. А ведь он помимо громадного таланта обладал еще практической сметкой, какой не могут похвалиться и заправские коммерческие дельцы. Это и помогло ему создать не одно крупное литературное предприятие, не скупясь с сотрудниками, а широко по тому времени тратя на них подписные тысячи. Он никогда не мог забыть пережитых им былей. Первые годы его литературной деятельности в Петербурге отмечены тяжелыми лишениями, даже нищетою. Я могу здесь привести со слов Николая Алексеевича страничку из мартиролога некрасовской юности.

Был скверный осенний вечер в Петербурге. Я встретил поэта на набережной Невы у Зимнего дворца. Ни красок, ни света, все темно и серо кругом, дали казались намеченными карандашом в тумане. Николай Алексеевич стоял, опершись на гранит у Зимнего дворца. Внизу грузно плыла свинцовая Нева. Холодом веяло. Он оглядел меня и усмехнулся:

— Как вы сейчас напоминаете мне меня самого много, много лет назад. Что, у вас нет теплого пальто?

— Есть. Только я не люблю кутаться.

— Ну, я бы тогда закутался с удовольствием. У меня не один такой вечер в памяти. Позади нетопленная

квартира, за которую несколько месяцев было не плачено. Так же я здесь вот стоял и смотрел в ту сторону через реку. Там огоньки мигали. И думалось — завернуть в простыню «Сто русских литераторов» Смирдина [5], навязать себе на шею и бултыхнуться в тусклую Неву. Трудные были годы... Каторжные... Много они в моей душе вытравили и здоровья отняли немало.

— У вас отец был богатый.

— Богатый? Нет. Средства, как у средней руки помещика, да... только мне легче было бы жернов на шею... Я мать любил...— оборвал он свой рассказ.

Я думаю, его чуткость к чужой нищете шла именно с этого времени. На себе испытал ее унижения. Часто безжалостный и суровый даже со своими богатыми друзьями — он совершенно менялся, встречая нищего писателя. Мне известны случаи, когда он помогал таким во враждебном ему лагере. Анонимно. Я думаю, они никогда не узнавали — откуда сваливалась к ним благостыня. Раз он через меня послал крайне нуждающемуся мелкому юмористу, лично его преследовавшему когда-то довольно глупыми стихами в благовременно угасшей «Занозе». И глупыми, и, правду сказать, подлыми [6].

— Откуда вы? — встретил меня в воротах дома, где жил тот.

— От ***.

Поморщился.

— Охота вам с такой свиньей знаться.

— Нуждается... В доме ни копейки. Больной. Жена плачет.

— Да? Пойдемте вместе...

Молча прошел до своей квартиры в доме Краевского на Литейной.

— Зайдите. У него дети, — говорите?

— Двое...

Нахмурился.

— Дрянь он большая... А все-таки... Жена ни при чем... Вот что, садитесь на извозчика и слетайте к нему.

— Зачем?

Вложил в конверт две сторублевки, — по тем временам деньги. Ведь в лучших случаях платили по пятидесяти с листа средней руки писателям.

— Только дайте мне слово: ни гугу, от кого... Если проговоритесь, — никогда не прощу вам. А через неделю вы ему еще отвезете.

Таких анонимных пособий он немало рассылал. Часто даже не через своих, а был такой лакей-доверенный А. А. Краевского Гаврила, известный всему литературному Петербургу. Надежный человек. Некрасов в деликатных случаях пользовался его услугами. Смешно было, когда знавшие Гаврилу потом являлись благодарить ничего не понимавшего Андрея Александровича Краевского, человека в денежных отношениях точности казначейской, но и неподатливости тоже казначейской.

— Не Гаврила же им помогает? — разводил он руками.

Я мог бы назвать ряд и крупных и малых писателей, которых таким образом не раз товарищески выручал Н. А. Некрасов. 〈...〉

* * *

В Некрасове часто замечалось два человека. За письменным столом, в редакции — один. Друг и товарищ писателя, он в Английском клубе или со своими чиновными, богатыми и аристократическими друзьями казался совсем другим. Двуликий Янус. Но хорошею стороною обращенный к нам, ко всем, кто в нем нуждался, до последнего типографского рабочего, рассыльного. И в нем это не было напускное, личина для публики, для рекламы, нет! Тут он являлся самим собою. И в этом его бы не узнали клубные завсегдатаи, видевшие его за зеленым сукном. Столько лет прошло со смерти Николая Алексеевича, что я, не оскорбляя его памяти, могу остановиться на этой стороне его жизни.

Враги, да сказать правду, и друзья часто обвиняли его (за глаза, разумеется) в том, что он крупно играет, более того, что играет наверняка. Лицемерно оправдывали его заботой о журнале. И не знаешь, кто был подлее в этом соревновании подлости и клеветы: люди, близкие к нему, или посторонние. Выросший в старой помещичьей среде, не в идиллии тургеневского «Дворянского гнезда», а скорее в аду щедринских героев, под лай собак, свист арапников, рыдания замученных женщин и бешеные крики игроков — Некрасов был человеком великих неукротимых страстей, которому был нужен головокружительный риск, опасности, сбивающие с ног ощущения. Где было их искать в то время, да еще ему, свя-

занному серьезным и благородным делом таких журналов, как «Современник» сначала и «Отечественные записки» потом?

Отводом бунтующей, неукротимой силе и являлся вечером Английский клуб с целыми состояниями на зеленом сукне, с борцами на жизнь и на смерть кругом. В этом отношении на моей стороне являются великие тени Тургенева и Достоевского. Иван Сергеевич не любил поэта. Жизнь поссорила их [7]. Федор Михайлович относился к нему с остро-болезненною подозрительностью и со сложным чувством вражды-любви. Но и тот и другой негодовали, когда злорадные клеветники в их собственных лагерях выдвигали против Некрасова ставшее банальным от частого повторения гнусное обвинение.

Тургенев, выросший сам в помещичьей среде и наблюдавший родственные Некрасову типы, называл его «головорезом карточного стола». Вот подлинные, хорошо запомнившиеся мне слова великого романиста: «Некрасова не выигрыш тешит. Ему нужно или самому себе сломать голову, или в пух и прах разбить другого. Своего рода Малахов курган. Там благородная игра со смертью, а тут тоже, если хотите, смертельный риск остаться нищим».

Достоевский говорил иначе. Он сам был азартный игрок и, вспоминая Некрасова, точно оправдывался. Я помню, на одном вечере у Аполлона Николаевича Майкова он схватил за локоть брата его, Леонида, дергаясь и зло сверкая сощуренными глазами, точно в истерическом припадке, выкрикивая: «Дьявол, дьявол в нем сидит! Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые (он уже переходил на множественное число) — они всегда такие. И чем сверху спокойнее, тем внизу грознее огонь пышет, лава вскипает. Ему померяться, чья возьмет, — нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо и налево мечет. Не будь этого — его бы в клочья разорвало, выжгло бы всего... Да-с!»

Человек великих страстей, отводящий душу в риске,— таким в откровенные минуты рисовал его и Н. К. Михайловский, тоже не любивший правильных и соразмерных людей, от которых за версту камфарой и нафталином пахнет. Он, Некрасов, умел терзаться перед самим собою, исходя кровью покаянных стихов в бессонные ночи. Тот же Н. К. Михайловский и по тому же поводу, возмущаясь клеветами на Н. А. Некрасова, говорил при

мне С. А. Венгерову: «Нельзя таких, как он, мерять обыкновенным аршином. Выше штанов не подымешься. Ни до головы, ни до сердца не доберешься». 〈...〉

* * *

Некрасов не любил давать начинающим советов, как и что писать. Он говорил: каждый должен вырабатываться сам. Учись ходить без посторонней помощи. Не оглядывайся на других. Сам спотыкайся и, разбивая себе нос, не рассчитывай, что сосед вовремя схватит тебя под локоть. Учителя у тебя одни: твой талант и наблюдение. Старайся видеть больше. Именно — видеть. Читатель смотрит — а ты видишь. Чтобы наблюдать, надо также учиться. Не кляни неудачи, они лучшие профессора. Неизвестно еще, что полезнее — чтение плохих или образцовых вещей. Во всяком случае, первое тоже приносит свои плоды чуткому писателю: в каждом из нас заложены минусы. Ты видишь их ясно у плохого писателя и, если в тебе нет самовлюбленности, скоро, благодаря дурной книге, заметишь и в своем поле скверную траву и выполешь ее.

Как-то Тургенев советовал мне: дайте вылежаться каждой вещи хоть год в письменном столе. Встретясь с Некрасовым, я передал ему этот совет. Он усмехнулся: «Ему хорошо. Этот-то год он и без гонорара проживет. Дворянское гнездо. Для ювелирной работы средства нужны. Да и потом, что сегодня прекрасно и вовремя подано, завтра оно поблекнет, простынет и как в собачьей плошке салом покроется».

Но раз напечатанное в периодическом издании — для отдельной книги всегда надо переработать. Журнал забывают, книга будет жить. Находя у меня слишком много ярких красок, он советовал: «Вам надо писать, как японские живописцы свои картины. Спросите у Гончарова. Он как-то рассказывал при мне. Они не жалеют колеров и резкостью очертаний не пренебрегают. Но окончив картину и дав ей высохнуть — нежнейшей губкой начинают смывать краски. Теряется подчеркнутость линий и блеск. Все как будто подернуто туманом. К нашей северной природе это идет!»

И вскоре, сам себе противореча, он говорил мне: «Нет серой жизни и серой природы, а есть серые люди».

Где-то я читал, что Н. А. Некрасов не любил Пушкина. Это ложь. Свидетельствую об этом. Поэт гражданской скорби не раз и не два говорил и мне и при мне молодым поэтам: «Учитесь грамоте по Пушкину. Не только читайте — изучайте и любите его. Любите влюбленно, как любят в юности женщину, с восторгом обожания. В нем не только красота и сила. В нем школа и для вас провидение (теперь бы сказали — интуиция). У него не одна гармония стиха — но внутренняя гармония, он больше кого бы то ни было усвоил тайну стройности и соответствия. Посмотрите, как великолепны перспективы его крупных произведений, любой художник-живописец может позавидовать его дальнозоркости. А как он умел отбрасывать иногда пленительные мелочи ради стройного целого. Как он целомудренно скуп на сравнения, которые, как настоящий мот, сыплете вы — всё в одну кучу...» [8]

Следовало бы еще откликнуться на то, что больше всего мучило великого покойника, — на его стихотворение, посвященное Муравьеву; но не нам, не нам судить ошибку человека, спасавшего этим благороднейшее дело своего журнала и добрую сотню сотрудников и рабочих, между которыми были такие, именами которых до днесь гордится вся Россия и каждый русский...

Некрасов, читая свои стихи в Английском клубе, на обеде, данном Муравьеву, не предавал, а спасал [9]. И потом целыми потоками покаянной крови смыл эту — не измену, а ошибку... [10]

— Не нам судить тебя, — обращусь взволнованно к его печальной тени, — ты сам осудил себя и искупил годами страдания свой минутный грех. И мы давно, благословляя твой гений, благоговейно склоняем голову перед твоею великою тенью!

СРЕДИ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

А. Я. Панаева (Головачева)

В 1891 году в петербургской газете «Русская жизнь» А. Я. Панаева опубликовала «Воспоминания о домашней жизни Н. А. Некрасова». Их происхождение неясно. Некоторые исследователи предполагают, что это — глава из «Воспоминаний» А. Я. Панаевой, снятая С. П. Шубинским, редактором журнала «Исторический вестник», где они впервые появились в 1889 году (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 549—550). Во всяком случае, несомненно, что позже напечатанные воспоминания представляют собой органическую часть мемуарной книги А. Я. Панаевой и содержат много новых сведений о «частной», домашней жизни поэта в первые годы существования некрасовского «Современника».

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ Н. А. НЕКРАСОВА

В продолжение почти двадцати лет у Некрасова всегда служили два лакея, и оба были очень типичные субъекты.

Как начался издаваться «Современник», к Некрасову нанялся лакей Петр. Не помню, кто ему рекомендовал его, как честного и непьющего человека. Наружность Петра была очень невзрачная: маленького роста, несоразмерно широкие плечи, ноги кривые, как всегда бывает у тех, кто в детстве страдал английской болезнью. Лицо у него было длинное, с неправильными

крупными чертами; лоб низкий, с двумя толстыми морщинами, которые двигались вниз и вверх. Трудно было определить, какого цвета были его глаза, полуприкрытые нависшими бровями, да к тому же он постоянно моргал веками. Голова у него была остроконечная, покрытая торчащими вихрами темных волос. Костюм Петра дополнял его уродливость: его отрепанный сюртук был ему не по росту, а полы так длинны, что этот сюртук скорее походил на распашной халат; панталоны тоже очень старые, всегда были подвернуты внизу и обнаруживали еще более его огромные сапожищи. Жилистая шея его повязана была красным с черным рисунком бумажным платком. В одном из его больших ушей была продета сережка. Брился Петр не часто, и потому его подбородок и часть над верхней губой были покрыты как бы щетиной. Петр уверял, что ему всего только сорок лет, когда Некрасов усомнился, по силам ли ему будет, в его преклонные лета, служить у него, потому что придется много ходить с разными поручениями. Петр говорил на «о», растягивал слова и постоянно вставлял среди разговора «вот». Вероятно, в доказательство своей бодрости, он был суетлив, и оттого его неуклюжесть выдавалась еще рельефнее.

Панаев пришел в ужас, увидев Петра, и заметил Некрасову:

— Где ты отыскал себе такого лакея? Подобных лакеев можно найти только в каком-нибудь захолустье, в уездном городке в гостинице.

— Мне его рекомендовали за честного и непьющего человека. Для меня важнее всего, чтобы я мог доверять ему бумаги, с которыми мне надо рассылать его.

— Помилуй, да ведь противно смотреть на такое чудище, да еще в таком безобразном и обтрепанном кафтане?

— Приоденется! — флегматически отвечал Некрасов.

Панаев не мог переносить неопрятно одетой прислуги в доме.

Некрасов отдал своему лакею полный костюм из своего платья, но Петр продолжал ходить в своем отрепанном сюртуке-капоте.

— Что же ты не носишь то платье, которое я тебе дал? — спросил его Некрасов.

— А вот доношу, Николай Алексеевич, свой сюртук, — отвечал Петр.

Некрасов по уходе Петра из комнаты заметил мне и двоюродным братьям Панаевым [1], сидевшим в его кабинете:

— Что делать, придется Панаеву потерпеть, пока Петр доносит свой сюртук.

Вначале Петр перепутывал поручения Некрасова, разнося бумаги в типографию — к цензору, и при этом упорно утверждал, что он разнес бумаги так, как ему было приказано. В это время он быстро моргал веками, и морщины на его лбу приходили в движение — он имел вид идиота.

Всем лакеям присуще благоговение к гостям-генералам или титулованным лицам, но в Петре это чувство доходило до высшей степени. Он вбегал в кабинет Некрасова и задыхающимся голосом произносил: «Генерал-с приехал!» И тут только можно было видеть, какого цвета глаза его, потому что они были вытаращены.

Некрасов не мог добиться от Петра, чтобы он никого не принимал, когда бывала спешная работа по журналу. Петр отказывал всем посетителям, но генерала впускал и на выговоры Некрасова бормотал: «Ведь генерал-с, вот!»

Панаев всегда приходил в отчаяние, когда Петр врывался в его кабинет с докладом, что к нему приехал граф или князь.

После визита гостя Панаев приходил ко мне и говорил таким тоном, точно бог знает какое случилось несчастье:

— Что же этого Ивана никогда нет в передней, и Некрасова чудище-лакей врывается ко мне с докладом, кто ко мне приехал? Прикажи, чтобы Иван сидел в передней, а не то пусть убирается вон.

Лакей Панаева был совершенный контраст лакею Некрасова: высокий, стройный, красивый восемнадцатилетний юноша; страшный франт, всегда безукоризненно одетый, он гордо держал свою голову, распомаженную и завитую. Один из аристократических гостей Панаева прозвал Ивана бароном, находя, что у Ивана такой гордый вид и такие манеры, что он не похож на лакея. С тех пор и другие гости стали звать его «бароном», и это прозвище льстило ему. Он очень занимался своей красивой наружностью и иначе не чистил самовар и замки, как в старых перчатках Панаева, чтобы не испортить своих рук. Он был круглый сирота и поступил

к нам лет четырнадцати. Мы его одевали, но когда он подрос, то его туалет уж очень дорого стоил. Он приходил ко мне с требованием то того, то другого, доказывая, что неприлично комнатному лакею кое-как быть одетым.

У Некрасова в кабинете всегда был беспорядок: на окнах лежали книги, рукописи, журналы, газеты, корректурные листы. А на его письменном столе был какой-то хаос. Но Некрасов в этом хаосе находил всегда, что ему было нужно, и приходил в отчаяние, когда Петр приводил в порядок его письменный стол. Он призывал Петра и, горячась, говорил ему:

— Опять ты трогал мои бумаги на столе. Куда девался счет у меня из типографии?

— Я только вот пыль стер, — отвечал Петр, моргая глазами.

— Не смей и пыли стирать!

— Как же-с, вот?

— Я вот целый час ищу счета после твоей уборки, — продолжая рыться на столе в бумагах, ворчал Некрасов.

— Ну, вот и пусть будет пыль! — обиженно бормотал Петр, уходя.

Письменный стол был большой у Некрасова, но ему приходилось писать на маленьком пространстве, потому что этот стол был завален книгами, статьями, корректурными листами.

Первый год Некрасов сам писал рецензии о новых книгах в «Современнике» [2] и откладывал эту работу до последнего дня. Он садился только часов в двенадцать за работу и часто напролет всю ночь писал. Затем, рано утром, он будил Петра и отсылал свою работу в типографию.

Днем Некрасову мешали писать; постоянно приходили посетители по делам журнала и без всякого дела литераторы. Ему надо было часто ездить к цензорам в комитет, в типографию, читать корректуры, все рукописи, которые присылались из провинции, и те, которые лично приносили сами авторы. Дела было много для одного человека.

Тупость Петра часто выводила из терпения Некрасова: упадет ли книга со стола или корректурные листы, когда он ночью работает, — все это исчезнет.

Петр оправдывается тем, что это на полу валялось, он и вымел.

— Поди принеси назад все.

— Да я вот в печь все поклал, как вот топил ее, — объяснял Петр.

Некрасов махал рукой Петру, чтобы он скорее уходил из кабинета.

— Что за охота тебе, Некрасов, держать такого идиота-лакея? — говорил Боткин. — Прогони ты его.

— Кто такого идиота будет держать? С голоду помрет. Да в нем есть и хорошие стороны: честен, не пьяница и от скудоумия безопасен: мало ли что срывается с языка в разговорах между нами. Да и не люблю я новое лицо около себя.

Но хорошие стороны в Петре стали умаляться, когда он обжился. За чем бы его ни послали, он всегда дороже заплатит, чем стоит покупка, даже в аптеке — он уверял, что взяли с него дороже, чем следовало. Если Некрасов или кто из гостей посылал Петра отдать извозчику деньги, то он всегда норовил удержать себе хоть пять копеек. Происходили сцены. Извозчик врывался в переднюю и шумел. Некрасов бранил Петра, почему он не отдавал всех денег. Петр же разыгрывал роль оберегателя денег Некрасова.

Между франтом Иваном и Петром с первых же дней установились враждебные отношения. Иван с презрением относился к такому неуклюжему своему собрату и поднимал его на смех в кухне, называя Петра свинопасом, а не комнатным лакеем. Петр также получил прозвище по следующему случаю.

Раз вечером Некрасов читал в корректурных листах описание какого-то иностранного моряка-капитана и как весь экипаж его отбивался от чудовищных спрутов, которые лезли на корабль со всех сторон. При чтении присутствовали наши постоянные общие гости — все молодежь, но не из литераторов.

— Из типографии вот пришли! — каким-то гробовым голосом произнес вдруг Петр.

Приближения шагов его не было слышно: по вечерам, для отдыха своих ног, он надевал валенки.

В эту минуту он казался особенно уродливым: его лицо было заспанное, вихры на голове еще сильнее торчали.

Когда Петр удалялся с корректурой, я заметила, что он меня перепугал своим появлением — мне представилось, что это не он, а спрут вполз в комнату. Молодежь

подхватила мои слова и стали звать Петра «спрутом», но только между своими. Некрасов же однажды по забывчивости хотел позвать Петра и крикнул: «Спрут!» И, к нашему общему удивлению, Петр явился на этот зов.

Между нашими постоянными посетителями из молодежи был один шутник и фокусник; он постоянно проделывал разные штуки с Петром, который благоговел к шутнику, вероятно за то, что тот часто давал на чай.

Этот-то шутник и стал его звать не иначе как «Спрутом». Петр выказывал даже удовольствие, что ему дали какое-то мудреное прозвище, конечно, значения которого он не знал. А затем и другие стали тоже звать его «Спрутом».

Шутник, зная, какое производит сильное впечатление на Петра генерал, приехав раз к нам, попросил Спрута принести ему стакан воды и в это время прицепил себе на сюртук генеральскую звезду. Петр, подойдя ближе к нему и увидав звезду, попятился назад, чуть не выронил из рук подноса и, вытаращив глаза, остолбенел.

— Вот тебе на чай, — кладя полтинник на поднос, сказал молодой человек. — Теперь ты должен меня не иначе называть, как генералом.

Но Петр сообразил, что это молодой человек выкинул с ним новую шутку. Он стал называть молодого человека «генералом», но без всякого благоговения.

Вражда между Спрутом и Бароном отзывалась на мне как на хозяйке дома. Я думаю, сам Соломон пришел бы в тупик рассудить: кто прав, кто виноват, когда прислуга враждует между собой и является с жалобами друг на друга или сваливает вину один на другого.

Я строго запретила являться ко мне с жалобами обоим, но в хозяйстве поневоле приходилось все-таки устраивать судьбище, которое всегда оканчивалось ничем. Обоих подсудимых я спешила спровадить поскорее от себя, потому что истины трудно было от них добиться.

Иван не в силах был утерпеть, чтобы не разоблачать своего врага. Он говорил мне, что Петр продает бумаги, бутылки из-под вина.

— Как идет из дому, уж у него узел под шинелью. Ни на минуту не оставляет незапертой дверь в свою комнату.

— Тебе-то какое дело? И опять ты со своими глупостями надоедаешь мне? — замечала я Ивану.

— Помилуйте, Авдотья Яковлевна, у нас в кухне никогда прежде ничего не пропадало, а теперь то мелкие деньги исчезнут, то серьги. Мы только молчали, не хотели вас беспокоить, что такой срам происходит у нас.

— Советую тебе следовать примеру других и молчать о том, что у вас делается в кухне, — отвечала я и опечалила этим Ивана.

Из чайного ящика, стоявшего в столовой, быстро стал убывать чай и сахар, а также стеариновые свечи исчезали из буфетной. Иван страшно возмущался и во всем обвинял Петра.

Раз утром Иван явился ко мне и задыхающимся голосом произнес:

— Авдотья Яковлевна, как вам угодно-с, а вы извольте сейчас сделать обыск у всех нас, — опять пропала чайная ложка.

— Как опять? — спросила я.

— О первой пропавшей ложке я ничего вам не говорил, а уж это что же такое, — мы все желаем обыска, чтобы избавиться от сраму, один Спрут артачится и не хочет показать своего сундука.

К великому огорчению Ивана, я отказалась делать обыск сундуков и комодов прислуги.

Иван со слезами говорил:

— Я попрошу вас позволить мне сдать кому-нибудь другому на руки серебро, а за две пропавшие ложки извольте вычесть из моего жалованья.

Не прошло и часу, как Петр пришел ко мне с ложкой в руках и оскорбленным тоном сказал:

— Вот нашел ложку на столе у Николая Алексеевича, вот под бумагами, а вот Иван и все в кухне вором меня обзывали. Мальчишке, вот, а такую волю дали. Вы, вот, призовите его и отдайте, вот, ему ложку при мне.

Но я не исполнила требования Петра и сделала глаз на глаз выговор Ивану, что он понапрасну обвинял Петра в краже ложки.

На это Иван с упреком мне отвечал:

— Ах, Авдотья Яковлевна, и вы поверили Спруту? Он испугался, что мы все хотели позвать квартального и просить его сделать обыск у всех у нас. Вот он и принес вам ложку.

Мне пришлось объявить всей прислуге, что, какая бы пропажа в доме ни случилась, квартального никто не смел бы звать.

Петр, жалуясь Некрасову на Ивана, как тот обижал его в кухне, даже заплакал и просил защиты.

Некрасов разжалобился и просил меня обуздать Ивана и запретить ему называть вором Петра. Но я объявила Некрасову, что самое лучшее, это не вмешиваться в их распри, потому что иначе покоя не будет от их обоюдных жалоб друг на друга.

* * *

Некрасову приходилось много ездить по делам журнала. Типография была далеко от нашей квартиры[3]. Он вспомнил, что у его отца стоят в Ярославле дрожки, которыми тот не пользуется, и, послав часть денег отцу за эти дрожки, просил его прислать их ему, а также и лошадь.

С дрожками и с лошадью прибыл дворовый отца Некрасова. Это был еще молодой человек, рябой, с одним глазом, с курчавыми, темными волосами.

Некрасов расспросил его об отце, о дворовых, о крестьянах своей родины и, дав ему два рубля, сказал:

— Вот, Николай, тебе деньги. Посмотри Петербург, поотдохни, а там я и отправлю тебя домой.

— Николай Алексеевич, вы уж оставьте меня при себе кучером. Старым барином я отпущен на оброк в Ярославль. Вы думаете, что я не сумею править с одним глазом? да я одним лучше вижу, чем другой двумя. Вы уж, сделайте милость, отпишите старому барину, что сами оброк им будете высылать за меня.

— Ну, подумаю.

— Нет-с уж, Николай Алексеевич, оставьте меня при себе, все во дворе и в деревне так уж и прощались со мной, что я останусь при вас. Мои старики за вас богу будут молиться. Сами знаете, в Ярославле место трудно найти; у всякого, кто держит лошадей, свой дворовый кучер.

— Да как ты ездишь-то?

— Господи, в ямщиках жил в Ярославле, на тройке ездил, а с одной лошадью не сумею ездить?

— Ну, а скажи-ка мне по совести, как ты насчет водки?

— Кто же нынче не пьет водки, Николай Алексеевич? — ответил Николай. — Только я пью, как следует. Да уж будете довольны моей службой.

— Ну, хорошо, оставлю тебя, но если ты окажешься неисправным, так держать тебя не стану.

— Останетесь довольны, Николай Алексеевич! — самоуверенно произнес Николай.

— Ступай, отдохни после дороги.

Мы смеялись над Некрасовым, что у него лакей и кучер будут редкостная пара.

* * *

Каждый ярославец из соседних деревень имения отца Некрасова, если приезжал в Петербург, являлся к нему, и он с удовольствием беседовал с ними. Приезжие поверяли ему свои радости и горе.

Одному из крестьян отца Некрасова посчастливилось нажиться в Петербурге, беря подряды ставить печи в строящихся домах. Он все ходил к Некрасову, чтобы тот ходатайствовал у отца о его выкупе со всем семейством. Некрасов горячо ратовал в своих письмах к отцу, чтобы он согласился отпустить на волю печника. Но отец не соглашался на том основании, что печник был единственный из его крестьян, живущий на оброке и платящий ему большие деньги.

Этот печник всегда являлся к Некрасову перед праздником посоветоваться с ним, какого гостинца послать старому барину: дорогих вин или какую-нибудь вещь, рублей в пятьдесят.

— Ты ничего не посылай ему, — однажды посоветовал Некрасов, рассерженный на отца, который иначе не соглашался отпустить на волю своего крестьянина, как за большую сумму.

— Ведь осерчает старый барин, да и вызовет меня в деревню, а у меня сняты подряды на три дома, артель печников большая набрана — разорюсь.

— Слушайся меня. Пиши в деревню к своим, что болен и хочешь сам вернуться в деревню.

— Для че это? — воскликнул печник потерянно.

— Увидим, что будет, — ответил Некрасов.

Печник, подумав, произнес:

— Известно, ты всякого из нас жалеешь, худого не

пожелаешь и мне. Так, значит, не надо посылать старому барину гостинца к празднику и писать в деревню?

Некрасов подтвердил свой совет. Разговор этот происходил при мне. После ухода печника Некрасов сказал:

— Вот и приходится лгать самому и заставлять другого то же делать, чтобы образумить человека, что безбожно требовать такую сумму с крепостного, который и так лет в пятнадцать выплатил за себя оброком большие деньги... Испугается, что ничего не получит.

Некрасов написал стихотворение «Влас» после свидания с одним из бывших крестьян его отца, который был сдан в солдаты, вернулся на родину после продолжительного срока своей службы и, не найдя в живых никого из своего семейства, посвятил остаток своей жизни на собирание пожертвований на построение церкви. Его занесло в Петербург, и он пришел к Некрасову повидаться с ним, с сыном своего бывшего помещика. Некрасов долго беседовал со стариком, попивая с ним чай.

* * *

Кучера Николая экипировал Некрасов с ног до головы, но Николай не имел хорошего вида на козлах; он сидел боком, вожжи держал распустивши, задергивал лошадь, нещадно бил ее кнутом без всякой нужды. Его новый кафтан очень быстро превратился в засаленный; он никогда не застегивал его на все пуговицы; кушак надет был криво; шляпа на затылок.

Панаев пожимал плечами, встречая Некрасова едущего. Раз я шла с Панаевым, и мы увидали, как Некрасову чуть не попало дышлом в голову, так хорошо правил Николай.

Панаев говорил Некрасову:

— Ездить с таким кучером — это значит подвергать свою жизнь каждую минуту опасности.

— Привыкнет! — флегматично повторял Некрасов.— Да разве и извозчики лучше ездят, чем Николай?

Однажды утром Некрасов вернулся домой сильно прозябший. Ему пришлось не только самому править лошадью, но еще держать в объятиях Николая, успевшего окончательно напиться в те промежутки, когда Некрасов заходил в типографию.

На другой день утром Некрасов отечески усовещивал своего кучера, явившегося к нему с повинной головой.

Николай божился, что без приказания Некрасова в рот капли водки не возьмет.

— Я тебе не запрещаю пить водку, но пей в меру и лучше не закладывай лошадь, если напился.

— Слушаю-с! — отвечал Николай.

Как-то мы сидели за завтраком. Некрасов послал Ивана сказать кучеру, чтобы тот скорее закладывал лошадь, но Иван вернулся с ответом, что кучер не будет закладывать лошади, потому что сам барин приказал ему не закладывать, когда он бывает выпивши.

Все присутствовавшие за завтраком, конечно, рассмеялись, и сам Некрасов, улыбаясь, сказал:

— Однако Николай ловко воспользовался моею оплошностью.

Один только Боткин, гостивший в то время у Панаева, не смеялся, а раздражительным тоном сказал Некрасову:

— Я удивляюсь, как тебе не омерзительно смотреть на своего Николая.

— Я не чувствую омерзения к ним, а жалость, потому что с детства насмотрелся на их жизнь, начиная с их детства и до смерти. И мы с тобою были бы такими же, если бы родились дворовыми.

— Гуманность, любезный мой, есть продукт цивилизации, но развитому человеку омерзителен вид двуногого животного.

— А кто превратил их в двуногих животных, как не цивилизованные люди? — спросил Некрасов.

Панаев хотел что-то сказать, но Боткин остановил его вопросом:

— Зачем же ты отпустил на волю своих дворовых и нанимаешь вольную прислугу?

Панаев не нашелся вдруг ответить.

— А это, любезнейший, доказывает, что в тебе не было закваски помещика. Эстетическое чувство в тебе развилось, а такой человек не может видеть около себя этих дикарей.

— Да ведь у Некрасова нет ни души дворовых, — проговорил Панаев.

— Не стоит, господа, продолжать этого разговора, — вставая из-за стола, сказал Некрасов, — пусть лучше

я останусь с закваскою помещика на всю жизнь, да не буду с отвращением относиться к людям только потому, что они родились на барском дворе.

Боткин надулся на Некрасова и прочел целую лекцию о том, как необходимо развивать в себе эстетическое чувство.

— Мне претит русский овчинный тулуп, — говорил он, — мое обоняние не может переносить этого запаха. Я в Германии и во Франции с удовольствием беседовал с рабочими, видел в них себе подобного человека, а не двуногого животного, у которого в лице нет тени интеллигенции, и одежда-то на нем звериная.

Между тем Николай более не присылал ответа, будет ли он или не будет закладывать лошадь. С этого времени он всегда исполнял приказание, но выходило хуже. Он вывалил раз в пьяном виде Некрасова из саней в кучу грязи. Некрасов принял меры. Как только он замечал, что Николай выпивши, то на половине дороги пересаживался на извозчика, а ему строго приказывал сейчас же ехать домой, распрячь лошадь и лечь спать.

Но однажды, недалеко отъехав от дома, Некрасов отослал лошадь домой, и когда возвратился к обеду, то встревожился, что Николай с тех пор еще не возвращался.

— Ну, значит, Николай нахлестался до бесчувствия и попал в полицию, — заметил он.

Петр был послан разыскивать Николая, который действительно очутился на съезжей; дрожки были изломаны, и у лошади зашиблена нога. Все это донес Петр своим бестолковым слогом; о самом же Николае Некрасов спросил:

— Да целы ли ноги и руки у Николая?

— Вот, целехоньки! — ответил Петр.— Вот, только маленько подбита скула, — квартальный бил его.

— А хмель-то вышиб из него?

— Вот, ни в одном глазу нету, теперь, вот, и плачет.

Некрасов велел Петру вместе с Николаем привести лошадь и дрожки домой...

— Вот, квартальный не выпустит Николая, вишь, двадцать пять рублей подай ему, — твердил Петр.

С большим трудом добился от него Некрасов, что квартальный требовал с Николая за поломанные дрожки у извозчика, который заявил претензию на Николая в полицию.

— Ах, разбойник! — воскликнул Некрасов. — Лошадь искалечил, дрожки сломал, да еще двадцать пять рублей плати! Пусть же его посидит.

Но на другое утро он послал деньги квартальному.

Дрожки до того были исковерканы, что и чинить их не стоило. Ногу лошади надо было долго лечить.

Николай явился с обвязанным лицом к Некрасову, который сурово его спросил:

— Зачем ты пришел, разве я тебя звал?

— Простите, Николай Алексеевич! — слезливым голосом проговорил Николай. — Пожалейте моих стариков. Я уж заслужу вам, только не отсылайте меня к старому барину.

— Дурак ты, — на что мне кучер, когда ни лошади, ни дрожек у меня теперь нет по твоей милости?

— Ногу у лошади я скорехонько залечу, а за починку дрожек вы уж высчитайте из моего жалованья.

— Нет, мне выгоднее и спокойнее держать месячного извозчика, чем свою лошадь.

— Коли я вам не нужен, так я на место пойду, только уж вы не отписывайте старому барину, а то он меня вытребует отсюда.

Николай стал всхлипывать и винить знакомых кучеров, которые его спаивали.

— Теперь, Николай Алексеевич, даю вам крепкий зарок: не токмо пить водку, но даже смотреть на нее не буду.

— И прекрасно сделаешь.

— Так, значит, я буду себе место приискивать, Николай Алексеевич.

— Приискивай.

— Мои старики век за вас будут молить бога.

— Ну, хорошо, хорошо! Сначала залечи себе синяки и никому не показывайся, а потом ищи себе место.

Но Николай более двух недель не уживался на местах и уверял Некрасова, что ему «незадача» и что будто бы его не прогоняли, а он сам уходил с них.

Наконец однажды он явился просить Некрасова отправить его в деревню.

— Соскучился по своим старикам, Николай Алексеевич. Отец пишет, что мать больна, помрет еще, и я останусь без ее благословения.

— Ну, с богом, отправляйся! — ответил Некрасов и дал ему денег на дорогу.

Перед своим отъездом Николай, прощаясь с Некрасовым, прослезился.

Прошло дней пять. Как-то утром, когда я встала, на мой звонок явилась горничная с заплаканными глазами. Я спросила о причине ее слез и уже предвкушала предстоящую мне тяжелую обязанность разыгрывать роль судьи.

— Ах, Авдотья Яковлевна, мы все наплакались в кухне, глядя на бедного Николая, — отвечала горничная.

— Как? разве он не уехал? — воскликнула я.

— Нет. Сегодня, недавно, пришел в кухню и так плачет, так плачет... — говорила горничная, утирая слезы.— Петр с дворником поили его два дня и все деньги у него отобрали, что ему дано было на дорогу. Он не евши сидел два дня в кучерской, — и горничная опять заплакала. — Он хочет вас повидать.

Я пошла в кухню. Николай упал к моим ногам и, рыдая, молил меня отправить его в деревню.

Горничная, прачка и кухарка утирали слезы и тоже просили меня сжалиться над жертвой жестокосердого Петра и дворника.

Некрасов также был поражен, узнав, что Николай еще пребывал в Петербурге. Сгоряча он хотел было исследовать дело, но, конечно, ничего не добился. Петр божился, что он знать не знал о пребывании Николая в кучерской, а дворник доказывал: почему он должен был знать, что кучер рассчитан и ему, выпивающему, давали деньги!

Некрасов вынужден был дать снова денег на дорогу Николаю, отправив его под присмотром знакомого ярославского огородника, ехавшего также на родину по соседству с деревней отца Некрасова.

* * *

Я уже упоминала в своих воспоминаниях, какие печальные последствия имела история Петрашевского на «Современник»[4]. Уныние и тревога царили в редакции. Как издатель «Современника», так и его сотрудники опустили голову. Прежних оживленных споров и разговоров более не слышалось. Гости не собирались на обеды и ужины. Некоторые литераторы забегали в редакцию на короткое время. Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи заключенных моло-

дых литераторов, замешанных в историю Петрашевского[5].

По вечерам, для развлечения. Некрасов стал играть в преферанс, по четверть копейки, с двоюродными братьями Панаева, с художником Воробьевым и его братом[6].

Некрасов тогда еще в Английский клуб не ездил и даже не помышлял о том, что когда-нибудь сделается членом этого клуба.

Я заметила, что Петр сделался необыкновенно бодрствующим. Прежде он по вечерам всегда спал, а тут, кто бы ни позвонил у парадной двери, он появлялся в передней.

Иван таинственно сообщил мне, что Петр, как кто придет вечером из гостей, бежит в дворницкую, где постоянно сидит какой-то господин, и что он же подслушивает у двери из темного коридора.

В кабинете Некрасова было две двери: одна — в переднюю, другая — в коридор.

Я стала следить, и точно: спущенная занавеска колыхалась у дверей в коридор, когда играли в преферанс. Тогда я предупредила играющих, чтобы они были осторожнее в разговорах, так как Петр подслушивает у дверей.

Шутник пообещал отучить Петра подслушивать у дверей и на другой же день вечером предупредил играющих, чтобы они не пугались, если Спрут заорет в коридоре.

— Пожалуйста, не выкиньте с ним опасной шутки, — заметил Некрасов молодому человеку.

Вскоре в коридоре раздалось хлопанье хлопушек и дикие крики Петра, который, весь побледнев, стоял, прислонясь к стене, и дрожащей рукой крестился, когда шутник открыл дверь и осветил свечой коридор.

Петр, вероятно, догадался, что это проделал с ним шутник, и стал сердито посматривать на молодого человека и перестал его называть «генералом».

Советовали Некрасову прогнать Петра, но он отвечал:

— Я никогда так не был доволен Петром, как теперь. Он по своему тупоумию не в состоянии связно передать какой-нибудь подслушанный им разговор, а тем более присочинить что-нибудь подходящее к тому, что говорилось между нами.

Петр прослужил у Некрасова года три и сам заявил ему, что хочет ехать на покой в деревню, и тут только

сознался, что ему не сорок, а пятьдесят пять лет, и ему тяжело ходить с поручениями.

Рассчитавшись с Петром, Некрасов не огорчился, так как на опыте убедился, что честность его ненадежна.

— А Спрут-то поворовывает у меня деньги, — сказал он мне месяца за два до отъезда Петра. Но меня это не удивило, — я уже давно сомневалась в честности Спрута.

Впрочем, Некрасов сам был виноват: он разбрасывал свои карманные деньги на письменном столе, а так как тогда их было у него немного, то убыль легко было ему заметить.

Пропадали также и книги из кабинета, а после отъезда Петра обнаружилось еще, что у Некрасова пропала часть белья и некоторое платье. Но он за это не сердился на Петра; опечалило его только, что Спрут стащил у него разные охотничьи принадлежности, а главное — новые охотничьи сапоги.

— Пусть бы еще вдвое взял из моего белья и платья, только бы охотничьи мои сапоги не трогал, — говорил Некрасов. — Ни одни сапоги так покойны не были, как эти. И на что они ему? На его лапу не влезут.

Но, кроме всего упомянутого, впоследствии оказалось, что Петр с чердака, где лежали отпечатанные листы запрещенного «Иллюстрированного альманаха»[7], постоянно брал их и продавал букинисту. И эта проделка Петра открылась только после его отъезда, когда надо было переезжать на новую квартиру.

— Ай да Спрут! — сказал Некрасов, узнав об исчезновении с чердака листов. — Оправдал свое прозвище, все сцапывал, что попадалось. Значит, и книги мои он продавал букинистам? На вид совсем идиот, а на наживу денег у него хватило сообразительности.

Я шутливо пеняла Некрасову, что он не снял портрета с Петра себе на память.

* * *

⟨...⟩ В начале пятидесятых годов Некрасов стал ездить в Английский клуб раза два в неделю и очень счастливо играл в коммерческую игру, но, не имея денег, не мог один играть, а надо было ему товарища, который бы держал половину куша за пуан.

Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты; он самоуверенно отвечал, что у него всегда

хватит настолько характера, чтобы бросить игру, когда захочет. А когда я говорила, что карты вредно должны действовать на его нервы, то он возражал:

— Напротив, за картами я еще притупляю мои нервы, а иначе они бы меня довели до нервного удара. Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволят напечатать. Это такое состояние, как если бы у человека отрезали язык и он лишился возможности говорить.

— Может быть, настанет другое время, — говорила я.

— Доживу ли я еще до того времени, перегорит во мне все, и я никуда не буду годен, если и останусь жив.

Хандра часто находила на Некрасова, да и обстоятельства способствовали тому.

Болезнь горла у Некрасова все усиливалась, и он сделался до крайности раздражителен.

Василий [8] приходил ко мне и говорил убитым голосом:

— Что мне делать, Авдотья Яковлевна? Меня прогнал Николай Алексеевич.

— За что?

— Да за то, что я два раза напоминал ему, что надо полоскать горло.

Я советовала Василию дать успокоиться Некрасову и не показываться ему, пока он сам не позовет.

— А как не позовет?

Я утешила Василия, что Некрасов его позовет, и действительно через час он позвонил.

— Не пора ли мне полоскать горло? — спросил у Василия Некрасов.

— Пора.

— Так давай! — шепотом произнес Некрасов.

После сильного раздражения и без того несильный голос совершенно пропадал у него. В это время Некрасов иногда с ужасом говорил:

— Какая предстоит мне перспектива — сделаться немым!

Он вдруг бросал все лекарства, не видя улучшения своей болезни, не держал предписанной докторами диеты и злился, если ему напоминали, что какого-нибудь кушанья нельзя есть; то опять впадал в крайность и чуть что не морил себя голодом.

Одну зиму он даже не выходил на воздух по совету докторов, чтобы не простудить еще больше горла.

Понятно, что нервы у него были раздражены мрачными мыслями, не покидавшими его, о близкой смерти. Напишет, бывало, стихотворение, прочтет его и заключит словами:

— В печати мне его не удастся видеть: своего последнего, этого последнего стихотворения. К весне буду готов.

— Напротив, весной доктор надеется, что ваша болезнь горла пройдет.

— Петь буду в концертах даже! — иронически отвечал Некрасов и затем разражался бранью на всех докторов.

А иногда Некрасов сам начинал мечтать о том, как к лету он выздоровеет, уедет в деревню и будет ходить на охоту:

— Какое это будет блаженство! Не будешь видеть этих корректур, исправленных цензором, не будешь видеть этого длинного Праца, являющегося за деньгами.

Прац был хозяин типографии, в которой печатался «Современник», когда начался он издаваться.

И точно, вид Праца не только больному Некрасову, но и здоровому человеку не очень-то мог быть приятен. Он приезжал за деньгами, а в это время денежные дела журнала были очень плохие. Подписка туго прибавлялась после 1848 года, потому что цензура не пропускала ничего живого.

Некрасов говорил:

— Право, я удивляюсь, как еще снисходительны подписчики, что продолжают выписывать «Современник». Читать в нем нечего благодаря цензуре.

— Да ведь и в других журналах читать нечего, — замечал кто-нибудь ему.

— Печальное утешение, — отвечал он [9].

Некрасов при самом начале издания «Современника» мечтал о дешевой газете.

— Кабы были деньги, сейчас бы начал издавать дешевую газету. Я уверен, что дешевая газета десятки тысяч имела бы подписчиков.

Многие сомневались в успехе дешевой газеты, но Некрасов горячо защищал свою мысль об издании такой газеты.

В Крымскую кампанию Некрасов горевал, что не удалось ему осуществить свою идею относительно издания дешевой газеты:

— Ведь в самом захолустье России жаждут прочесть,

что творится с их сыновьями, мужьями, а разве большинству доступно выписывать наши дорогие газеты?

И будь у Некрасова тогда деньги, он, наверно бы, стал издавать дешевую газету.

Несмотря на свою болезнь, Некрасов не охлаждался к журналу и по-прежнему старался по возможности выпускать номер хотя сколько-нибудь поживее.

* * *

Я уже упоминала в прежних моих воспоминаниях о пребывании Некрасова за границей и как европейские светила-доктора приговорили его к смерти. Он вернулся в Петербург умирать, а вместо того выздоровел.

Подписка на «Современник» с каждым годом увеличивалась; денежные дела журнала более не озабочивали Некрасова. Он имел хороших помощников по изданию журнала и мог пользоваться отдыхом. Он опять стал ездить в Английский клуб и уже поздно ночью возвращался домой, забыв совет доктора, вылечившего ему горло, что надо вести правильный образ жизни. Когда же ему об этом напоминали, то он сердился и находил, что ему необходимо притупить свои нервы и что игра в карты не может повредить здоровью.

Я как-то раз заметила Некрасову, что, втянувшись в игру, он не в состоянии будет остановиться и тогда, когда его счастье в картах изменит ему.

— В чем другом у меня не хватит характера, а в картах я стоик! Не проиграюсь! — самоуверенно отвечал Некрасов.

Я напомнила ему факт, как несколько лет тому назад он в какой-нибудь час проиграл тысячу рублей, которые для него тогда составляли очень значительную сумму. Однако, играя, он забывал об этом.

— Это был исключительный случай. Я слишком был поражен своим необычайным несчастьем и одурел. Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей, а если и есть у кого, то он ими не воспользуется.

Факт, который я напомнила Некрасову, заключался в том, что господин А... только что выступивший на литературное поприще своей повестью, приехал в Петербург из дальней провинции, где он постоянно жил. Он обедал у нас и после обеда предложил Некрасову и Панаеву сыграть в преферанс. Играли недолго. Панаеву

надо было ехать куда-то на вечер, и он уехал. А... предложил Некрасову сыграть в банк.

— Я давно не играл в банк, — сказал Некрасов.

— Ну, ставьте рубль, — сказал А..., тасуя карты.

Некрасов написал мелом рубль, прикрыл карту и, пока ставил небольшие куши, все выигрывал.

— Вот какое вам счастье, — говорил А... с досадою.

— Ну, не злитесь, — сказал Некрасов и поставил все 25 рублей, которые выиграл.

Карта его была убита.

Некрасов опять поставил 25 рублей и проиграл их.

Терминов я не припомню, но в какой-нибудь час Некрасов проиграл тысячу рублей.

Я удивилась тогда спокойствию, с которым играл Некрасов, всегда запальчивый в игре. Несмотря на уговаривание А... продолжать игру, убеждавшего, что проигравший может отыграть свои деньги, Некрасов, вставая из-за стола, сказал:

— Нет! больше не хочу играть. Сейчас вам принесу деньги.

Получив деньги, А... уехал.

Некрасов сидел в раздумье у стола и сказал:

— Что за странность? Маленький куш ставил — выигрывал, а большой куш стал ставить — карта бита!

В это время пришли трое постоянных наших молодых гостей. Увидев, что раскрыт ломберный стол, они заметили Некрасову, что давно не играли с ним в преферанс, и стали играть, как обыкновенно, по четверти копейки.

Сдавались те самые карты, которыми метал банк А... Некрасов, взяв карты, вдруг сказал:

— Господа, позвольте эту сдачу не считать, мне нужно осмотреть карты, — и он стал рассматривать их.

Играющие и я с удивлением следили за Некрасовым, который пристально расследовал их. Когда он окончил осмотр карт, то спокойно сказал:

— Сдавайте.

Его стали спрашивать, зачем он рассматривал карты.

— Мне нужно было.

Играя, Некрасов все время шутил.

Когда гости, поужинав, ушли, Некрасов, взяв колоду карт в руки, сказал:

— Посмотрите, каждая карта отмечена ногтем. Ай да молодец, вот для чего отпускает себе длинные ногти! Ах, несчастный! Довести себя до такого позора. Если бы

это не случилось со мной, я ни за что не поверил бы, чтобы неглупый человек, уже в зрелых летах, способен был так нагло дозволять себе проделывать такие низкие вещи. И еще талант есть: к кругу литераторов будет принадлежать! Никому не надо говорить об этом: может быть, он образумится.

А... как ни в чем не бывало опять обедал у нас и приглашал Некрасова опять сыграть в банк, но тот отказывался.

— Отыграете, может быть, свои деньги.

— А может быть, еще проиграю вам.

— Не все же так несчастье вам будет. Да и я скоро уеду домой, тогда увезу ваши деньги.

— Увезите, — отвечал Некрасов и потом говорил мне: — Кажется, у А... совесть заговорила. Дай-то бог!

* * *

Когда Некрасов, ложась поздно, спал долго по утрам, Василия никто из посетителей, являвшихся лично к Некрасову, не мог уговорить, чтобы он разбудил его, и мне кажется, если бы квартира загорелась, то он только тогда начал бы будить Некрасова, когда уже горела бы соседняя комната.

Раз я заметила, проходя через сени из редакции на свою половину, как у дверей подъезда какой-то господин говорил Василию:

— Третий раз прихожу на этой неделе, и ты мне одно и то же отвечаешь, что он спит.

— Что нужно, идите в редакцию, — отвечал отрывисто Василий.

— Да мне лично нужно видеть господина Некрасова.

— Тогда приходите, когда он не спит!

— А в какое время?

— А я почем знаю? — отвечал Василий, захлопывая дверь.

Я стала говорить Василию, что нельзя так грубо отвечать посетителям.

— А то будить Николая Алексеевича для всякого, кто его спрашивает? Мало ли таких шляется к нему за деньгами. Кому за делом нужно, так тот идет в редакцию.

Я, однако, сказала Некрасову, чтобы он велел Василию быть вежливым с теми, кто к нему приходит, и хотя сколько-нибудь разнообразить свои ответы: что,

мол, дома нет или нездоров, не принимает, а то твердит все одно: «спит».

Иногда Василию доставалось от Некрасова за церберское охранение его сна. Некрасов, бывало, сам назначит час кому-нибудь, когда его можно видеть, но Василий спровадит явившегося господина.

Некрасов начнет его бранить за это. По праву долго жившего слуги в доме Василий делал ему вопрос:

— Да разве вы приказывали мне, ложась спать, чтобы я вас разбудил, когда придет этот господин?

— Ну, забыл!

— Так я-то чем виноват?

Между Василием и Некрасовым происходили лаконические разговоры.

— Сколько? — спрашивал Некрасов за завтраком.

— Десять, — отрывисто отвечал Василий.

Это значило 10 градусов морозу.

— Сани!

— Ветер.

— Сани! — настойчиво повторял Некрасов.

Через полчаса Василий появлялся в дверях и докладывал мрачным тоном:

— Карета подана!

— Какая карета? Я тебе велел сани заложить! — прикрикивал на Василия Некрасов.

— А ветер?

— Не твое дело! Вели кучеру заложить сани.

Василий удалялся и через четверть часа еще более мрачным голосом произносил:

— Готово!

Некрасов выходил и находил у подъезда все-таки карету.

Он начинал бранить Василия, который, отворив дверцы, говорил:

— Садитесь! Что на таком ветру стоять!

Некрасов покорно садился в карету, убедясь, что, точно, сильный ветер.

В передней иногда происходили комические сцены. Некрасов выходил в переднюю, чтобы ехать в клуб. Василий держал шубу наготове.

— Пальто! — произносил Некрасов.

Василий, не слушая его, накидывал ему на плечи шубу. Некрасов сбрасывал ее и, горячась, говорил:

— Русским языком я тебе говорю: пальто подай.

Василий, что-то ворча, подавал пальто и совал в руки Некрасову меховую шапку. Тот бросал ее на стол, и тогда Василий мрачно его спрашивал:

— Простудиться, что ли, хотите?

— Не умничай! — отвечал Некрасов, надевая шляпу.

Василий подавал кашне. Некрасов отстранял рукой кашне и шел с лестницы, а Василий, провожая его до экипажа, тихонько всовывал ему кашне в карман.

Если Некрасов уезжал в клуб обедать в санях и приказывал кучеру приехать за ним в такой-то час, Василий распоряжался, чтобы кучер, заложив карету, взял шубу, меховую шапку и отвез бы их в клуб, а пальто и шляпу немедленно привез бы домой.

У Некрасова всегда были охотничьи собаки, и Василий самым аккуратным образом сам их проваживал и кормил. Собака Оскар прослужила несколько лет Некрасову и была уже стара.

Василий однажды при мне позвал Оскара, покоившегося на турецком диване, и сказал:

— Ну, капиталист, иди гулять!

Я спросила, отчего он Оскара называет капиталистом.

— Николай Алексеевич хочет на его имя положить в банк деньги, — ответил Василий.

Я улыбнулась.

— Вы думаете, не положит? Еще вчера опять Оскару говорил, что положит ему капитал.

Василия трудно было убедить, что Некрасов шутил.

Часто из клуба Некрасов приезжал с гостями часов в 12 ночи, чтобы играть в карты. В клубе не хотели играть в большую игру, потому что потом много толковали о том, кто сколько выиграл и проиграл; иногда игра продолжалась с 12 часов ночи до 2 часов пополудни другого дня. И можно судить, какая большая была игра, если однажды Василий поднял под столом, когда гости пошли ужинать, пачку сторублевых ассигнаций в тысячу рублей. Хозяина этих денег не нашлось, и потому решили, пусть возьмет себе Василий их [10].

Добро бы, компания игроков были молодые люди, но все почтенных лет, занимающие высокий пост. Часто лакей чей-нибудь из этих игроков ждал приезда своего барина с платьем, чтобы тот мог переодеться у Некрасова, так как прямо приезжал с придворного бала.

Василий нажил себе капитал. Иногда он в один вечер или, вернее, в одну ночь имел дохода от карт до

пятидесяти рублей, да, кроме того, получал на чай от гостей по десяти и даже по двадцати пяти рублей.

Меня не интересовало, сколько Некрасов выигрывал и проигрывал, и я никогда не спрашивала его об этом. Но другие интересовались этим и при мне спрашивали, сколько он выиграл вчера.

— Пустяками окончилась у меня игра — тысяч сорок выиграл. Сначала был в выигрыше сто пятьдесят тысяч, да потом не повезло. Впрочем, завтра на утреннике, может быть, верну эти деньги.

Утренниками Некрасов называл, когда собиралась постоянно одна и та же компания играть у кого-нибудь из них с часу до шести часов вечера.

Некрасов также говорил:

— Я сегодня еду на единоборство.

Это означало, что игра будет с кем-нибудь из компании только вдвоем.

В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Многие, конечно, завидовали ему, многие обращались к нему: кто за деньгами, кто за покровительством чьим-нибудь его влиятельных знакомых.

Сборы бывали большие, когда Некрасов ездил на медвежью охоту. Везлись запасы дорогих вин, закусок и вообще провизии: брался повар, Василий, складная постель, халат, туфли.

Не знаю, получал ли Некрасов от этой охоты такое же удовольствие, какое он испытывал, когда прежде ездил на телеге верст за 35 от Петербурга и брал с собою только фляжку коньяку, пару жареных цыплят и кусок жареной говядины.

Но тогда он возвращался с охоты оживленным и сейчас же принимался за работу. После же охоты со всевозможными удобствами Некрасов был вял, ворчал, что желудок испортил и устал.

По-видимому, при такой жизни человек должен был бы быть довольным, но у Некрасова нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть, не спал ночи, ничего не ел, и, по выражению его лица, ясно было видно, что в эти дня два ему было страшно тяжело. Должно быть, в подобные минуты он испытывал те нравственные страдания, которые выразил в своем стихотворении «Рыцарь на час». ⟨...⟩

Н. Г. Чернышевский

В 1879 году в Петербурге вышло первое посмертное собрание стихотворений поэта: «Стихотворения Н. А. Некрасова. Посмертное издание» в четырех томах. Оно было издано по инициативе сестры Некрасова — А. А. Буткевич, под редакцией известного библиографа С. И. Пономарева, при участии М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. З. Елисеева, А. Н. Пыпина, М. М. Стасюлевича. Первому тому было предпослано предисловие А. А. Буткевич и биографический очерк, написанный А. М. Скабичевским, который в первоначальном варианте публиковался в «Отечественных записках» (1878, №№ 5, 6); Н. Г. Чернышевский, познакомившись с этим изданием, написал «Заметки при чтении «Биографических сведений» о Некрасове». Впервые о них он упомянул в письме О. С. Чернышевской от 9 июня 1886 года: «Увидишь Сашеньку ⟨А. Н. Пыпина⟩, скажи, что вчера я начал писать для него «Заметки при чтении Некрасова» (*Чернышевский*, т. XV, стр. 587). В письме А. Н. Пыпину от 17 июня 1886 года Чернышевский так мотивировал свое желание писать эти «Заметки»: «Биографические сведения» и разные приложения, помещенные в «Посмертном издании» «Стихотворений» Некрасова, будут, вероятно, служить материалами для последующих биографов его или ценителей его произведений. Потому мне вздумалось сделать некоторые заметки к ним» (там же, стр. 592).

«Заметки» отчасти полемичны. Утверждая, что «ровно ничего «загадочного» в Некрасове не было» (*Чернышевский*, т. I, стр. 742), Чернышевский, по всей вероятности, спорит с Достоевским. Чернышевский подчеркивает особенность личности поэта: «Он был великодушный человек сильного характера» (там же, стр. 753).

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ «БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ» О НЕКРАСОВЕ, ПОМЕЩЕННЫХ В I ТОМЕ «ПОСМЕРТНОГО ИЗДАНИЯ» ЕГО «СТИХОТВОРЕНИЙ», СПБ. 1879

⟨...⟩Он был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нимало загадочными сами по себе; не было ничего загадочного и в том, почему они развились в нем: общеизвестные факты его жизни очень отчетливо объясняют это. А если кому-нибудь из его знакомых не ясно было, почему он поступил так, а не иначе в каком-нибудь случае, то надобно было только спросить у него, почему он поступил так, и он отвечал прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда б уклонился от прямодушного объяснения своих мотивов, — ни одного такого случая не было, не то что лишь в разговорах его со мною, но и во всех тех разговорах с другими, какие происходили при мне. Он был человек очень прямодушный.

⟨...⟩Когда дошло и до крайнего своего предела расширение цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему; слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать ее будет нельзя, и он подавляет мысли о ней; это тяжело, это требует времени; а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах; и когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности, слишком узкой. Я говорил ему: «Если б у меня был поэтический талант, я делал бы не так, я писал бы и без возможности напечатать теперь ли, или хоть через десять лет; писал бы и оставлял бы у себя до поры, когда будет можно напечатать; хотя бы думал, что и не доживу до той поры, все равно: когда ж нибудь, хоть после моей смерти, было бы напечатано». — Он отвечал, что его характер не таков, и потому он не может делать так; о чем он думает, что этого невозможно напечатать скоро, над тем он не может работать. — Причина невозможности всегда была — цензурная [1].

Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей славе, то мог бы

работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет; посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою.

⟨...⟩В тот день, когда было обнародовано решение дела[2], я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня, редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое, эта «воля». Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», — отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения[3].

⟨...⟩Очень большое уменье владеть собою действительно было у Некрасова. Но «скрытен» он не был. Он только не был охотник говорить о себе, отчасти по скромности (это главное), отчасти потому, что знал из собственного опыта, как скучно, и утомительно, и смешно слушать охотников много толковать о себе; он не хотел быть скучным и смешным. Но когда видел, что человек желает слушать, то говорил с полной откровенностью, лишь бы человек, желающий слушать, казался ему заслуживающим его откровенность.

А. С. Суворин

Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) начинал свой путь в литературе как «либеральный и даже демократический журналист, с симпатиями к Белинскому и Чернышевскому, с враждой к реакции...» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 43). В «Современнике» (1862, № 2) был опубликован его рассказ «Солдат да солдатка». 29 декабря 1861 года он писал в Воронеж своему учителю М. Ф. Де-Пуле: «Так симпатии мои к «Современнику» прежде всего основываются на плебействе, потом на вражде к жестокому и вечному насилию. Я признаю за «Современником» ту услугу, что он отлично ведет свое дело. Он очень хорошо сознал, что невозможно при цензуре проводить свои убеждения *серьезно*, а потому он стал свистать, следовательно, свист дело законное...» (*ИРЛИ*, ф. 569, ед. хр. 587, л. 33). Одобрительный отзыв Суворина о «Свистке» (сатирическом приложении к «Современнику»), сочувствие общей позиции журнала, конечно, еще не означали полного его согласия с демократическим направлением журнала. Он не разделял позитивной программы идеологов революционно-демократического движения. «Вот тут, — писал Суворин, — и кончается моя связь с «Современником», потому что дальше у него социализм...» (там же). И все же Суворин тогда отдавал предпочтение «Современнику», а не другим влиятельным журналам. А. Н. Плещеев в июле 1862 года сообщал из Москвы Чернышевскому: «В бытность Суворина в Петербурге вы сказали ему, между прочим, чтобы он свою повесть доставил Вам... У Суворина повесть готова. Он, конечно, желал бы всего

более отдать ее в «Современник». Но он в то же время в таком положении, что едва-едва имеет насущный хлеб. С Краевским он, разумеется, не сошелся по очень уважительным причинам...» (Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», III, ГИЗ, М. — Л. 1930, стр. 671). В письме к М. Ф. Де-Пуле от 4 февраля 1863 года Суворин, сопоставляя «Современник» с «Русским вестником» М. Н. Каткова и реакционными изданиями Н. Ф. Павлова, писал: «Представители «Современника» все-таки лучшие наши люди, а представители «Русского вестника», как Вам, вероятно, известно, очень близко стоят к Н. Ф. Павлову» (*ИРЛИ*, ф. 569, ед. хр. 587, л. 41).

Некрасов ценил книгу Суворина «Всякие. Очерки современной жизни» (1866), в которой содержались остроумные выступления против «господ-плутократов». Книга была приговорена судом к уничтожению, и на судебном заседании присутствовал Некрасов. Этот эпизод поэт использовал в стихотворении «Пропала книга» (1867).

Суворина привлекали трудная биография Некрасова, его журналистский талант. Он ценил его советы и считался с его мнениями. Например, выслушав положительный отзыв Некрасова о С. А. Венгерове, тогда еще только начинавшем свою литературно-критическую деятельность, Суворин писал ему: «...Я никогда не умел угадывать ум человека, Вы были первым человеком, который поразил меня именно умом своим. Только пошлость ума всегда бросалась мне в глаза, но у Вас этого качества отнюдь признать не могу» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 91, л. 9).

Суворин сочувственно относился и к поэзии Некрасова. 22 февраля 1873 года он писал, что в поэме «Княгиня Волконская» есть «чудеснейшие места и вся в целом она производит впечатление глубокое» (там же, л. 1).

В конце 1874 года Некрасов вел с Сувориным переговоры об его участии в «Отечественных записках», желая предоставить ему фельетон — постоянный отдел журнала. Михайловский и Салтыков-Щедрин, по-видимому, по идейным соображениям решительно возражали против этого плана. Г. З. Елисеев писал Н. К. Михайловскому 18 декабря 1874 года: «Сегодня

шло длинное совещание редакции «Отечественных записок» по вопросу о Суворине. После разных соображений и рассуждений редакция пришла к следующему результату, о котором и просила меня сообщить Вам: «Завтра утром Некрасов поедет к Суворину и скажет ему, что так как некоторые из сотрудников не желают, чтобы Суворин имел в «Отечественных записках» свой фельетон, то он, Некрасов, такого фельетона поручить ему вести не может. А затем Суворин сам увидит, что в «Отечественных записках» ему делать нечего, и таким образом вопрос о нем покончится сам собою. Сказать же, дескать, сейчас ему прямо в глаза, что мы самого вашего имени переносить не можем, было бы слишком нечеловеколюбиво и вообще неудобно после бывших разговоров» (*ИРЛИ*, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 223, л. 5—5 об. Опубликовано с ошибками в журнале «Русская литература», 1964, № 2, стр. 63). Некрасов в этот же день писал Суворину: «Еще считаю долгом, без обиняков, сообщить Вам к сведению, что дело о предоставлении Вам фельетона в «Отечественных записках» не склеивается: есть элементы в нашей редакции, которые утверждают, что это будет взаимно неудобно» (XI, 362, о дате письма см. «Русская литература», 1964, № 2, стр. 64).

Время подтвердило правоту Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Суворин, став редактором-издателем «Нового времени», еще в конце 70-х годов и особенно в 80-е годы «повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 44). Некрасов не предвидел такой эволюции в деятельности Суворина. В середине 70-х годов он верил в его демократические убеждения. Этим только можно объяснить его желание пригласить Суворина сотрудничать в «Отечественных записках».

Некрасов сохранил дружеские отношения с Сувориным и в дальнейшем. В 1876 году он предоставил Суворину несколько своих стихотворений («На покосе», «Как празднуют трусу», «К портрету **», «Бунт», «Что нового?», «Молодые лошади») для публикации в его газете «Новое время». 25 марта 1877 года сестра Некрасова А. А. Буткевич писала Суворину: «Из стихов, обещанных вам, я уже кой-что записала, как только пособерется, сейчас пришлю вам» (*ЦГАЛИ*, ф. 459, оп. 1, ед.

хр. 2898, л. 2). 1 января 1878 года в «Новом времени» были напечатаны стихотворения Некрасова: «К портрету ***» («Развенчан нами сей кумир...»), «Букинист и библиограф», «Праздному юноше».

Среди этих стихов было немало таких, которые Некрасов в письме к Суворину от 1 мая 1876 года, имея в виду цензуру, назвал «неудобными». Примечателен сам факт использования «Нового времени» для публикации произведений, которые не могли пройти в «Отечественных записках».

В основе воспоминаний Суворина о Некрасове лежат его дневниковые записи, сделанные сразу же после посещений поэта 16 января 1875 года и 19 марта 1877 года. Эти записи были опубликованы в 1922 году в газете «Новое время», издававшейся тогда в Белграде (См. «Прометей», т. 7, 1969, стр. 287—290). Частично дневниковые записи — рассказы Некрасова о «петербургских мытарствах» — Суворин использовал в одном из своих недельных очерков еще при жизни поэта (*НВ*, 1877, № 380). Некрасов поразил Суворина волей, упорством, он поставил его в «замечательный пример живучести духа». «И теперь дух так крепок, мысль так же светла, хотя страдания тела невыносимы» (там же). Эта же характеристика утверждается и в его новом мемуарном очерке, написанном после похорон писателя. Наряду с достоверными фактами и подробностями в воспоминаниях Суворина проявляется известная тенденциозность. Редактор «Нового времени» пытался использовать биографию Некрасова для оправдания эволюции своего пути в журналистике. Не случайно воспоминания начинаются риторическим противопоставлением романтической юности и успокоившейся зрелости, рассуждениями о бесплодности всяких «бурных стремлений» и «негодований». По существу неверны размышления Суворина о «цинизме» Некрасова, о неприятии поэтом «теоретических представлений» революционной демократии. Эта часть очерка в свое время вызвала полемику между «Отечественными записками» и «Новым временем». Г. З. Елисеев, несмотря на некоторые неточности, по существу, справедливо протестовал против тенденциозных оценок Суворином Некрасова, его таланта (*ОЗ*, 1878, №№ 3 и 4). Ответные выступления Суворина и В. Буренина см.: *НВ*, 1878, №№ 745 и 776.

ИЗ «НЕДЕЛЬНЫХ ОЧЕРКОВ И КАРТИНОК»

⟨...⟩ Огромный ум Некрасова, воспитанный прямо и почти только на одной жизни, противился теоретическим представлениям, расплывавшимся в широковещательные речи, в самосозерцание, в благоговение перед «прекраснодушием» и становился во вражду с теорией тем резче, чем больше в самом себе он находил того же идеализма. Русский человек до мозга костей, доказавший страстными строфами о родине, как он ее любит, как он ей предан, Некрасов был типическим представителем великорусского племени и типическим, оригинальным русским поэтом. Своя русская, жизненная философия жила в нем и давала о себе знать уже юноше, прошедшему жизненную школу. Он вырос в большого человека, настолько большого, что, говоря о нем, следует не руководствоваться теорией умолчания; этот характер был вовсе не такой простой и такой обыденный, как это казалось и кажется иным нашим соотечественникам, и судить о нем невозможно по обыкновенной мерке.

«Большой практик он был, — говорят о нем, — и стихи иногда хорошие писал, и в карты играл отлично. У него все это вместе» (Передаю это в более мягкой форме, чем говорилось о нем иногда).

Как это просто, в самом деле, и как легко бросить камнем в человека? Но если вы вспомните, какую он прошел школу, если вы вспомните, что он не кланялся, не просил, не заискивал, что он искал только *независимости* и искал исключительно своими силами, что он готов был скорее черт знает над чем трудиться, чем одолжаться даже отцом своим и просить у него помощи, если вы вспомните, как и что ценило тогда общество, как трудно было пролезть вперед на литературном поприще, не сделавшись «покорнейшим», «преданнейшим» слугою, холопом, из которого выжмут весь сок и бросят околевать на чердаке, или на мостовой, или в больнице, подвергая всем унижениям его истлевшую, исстрадавшуюся душу, заставляя ее терпеть незаслуженные муки и биться в бессильной ярости до последнего издыхания, если все это вы представите себе — вы поймете, что должен был чувствовать умный и даровитый человек, чувствовавший в себе силу для борьбы.

«Я поклялся не умереть на чердаке, я убивал в себе идеализм, я развивал в себе практическую сметку» [1]. Вы найдете много людей большей частью, впрочем, ординарных, посредственных, без ума и таланта, которые возмутятся этим и дадут вам понять, что они идеальнее смотрят на жизнь, что они честнее отдаются ей. Но присмотритесь поближе в этих «честных» людей, и вы увидите, что им бабушка ворожит, что они сплошь и рядом совершают маленькие подлости, даже не замечая этого, что жизнь их исполнена миллионом сделок, ловко объясняемых даже либеральной теорией, что они фыркают своей независимостью, а не исповедуют ее, что они с воспаленными глазами говорят о вашей подлости единственно потому, что своей не понимают и не стараются вникнуть в смысл ваших поступков, который иногда разумнее и выше смысла самой патентованной «честности».

Я не могу говорить все, что знаю о покойном, что слышал от него не однажды: не условия приличий мне мешают, а условия времени. Скажу только одно, что фырканье своей независимостью, то есть проявление ее резкими чертами, быть может, имеет свою цену; во всяком случае, для этого требуется некоторая смелость, но *постоянное* отстаивание своей независимости, искание ее с уступками, конечно, но искание ее во что бы то ни стало, в течение целой жизни со стороны такого умного человека, каким был Некрасов, бесспорно принесло ему и всей литературе огромную пользу. Он делал ошибки и проступки, как всякий человек, может быть большие, чем всякий человек, но о них должно судить в связи со всем нашим развитием, в связи с теми резкими переходами от одного ветра к другому, какими так полна была наша жизнь в последние сорок лет. Проживите ее и оставьте по себе такие следы, тогда вам и книги в руки.

Мне кажется, что поэт и человек в Некрасове идут вместе и неразлучно, и он такой именно поэт, потому что был таким именно человеком, каким мы его знали. Некрасов-идеалист, Некрасов-мечтатель, Некрасов, сломленный судьбою, Некрасов, терпеливо выжидающий случая, ждущий у моря погоды, отличающийся всевозможными добродетелями, пылающий при всяком случае благородством и самоотвержением, такой Некрасов не был бы поэтом «мести и печали», не слышалось бы в его поэзии того, о чем сам он говорит, что в ней «кипит живая кровь».

Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь, —
Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца [2].

Не гений Пушкина и Лермонтова сидел в нем, тот гений, который сам творит почти из ничего, который откликается на все, глубокий и разнообразный, как природа. Талант Некрасова однообразнее, меньше, и не будь он так умен, не пройди он той школы, которую прошел, не испытай на самом себе, не прочувствуй на практике, если можно так выразиться, всех тех мотивов, которые служили предметом его поэзии, он, по всей вероятности, не был бы певцом народного горя и народной силы, не так трепетала бы в его поэзии эта звенящая, надрывающая душу струна. Каторжная борьба с жизнью, погоня за независимостью на том пути, на котором так трудно было найти ее, внутренняя работа для того, чтоб смело и бодро пройти между противоположными течениями, все это обострило его чувство, сообщило его таланту силу именно в том направлении, каким сильна его поэзия.

Скажу больше: не стремись Некрасов к независимости, не вырабатывай он у себя практической сметки, не умей он пользоваться приобретенным состоянием и большими знакомствами, судьба журналистики русской, столь часто зависевшая от случая, могла быть иною, а журналистика очень много обязана Некрасову. Для нее тоже нужен был «практический человек», но не того предпринимательного закала, который тогда царствовал нераздельно. Нужен был талантливый человек, понимающий ее задачи, широко на них смотревший, строящий успех журнала не на эксплуатации сотрудников, а на идеях и талантах.

— Один я между идеалистами был практик, — говорил Некрасов, продолжая ту речь, начало которой я привел выше. — И когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

И он создал этот журнал, несмотря на все препятствия, на отсутствие сотрудников, денег и возможности писать что-нибудь такое, что живо затрагивало бы общество [3]. Мы вообразить себе не можем того времени — так мы далеко ушли от той мелкой, но трагической борьбы, потому что она иссушала мозг. Только натура не-

обычайно сильная могла ее выдержать. Некрасов тогда работал по целым суткам. Он рассказывал мне, как писались, например, романы «Три страны света» и «Мертвое озеро» [4].

— У меня в кабинете было несколько конторок. Бывало, зайдет Григорович, Дружинин и другие, я сейчас к ним: «Становитесь и пишите что-нибудь для романа, главу, сцену». Они писали. Писала много и Панаева (Станицкий) [5]. Но все, бывало, не хватало материала для книжки. Побежишь в Публичную библиотеку, просмотришь новые книги, напишешь несколько рецензий — все мало. Надо роману подпустить. И подпустишь. Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь; никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой и опять за то же. Теперь хорошо вспомнить об этом, а тогда было жутко, и не раз мне приходили на память слова Белинского, которые он сказал мне за неделю до смерти: «Я все думаю о том, — говорил он, лежа грустный, бледный, — что года через два и вы будете лежать так же беспомощно, как я. Берегите себя, Некрасов». Но разве можно было себя беречь?.. А как на нас смотрели тогда — я не говорю о властных особах, а, например, такие знаменитости, как Гоголь. Раз он изъявил желание нас видеть. Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству [6]. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К Родине» [7]. Выслушал и спросил: «Что ж вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего [8]. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории»...

Рассказывал он обыкновенно много и живо. Это была живая и умная летопись литературы и жизни, и притом такой жизни, которая для большинства нас — terra incognita *. Любил читать свои стихотворения, но не иначе, как в интимном кружке.

— В сороковых годах, — говорил он, — писатели думали, что необходимо составлять себе репутацию прежде всего в большом свете, а потому некоторые из нас из

* неизведанная область (*лат.*).

фрака не выходили. Я никогда этого не делал. Я бывал у графини Разумовской[9] и других, но в карты там играл: я был равный с равными, а не заискивал, не представлял своих стихов на суд этих господ и госпож. Я всегда думал, что надо репутацию у публики завоевать, а большой свет — какая это публика?

Говаривал он, в особенности в последние годы, и о своем значении в литературе, и всегда чрезвычайно скромно. В прошлом году раз он писал нам между прочим: «Болен так, что не пишется, да и трудно измыслить что-нибудь... Вот всего четыре стиха:

К портрету**

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычесть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки, —
Пиши пропало, милый друг.

Многим годится и мне в том числе», — прибавил он к этим стихам.

Большие надежды возлагал он на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо». Уже больной, он раз говорил с одушевлением о том, что можно было бы сделать, «если б еще года три-четыре жизни. Это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение. И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины. Начиная, я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала. Боюсь, что не проживу. Плох стал».

Он действительно становился плох, а как он страдал от своей болезни, что выносил — представить трудно. «В январе будет ровно три года, — говорил он незадолго до смерти, — как я заболел», но страдал он особенно сильно года полтора. Нервные боли он чувствовал во всем теле и постоянно должен был переменять положение. То он ходит, то прижмется в угол и стоит неподвижно, то упрется головою об стену, то ляжет и тут не может оставаться и нескольких минут в одном положении: то на один бок повернется, то на другой, то сядет и судорожно сожмет руками ноги, то положит ноги выше головы, то отчаянно закидывает голову назад. Боли усиливаются, долго он терпит и выдерживает — есть всему пределы,

и комната оглашается его криком и стонами. Эти припадки случались ежедневно и по нескольку раз в день. Ему давали одуряющие вещества, и он засыпал. Весной 1877 года страдания усилились необычайно; несчастный рвал на себе белье, схватывал себя за горло. Предположено было сделать ему операцию. За несколько дней до нее я зашел к нему и, против обыкновения, застал его в хорошем состоянии.

Комната была страшно натоплена; больной лежал на кровати, в углу, покрытый простыней — он не мог выдерживать на себе даже одеяло, которое казалось слишком тяжело — так чутки были его нервы.

— Я вас с год не видал таким хорошим, — сказал я.

— Да, сегодня просвет такой нашел, — начал он тихим голосом. — Знаете, как в лесу, в темной чаще. Идешь, идешь и вдруг просвет увидишь. Так и у меня. Несколько дней было ужасно тяжело; я думал, что уж конец. Лежишь в полусознании под влиянием морфия и этих адских мук. Слышишь и видишь даже, что кто-то будто ходит вон там, передо мной. Узнаешь приятеля, и бог знает какие представления делаются. Кажется, что у него кто-то умер и вот он ходит тут такой унылый, и так жалко мне его, так хочется утешить его, а не могу... Да, сегодня просвет у меня, но он сейчас кончится, боюсь. Вот что, чтоб не терять времени: я виноват перед вами — все никак не могу переслать, а стихи вам готовы *.

Он быстро поднялся с кровати и при помощи человека подошел к столу. На нем была одна рубашка. Тут

* Николай Алексеевич принимал самое теплое участие во мне с тех самых пор, как мы хорошо с ним познакомились. Это было в 1872 г. Никакой ему нужды во мне не было, но он приезжал ко мне на Васильевский остров и долго беседовал о литературе. Тогда же он советовал мне завести свою газету и вести ее так, как я сам понимаю. Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 г. он предложил мне значительную для меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться там от постигшего меня несчастья. Я не воспользовался этим предложением, но не могу не вспомнить об этом с глубокою благодарностью. Он же старался убедить меня купить «Новое время» и жалел, что сам уже устарел для ведения газеты, для участия в ней. Он дал для нее несколько стихотворений, из которых некоторые были напечатаны под рубрикой: «Из записной книжки», но без его имени, другие, вероятно, долго еще останутся в рукописи, хотя они почти все имеют отрывочный, неотделанный характер. (*Прим. А. С. Суворина.*)

только увидал я, до чего он исхудал и как сгорбилась спина его. На столе лежали листы, исписанные карандашом. Он взял их и снова улегся. Все делал крайне торопливо.

— Видите что. У меня что-то странное выходит. Лежишь дни и ночи с закрытыми глазами, и все картины проходят, люди, деревья, сцены. Отбою нет; приглядываешься, всматриваешься, и так все ясно. В последнее время все мне представляются степи. Без конца лежит степь. Куда ни взглянешь, все степь и степь, сибирская, беспредельная. Вот вижу, снег идет, так и валит хлопьями, и степь белеет, и я смотрю на нее долго, долго. Этот образ степи просто не дает мне покою. И я задумал целую поэму, которую назову «Без роду, без племени». Разные подробности у меня уже сложились, несколько стихов набросано на этих листах, а другие в голове. Понимаете, что будет. По этой степи ходит человек. Он вырвался из острога на волю. А воля эта — степь. И зимой и летом он там. Он бежит, бежит до истощения сил, голодает, холодает. Нигде нет приюта. Тут я опишу, как мучит человека холод, голод, жажда. Это ужасные муки. Я знаю теперь, что значит физическая мука. И вот он идет, и ничего нет, кроме снега и степи... Вдруг видит он что-то черное. Он туда, смотрит — горностайка: замерз, бедняга. Подумал, подумал — бросить горностайку или взять с собой? Все-таки товарищ, божье создание, все будто не один в этой проклятой степи. Снял он шапку, положил горностайку, надел ее опять и снова идет. Все степь и снега, сил не хватает идти. И вот слышит звон. Остановился, прислушался. Жилье близко. Да что там его ждет? Этот звон только раздражает, только напоминает, что есть близко люди, да нельзя к ним идти — он бродяга, без рода, без племени. А звон продолжается. Перекреститься или нет? — думает он. Чему радоваться? И озлобление берет его, и вспоминает он, как жил он между людьми, как этот звон колокольный вызывал в нем чувство. Снял он шапку — глядь, а горностайка шевелится: он согрел его на голове своей. Глядит он на него, по шерстке гладит. Ну, хочешь со мной или на волю? Присел, спустил горностайку — прижался зверек и вдруг бросился на волю... Это начало. Вот вам несколько стихов — делайте с ними, что хотите[10].

Рассказывая это гораздо подробнее и, разумеется, гораздо лучше, чем я написал, он опять встал и подошел к камину. Тут были сестра его и жена, которые не покидали страдальца, ухаживали за ним постоянно и дежуря при нем по ночам, поочередно. Принесли бифштекс. Зинаида Николаевна (жена Некрасова) резала его на мелкие кусочки, на тарелке. Некрасов подошел к столу и стал есть, разрезая куски еще на меньшие.

— Я много говорил, — сказал он, — этого нельзя. Если б Николай Андреевич (Белоголовый) узнал, задал бы он мне.

И этот человек, у которого голова была полна поэтическими образами, который так много мог бы еще сделать — умирает. Я посидел минуту и стал прощаться.

— Дай бог, чтоб вам становилось лучше и лучше.

— Нет, этого не будет.

Он пожал мне руку и повернулся к столу, потом опять обернулся ко мне, сделал два-три шага вперед и сказал шепотом:

— Через несколько дней отправлюсь на тот свет.

— Полноте, Николай Алексеевич.

— Нет, это так. Да оно и лучше.

Голос его дрогнул — в нем послышались слезы. Несмотря на невыносимые страдания, он все-таки хотел жить, и, когда проходили припадки и он мог вздохнуть свободно, он говорил своим близким: «А все-таки я рад, что я здесь еще, а не там»...

В последний раз я видел его 7 декабря. Накануне я поздравил его запиской со днем ангела и пожелал здоровья. Он написал мне в тот же день карандашом на листке почтовой бумаги, где было переписано его стихотворение «Букинист и библиограф», между прочим следующее: «Я не могу похвалиться здоровьем. Эта жизнь мне в тягость и сокрушение. Но лучше об этом не начинать»[11]. Я вошел тотчас же, как доктор от него вышел, и присел около кровати. Он начал говорить, но шепотом, говорил минут пять; иногда вдруг вырывалась из горла резкая нота, точно невольно, и шепот становился еще тише. Он попросил папироску и стал курить. Руки были худы страшно, и он жаловался, что рука устает держать папироску. Он весь истаял, но все мысли его вертелись на литературе, ее идеале, ее задачах.

«Сколько я передумал за это время, — шептал он, — боже мой, сколько передумал! Времени много. Закрыты глаза. Полагают, что я сплю, а я думаю, думаю, пока боли не напомнят о себе. И о том думаю, что без меня будет... Вот глаза закрываются... Устал. Заходите».

Через несколько дней был у него Боткин. Некрасов уже почти не говорил. Боткин вышел от него в слезах.

И вчера так многие плакали, провожая его в могилу...

А. М. Скабичевский

Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910) — литературный критик, историк, познакомился с Некрасовым в последний год издания «Современника».

«...В один из понедельников в феврале или марте я явился к Некрасову, в его квартиру в доме Краевского, на углу Бассейной и Литейной, — вспоминал Скабичевский, — и Некрасов предложил мне писать ежемесячно рецензии по беллетристике, причем выдал записку для получения новых книг из магазина Давыдова, если память меня не обманывает.

Но моему сотрудничеству в «Современнике» не суждено было продолжаться далее одного месяца. Я только и успел написать две рецензийки на рассказы из народного быта В. Слепцова и «Степные очерки» А. Левитова, как «Современник» прекратился» (А. М. Скабичевский, Сочинения, т. 2, СПб. 1903, стлб. 334).

В «Отечественных записках» Скабичевский стал постоянным сотрудником публицистического отдела, но он не приобрел того влияния в журнале, на которое рассчитывал. Однажды, недовольный задержкой публикации его статьи «Драма в Европе и у нас», Скабичевский, видимо, высказал Некрасову свои претензии. В марте 1873 года Некрасов отвечал ему: «Очень больно и неожиданно больно было мне читать Ваше письмо. Упоминание об унизительном положении, о помыкании и т. п., впрочем, лишает меня охоты объясняться. Позволю себе только вывести Вас из заблуждения касательно Вашей последней статьи. Мысль о том, что в этой статье надо

бы в конце кое-что изменить (о ненапечатании ее не было и речи) принадлежит не мне. В «Отечественных записках», как Вы знаете, три равноправных редактора; отдел, к которому принадлежит Ваша статья, находится в заведовании Г. З. Елисеева...» (XI, 244—245).

И позднее, в письме от 10 февраля 1878 года к Н. К. Михайловскому Скабичевский с обидой вспоминал: «Я продолжал быть сотрудником-работником, не только не имеющим никакого голоса в делах редакции, но даже в присутствии которого стараются избегать обсуждения этих дел...» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 486).

Действительно, работа Скабичевского не всегда, по-видимому, удовлетворяла редакцию журнала. Так Елисеев в письме от 6 июля 1879 года к Салтыкову-Щедрину высказывал свои соображения: «Скабичевский может быть очень полезен для «Отечественных записок», если его удалят от сюжетов *злобы дня*, для которых у него нет верного глазомера, и пристроят к сюжетам более определенным и спокойным» (*Елисеев*, стр. 46). Однако, несмотря на подчиненное место, которое занимал Скабичевский в журнале, его деятельность была разносторонней и полезной. Он опубликовал там литературно-критические работы о творчестве писателей-шестидесятников, о Толстом, Тургеневе, Островском, Гончарове. В 1870—1872 годах в журнале печатались главы из будущей книги Скабичевского «Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе. 1825—1860 гг.», уничтоженной по постановлению комитета министров.

В статьях о поэмах «Современники» (*БВ*, 1876, № 29) «Русские женщины» (*ОЗ*, 1877, № 3) Скабичевский отмечал большое общественное и художественное значение творчества Некрасова, демократический пафос его поэзии. Им же написан биографический очерк о поэте (*ОЗ*, 1878, №№ 5 и 6), который затем был расширен и предпослан первому посмертному изданию стихотворений Некрасова (см. об этом стр. 333). Его статья «Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор» (*БВ*, 1878, № 6), адресованная к «молодым друзьям», защищала писателя от наветов реакционной критики, от предвзятых мнений, давала высокую оценку его редакторской деятельности. В заключение статьи Скабичевский писал: «...в лице Николая Алексеевича Некрасова русская литература потеряла не только лучшего своего народного лирического поэта, но и лучшего редактора...»

Эта статья была запрещена для перепечатки в подцензурной «Вечерней газете». В резюме цензора говорилось: «Принимая во внимание, что при известной тенденциозности произведений Некрасова, ⟨...⟩ при всем еще памятных сценах и овациях, бывших на его похоронах, где главным образом деятелями являлась именно молодежь, едва ли возможно появление под предварительною цензурою статьи, обрисовывающей яркими красками музу и деятельность покойного поэта, статьи, обращенной еще именно к молодежи и имеющей характер как бы какого-то воззвания ⟨...⟩» (*ЦГИА*, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 83, л. 37 об.).

В народнической трактовке Скабичевского Некрасов предстает как выразитель настроений «всех слоев общества». Эта концепция сказывается и в главах, посвященных поэту в мемуарах Скабичевского «Кое-что из моих личных воспоминаний» (1892). Вместе с тем в них очень интересен анализ личности Некрасова, особенностей его самобытной натуры.

КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Но было бы крайне односторонне видеть в Некрасове одну только практическую предприимчивость и воображать, что он весь исчерпывался ею, представлял собою ходячую практичность. Рядом с этим элементом мы видим в нем и другие. Если бы Некрасов весь исчерпывался одной практичностью и жаждой нажиться, из него выработался бы один из тех литературных промышленников, которые, плывя всю жизнь между Сциллой и Харибдой литературного моря, к пятидесяти годам сколачивают изрядный капитальчик и, заботясь лишь о его округлении, очень бывают довольны, если им удастся обзавестись двумя-тремя каменными домиками, доходным имецьицем, и больше им ничего не надо. Таков, например, был Андрей Александрович Краевский или Григорий Евлампиевич Благосветлов. Совсем не таков был Некрасов. Как благодушно филистерское прозябание изо дня в день, так и скаредная радость при виде возрастающего из года в год капитальчика — были совершенно чужды его натуре. Это был человек, обла-

давший сильными страстями, которые постоянно требовали исхода в каких-нибудь потрясающих впечатлениях, и мелкая тина повседневных дрязг претила ему. По самой натуре своей это был боец в том смысле, что для него, как вода для рыбы, необходима была борьба с такими препятствиями и опасностями, в которых заключался бы более или менее отважный риск.

Одним словом, Некрасов принадлежал к типу тех людей, из которых вырабатываются или отважные мореходы и путешественники, Колумбы, Куки, Ливингстоны, или же пираты и контрабандисты. Недаром Некрасов заставил своего Каютина, в лице которого он воплотил свой идеал, в его стремлении нажиться не ограничиваться какими-нибудь спекуляциями в стенах столицы, а непременно путешествовать по трем странам света, подвергаясь всевозможным опасностям в борьбе с разными стихиями. Если бы Некрасов не обладал художественным талантом, устремившим его на литературное поприще, из него непременно выработался бы если не скиталец вроде Маклая-Миклухи, то тот же Каютин [1].

Самая обстановка Некрасова соответствовала его склонностям. Кто вошел бы к нему в квартиру, не зная, кто в ней живет, ни за что не догадался бы, что это квартира литератора, и к тому же певца народного горя. Скорее можно было подумать, что здесь обитает какой-то спортсмен, который весь ушел в охотничий промысел; во всех комнатах стояли огромные шкапы, в которых вместо книг красовались штуцера и винтовки; на шкапах вы видели чучела птиц и зверей. В приемной же комнате на видном месте между окнами стояла на задних лапах, опираясь о дубину, громадная медведица с двумя медвежатами, и хозяин с гордостью указывал на нее, как на трофей одного из своих самых рискованных охотничьих подвигов.

Нужно при этом заметить, что какая бы то ни было борьба увлекала Некрасова не столько достижением своей цели, ради которой она велась, сколько самой поэзией ее процесса! Если долгое время он не испытывал сильных впечатлений этой поэзии, и дни тянулись за днями в однообразных мелочах будничной жизни, он весь как-то опадал, им овладевало уныние, он делался угрюм, раздражителен и желчен. Наверное, в подобные моно-

тонные минуты жизни создались у него такие мрачные стихотворения, как «О погоде» или «Рыцарь на час». Когда же ему предстояло встать лицом к лицу с чем-либо вызывающим его на бой и напрягающим его нервы, он весь словно приосанивался, делался весел, разговорчив и глаза его горели...

Как бы это ни казалось странно с первого взгляда, тем не менее следует признать, что три такие, не имеющие, по-видимому, ничего общего между собой, занятия в его жизни, как издание журнала, карточная игра и охота, проистекали из одного и того же источника и имеют совершенно один и тот же характер. Не одно только увлечение передовыми идеями, но и не одна выгода заставляли его издавать журналы с рискованными направлениями; вместе с тем, действовало здесь и упоение борьбы с теми опасностями и всякого рода подводными камнями, с какой соединялось это дело. Когда Некрасову удалось отстоять журнал, провести какую-нибудь статью, печатание которой казалось с первого взгляда немыслимым риском, — он радовался и ликовал совершенно так же, как и в то время, когда ему удавалось подстрелить большого лося или уложить медведя. Увлекаясь подобного рода борьбой, он позволял себе многое такое, что могло казаться предосудительным с точки зрения строгой морали, но что он оправдывал, как военные хитрости. Жестоко ошибаются, таким образом, те, которые объясняют двоедушием те презрительные отзывы, которые делал Некрасов в Английском клубе о некоторых из своих сотрудников. В его глазах это была лишь стратегия, посредством которой он желал показать, как он сам мало ценит этих сотрудников, внушить кому следует, в свою очередь, не смотреть на них, как на каких-то опасных страшилищ.

Между тем как Некрасов вносил в издательское дело азарт игрока, в свою очередь, в самый разгар карточных турниров никогда не покидал его рассудок, который взвешивал с хладнокровием математического расчета все шансы выигрышей и проигрышей. Обыкновенно у нас считается аксиомой, что страсти омрачают рассудок; карточную же игру полагают такой гибельной страстью, которая, более чем какая-либо другая, отнимает у человека и волю, и разум. Некрасов служит вопиющим опровержением этой аксиомы. Та могучая сила воли, которой одарен был Некрасов от природы и которую он

еще более развил борьбой с внешними обстоятельствами жизни, ни на минуту не покидала его и в непрестанной борьбе с самим собой. Он так упорно и крепко держал в ежовых рукавицах все свои бурные страсти и таким был строгим хозяином самого себя, что, кто не знал его близко, тому он мог показаться человеком совершенно бесстрастным. Он сам однажды признавался по поводу дикого проявления гнева со стороны не помню уж кого-то, что и сам он расположен к необузданной вспыльчивости и в юности не раз выходил из себя; но однажды он дал себе слово никогда не позволять себе этого, — и с тех пор ни разу не подымал голоса ни на одну ноту. И, действительно, сколько я ни знал Некрасова, я не запомню ни одного случая, чтобы он на кого-нибудь рассердился и закричал.

При таком непреклонном самообладании Некрасов никогда не позволял себе в игре то, что называется *зарываться.* И здесь его увлекала не столько цель игры — выиграть кучу денег и наполнить ими карманы, сколько опять-таки самый процесс борьбы с слепой фортуной игры. Когда он возвращался домой веселый и ликующий после выигрыша и, напротив того, — угрюмый и мрачный, проигравшись, не самая прибыль или убыль денег обусловливали подобные настроения его, а сознание себя победителем или побежденным. Если бы по дороге из клуба он неожиданно получил сумму вдвое большую, чем проиграл, вряд ли эта легкая получка утешила бы его; желчь проигранной битвы продолжала бы мутить его. ⟨...⟩

Люди с темпераментом Некрасова редко бывают склонны к тихим радостям семейной жизни. Они пользуются большим успехом среди женского пола, бывают счастливыми любовниками или донжуанами, но из них не выходит примерных мужей и отцов. Понятно, что и Некрасов, принадлежа к этому типу, не оставил после себя потомства. Только под старость, когда страсти начали угасать в нем, он оказался способным к прочной привязанности к женщине, на которой и женился на смертном уже одре. Но это не мешало ему иметь нежное и привязчивое сердце. Он отнюдь не был сухим и черствым эгоистом, лелеющим и холящим только самого себя, и был способен питать глубокую, нежную и совершенно бескорыстную привязанность к тем немногим родным и друзьям, которые окружали его. Стоит вспом-

нить только отношения его к родной сестре, к Добролюбову и пр.

Все эти качества, составляющие существенные элементы характера Некрасова, конечно, не имеют ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Певец горя народного, конечно, должен быть, во-первых, Козьмою-бессребреником, во-вторых — обладать кротким и нежным сердцем, не пить, не курить, сидеть на чердаке и бряцать на лире впроголодь или же ходить по деревенским хатам и, прислушиваясь к стонам народного горя, заливаться слезами. И вдруг этот самый певец народного горя является перед вами в образе не то игрока, не то браконьера. Это может хоть кого сбить с толку.

Но в то же время сообразите, почему же все вышеозначенные качества Некрасова могли помешать ему сделаться певцом народного горя?.. Чтобы допустить это, нет никакой надобности делать такие хитроумные натяжки, какие мне приходилось не то слышать, не то читать: что, мол, на другой день после карточной игры Некрасов так страдал душой, под впечатлением крупного проигрыша, что в страданиях этих живо начинал чувствовать, что выносит народ, и сливался с ним, так как горе от проигранных двадцати тысяч, как и от сгоревшей хаты, само по себе, в сущности, одно и то же человеческое горе...

Такое курьезное предположение могло бы иметь еще хотя бледную тень правды, если бы было известно, что Некрасов писал такие свои стихотворения, как «Мороз, Красный нос» или «Коробейники», аккуратно после карточных проигрышей. Известно же нам нечто как раз противоположное. Именно в продолжение зимних сезонов в сутолоке столичной жизни он редко брался за перо. Не до того ему было в это время среди обедов, ужинов, карточных турниров, литературных чтений и хлопот об издании журнала. Не успевал он спать лечь после бессонной ночи, проведенной в клубе, как являлся метранпаж Чижов с корректурами, кто-нибудь из сотрудников по важному вопросу, масса просителей всякого рода, кучер докладывал, что у лошади нога засеклась, ветеринар являлся лечить собаку — до «Мороза ли Красного носа» тут было!

Известно, что Некрасов писал свои произведения преимущественно в деревне, или у брата в Ярославском

уезде, или на Чудовской станции Николаевской железной дороги, где у него была заведена небольшая охотничья дачка. ⟨...⟩

Аполлоном, требующим поэта к священной жертве, для Некрасова и была деревенская русская природа, которая умиротворяла его душу, заставляла его забывать о заботах суетного света и призывала его к священной жертве... А среди этой природы обступали его дядюшки Митяи, Проклы, тетушки Ненилы, «крестьянские дети», — и патриархальной простотой своей жизни, всей своей убогой обстановкой, наивно-трогательными рассказами о своих бедах и невзгодах будили в чутком, восприимчивом сердце его ноты того глубокого, искреннего сочувствия к народному горю, каким исполнены его бессмертные песни. Образ горячо чтимого учителя, В. Г. Белинского, вставал в это время из могилы в его воображении и звал его от «ликующих, праздно болтающих, омывающих руки в крови, в стан погибающих за великое дело любви» [2]. Вот под влиянием всех этих впечатлений Некрасов и превращался из того человека, каким знали его немногие его окружавшие, в певца горя народного, каким знает его вся Россия.

Одним словом, вот какое нравоучение следует из всего сказанного.

Было время, и так недавно еще, когда младенчествующая психология полагала, что каждый человек олицетворят собой известную добродетель или порок и весь, так сказать, исчерпывается своим олицетворением: уж если самоотверженный подвижник — так уж и каждый шаг его должен быть подвигом самопожертвования, подлец — так с ног до головы подлец; игрок только о том и должен помышлять ежеминутно, как бы кого обыграть и т. д. Но пора бы бросить подобную наивно-невежественную философию ввиду хотя того, что в последние годы психологи открыли не только возможность совмещения в одном человеке самых разнородных душевных качеств, но и факты двойственного и даже тройственного существования, заключающиеся в том, что один и тот же человек периодически может являться как бы двумя субъектами, не имеющими ничего общего между собой по своим характерам и нравственным качествам и даже претендующими носить различные имена.

Почему же не предположить, что и Некрасов представлял собой такую же раздвоенность? Иной Некрасов

был в суете столичной жизни, особенно где-нибудь в Английском клубе: там он мог напускать на себя большую долю тщеславия и фатовства, корчить из себя избалованного денди, принимать даже деятельное участие в оргиях гастрономического общества. Но среди деревенской обстановки и под влиянием родной природы и народной жизни в нем пробуждался иной человек, которого мы знаем по его дивным песням. ⟨...⟩

М. С. Волконский

Михаил Сергеевич Волконский (1832—1902), сын декабриста С. Г. Волконского, сблизился с Некрасовым в начале 60-х годов. Он сочувственно относился к его поэзии, положительно отзывался в письме к Некрасову от 20 февраля 1864 года о поэме «Мороз, Красный нос»: «Сейчас я прочел Ваш «Мороз». Он пробрал меня — не до костей и не холодом — а до глубины души тем теплым чувством, которым пропитано это прекрасное произведение. Ничто, до сих пор мною читанное, не потрясало меня так сильно и глубоко, как Ваш рассказ, в котором нет ни одного слова лишнего: каждое так и бьет вас по сердцу. Все это как нельзя более знакомо и близко мне, до 25-летнего возраста» («Звезда», 1925, № 6, стр. 270).

Рассказы Волконского о своем отце были использованы Некрасовым при создании поэмы «Дедушка» (1870). Волконский познакомил поэта с «Записками» своей матери, ставшие одним из главных источников поэмы «Княгиня М. Н. Волконская» (1872), появление которой нашло теплый отклик в семье Волконских. «Поэму вашу я прочел несколько раз сам, потом прочел ее своим, в том числе моей сестре, проводящей здесь со мною зиму, — писал М. С. Волконский Некрасову из Флоренции в марте 1873 года. — Поэма произвела самое лучшее впечатление; как сестра, так и я, по нашему родству с предметом поэмы, ничего не можем сказать против нее, а все в ее пользу» («Красная нива», 1928, № 1, стр. 8—9). И в своих воспоминаниях Волконский особенно выделяет «Русских женщин» Некрасова из всех литературных произведений о «добровольных изгнанницах».

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАПИСКАМ КНЯГИНИ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ВОЛКОНСКОЙ»

⟨...⟩ С Некрасовым я был знаком долгие годы. Нас сблизила любовь моя к поэзии и частые зимние охоты, во время которых мы много беседовали, причем я, однако же, обходил разговоры о сосланнных в Сибирь, не желая, чтоб они проскользнули несвоевременно в печать. Однажды, встретив меня в театре, Некрасов сказал мне, что написал поэму: «Княгиня Е. И. Трубецкая», и просил меня ее прочесть и сделать свои замечания [1]. Я ему ответил, что нахожусь в самых тесных дружеских отношениях с семьею Трубецких и что если впоследствии найдутся в поэме места, для семьи неприятные, то, зная, что поэма была предварительно сообщена мне, Трубецкие могут меня, весьма основательно, подвергнуть укору; поэтому я готов сообщить свои замечания в том лишь случае, если автор их примет. Получив на это утвердительный ответ Николая Алексеевича, а на другой день и самую поэму в корректурном еще виде, я тотчас ее прочел и свез автору с своими заметками, касавшимися, преимущественно, характеров описываемых лиц. В некоторых местах, для красоты мысли и стиха, он изменил характер этой высоко-добродетельной и кроткой сердцем женщины, на что я и обратил его внимание. Многие замечания он принял, но от некоторых отказался и, между прочим, отказался выпустить четырехстишие, в котором княгиня бросает куском грязи в только что покинутое ею высшее петербургское общество [2], к которому принадлежали ее родные и близкие друзья и к которому она, в действительности, стремилась душою из далекой ссылки до конца своих дней...

Поэма имела громадный успех, и Некрасов задумал другую. Раз он, приехав ко мне, сказал, что пишет о моей матери, и просил меня дать ему ее «Записки», о существовании которых ему было известно; от этого я отказался наотрез, так как не сообщал до тех пор этих «Записок» никому, даже людям, мне наиболее близким. «Ну, так прочтите мне их», — сказал он мне. Я отказался и от этого. Тогда он стал меня убеждать, говоря, что данных о княгине Волконской у него гораздо меньше, чем было о княгине Трубецкой, что образ ее выйдет искаженным, неверными явятся и факты и что мне первому это будет неприятно и тяжело, а опровержение бу-

дет для меня затруднительно. При этом он давал мне слово принять все мои замечания и не выпускать поэмы без моего согласия на все ее подробности. Я просил дать мне несколько дней на размышление, еще раз перечел «Записки» моей матери и, в конце концов, согласился, несмотря на то, что мне была крайне неприятна мысль о появлении поэмы весьма интимного характера и основанной на рассказе, который в то время я не предполагал предавать печати.

Некрасов по-французски не знал, по крайней мере, настолько, чтобы понимать текст при чтении, и я должен был читать, переводя по-русски, причем он делал заметки карандашом в принесенной им тетради. В три вечера чтение было закончено. Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и с словами: «Довольно, не могу», бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок. Тут я видел, насколько наш поэт жил нервами и какое место они должны были занимать в его творчестве.

Когда поэма была кончена, он принял мои замечания [3] и просил лишь оставить ему сцену встречи княгини Волконской с мужем не в тюрьме, как изложено в «Записках», а в шахте: «Не все ли вам равно, с кем встретилась там княгиня: с мужем ли или с дядею Давыдовым; они оба работали под землею, а эта встреча у меня так красиво выходит» [4]. Я уступил, но, уезжая из Петербурга, просил выслать мне, для просмотра, еще последнюю корректуру. Поэт этого не исполнил, и я получил от него при письме, полном извинений [5], поэму, уже выпущенную («Отечественные записки», Генварь 1873 года). Этим объясняется то, что в поэме проскользнуло несколько выражений, не отвечающих характеру воспетой им женщины.

А. Ф. Кони

Прогрессивный судебный деятель, литератор, публицист Анатолий Федорович Кони (1844—1927) поддерживал отношения с Некрасовым с начала 70-х годов, когда давал ему консультации по юридическим вопросам, связанным с его редакторской деятельностью. Имя Некрасова, который в 40-е годы активно сотрудничал в изданиях отца А. Ф. Кони — Ф. А. Кони — «Литературной газете», «Пантеоне и репертуаре...», стало ему рано известным. «Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи... я уже интересовался им по рассказам своего отца...» — вспоминал мемуарист (А. Ф. Кони, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6, М. 1968, стр. 258). В студенческие годы Кони был знаком и с произведениями Некрасова. Не будучи приверженцем революционно-демократической программы «Современника», Кони высоко ценит в поэзии Некрасова мотивы «мести и печали», пафос обличения, отрицания крепостнического режима. Он считает великой заслугой поэта то, что он вызывал «сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил» (там же, стр. 257).

Первоначально чисто деловые отношения затем стали дружескими. Этому способствовало незаурядное дарование Кони, его живой ум, широта интересов, высокая культура, его служебное и общественное положение, позволявшее ему выполнять разного рода просьбы многих русских писателей. Известно, что рассказы Кони из своей судебной, жизненной практики послужили источ-

ником для ряда литературных сюжетов. Некрасов воспользовался в «Кому на Руси жить хорошо» одним из рассказов Кони для создания песни «Про холопа примерного — Якова верного».

А. Ф. Кони много сделал для увековечения памяти Некрасова. После смерти А. А. Буткевич, сестры поэта, он сохранял рукописи поэта. В 1883 году, советуя А. Н. Пыпину написать «биографию Некрасова и исследование о значении его», он предлагал поделиться своими сведениями о поэте, писал ему: «Я лично из выдающихся бесед с ним могу указать на долгий разговор по поводу воздвигнутого мною во время оно гонения на рулетку в Петербурге — и на генезис отрывка «О Якове верном — холопе примерном» в последней части его «Кому на Руси жить хорошо» (*ГПБ*, ф. 621, ед. хр. 410, л. 11 об). Эти два эпизода — в центре воспоминаний Кони о Некрасове.

Воспоминания Кони о Некрасове были впервые опубликованы в «Вестнике Европы» (1908, № 5). К 100-летию со дня рождения поэта воспоминания были автором переработаны и дополнены и в новой редакции напечатаны в книге: А. Ф. Кони, Некрасов. Достоевский. По личным воспоминаниям, Пг. 1921.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

В первый раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор — почему, уже не помню — коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. «Эх, отец! — сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам), — ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?..» — окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только что схороненного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не по-

явившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: «Пускай умру — печали мало, одно страшит мой ум больной: чтобы и смерть не разыграла обидной шутки надо мной», — говорил он, и казалось, что это — замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное[1]. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати «Русские женщины»[2], и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая, волновался, и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он, которого так часто упрекали в неискренности, прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую, и в особенности за Трубецкую, те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение «Недавнее время»), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она, по-видимому, не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которою начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь «на дно». Поэтому «борьба за

существование» меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, *надорванность* его молодости. Недаром говорил он про себя: «Праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда...»[3]

Мы возвращались как-то, летом 1873 года, вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает «Кому на Руси жить хорошо», он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. «Постоянно будить надо, — без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут», — прибавил он. «Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов, — сказал я. — Вот, например, хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей...»

— А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? — спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губернии и в Бельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 года «на кондициях» в Пронском уезде Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки.〈...〉

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходках, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, «под-

вывая» волков, на что он был большой мастер, и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда «приходил француз». Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне «барина» и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. «Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука?» — полюбопытствовал он узнать. «Двадцать рублей». — «В год?» — «Нет, в месяц». — «Ой ли?! Да за что же это так много?» — «Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен». — «Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа?» — «Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю», — «С ними?! — сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: — Врешь ты, родимый!..» Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время, — но, конечно, не в семье Драшусовых — смотрели на учителя.

«А где ж ты там, парень, живешь? — спросил он меня в другой раз. — В господском доме?» — «Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо: тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю». — «В бане? — задумчиво сказал старик. — И тебе не боязно? *Она-то* по ночам не ходит? Не пужает тебя?» — «Кто она? Какая она?» — «Да ведь тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела, и другое разное такое — совсем со свету сживала. Та возьми да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и «коронили» — значит, потрошили. А к чему это — неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!» Выслушав это, я понял, почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и

внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крылечке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что днем любила заходить ко мне и побеседовать с *учителем*. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере — человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, не находимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, *прощенный* барином, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чертово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, — как рассказывал в первые минуты после пережитого барин, — отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял

в руки вожжи. Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. «Нет! — отвечал ему кучер, — не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю...» И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричавшего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довезти меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: «Я этим рассказом воспользуюсь», — а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: «О Якове верном — холопе примерном» [4], прося сообщить, «так ли?». Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и через месяц получил от него отдельный оттиск той части «Кому на Руси жить хорошо», в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников «Отечественных записок», где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный «друг писателей» Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны ввиду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: «А сколько вам, Михаил Александрович, лет?» — он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: «L'état c'est moi!»* За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя в те времена, когда «жизнь была так коротка для песен этой лиры, — от типографского

---

* Буквально: «Государство — это я» (*франц.*). Здесь игра слов: L'etat (государство) произносится, как русское «лета». (*Прим. А. Ф. Кони.*)

станка до цензорской квартиры»[5], и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами и говорившему: «Сойдет-де и так», — «Это кровь ⟨...⟩ проливается! Кровь моя, — ты дурак!»[6]

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: «Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать», — и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтейство, он сказал: «После моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и, помолившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. «Ведь вот, — сказала она, — шпионина, а душу в себе имеет человечью!» Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь в себе против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году[7], свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении «Суд». У меня сохранилось его письмо от 3 апреля 1873 года. «Разрешите, пожалуйста, — писал он, — *должны ли мы* напечатать прилагаемое объяснение судьи За-

Гибалова? И может ли выйти что-либо неприятное для редактора (в случае, если б мировой судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу) или нет? ⟨...⟩ Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. ⟨...⟩Ответ ваш необходим *сегодня*. ⟨...⟩Очень обяжете. ⟨...⟩Искренно преданный Вам Н. Некрасов»[8].

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь главным образом на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. «Calomniez, calomniez — il en restera toujours quelque chose!» * По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колемине, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. Ввиду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить на основании 512-й статьи XIV тома арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49 500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть, с дурным и злорадным умыслом, уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы гибельно отразиться на средствах для издания «Отечественных записок», както рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я под-

---

* «Клевещите, клевещите — что-нибудь да останется!» *(франц.)*

робно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колемине и выяснил ему, *что именно* разумеет закон под словами «устройство игорного дома» и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущую его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

⟨...⟩ Во время долгой и тяжкой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: «Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает *некогда*. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово — одно из самых ужасных. Петербург — это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших — и тоже бесплодных — жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю — а, оглядываясь назад, нахожу, что нам *все и всегда было некогда*. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только *умирать есть время...»*

Г. И. Успенский

Глеб Иванович Успенский (1843—1902) так же, как и Некрасов, пережил период мытарств, разочарований, нужды и одиночества; лишь с конца 60-х годов, по его словам, он стал ощущать «нравственную поддержку добрых и симпатичных» людей (Г. И. Успенский, Полное собр. соч., т. XIV, Изд-во АН СССР, 1954, стр. 577). Среди этих людей был Некрасов, заметивший тогда «очень бедного, очень деликатного и очень даровитого литератора» (XI, 82).

С 1865 года Успенский сотрудничал в «Современнике», а затем в «Отечественных записках», до их закрытия. Все основные произведения писателя, написанные в 70-е и в начале 80-х годов, были опубликованы в этом журнале. Некрасов поддерживал смелый, горький и близкий ему по демократическому духу талант Успенского.

Документы, рассказывающие о личных взаимоотношениях Некрасова и Глеба Успенского, очень скупы. В письмах Успенского, свидетельствах современников зафиксированы эпизоды, связанные главным образом с денежными просьбами, расчетами и т. п. Постоянно нуждаясь, Успенский часто просил Некрасова «одолжить» в «счет будущей части» рассказа столько-то рублей. «Необычайно выразительна была его фигура в дни приема в квартире Некрасова на Литейной в доме Краевского, — вспоминал П. Д. Боборыкин, — Успенский в приемной комнате (где стоял одно время и бильярд) ходил в сторонке, сильно озабоченный, со складкой на

лбу и усиленным подергиванием бородки, и тревожно взглядывал на дверь во внутренние комнаты, откуда должен был появиться Некрасов.

В следующей комнате (где в ящик подзеркальника Некрасов имел привычку класть свой крупный выигрыш) бедный Глеб Иванович подолгу ходил в ногу с Некрасовым и, разумеется, просил новый аванс» (П. Д. Боборыкин, Милая тень. — «Русское слово, 1908, № 129). «Все пишу о деньгах — как мне это наскучило — ужас» (Г. И. Успенский, Полное собр. соч., т. XIII, 1951, стр. 180). Также стеснительно и робко Успенский просил Некрасова «извинить» его за «медленность» в работе, предварительно посмотреть его рукопись и т. д. Некрасов обычно внимательно относился к его просьбам. «Некрасов дал мне долгу 300 рублей, — писал он в марте 1869 года, — и зачеркнул 210 рублей долгу, который оставался от «Современника». «Что Вы, — сказал он мне, — за несчастный, что одни будете принимать долг «Современника»? Кругом Вас люди, которые должны мне в тысячу раз больше, — и не думают об этом долге... Я Вам его зачеркну». И зачеркнул» (там же, стр. 54).

В издательских, журнальных делах Некрасов был для Успенского непререкаемый авторитет. «Если бы Вы были так добры, что заглянули бы ко мне, я бы показал Вам имеющиеся материалы, что печатать и что нет, — это необходимо сделать при Вашем содействии», — писал Успенский в апреле 1874 года, когда возник разговор об издании его сочинений (там же, стр. 133).

Глеб Успенский ценил Некрасова и как поэта. В. В. Тимофеева-Починковская вспоминала одну из встреч с Успенским в начале 70-х годов: «А знаете, Варвара Васильевна, — обратился он вдруг ко мне. — Я сегодня долго проговорил с Некрасовым... Какие у него удивительные глаза!. Просто заворожил он меня сегодня... Вот где именно можно сказать его же стихами...

Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны!

Он прочитал эти два стиха вполголоса, просто, как будто думал вслух и сам задумываясь над глубиной сокрытой в них мысли. Ни прежде, ни потом, никогда не слыхала я никаких лирических звуков от Глеба Успен-

ского. Он точно стыдился или пренебрегал поэзией... И вдруг стихи — момент лирического экстаза! ⟨...⟩

«Необыкновенный это человек! — задумчиво прибавил он опять о Некрасове. — Я с ним без волнения говорить не могу... И что мы такое пишем? Зачем? Все мы вообще?.. А вот он... Одним взглядом всю душу перевернет... все внутри заработает!» («Минувшие годы», 1908, № 1, стр. 123—124). Н. К. Михайловский также сохранил в памяти эпизод, подтверждающий любовь Успенского к Некрасову. «Мне, — писал он, — вспоминается один вечер или ночь зимой 1884 или 1885 года. Я жил в Любани, ко мне приехали из Петербурга гости, большей частью уже не молодые люди, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том, о сем; потом кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя «Рыцаря на час». И вот: комната в маленьком деревянном доме; на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма: в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большей частью не молодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и — обрывается: слезы не дали кончить...» (Н. К. Михайловский, Отклики, т. II, Сб. 1904, стр. 38).

Успенского возмутили статьи Е. Белова *(СПб. вед.*, 1878, № 8), одного из сотрудников тифлисской газеты «Обзор» (1878, № 2), отрицавших оригинальность и значимость поэзии Некрасова. Полемизируя в статье «Опять о Некрасове!» с Е. Беловым, реакционной и либеральной прессой, Успенский видел заслугу Некрасова в том, что он мог «так определенно направить ум и сердце нарождавшегося поколения» («Обзор», 1878, № 27). «Это русский человек весь как на ладони, — писал Успенский там же, — и к тому же громадный и именно русский поэт. Его место не в храме русской славы ⟨...⟩, а там, где живет и целыми гнездами залегает русская печаль, плач, скрежет зубов...» Эта же мысль выражена и в его воспоминаниях о своем разговоре с поэтом по поводу возможного финала поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Воспоминания были написаны Успенским для газеты «Пчела» и там же впервые опубликованы (1878, № 2, 8 января, Приложение).

КОМУ ЖИТЬ НА РУСИ ХОРОШО

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

В 662 № «Нового времени» г. Незнакомец, рассказывая о своем знакомстве с покойным Н. А. Некрасовым, говорит между прочим о том, что Николай Алексеевич возлагал большие надежды на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» и сожалел, что болезнь не дает ему окончить этого труда, сожалел потому, что именно теперь, в дни недуга, весь ход поэмы выяснился ему как нельзя лучше и шире. «Начиная (поэму), — говорил Николай Алексеевич, — я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала»...[1]

Об этой поэме раза два приходилось беседовать с Николаем Алексеевичем и пишущему эти строки. Действительно, Николай Алексеевич много думал над этим произведением, надеясь создать в нем «народную книгу», то есть книгу, полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был войти весь опыт, данный Николаю Алексеевичу изучением народа, все сведения о нем, накопленные, по собственным словам Николая Алексеевича, *«по словечку»* в течение двадцати лет.

Однажды я спросил его:

— А каков будет конец? Кому на Руси жить хорошо?

— А вы как думаете?

Николай Алексеевич улыбался и ждал.

Эта улыбка дала мне понять, что у Николая Алексеевича есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и, чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев.

— Этому? — спросил я.

— Ну вот! Какое там счастье!

И Николай Алексеевич немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мной счастливца.

— Так кому же? — переспросил я.

И тогда Николай Алексеевич, вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой:

— *Пья-но-му!*

Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствую-

щие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову, и т. д. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо.

Это окончание поэмы в литературных кругах известно, по всей вероятности, не мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей.

А. А. Плещеев

Александр Алексеевич Плещеев (1858—1944) — драматург, театральный критик, сын А. Н. Плещеева, поэта-петрашевца, секретаря редакции «Отечественных записок». А. Н. Плещеев после ссылки сотрудничал в «Современнике», выполнял поручения Некрасова. Так, в одном из писем к Н. В. Гербелю (1868) он просил: «Передайте Некрасову, что якушкинских рукописей ⟨фольклориста П. И. Якушкина⟩ не смогу разыскать» (*ГПБ,* ф. 179, ед. хр. 85, л. 8 об.). Некрасов предлагал А. Н. Плещееву вести в «Современнике» отдел «Московской хроники», а как только решился вопрос о переходе в его руки «Отечественных записок», пригласил Плещеева сотрудничать в журнале. (О взаимоотношениях между Некрасовым и А. Н. Плещеевым см. статью Л. Пустильник в сб. «О Некрасове. Статьи и материалы», вып. II, Ярославль, 1968.) До переезда в Петербург в конце 1871 года Плещеевы жили в Москве; по пути в Ярославль, Карабиху Некрасов останавливался в Москве, приезжал к Плещеевым на дачу в Петровско-Разумовское. А. А. Плещеев вспоминал: «С Некрасовым мне не раз случалось в Москве проводить время. Он ⟨...⟩ приглашал отца и меня обедать в русский трактир Гурина ⟨...⟩. Иногда обедали с нами Салтыков-Щедрин и В. П. Гаевский, будущий председатель Литературного фонда. После обеда почти всегда ездили в экипаже в красивое Кунцево, где отдыхали и гуляли» (Александр Плещеев, Что вспомнилось. Актеры и писатели, т. III, СПб. 1914, стр. 2). После одной из таких встреч летом 1871 года А. Н. Плещеев писал Некрасову в Ка-

рабиху: «Передайте мой поклон добрейшему Михаилу Евграфовичу и Зинаиде Николаевне. Она обещала столько разных веселых вещей моему Сашке, что он и спит и видит, как бы попасть в Карабиху» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 447).

Дружеские отношения Некрасова с Плещеевыми продолжались и в Петербурге.

Встречи А. А. Плещеева с поэтом были эпизодичны, что отразилось и на характере его воспоминаний, не претендующих на обобщения, аналитические оценки.

Воспоминания Плещеева, касающиеся пребывания Некрасова в Москве, в Петербурге, были впервые опубликованы в двадцать пятую годовщину со дня смерти поэта (*БВ*, 1902, № 368, 22 декабря). Впоследствии они вошли в книгу мемуаров Плещеева об актерах и писателях (1914). В 1907 году в «Петербургской газете» (№ 355, 27 декабря) появились его заметки: «Из уцелевших в памяти воспоминаний», в которых рассказывалось о чтении поэтом «Трех элегий», о его внимании к семье Плещеевых, о похоронах Некрасова.

В 1927 году в эмиграции (в Париже) А. А. Плещеев написал новые воспоминания «Мои встречи с Некрасовым», которые вобрали в себя и многие его более ранние мемуарные заметки.

I

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

В ПЕТЕРБУРГЕ

Из Москвы мы переехали в Петербург, где Некрасов обещал отцу постоянные занятия в редакции «Отечественных записок».

Это было в самом начале семидесятых годов. Отец мой занял место секретаря редакции. Обязанности его были не сложны: раз в неделю собирались у Некрасова, принимал и возвращал рукописи[1]. Кое-что читал дома и сообщал о прочитанном Николаю Алексеевичу.

Некрасов был после нашего приезда у нас в гостях и больше не заходил, несмотря на то, что мы жили

близехонько от него. Некрасову тяжело было взбираться по лестнице, а лифтов тогда не было.

С этого времени мне приходилось бывать у Некрасовых, то с отцом, то по поручению отца с письмами бегал, то заходил к ним один, просиживая часами у жены Николая Алексеевича, которая ласково меня принимала. Зинаида Николаевна, на мой взгляд, была красавицей, располагавшей к себе и нежным взглядом, и всегда приветливой улыбкой. Волосы ее были светлые, профиль на редкость правильный, римский, сказал бы я. Душа русской добрейшей женщины чувствовалась в ней с первого знакомства.

Возили меня Некрасовы в Большой театр, где у них была абонирована ложа в оперу. Слушали мы оперу «Фра-Дьяволо»[2] с Ф. Комиссаржевским, тогда самым модным тенором. Ему подавали в изобилии цветы, подарки. Был ли это бенефис его или первый выход в сезоне — не помню. Сам он был красив и чаровал общество. Некрасов, который приехал ко второму акту, объяснял мне происходившее на сцене.

Возили меня Некрасовы еще в балет. Были раз в итальянской опере. Каждый спектакль составлял для меня событие. 〈...〉

Недавно З. Н. Гиппиус, вспоминая о моем отце, рассказывала, как однажды ему читал одно из своих стихотворений Некрасов. Разрыдался и поэт, и слушавший его Плещеев.

Вспоминаю и я, как в этой большой комнате Некрасов читал отцу первую часть «Русских женщин». Я был тут же, и нами ограничивались все слушатели. Некрасов был сам захвачен поэмой и читал с чувством удовлетворенности. Отец рассказывал потом, что обыкновенно он читал свои вещи неохотно. «Русские женщины» явились незабываемым событием в тогдашних литературных кружках еще до напечатания их. Все говорили об этой сильной художественной вещи; уверяли, что Некрасов не писал никогда ничего подобного.

Хриплый, слабый голос поэта не нарушал впечатления слушателя. Отец поздравил и благодарил Николая Алексеевича.

Я забыл, впрочем, упомянуть еще об одном слушателе «Русских женщин» — о любимой собаке Николая Алексеевича — Кадо, которая чувствовала себя здесь вторым хозяином. Сотрудники «Отечественных записок»

были ее друзьями. Глеб Успенский говорил, что она лаяла только на чиновника цензурного комитета.

Две фигуры оставались неизменными в квартире Некрасовых: Никанор, красивый, бородатый крестьянин Ярославской губ., показывавшийся всегда в рубахе и плисовом пиджаке, в сапогах с длинными голенищами, и Василий, слуга и друг поэта, ходивший за ним как нянька.

Глеб Иванович Успенский всегда пожимал ему руку, называя его по имени и отчеству, и мой отец тоже.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР С УЧАСТИЕМ НЕКРАСОВА

Н. А. Некрасов избегал публичных выступлений, ему тяжело было читать громко, голос его был слабый и хриплый.

Тем не менее он сделал исключение для Литературного фонда и выступил на вечере в его пользу, в зале купеческого клуба на Невском пр. у Казанского моста [3].

Зал небольшой, человек на 500. Позднее это помещение занял учетный банк. В вечере участвовали А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, П. И. Вейнберг.

Майков тоже был редким гостем эстрады. Читал он мастерски, и его шумно приветствовали за стихотворение «У памятника Крылова», нигде еще тогда не напечатанное.

Наконец, после антракта, из комнаты, отведенной для участвовавших в этом вечере, показалась фигура Некрасова. Поэт пробирался вдоль стены пред первым рядом публики. Кафедра находилась посередине узкой залы, а места для публики тянулись вдоль зала. Зала дрогнула, публика поднялась с мест, а позади ее растворилась дверь и хлынула как поток молодежь. Некрасов шел тихо под неумолкаемый гром зала.

Вот он у кафедры! Раскланивается и собирается читать. Снова взрыв аплодисментов и крики. У многих из нас на глазах слезы. Общество пришло выразить любимому поэту глубокое уважение к нему, восхищение его талантом, а может быть, и протест в лице его против тех преследований передовой русской мысли, за которую поэт страдал и сражался.

Некрасов долго не мог начать чтения новых и еще не напечатанных «Трех элегий»... Мне они особенно

памятны и близки сердцу, потому что посвящены моему отцу. Начинаются они строками: «О, что изгнанье, заточенье... Захочет, выручит судьба»... [4]

Чтение закончено, и новая овация великому поэту. Он почти не сталкивался лицом к лицу с публикой, его мало видели, но хотели и искали случая видеть. Литературный вечер фонда способствовал этому свиданию. Можно было сказать, что общество пришло не только слушать, но и смотреть Некрасова.

II

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Вспоминаю кое-какие мелочи о Некрасове.

В Петербурге я бывал у Некрасова на Литейном, в доме Краевского, где поэт жил до конца жизни. И теперь еще я вспоминаю об этом, посматривая на портрет поэта, который он мне подарил 30 мая 1872 года, с автографом: «Саше Плещееву на память. Н. Некрасов». Жена поэта, Зинаида Николаевна, в этот же день подарила также мне свой портрет. Они только что снимались у Бергамаско. Все это было так далеко, что смутно лишь припоминаешь два-три лица, с которыми приходилось встречаться у Некрасова в то время. Сохранился в памяти отлично сам Николай Алексеевич с его сиплым голосом, особенно резким, когда поэт смеялся. Около него находилась всегда на почетном месте собака Кадо; в комнатах показывались камердинер Некрасова Василий и красивый мужик в бархатном пиджаке Никанор.

Обстановка квартиры была самой обыкновенной и довольно мрачной на вид: на столах, особенно в кабинете Некрасова, замечался хаос, который исчезал лишь с отъездом поэта. Приходя к Некрасову, не чувствовалось, что приходишь в гости, напротив, чувствовалось как будто у себя дома. Простота была здесь самая привлекательная. Отец мой глубоко уважал Николая Алексеевича и всюду, где только мог, подчеркивал отношение Некрасова к сотрудникам. Передо мной два письма поэта к моему отцу, написанные именно в семидесятых годах. Ввиду интимности этих писем я не хочу их печатать. Из этих писем можно видеть, насколько Некра-

сов хотел помочь отцу и хлопотал по одному денежному делу. Одновременно с этим Николай Алексеевич делает приписку: «на случай неуспеха могу вам предложить взять у меня жалованье вперед за два месяца» [5]. Времена были тогда для отца тяжелые, и постоянной отзывчивости Некрасова отец не мог забыть до самой смерти. Он возмущался, когда не знавшие Николая Алексеевича лица характеризовали его совершенно в ином свете [6].

Сотрудники Некрасова, окружавшие его, помнят, какой это был человек, а мнения, создаваемые понаслышке, конечно, ничего не стоят.

В РОДНЫХ МЕСТАХ. НА ОХОТЕ

А. А. Буткевич

Сестра поэта Анна Алексеевна Буткевич (1823—1882) всю свою жизнь была близка с Некрасовым. Оба относились друг к другу с большим участием, вниманием и любовью. «Ты одна мой настоящий друг», — писал он ей в 1869 году (XI, 154). Когда между Анной Алексеевной и женой поэта Зинаидой Николаевной наметился разлад, Некрасов очень тяжело это переживал. «Моя усталая и больная голова привыкла на тебе, — писал он сестре, — на тебе единственно во всем мире, останавливаться с мыслью о бескорыстном участии, и я желаю сохранить это за собой на остаток жизни» (XI, 340). Их переписка отражает эти необыкновенно сердечные отношения, их искреннюю озабоченность судьбой друг друга. Некрасов посвящал сестру в свои журнальные и личные дела, приглашал ее, занимавшуюся переводами с французского, участвовать в журнале «Отечественные записки», по завещанию предоставил ей «в полную исключительную собственность» права на издание своих сочинений. А. А. Буткевич посвящено стихотворение «Мороз, Красный нос» с особым стихотворным вступлением «Ты опять упрекнула меня...» (II, 166).

Н. Г. Чернышевский, хорошо знавший Буткевич, так ее охарактеризовал: «Она была женщина чрезвычайно скромная. Можно было десятки раз вести при ней разговоры о литературных делах с Николаем Алексеевичем и не услышать от нее ни одного слова, относящегося к содержанию этих разговоров, до такой степени

была она чужда желанию выказывать свой ум и свою начитанность» (*Чернышевский,* т. 1, стр. 754).

А. А. Буткевич была издательницей первого посмертного собрания стихотворений поэта. О том, с какой любовью и преданностью она этим занималась, можно судить по отзыву П. В. Анненкова. 12 апреля 1879 года он писал ей: «Вы исполняете свой долг перед поэтом, как немногие, и какой бы Вы памятник ни поставили на могиле его, он не будет лучше этого» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 97).

Происхождение ее воспоминаний таково. А. А. Буткевич хотела составить биографию поэта. Для этой цели она обрабатывала сразу же после смерти брата его автобиографические записи, делала свои наброски, которые частично использовал А. М. Скабичевский в биографическом очерке, опубликованном в «Отечественных записках» (1878, №№ 5, 6), включенном затем в первое посмертное издание стихотворений Некрасова.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Брат мой всю жизнь любил охоту с ружьем и легавой собакой (Об охоте у отца*). 10-ти лет он убил утку на Печельском озере; был октябрь, окраины озера уже

* По поводу охоты, вспоминаю такой случай: в первые годы, проводя лето у отца в деревне, брат иногда ездил с ним на охоту с борзыми и гончими собаками. Брат не любил этой охоты, а отец очень любил и всегда радовался, когда ему удавалось увлечь с собой брата. В одной из таких поездок кто-то из охотников — подъезжий или доезжачий — сделал большую ошибку, вследствие которой собаки упустили зверя. Отец вышел из себя и в порыве гнева наскакал на виноватого и отдул его арапником. Брат, не говоря ни слова, поворотил лошадь и ускакал домой; вскоре воротился и отец не в духе и сердитый. Объяснений никаких не последовало, но брат стал избегать отца — уходил с ружьем и собакой и пропадал по несколько дней, охотясь за дичью с своим сверстником Кузьмою Орловским и его отцом, отлично знавшим все места и какую птицу где нужно искать. Отец, видимо, скучал — на охоту не ездил. Однажды, когда брат вернулся, отец послал меня непременно уговорить его, чтобы пришел обедать. Обед прошел довольно натянуто, но затем подано было шампанское, за которым и последовало объяснение. Отец горячился, оправдывался, что без драки с этими «скотами» совсем нельзя, что тогда хоть всю охоту распускай, но тем не менее дал слово, что при брате никогда драться не будет, и сдержал его. (*Прим. А. А. Буткевич.*)

заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. Приучили его к верховой езде очень оригинально и не особенно нежно. Он сам рассказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. Дело было зимой — мягко. Зато после всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело садился на клячу и на бешеного жеребца. Но ездить любил шагом и хорошо стрелял с лошади.

По мере того как средства его росли и он делался самостоятельным, он придал охоте своей характер по своему вкусу и своим планам. Охота была для него не одною забавой, но и средством знакомиться с народом. Каждое лето периодически повторялась. Поработав несколько дней, брат начинал собираться. Это значило: подавали к крыльцу простую телегу, которую брали для еды, людей, ружья и собак. Затем вечером или рано утром, на другой день брат отправлялся сам в легком экипаже с любимой собакой, редко с товарищем — товарища в охоте брать не любил. Он пропадал по несколько дней, иногда неделю и более. По рассказам происходило вот что: в разных пунктах охоты у него были уже знакомцы — мужики-охотники; он до каждого доезжал и охотился в его местности. Поезд, сперва из двух троек, доходил до пяти, брались почтовые лошади, ибо брат набирал своих провожатых и уже не отпускал их до известного пункта.

По окончании утренней охоты, выбиралось удобное место, брат со всей компанией завтракал, говорил сам мало или дремал.

Затем компания, которая получила *немало* водки и сколько угодно мяса, была разговорчива — брат слушал или нет, это его дело.

Он говаривал, что самый талантливый процент из русского народа отделяется в охотники: редкий раз не привозил он из своего странствия какого-либо запаса для своих произведений. Так, однажды, при мне он вернулся и засел за «Коробейников», которых потом при мне читал крестьянину Кузьме. В другой раз засел на два дня, и явились «Крестьянские дети». В самом деле, разве возможно выдумать форму этой идиллии? Этот сарай с цветами-глазками!

Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи,
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз:
Чу! шепот какой-то... а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Всё серые, карие, синие глазки —
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье,
Его я узнаю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье...

«Орина, мать солдатская» сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшить.

Одно стихотворение, о котором сожалел, что не написал, это *эпитафии*. С одним из своих друзей, охотником, он однажды переходил кладбище. Гаврило рассказывал ему о покойниках, могилы которых обращали на себя внимание брата. Я помню только эпитафию, произнесенную Гаврилой помещику:

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле,
Травил зайчишек груды
И умер пьяный в поле
От водки и простуды.

На зимней охоте с ним однажды был казус. Он набрал до 80 человек и ехал на медведя. Мужики шли впереди. Увидал брат зарево пожара и всю свою команду повернул от медведя туда. Деревню спасли, но охота на тот день пропала. Мужики не жалели медведя, и убить его брату не пришлось, а деньги отдай. Надували его мужики много, но часто поступали с ним честно.

Круг его летней охоты — луга смежных губерний: Ярославской, Костромской, Владимирской. Он их хорошо знал, и большая часть его типов принадлежит средней России. Память у него была удивительная, он записывал *одним словечком* целый рассказ и помнил его всю жизнь по одному записанному слову. При работе тетради эти

с не понятными никому отметками были перед его глазами.

У него был еще другой род писанья, это так называемые *рецепты*[1]. Написав что-нибудь нецензурное, он обрезывал листок, оставляя только среднюю узкую полоску, всегда по ней мог прочесть, но никто более. Он находил, что в России должно пускать в публику лишь то, что можно при удобных обстоятельствах напечатать. Куда делись эти рецепты? Сколько могу судить, брат переделал их в удобные стихотворения или просто выжидал время, чтобы напечатать.

Брат мой в деревне и в городе был другим человеком. Он не был зол, но печать гнева и печали легла на нем рано. В мелочах слишком колеблющийся, он был решителен в трудном положении.

Характер его вообще был сосредоточенный, молчаливый и скрытный. Напускная любезность (в городе) была нам ясна. Ненавидел фразеров и, заслышав фальшиво-либеральный тон, начинал говорить пошлости. Многие так и уходили, думая, что он говорил искренно, и составляли о нем свои замечания. Врагов у него, вследствие разных причин, было много. Любили его только те, которые его хорошо знали.

С 1844 года по 1863, пока брат не купил себе имения Карабиху, он почти каждое лето проводил в деревне у отца в сельце Грешневе, в 20 верстах от Ярославля. Если брат извещал о дне приезда, отец высылал в Ярославль тарантас, чаще же брат нанимал вольных лошадей или просто телегу в одну лошадь.

Задолго до приезда брата в доме поднималась суматоха. Домоправительница Аграфена Федоровна с утра звенела ключами, вытаскивала из сундуков разные ненужные вещи — «может, понадобится», чистила мелом серебро, переставанливала мебель, вообще выказывала большое усердие. Охотничьи собаки получали свободный доступ в комнаты, забирались под шумок на запрещенный диван и только вскидывали глазами, когда домоправительница торопливо проходила мимо них.

Отец принимал самое деятельное участие в снаряжении разных охотничьих принадлежностей; несколько дворовых мальчишек сносили в столовую ружья, пороховницы,

патронташи и проч. Все это раскидывалось на большом обеденном столе; выдвигался ящик с отвертками всех величин, и начиналась разборка ружей по частям. Отец был весел, шутил с мальчиками и только изредка направлял их действия легким трясением за волосы.

При таких охотничьих приготовлениях к приезду брата присутствовал обыкновенно немолодой уже мужик, известный в окрестности охотник Ефим Орловский (из деревни Орлово), за которым посылался нарочный с наказом явиться немедленно: «Николай Алексеевич ждет».

Как теперь вижу всю эту картину: отец в красной фланелевой куртке (обыкновенный его костюм в деревне, даже летом) сидит за столом, вокруг него мальчики усердно чистят и смазывают прованским маслом разные части ружей. На конце стола графинчик водки и кусок черного хлеба. В дверях из прихожей в столовую стоит охотник Ефим Орловский с сыном Кузяхой, подростком, тоже охотником, который уже успел отстрелить себе палец.

Время от времени отец, обращаясь к одному из мальчиков, говорит коротко: «Поднеси». Мальчик наливает рюмку водки и подносит Ефиму.

Разговор, между прочим, идет в таком роде:

— Ну, так как же, — говорит отец, — в какие места полагаешь двинуться с Николаем Алексеевичем?

— А поначалу, Алексей Сергеевич, Ярмольцыно обкружим, а потом, известно, к нам на озеро: уток теперь у нас, так даже пестрит на воде!

— А сам много бил?

— Зачем бить, как можно: мы для Николая Алексеевича бережем. Да у меня и ружьишко-то не стреляет, совсем расстроилось. Вот хочу попросить у Николая Алексеевича.

Отец улыбается.

— Попросить можно. Ну, а Тихменева водил на озеро? (Тихменев — помещик-сосед, тоже охотник.)

Ефим, переминаясь:

— Раз как-то приезжал, да ведь какой он охотник — садит зря, да в пустое место, ему бы только стрелять: не лучше моего Кузяхи.

И. Ф. Горбунов

Артист, писатель Иван Федорович Горбунов (1831—1895) познакомился с Некрасовым в конце 50-х годов. А. В. Никитенко, перечисляя присутствовавших 2 января 1859 года на литературном обеде у Некрасова в честь выхода очередной книжки «Современника», писал: «Были почти все наши наличные известности: Панаев, Полонский, Чернышевский, Гончаров, Тургенев и т. д. ⟨...⟩

Горбунов читал свои драматические сцены из народной жизни с обыкновенным искусством» (*Никитенко*, т. 2, стр. 53—54).

Некрасов и Горбунов встречались много раз и на литературных чтениях, и на приятельских ужинах, у общих друзей — А. М. Унковского, А. Н. Еракова. Современники отмечают, что Горбунов любил Некрасова, отвергал всякие измышления, дискредитировавшие поэта.

Во второй половине 60-х годов (точно год установить не удалось) Горбунов приезжал в Карабиху, где охотился, отдыхал вместе с Некрасовым.

П. Шереметьев, приятель Горбунова, рассказывал: «у него был целый ряд рассказов об охотах с поэтом». «Облавы на медведя, лосей, дорожные эпизоды, происшествия на привалах и ночевках, словом, целая вереница образов, сцен, шуток, разговоров...

Однажды оба охотника стояли на лосином кругу. Загонщики уже стали приближаться к линии, а лосей все не было. Легко было предположить, что они вышли из круга.

Некрасов перестал ждать и громко крикнул с своего номера:

— А не приложиться ли к мадере?

Горбунов следует совету, но в эту минуту показывается лось. Он бросает фляжку, быстро вскидывает штуцер и стреляет навскидку, «как по бекасу».

Раздается выстрел... Лось падает... Подбегают... Лосиха!

В другой раз расположились на привале. Горбунов, как знаток дела, возился около закуски. Охотники стали торопить, и кто-то крикнул:

— Ну, Ванюша, поскорее!

Один из окружавшей толпы, желая услужить, вставил от себя:

— Слышь, Ванька, поскорее, господа требуют.

И Горбунова долго с тех пор приводило в умиление это восклицание. А «господа» были Некрасов и адмирал К. К. Краббе» («Сочинения» И. Ф. Горбунова, т. III, СПб. 1907, стр. 346).

Рассказ И. Ф. Горбунова «Дьявольское наваждение» написан был вскоре после смерти поэта. Впервые напечатан в газете «Новое время» (1879, от 25 декабря).

ДЬЯВОЛЬСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Одно лето я жил на Волге, в деревне у покойного Н. А. Некрасова, верстах в двенадцати от Ярославля. Большую часть времени мы проводили на охоте. Места в той стороне живописные и для охоты необыкновенные. Покойный Николай Алексеевич был страстный охотник и отличный стрелок. На охоте он не знал устали. Случалось так, что мы выходили на восходе солнца и возвращались домой около полуночи. Обыкновенно хмурый и задумчивый, на охоте он был неузнаваем: живой, веселый, разговорчивый, с мужиками ласковый и добродушный. Мужики его очень любили. Про собаку его, Оскара (я никогда не видывал такого умного пса) ходили слухи, что она прислана каким-то королем «значительному в Петербурге генералу», что тот подарил ее Некрасову и назначил ей по смерть семьсот рублей пенсиону.

Охотились мы по обеим сторонам Волги и оставляли дом иногда дней на десять, переночевывая в разных се-

лах и деревнях. Кроме весьма удобного, приспособленного к охоте, тарантаса, с нами шла верховая арабская лошадь.

Приезд наш в какую-либо деревню для ночлега для мужиков был праздник.

В избе толпа. Кто разбирает вещи, кто любуется ружьями, а кто, по бывшим примерам, ожидает угощения.

— Давно уж, сударь, в наших местах не бывали,— заговорил кто-то из толпы.— Дичи у нас теперь такая сила, что кажется...

Выступил вперед Можжуха, мужик-охотник, постоянно сопровождавший Некрасова на охоте. Лицо его было завязано тряпицей.

— Что это у тебя лик-то перекосило?

— Все это моя охота, сударь, Миколай Алексеевич! Все она! Пополз я третьеводни в осоку... в заводинке утки сидели. Выполз, почитай, на самую наружу — сидят. Думаю: подожду маленько — пущай скучатся. Ждал, ждал, да, признаться, надоело... Приложился — бух! Индо перевернулся!

— Заряд велик положил?

— Не мерял, только много. Мне влетело, но уж и уткам я уважение сделал... Как горох посыпались... Подбирал, подбирал...

— А куда мы завтра пойдем?

— Спервоначалу, Миколай Алексеевич, на озеро. Там теперича этого бекасу!.. А опосля тетеревьев...

— Куда?

— Туда, сударь, к Чудинову, где в запрошлом году вэншлепов били. Там охота расчудесная!.. Становой только там маленько балует, да он ведь стрелять не умеет, на нашу долю много еще осталось.

— Становой теперича не ходит,— заметил один мужик.

— Видел его,— возразил Можжуха.

— Мы верно знаем, что не ходит: он своей собаке зад отшиб.

— За что?

— Не можем знать. Из первого ствола по птице ударил, а из левого по ей. Собака ихняя не действует, это верно.

— Ну, что ж, братцы, четверти-то, пожалуй, вам мало будет?

— Много довольны, сударь! — отозвался один мужик. — Бабы не пьют, а нам хватит.

— А полведерочка ежели пожалуете, ваше благородие, — заискивающим тоном вмешался другой, — так и оченно даже... за ваше здоровьице... Может, и бабы которые пригубят. Есть тоже баловницы-то...

— Ну, ступай, пейте.

Рано утром мы были на озере. Действительно всякой дичи оказалось многое множество. Закат солнца застал нас в Чужиновском лесу. Тьма, тишина, благоухание соснового леса и только что скошенной травы!

— Тут мы и жить будем! — воскликнул Некрасов, — разводи огонь.

Затрещал костер. Один мужик разыскал тарантас и поставил его на просеке. Сладили из ветвей большой шалаш. Из тарантаса принесли самовар и ужин.

Как обыкновенно бывает, темнота располагает человека к разговору о страшных происшествиях, о таинственном; так и теперь это случилось.

— Поди ж ты вот, — заговорил Можжуха, — в канпании ежели в лесу — ничего; один ежели — жутко.

— Чертей, что ли, боишься?

— Что их бояться-то; мы их видали. У нас в селе свой есть.

— Как свой?

— А старшина наш Иван Петров — черт как есть. Рога ежели ему приставить — так точно и будет.

— Строгий человек?

— Черт — одно слово.

— Теснит?

— Не дай бог!

— А что, сударь, осмелюсь я вам доложить, — начал один очень скромный мужичок, — я однова видел его явственно.

— Страшный?

— Спервоначалу-то я не понял, опосля уж это мне...

— Видел ты! — возразил Можжуха. — Видеть его невозможно. Вот в Алешине колдун, кажется уж...

— Да он не взаправду колдун.

— Он-то? Настоящий! Он у нас в селе семь душ испортил. Петровна-то у него в ногах валялась, чтоб снял. Потерпи, говорит. Меня, говорит, он самого давно не посещал; как посетит, в те поры сниму. Ребята спра-

шивали: как он есть такой? Я, говорит, сам его никогда не вижу, а мне, говорит, приказано.

— Ну, а ты как же его видел?

— Батюшка-упокойник бил меня очень, чтобы я в Москву шел, а я в те поры только год женимши был, детенок у меня народился — очень мне не желалось, а он бьет. Тятенька, говорю, помилосердуй. За что ты меня бьешь? Схватил за волосья, трепал, трепал... Жена взвыла. Тятенька, кричит, руки на себя наложу, коли ты мужа бить будешь. Терпел я, терпел — невмоготу стало, думаю: утоплюсь. И сейчас мне легче стало. Жена, все одно, хоть бы ее не было; на детенка посмотрел — словно бы он не мой. Только одно в уме содержу: утоплюсь. И такая мне радость, только и жду, поскорей бы ночь пришла, что уж не жить мне. Поужинали. Батюшка запер калитку, опять в избу пошел, а я в сарае лег. Встал ночью, вышел на двор, смотрю — калитка маленько отворена. Что за оказия! Сам видел, как батюшка запирал. Пришел на реку, снял сапоги, перекрестился, а мимо меня словно пролетело что... черное.

— Что значит крест-то! — многодумно заметил один мужик.

— Дрожь меня прохватила, очень детенка стало жалко.

— Он тебе, значит, и калитку-то отворил...

— Как домой оборотил, не помню. Через три года батюшку господь прибрал. Теперь ты меня обложи золотом — на реку ночью один не пойду.

— Ну, а вот которые не крещеные?..

— Заговор, может, какой есть...

Долго на эту тему продолжалась беседа.

Н. П. Некрасова

Наталья Павловна Некрасова (1850—1928) — с 1873 года жена брата поэта, Ф. А. Некрасова. В. Евгеньев-Максимов рассказал историю возникновения ее воспоминаний: «Летом 1927 года мне довелось побывать в Ярославском имении Н. А. Некрасова — Карабихе. Там я имел случай познакомиться с престарелой вдовой его брата, Федора Алексеевича — Натальей Павловной Некрасовой. Исполняя мою просьбу, последняя написала свои воспоминания о поэте, воскрешающие ту жизнь, которую он вел свыше 50 лет тому назад в своей карабихской усадьбе в обществе родных, то есть братьев и их семейств» («Некрасов. К 50-летию со дня смерти», «Прибой», Л. 1928, стр. 9).

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ Н. А. НЕКРАСОВЕ

Мое знакомство с поэтом Н. А. Некрасовым началось в 1872 году летом. Он проводил его в имении Карабиха, Ярославской губернии и уезда. Это имение принадлежало ему и его брату Федору, который жил в нем постоянно и занимался хозяйством. Федор Алексеевич был вдов, имел пять человек маленьких детей. У старших его сыновей одна из моих сестер была гувернанткой. Она скучала в деревне и постоянно звала меня погостить. Еще зимой, в том же году, я, проездом из Вологды в Моск-

ву, заезжала к ней и познакомились с Федором Алексеевичем. По его просьбе, возвращаясь из Москвы, я снова завернула в Карабиху. При отъезде Федор Алексеевич взял с меня слово, что я приеду к ним на все лето. Он говорил: «Летом здесь хорошо, спокойно, привольно, красиво... не соскучитесь». Я сдержала обещание и в июне месяце приехала в Карабиху. Сестра была очень обрадована; Федор Алексеевич тоже принял меня чрезвычайно радушно и тотчас сообщил, что в соседнем флигеле живет его старший брат Николай, уже известный в то время поэт, стихами которого увлекалась и я и многие из них знала наизусть.

В тот же день я была приглашена на обед к Николаю Алексеевичу, но отказалась, устав с дороги, а главное, не подготовившись мысленно к свиданию с такой известной личностью. На другой день Николай Алексеевич пришел обедать к нам вместе с Зинаидой Николаевной [1]. Оказалось, что у братьев было обыкновение обедать поочередно друг у друга. Перед обедом я была представлена поэту. Сперва я очень робела, ведь я была тогда неопытная 22-летняя провинциалка, а он крупный литератор, которому перевалило уже за 50. Но вскоре я к нему присмотрелась, и это чувство исчезло. Я заметила, что поэт был выше среднего роста, моложавый, с живыми черными глазами, с темной жидковатой растительностью и темным, почти бронзовым цветом лица, может быть, благодаря загару. Ничего строгого или чересчур серьезного в нем не было. Он был приветлив, общителен и довольно скоро приучил меня к себе.

Обеды наши были оживленны и веселы; почти всегда на них присутствовал третий брат, Константин, который жил в Ярославле, но большей частью находился в Карабихе, и почти всегда бывал кто-нибудь из хороших знакомых. Оба брата придирались к каждому подходящему случаю, чтобы угостить нас шампанским.

После обеда мы уходили в парк, гуляли по его аллеям, спускались к пруду или на родник, питавший его, где широкая прозрачная струя холодной воды, вытекая с горы, невидимо откуда, попадала в желоб и оттуда каскадом, с шумом и брызгами, падала на землю и ручьем по песку и камням устремлялась в пруд. Из пруда по другому ручью вода бежала в речку Которосль — приток Волги. В самую жаркую пору у родника было прохладно, вероятно, благодаря могучей растительности,

вызванной к жизни теплом, обилием влаги и тучной землей на склонах оврага. Под вековыми деревьями, склонившимися над скрытым зеленью ручьем, стояла скамейка, на которой поэт любил посидеть и выкурить сигару. Потом мы поднимались в гору ближе к дому, заходили на площадку, устроенную у самой каменной ограды парка, и любовались чудным видом. А вид был действительно великолепный, широкий и далекий. Горизонт открывался с восточной и южной сторон и к линии его террасами поднимались поля и леса, луга и снова поля и леса. Много виднелось деревень и сел с белыми церквами, придающими чисто русский колорит этой картине, и чудилось в ней что-то близкое, дорогое, родное... Братья, знавшие окрестности, старались определить, какая где видна деревня или село, что было не совсем легко, так как вид открывался верст на 15. Иногда мы ходили гулять на речку Которосль, где Николай Алексеевич наблюдал за рыбаками-любителями. И в них он видел присущее русскому народу терпение. «Стоять часами под палящим солнцем, чтобы вытащить какую-нибудь плотичку, пескаря, для этого надо иметь большое терпение», — говорил он. Кое-когда заглядывали мы и в село Карабиху. Николай Алексеевич любил смотреть на игры детей и обращал мое внимание на их любопытные, смышленые и любознательные глазки, серые, синие, карие... Однажды какая-то крестьянка стала ему жаловаться на соседку, укравшую у нее новину, выложенную для белки на солнце. Оказалось, что это была вдова, очень бедная. Николай Алексеевич вынул деньги, отдал их потерпевшей и просил не беспокоить бедную женщину, взявшую чужое, может быть, только потому, что у нее не было ни денег, ни одежды для детей. Вообще Николай Алексеевич всегда помогал крестьянам; пала ли у кого лошадь или корова, сгорел ли дом, он всегда давал, сколько мог, так как остро чувствовал всю глубину крестьянского горя.

Нагулявшись, мы возвращались в парк и усаживались на большой лужайке перед домом, под громадным кедром, на разостланном ковре, мужчины с папиросами, а женщины с конфетами, до которых моя сестра, бывшая институтка, была большая охотница. Здесь происходили самые интересные разговоры, лились рассказы из охотничьей жизни или из быта поэтов и писателей; часто в юмористической форме, загорались споры о до-

стоинстве собак или лошадей. Только поздний вечер загонял нас в комнаты.

Иногда Зинаида Николаевна уходила от нас раньше, и тогда мы спорили с Николаем Алексеевичем о браке. Я убеждала его жениться и завести собственных детей, указывала ему на то, как он любит своих племянников и интересуется их детской жизнью. В те юные годы я считала, что каждый мужчина в известном возрасте должен жениться и обзавестись семьей, и с жаром старалась привить ему свой взгляд на этот предмет. Но он не поддавался, смеялся надо мной, говорил, что не верит женщинам, что хороших жен нет, а я пугала его тем, что он попадется какой-нибудь недостойной опытной кокетке, которая и женит его на себе.

Самые лучшие часы были, когда поэт открывал нам частичку своей души и читал нам свои произведения, а работал он в то время над поэмами «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо».

Я сейчас познакомлю вас с обстановкой, в которой работал поэт. Он писал всегда дома. Дом этот был двухэтажный, белый каменный и имел форму продолговатого четырехугольника с балконом со стороны главного дома. Подъезд находился на северной узкой стороне флигеля и состоял из нескольких широких каменных ступеней и небольшой площадки перед входной дверью. Нижний этаж занимали службы и комнаты прислуги. Николай Алексеевич жил во втором этаже, куда вела широкая красивая лестница[2]. Против лестницы находилась столовая, небольшая, но уютная комната, все украшение которой составляли овальные стенные панно с изображением Nature morte * да большой портрет, в натуральную величину, Екатерины Великой в широкой золоченой раме. Направо от столовой шли спальни и небольшой кабинет, но оставим эти интимные покои, не представляющие никакого интереса, и войдем в зал, где обычно работал Николай Алексеевич. Это была большая, почти квадратная, комната, вся белая, с тяжелыми темными портьерами на окнах и на балконной двери. Посреди левой стены находился камин белого мрамора с зеркалом наверху. На камине стояли часы черного мрамора с бронзовой лежащей собакой сверху. Около часов были расставлены чучела птиц — охотничьи трофеи поэта. Я помню

* Натюрморт (*франц.*).

бекаса, чирка, крякву и тетерева; громадный глухарь и дрохва стояли на особых постаментах. По сторонам камина стояли турецкие диваны, а у задней стены конторка, на которую клалась бумага и карандаш. В южной стене было три окна, а западной два окна и балконная дверь. Казалось бы, что летом в комнате должно было быть чересчур светло и жарко. Ничуть не бывало — громадные деревья парка своими кронами не только умеряли солнечный свет и полуденный зной, но и отбрасывали на потолок едва уловимый зеленоватый оттенок, придававший комнате какое-то особое очарование. Николай Алексеевич обыкновенно в часы вдохновения ходил по комнате, и мысль его работала: по временам он подходил к конторке и писал. Он запирался в этой комнате, и никто не должен был нарушать его уединения. Чай и закуску ему приносили в столовую, куда он выходил, когда чувствовал голод, но в такие дни он ел мало. Однажды, после нескольких дней интенсивной работы, Николай Алексеевич пришел к брату и сказал: «Пойдем в парк под кедр, я буду вам читать «Русские женщины»; я написал конец». Мы пошли, и поэт своим немного глухим голосом прочел нам всю поэму. Мы слушали с затаенным дыханием и не могли удержаться от слез. Когда он кончил и взглянул на своих слушателей, то по их взволнованным лицам и влажным глазам понял, какое сильное впечатление произвело на всех его произведение, и был счастлив. Он велел подать шампанское. Мы чокались, поздравляя его с блестящим окончанием его многолетнего труда. Да, помню, это был день великого подъема, торжества и удовлетворения.

Лето промелькнуло незаметно. Наступил конец августа, и Николай Алексеевич начал собираться в Петербург.

Накануне его отъезда Федор Алексеевич сделал мне предложение, и я стала его невестой.

Настал день отъезда. Всем было немного грустно. После обеда подали три тройки лошадей, и мы поехали на вокзал, взяли и двух старших сыновей, мальчиков 7 и 8 лет. Вероятно, на вокзале Федор Алексеевич сказал брату о своем намерении жениться на мне и моем согласии, потому что уже на платформе Николай Алексеевич велел принести бутылку шампанского и, чокаясь со мной, как-то особенно пристально смотрел мне в глаза. Я хотя и покраснела, поняв его немой вопрос, но глаз не поту-

пила, ведь в моей душе жило твердое честное намерение быть хорошей женой и матерью полусироткам, к которым за лето я успела привыкнуть и привязаться. Перед самым отходом поезда Николай Алексеевич подозвал меня к окну вагона и произнес экспромт, посвященный мне, приблизительно такого содержания:

В твоем сердце, в минуты свободные,
Что в нем скрыто, хотел я прочесть.
Несомненно, черты благородные
Русских женщин в душе твоей есть.
Юной прелестью ты так богата,
Чувства долга так много в тебе,
Что спокойно любимого брата
Я его предоставлю судьбе.

Я не выдаю этих стихов за точное произведение Николая Алексеевича, но смысл их был таков [3]. В моей личной жизни в то время происходили такие важные события, что я забыла записать его экспромт, а потом было уже поздно.

В сентябре месяце того же 1872 года мы обвенчались в Москве, и после нескольких дней там муж сказал: «Надо ехать к брату». Мы приехали в Петербург и пришли на квартиру Николая Алексеевича на Литейном проспекте. Мне бросилось в глаза ее удобство — лестница оканчивалась площадкой, дверь направо вела в помещение поэта, а налево в комнаты Зинаиды Николаевны, внутри они сообщались. Николай Алексеевич встретил меня совсем по-родственному, обнял и расцеловал. Мы пробыли в Петербурге недолго, но зато почти не расставались. Вскоре пришлось вернуться в Карабиху, куда призывали дела и дети.

В 1873 году летом Николай Алексеевич ездил за границу, был в Париже и очень комично жаловался на то, что Зинаиде Николаевне не даются иностранные языки и что даром были потрачены деньги на учителей. Он и там помнил обо мне и прислал мне оттуда накидку и черную волосяную шляпу с красным маком [4].

Мы увиделись снова осенью 1874 года в Карабихе, куда он приехал с сестрой своей Анной Алексеевной, Зинаидой Николаевной и ее племянницей. Он был такой же остроумный собеседник, всегда забавно и остроумно описывал свои охоты и встречи, но в его наружности произошла некоторая перемена — он похудел, осунулся: очевидно, болезнь уже начала подтачивать его организм.

Как и прежде, он интересовался нашей жизнью и детьми, которым просил дать хорошее образование, отдав их в лучшую тогда гимназию, чтобы из них вышли знающие и образованные люди. Образование он ставил очень высоко, может быть, потому, что сам не прошел правильного и систематического курса наук.

У меня в это время был уже сын Константин, которому шел второй год, и вот Николай Алексеевич, не зная, чем выразить мне свое внимание и расположение, возвратясь откуда-нибудь на тройке, звал племянницу Зинаиды Николаевны, молодую девушку, и просил ее покатать Костю. Она брала его на руки, и кучер обвозил их несколько раз вокруг двора. 〈...〉

В последний раз я виделась с Николаем Алексеевичем осенью 1876 года, когда он ехал лечиться в Крым [5]. Он вызвал нас телеграммой в Москву повидаться. Перемена, происшедшая в нем, меня поразила, но я не смела ему в этом признаться. Болезнь повлияла на его характер — он стал более угрюм и замкнут, но все же интересовался детьми, их духовным и умственным развитием и успехами в учении. До самой своей смерти в конце 1877 года Николай Алексеевич часто вызывал мужа телеграммой в Петербург. «Приезжай, соскучился», —кратко писал он, и Федор ехал, соскучившись и сам по брате. Он возвращался, удрученный и расстроенный страданиями поэта и предчувствием его близкой кончины. Я же во время отлучек мужа с жадностью бросалась на газеты, где печатались бюллетени о состоянии здоровья Николая Алексеевича. Однажды меня поразила такая заметка: «Сегодня ночью у постели Николая Алексевича дежурили студенты-медики» [6]. Куда же девалась Зинаида Николаевна, подумала я, зная, что она никуда не отходила от больного ни днем, ни ночью.

Мой муж присутствовал при кончине брата, был на его похоронах. Грустный и печальный вернулся он из Петербурга, понеся двойную утрату, потеряв в нем, вместе со всей Россией, поэта, чуткого и отзывчивого к жизни народа, глубоко любимого и чтимого, почти как отца, брата и друга. Долго он не мог утешиться и чувствовал себя осиротевшим. Я никогда не забуду хорошего отношения Николая Алексеевича ко мне и, насколько мне позволят годы, буду с любовью, благоговением и благодарностью чтить его память.

А. Ф. Некрасов

Некрасов Александр Федорович (1866—1941) — племянник поэта. А. А. Буткевич перед смертью передала ему права издания сочинений брата.

Воспоминания А. Ф. Некрасова написаны к 60-летию со дня смерти поэта.

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. НЕКРАСОВЕ И ЕГО БЛИЗКИХ»

...Жизнь в Карабихе текла крайне однообразно. Знакомых у нас почти никого не было. Дворян-помещиков отец не любил, считал их кутилами. Он вел совершенно отдельную от семьи жизнь, редко появляясь в общей столовой среди детей, вся жизнь его проходила в кабинете. Моя мать, умершая очень рано, когда мне было около пяти лет, и которую я смутно помню, а затем вторая его жена — моя мачеха — добрейшая Наталья Павловна, все свое время проводили с детьми. При таком однообразии всякое событие для нас, детей, имело огромное значение, такое же, как приезд из Петербурга дяди Николая Алексеевича, являлось настоящим праздником. Особенно бывали мы рады не только предстоящему свиданию с дядей, сколько приготовлениям, начинавшимся задолго до приезда и всей этой предшествовавшей ему суматохе. Спешно приводили в порядок флигель Николая Алексеевича, выносили и чистили мебель, ковры,

ружья и другие принадлежности охоты. Из охотничей дачи в Чудове привозили собак и с ними приезжали охотники. В назначенный день в Ярославль на вокзал посылались лошади и приезд совершался. Вспоминается рассказанный мне отцом случай с ярославским исправником, каковым в это время был некто К. из местных помещиков, ума небольшого, но добродушный человек и питавший слабость к своему земляку — Некрасову. Зная о дне приезда поэта, К. в парадной форме явился на вокзал и среди других радостно приветствовал его. Вызванный через несколько дней губернатором и спрошенный, на каком основании исправник встречает революционного писателя, когда ему полагается встречать генералов, К. ответил: «То, ваше превосходительство, — генералы по службе, а Некрасов — по уму». Разумеется, в очень скором времени К. был уволен за вольнодумство.

С Николаем Алексеевичем приезжала его будущая жена Зинаида Николаевна. Нас, детей, приводили здороваться, Николай Алексеевич встречал нас словами: «Здорово, хлопцы», — и, обращаясь к старшим, просил приводить нас к нему во флигель почаще. Наружность его была невзрачная. Небольшого роста, худощавый, с желтым болезненным цветом лица, с бородкой клином; голос слабый и хриплый, но задушевный и очень добрые глаза. Мы часто видели его гуляющим в парке со своими охотничьими собаками — черным пойнтером Кадо и ирландским сеттером Правдой. В халате, в феске с кисточкой, в туфлях на босую ногу, с неизменными свистком и цепочкой для собак, он грустно ходил по аллеям парка и редко присаживался. Детей он любил, завидя нас, ускорял шаги, а подходя к нам, говорил: «Дайте мне на них посмотреть». Но нас быстро уводили, чтобы не мешать ему.

Сюда же в парк приходили к нему крестьяне из соседних деревень, большей частью охотники, но разговоры были разные, многие спрашивали советов о своих крестьянских делах, а больных он отсылал в дом к Зинаиде Николаевне.

Из этих же крестьян-охотников, когда захворал его любимый камердинер Василий Матвеев и не мог ему более служить, он взял на его место крестьянина деревни Черемисино Никанора, который служил ему до смерти. ⟨...⟩

Жизнь Николая Алексеевича в Карабихе не сливалась с нашей общей жизнью. Он жил замкнуто; как и отец, ни с кем не поддерживал знакомства, часто уезжал на охоту. И отъезды и возвращения с охоты также были для нас, детей, немалым развлечением. Помню, как приносили к нам от дяди большие подносы с наложенной на них дичью, главным образом болотной — длинноносыми бекасами и дупелями.

Иногда навещали Николая Алексеевича его знакомые по Петербургу, большей частью литераторы и артисты. Из таких приезжих гостей я помню А. Н. Островского, И. Ф. Горбунова, Д. В. Григоровича и М. Е. Салтыкова. Последний своим сердитым видом, большой бородой и грубым голосом производил на меня особенно сильное впечатление.

Из слуг Николая Алексеевича, кроме названных, я припоминаю охотника Ефима Ивановича, по прозванию Солнышко [1], который был доезжачим еще у деда моего Алексея Сергеевича, и кучера Костю Миляева, с которым он любил ездить.

Девяти лет меня отдали в московскую частную гимназию Л. И. Поливанова. Гимназия эта была избрана по настоятельному совету Николая Алексеевича [2] и была действительно лучшей. В следующем 1877 году, когда Николай Алексеевич был уже безнадежно болен, осенью в Москву приехал отец и отвез меня в Петербург, где поселил у тетки моей Анны Алексеевны Буткевич. У Николая Алексеевича, как известно, не было детей, и он не раз высказывал отцу, имевшему большую семью, желание усыновить меня; этим и объяснялась моя поездка. Помню, когда мне сказали, что я буду жить у дяди в Петербурге, а не в Карабихе, я плакал и отказывался. Но проекту этому не суждено было осуществиться; болезнь дяди все усиливалась, и в декабре он скончался.

Воспоминания крестьян

Воспоминания крестьян о Некрасове (преимущественно охотников) известны во многих записях. Одна из первых записей и публикаций (1889) принадлежит поэту С. Д. Дрожжину. Им были записаны воспоминания егеря Сергея Макаровича, с которым Некрасов охотился в Чудовской Луке. Большая и наиболее ценная часть записей и публикаций относится к 1902 году — результат разысканий краеведов Ярославля (П. Путиловой, Ф. В. Смирнова, В. Михеева), сотрудника газеты «С.-Петербургские ведомости» И. Жилкина.

В дни 25-летия со дня смерти поэта были опубликованы рассказы-воспоминания охотников Кузьмы Солнышкова, Степана Петрова, Ивана Миронова, Гаврилы Захарова.

Более поздние записи содержат много неточностей, ошибок, вымысла. Среди них можно отчасти выделить рассказы бывшего камердинера Некрасова Никанора Бутылина, воспроизведенные его внуком в записи 1928 года.

В воспоминаниях крестьян о Некрасове можно встретить немало действительных фактов, значительных для биографии поэта, и эпизодов вымышленных, полулегендарного характера.

Некрасов запомнился крестьянам как добрый, щедрый человек, простой в обращении, любящий детей, удачливый охотник. Воспоминания крестьян помогают понять, что влекло Некрасова в деревню, к мужикам, помогают понять истоки народности некрасовской поэзии.

Эти воспоминания в основном делятся на два цикла, связанные с географией некрасовских мест. В одном повествуется о пребывании Некрасова на ярославщине и близких к ней землях, в другом — об охоте поэта в окрестностях Чудовской Луки Новгородской губернии, где им было куплено в 1871 году охотничье имение. Расположение крестьянских рассказов в настоящем издании соответствует этим циклам.

К. Е. Солнышков

(В ИЗЛОЖЕНИИ П. ПУТИЛОВОЙ)

С Николаем Алексеевичем Солнышков первый раз встретился, когда Николаю Алексеевичу было 35 лет, и каждый приезд все лето проводил с ним на охоте. Охотились с легавыми и борзыми собаками по несколько дней. Если недалеко от усадьбы узнавали место, изобилующее дичью, то шли вдвоем с Кузьмой на несколько часов, чаще же уезжали на тройках с поваром, лакеем и Кузьмой во Владимирскую, Московскую и Костромскую губернии. На охоте Николай Алексеевич часто устраивал привалы и всегда около дороги, и всех проезжих и прохожих останавливал, кормил, поил вином и долго и подробно расспрашивал о жизни их, о господах, о податях, и если встречал бедняков, то давал денег. Проезжая деревней, иногда останавливался на отдых или собак кормить, сам уходил к кому-нибудь в избу, просил приготовить чай, усаживал всех за стол и сам с ними разговаривал, расспрашивал, как живут, шутил, играл с детьми, и если через несколько лет случайно попадал в тот же дом, то со всеми здоровался, как со старыми знакомыми — называл всех по имени.

Дорогой же Николай Алексеевич постоянно писал; из рук не выпускал бумаги и карандаш.

Приехали как-то, охотясь, на Бабайки. Николай Алексеевич дает Кузьме рубль и просит купить двадцать калачей; тот купил, заплатил 21 копейку, а сдачу отдает Николаю Алексеевичу. «Это что?» — спрашивает Николай Алексеевич. «Сдачи с калачей». — «Поди, говорит, снеси назад старухе, она дура — ведь убыточно так продает калачи».

У Малых Солей были на охоте. Николаю Алексеевичу захотелось пить; он пошел к бабам, попросил пить, — почти все отказали: «Нету», — говорят, и уж как-то нашли у одной старухи плохой, прокислый квас. Николай Алексеевич выпил полстакана, а остальное дает Кузьме, тот отказывается: «Кушайте сами, Николай Алексеевич». — «Давай пополам выпьем, а то ведь не дадут больше». Уходя, дает бабе рублевую бумажку, немножко подклеенную, — та, думая, что это простая бумага, говорит: «Не мало ли будет?», а рассмотрев, побежала за Николаем Алексеевичем, говоря: «Спасибо, барин, приезжай еще, целое ведро хорошего приготовлю».

Ехал Николай Алексеевич с сестрой Анной Алексеевной в Нижний на пароходе[1] с собаками, при которых были лакеи и Кузьма Солнышков. ⟨...⟩

В Нижнем ⟨...⟩ днем писал, а вечером уходил куда-то и часто до утра. Из Нижнего возвращались на пароходе. Доехавши до Костромы, Николай Алексеевич велел нанять тройки и ехать с охотой до усадьбы. Дичи убивали очень много, ели сами и много посылали в Ярославль знакомым Николая Алексеевича. Тут тоже больше устраивали привалы около дороги, чем охотились.

В Ярославле, в Пастуховской гостинице, Николай Алексеевич имел постоянно номер первый, останавливался в приезды в Ярославль в нем сам, и когда посылал кого-либо из усадьбы, тоже велел останавливаться там и есть, и пить, что хотели, и платил за несколько дней, прожитые в номере Кузьмою, рублей 40 и больше.

Собак Николай Алексеевич очень любил и, обедая, сажал с собой на диван, подвязывал салфетку и с вилки и чуть за это не поплатился глазом. Обедал он, и около него на диване сидел Вепрь; он долго не давал ему, и Вепрь в то время, когда Николай Алексеевич хотел положить кусок мяса себе в рот — бросилась к нему и укусила глаз; Николай Алексеевич тотчас же поехал в Питер и вернулся, уже когда вылечил глаз.

Склеп в селе Абакумцеве построил Николай Алексеевич и говорил Кузьме, что приготовил себе место.

Из Петербурга Николай Алексеевич часто и много присылал разных дорогих подарков отцу, а летом, когда приезжал в усадьбу, то все жили на его деньги. Зимой редко, но приезжал охотиться в усадьбу — день отда-

вался охоте, а вечером собирал крестьян и устраивал беседы, пляски, песни и сам подолгу сидел с девушками — учил их петь песни.

Однажды Николай Алексеевич поехал на тройке на охоту от Ярославля по московской дороге. Были уже за Ростовом, как Николай Алексеевич говорит: «Выезжай на дорогу — поедем в Москву». Кузьма говорит, что далеко, лошади не довезут — но поехали. Подъезжая к Москве, Николай Алексеевич вынимает пятиалтынный и говорит, что это у него последний — отдает Кузьме и велит ему выпить водки в первом кабаке, в Москву уже, говорит, не надо деньги везти — там найдем. Приехали в Москву, остановились во французской гостинице. Николай Алексеевич одел Кузьму в шелковую рубашку и поехал с ним по городу; заехали в какой-то книжный магазин, где Николай Алексеевич взял 6000 р. денег. «Вот, Кузьма, теперь есть с чем жить в Москве».

Узнал Николай Алексеевич, что в Москве брат его Федор Алексеевич — нашел его, пробыл с ним весь день, а вечером взял Кузьму и поехал в какой-то сад, где слушали музыку и пение.

«Хороший барин был Николай Алексеевич, — говорит Кузьма, — такой, что не найдешь другого скоро: добрый, ласковый, необидчивый, за всех заступник. Возьмет что у кого, так втрое заплатит. Мать, бывало, часто на охоте вспоминал, жалел ее, что плохо бедной жилось с суровым мужем».

И. Г. Захаров

(в изложении мизенца)

Рассказ Ивана оказался не длинен и отрывочен. По его словам, Некрасов приехал как-то летом в Кострому, остановился в одной из гостиниц на Сусанинской площади и послал лакеев разыскать какого-нибудь охотника для указания мест в Костромской губернии. Один из лакеев увидел на рынке Гаврилу, который нес дупелей по губернаторскому заказу. Лакей сказал Гавриле о Некрасове и передал ему желание «барина» найти охотника. Гаврила пришел к поэту, познакомился с ним и обещал показать свои охотничьи места. Сейчас же соб-

рались и поехали на тройках в Шоду. Некрасов, по словам Захаровых, ездил на двух-трех тройках, со всякими запасами и припасами. Дорогой останавливались и охотились, по указаниям Гаврилы, около Миского и Жарков. «В один день, — рассказывает Иван, — глядим, летят тройки; слышим, барин едет. Что за барин, думаем, их много тут приезжает — особенного внимания не обращали на них. И узнали, что будет Николай Алексеевич Некрасов, барин знаменитый!» Немного спустя приехал и сам «барин». Не успев еще хорошенько отдохнуть, он собрался на охоту, которая оказалась очень удачной: по словам Ивана, в 3 часа убили 120 дупелей. «Ну, — говорит Николай Алексеевич, — у вас можно охотиться».

Начавшееся таким образом знакомство поэта с Гаврилой с тех пор не прерывалось. Гаврила часто ходил в Грешнево и иногда жил там подолгу. 〈...〉

Однажды на охоте с Гаврилой Некрасов убил бекаса, а Гаврила, в тот же момент — другого, так что Некрасов не слыхал выстрела. Собака, к его удивлению, принесла ему обоих бекасов. «Как, — спрашивает он Гаврилу, — стрелял я в одного, а убил двух?» По этому поводу Гаврила рассказал ему о двух других бекасах, которые попали одному охотнику под заряд (см. конец «Коробейников»). Этот случай дал повод для рассказа об убийстве коробейников, которое произошло в Мисковской волости[1]. Другие подробности, например, о «Катеринушке», которой приходилось

Пгрня ждать до покрова[2],

основаны на рассказах Матрены, жены Гаврилы, теперь тоже умершей, которая так же сидела в одиночестве, как и Катеринушка.

Когда случился первый приезд Некрасова в Шоду, неизвестно. Во всяком случае, до 1861 года, когда написаны «Коробейники». Потом поэт еще раза два посетил Шоду. Гавриле Яковлевичу он подарил на память книгу своих стихотворений с собственноручною надписью; но книга эта «зачитана» каким-то чтецом, а вероятно, даже сгорела, о чем Иван очень сожалеет. Дарил Некрасов Гаврилу и деньгами, его жену и деток тоже не оставлял без подарков[3].

Н. А. Бутылин

(В ПЕРЕСКАЗЕ Н. Г. МАКАРЫЧОВА)

В 1868 году мой дед Никанор Афанасьевич Бутылин, крестьянин деревни Петлино, случайно наткнулся в некрасовском лесу, близ усадьбы Н. А. Некрасова при с. Карабихе, на несколько выводков тетеревей. Так как Никанор Афанасьевич был любителем охоты, а потому и решил поохотиться за ними, взял ружье и пошел в барский лес. Убив пару тетерок, он хотел вернуться восвояси, как вдруг видит: подъезжает к нему на лошади верхом Николай Алексеевич Некрасов. Дюдя Никанор испугался и не знал, что делать, так как охота была воспрещена в барской усадьбе. Но Н. А. Некрасов не заставил долго ждать и говорит: «Здорово, охотник, с удачной охотой!» Дюдя Никанор ему мог ответить только поклоном в пояс, а язык и не шевелится. Некрасов ему предложил: «Если, говорит, ты знаешь, то укажи мне, где здесь выводки тетеревей?» Но, может быть, он и сам прекрасно знал, где находится дичь, да видит, что охотник очень обробел, и сделал ему такое предложение. Пошли. Подходят к тому месту, где были тетерки, стали в них стрелять оба, и вот убили они пять штук, с таким расчетом, что Некрасов, будучи хорошим стрелком, убил пару тетерок, а дюдя Никанор — тройку. Н. А. Некрасов заинтересовался таким стрелком и пригласил его с собой в усадьбу, там все выспрашивал его и пригласил к себе жить, на что, конечно, дюдя Никанор согласился, и Н. А. Некрасов увез его в Санкт-Петербург. И вот дюдя Никанор начинает проводить жизнь вместе с Николаем Алексеевичем Некрасовым. Увидя простоту и доброту своего лакея и охотника Никанора Афанасьевича, Некрасов так к нему относился, что без него никуда не ездил: на охоту ли поедет или в театр — везде брал с собой Никандра, так звал его Н. А. Некрасов. И вот дюдя Никанор проживает у писателя 4 года. За этот период он с Некрасовым побывал и в Крыму и на Кавказе[1], так и поминал всегда до своей смерти дюдя Никанор, что там есть снеговые горы, на которых лежит вечный снег, что внизу под горой цветы цветут и купаются люди, а на горе лежит снег. Приезжал и домой на праздник и привозил денег на хозяйственные нужды и все же не знал, сколько он получает жалованья. Но вот через четыре

года Николай Алексеевич Некрасов и говорит ему: «Никандро, дополучи-ка с меня деньги, тебе приходится с меня дополучить двести шестьдесят рублей. Ты, говорит, у меня жил по сто двадцать рублей в год, а теперь я кладу тебе сто восемьдесят рублей». Дальше дюдя Никанор рассказывает, что были у них повар и кучер, которые очень любили выпить. В одно прекрасное утро, после, конечно, пьянки, кучер приходит к повару на кухню и говорит: «Как бы нам с тобой поправиться», а повар говорит: «Ты иди пока на свое место, а то время восемь часов, а в это время к нам всегда приходит барыня»[2], а кучер и говорит: «А ну ее...» и обругал нецензурными словами. А как раз за дверями и был сам Н. А. Некрасов, который все слышал, и тут же велел уволить этого кучера, что и было сделано. Кучеру выдали расчет, и велено было сказать ему, что Николай Алексеевич не велел тебе на глаза показываться. На другой день приходит жена этого кучера и стала просить Некрасова, чтобы он ради ее пятерых детей принял опять ее мужа, но Николай Алексеевич сказал ей: «Ты не плачь и знай ежемесячно первое число и приходи получать мужнино жалованье». И до самой смерти выплачивал семье кучера полное жалованье. А когда, говорит дюдя Никанор, соберемся на охоту, Некрасов во все карманы жилета и пиджака накладет денег: где полтинник, где рубль, где три рубля, где пять рублей, и дорогой, кто попадется плохо одетый, скажет: «Никандр, видно, плохо живет?» — и остановит встречного, дорогу спросит, которую отлично сам знает, а то спросит, не проезжал ли здесь такой-то охотник, и с последующим ответом дает на чаек. «Никандр, вот гляди ты, русская долюшка женская, солнце нещадно палит», а у самого и слезы навернулись, остановился и спрашивает: «Тетенька, проедем ли мы здесь туда-то?» Она говорит: «Проедете, барин», и он дает ей пять рублей за то, что сказала дорогу, которую он знал не хуже этой женщины, и таких помощей он делал очень много.

Николай Алексеевич много интересовался и детишками и тоже самое за ответы давал им на гостинцы. Значит, не зря так ценят и уважают певца народных песен, поэта Николая Алексеевича Некрасова.

Рассказывал дюдя Никанор, как Некрасов купил именье при селе Карабихе у князя Голицына. Голицын проигрался в карты, так как Голицын играл почти каж-

дую ночь, а Н. А. Некрасов был в хорошем выигрыше, Голицын и предложил Некрасову купить у него именье, и Некрасов купил у него за 75 тысяч рублей[3].

Дальше дюдя Никанор рассказывал, как у Н. А. Некрасова была собака, и эта собака страшно не любила одного из гостей или друзей Н. А. Некрасова — Салтыкова. Как только Салтыков приезжает, так дюдя Никанор берет собаку на цепочку. И вот в одно прекрасное время собрались гости у Н. А. Некрасова. Был и Салтыков. Раздевались все в общей прихожей комнате, и вот эта собака, должно быть, по запаху выбрала пальто Салтыкова и отгрызла всю правую полу, испортила все пальто... Потом ехали они на охоту полем, недалеко от станции Козьмодемьянск, и сидит в поле мужичок. Некрасов и спрашивает: «Чего ты, дяденька, делаешь?» — «Да вот, барин, горох стерегу». — «Эх, — говорит Некрасов, — как тебе скучно одному. На вот тебе хоть на штоф водки», — и дает ему два рубля. Едем, — говорит дюдя, — обратно, а тут уже двое и чуть ли не на четвереньках ползут к дороге. Он и говорит: «Гляди, Никандр, поваднее и им стало двоим-то», — и дал им еще два рубля: «Пусть, говорит, завтра опохмеляются».

Так дюдя Никанор прожил у Н. А. Некрасова лет шесть. Некрасов заболевает и болел около двух лет. Ему доктора стали предлагать операцию. Он однажды и говорит дюде Никанору, который все время за ним ухаживал: «Никандр, вот я живу со своей Зиной невенчанный, а теперь думаю повенчаться, а то вдруг помру, и Зина останется несчастной, а мне нужно сделать ее под свое фамилие». После этих переговоров был приглашен священник, и Н. А. Некрасов венчался, сидя на кушетке, потому что он был уже сильно слаб, и дюдя Никанор был в присутствии ихнего брака. Когда же Н. А. Некрасов решился на операцию, приехали доктора и все приготовили, Некрасов позвал своего верного Никандра и сказал докторам: «Пусть этот человек присутствует во все время операции». Дюдя говорит: «Когда все приготовили, накинули на лицо Некрасова какую-то сетку, и Николай Алексеевич, вздохнув несколько раз, заснул. И вот один доктор приготовил правый бок Н. А. Некрасова, а другой берет ножик и только разрезал поверхность и отошел, а другие стали работать». Дюдя Никанор говорит: «Как взглянул я на лицо Некрасова, а он лежит как мертвый. Я, говорит, заплакал, и закружи-

лась голова». И после операции в течение месяцев восьми Некрасов ходил на двор в правый бок. При слабом состоянии здоровья Некрасов стал нервничать, и никто, кроме дюди Никанора, ему не потрафлял. «Бывало, — говорил дюдя, — куда я отлучуся, потом приду, а Некрасов и скажет: «Никандра, что ты долго, без тебя и повернуть меня некому, у всех руки-то как клещи железные».

Однажды дюдя Никанор и говорит Николаю Алексеевичу, что его господа Голицыны зовут жить, а Николай Алексеевич ему и говорит: «Нет, Никандра, оне господа капризные, и тебе у них жить будет очень плохо, а я тебе советую, если я помру, ты меня похоронишь и поезжай домой, а что я тебе оставлю, то есть откажу, так тебе и не прожить», — и через несколько время вручил ему бумагу и сказал: «Вот, Никандра, приедешь домой, поди в усадьбу и отдай эту бумагу моему брату Федору Алексеевичу, он тебе выдаст, что ты будешь век доволен» [4].

Последние дни жизни Николая Алексеевича дюдя никуда не отлучался, так и помер поэт Некрасов на его руках, и вот дюдя Никанор рассказывал, как хоронили Николая Алексеевича. «Столько, говорит, было народу, что не только из окон и балконов, даже и на крышах был народ. Все смотрели, или каждому хотелось в последний раз взглянуть на дорогого для каждого поэта. И улица так была заполнена народом, что нельзя было идти с гробом, и вот студенты обошли гроб большим кольцом, взялись за руки друг с другом, и вот впереди ехал балдахин пустой, а Некрасова несли на руках до самого кладбища Девичьего монастыря, где похоронен Николай Алексеевич Некрасов».

После смерти поэта дюдя приехал в Москву и пошел в усадьбу, а как сам он был неграмотный и никому не дал прочитать и не спросил при живности Николая Алексеевича, что ему он отказал, Федора Алексеевича не было дома, а конторщик, фамилию которого я не помню, попросил у него почитать. Прочитал и говорит: «Хорошо, я передам Федору Алексеевичу, а ты как-нибудь зайдешь». Дюдя Никанор оставил у него бумагу Николая Алексеевича и ушел домой. Спустя неделю дюдя Никанор приходит в усадьбу и обращается к конторщику: «Ну как, вы передали бумагу барину или нет?» — а конторщик отвечает: «Извини, я бумагу твою затерял». Так и не знал Никанор Афанасьевич, что было

отказано ему в усадьбе при селе Карабихе Николаем Алексеевичем Некрасовым[5]. Одна была у него отрада — вазочка, в которой подавалось Николаю Алексеевичу сливочное масло для кушанья, которая хранится и сейчас, перешедшая мне по наследству, и которую я храню, она была подарена ему собственноручно Николаем Алексеевичем Некрасовым.

Сергей Макарович

(В ПЕРЕСКАЗЕ С. Д. ДРОЖЖИНА)

Я сопровождал на охоту Николая Алексеевича большей частью в Тихвинском уезде в зимнюю пору и жил обыкновенно в своей деревне, а когда он, бывало, собирался на эту самую охоту, то всегда за несколько дней до своего приезда из Питера писал мне, чтоб я встретил его в такой-то день на станции и приготовил лошадей. Эти записки я и теперь храню дома в шкатулке на память. Подписывался он под ними всегда не полной фамилией, а только двумя буквами: Н. Н.

Брат мой, Иван, постоянно находился у него при имении в Ярославской губернии, и барин в нем, как и во мне, души не чаял. Раз у Ивана, когда Некрасов жил в Петербурге, рублей на 800 украли господских вещей.

Приезжает барин, видит по лицу брата, что-нибудь у него да неладно, и спрашивает:

— Что с тобой, Иван?

Иван объяснил, в чем дело, Некрасов на это только улыбнулся, да и говорит:

— Есть о чем тревожиться, а я думал и бог весть что случилось. Ну, Иван, вор, который украл, наверное, не разбогатеет, а я теперь в состоянии приобрести украденные им вещи.

Как сейчас вижу его, покойника! На охоту он всегда одевался в тулуп на волчьем меху, и в такую, как у вас на портрете при его сочинениях, большую шапку, и опоясывался шелковым кушаком. Вот раз, вместе с несколькими господами, прибывшими с ним, поехал на охоту; мы с барином едем впереди всех; дорога ухабистая.

разухабистая; он лежал в санях, растянувшись, должно быть, хотел отдохнуть. Я, то и знай, кричал при каждом ухабе на ямщика, чтобы ехал поосторожней и не свалил барина как-нибудь в канаву или сугроб, ямщик, нечего сказать, слушался и придерживал тройку. Когда мы благополучно возвратились с охоты, барин сверх положенного дал еще ямщику два рубля на чай.

— А это тебе, Макаров, за то, что ты всю дорогу спасал мне жизнь, — проговорил он, подавая мне три синеньких... Вот какой был доброй души покойник, — в заключение промолвил Макарыч, вздыхая, и, немного погодя, продолжал: — Заехали мы как-то с ним по пути в деревню Забище пообогреться. Вошел он в избу одного крестьянина и увидел в ней эту бедность-то крестьянскую, непокрытую... Ребятишек полная изба и мал мала меньше, такие все худенькие да оборванные, ужасть! А мужик, отец этих ребятишек-то, сидит в переднем углу да лапоть ковыряет. Барин посмотрел, посмотрел на него, да и спрашивает:

— А что, отец, плохо, видно, живется с детишками-то?

— Плохо, родимый, уж так-то плохо, что не приведи царица небесная.

— А где же у тебя хозяйка-то?

— Да сбирать пошла, — ответил мужик.

Посмотрел опять он на мужика и прослезился... постоял так-то с минуту, достал из бумажника десять рублей, подал их торопливо мужику, бросился вон из избы, и мы поехали дальше.

Помнится также, пришлось делать для него облаву на медведя. Собрал я для этого мужиков и ребятишек...

— Что, Макаров, — спрашивает барин, — людей нанял?

— Нанял, — говорю, — Николай Алексеевич!

— За сколько?

— Да мужикам-то по сорок пять, а ребятишкам по двадцать пять копеек, — ответил я.

— Ладно, — промолвил он и стал собираться в дорогу.

Приехали мы на охоту, и вдруг мужиков и ребятишек по моему счету оказалось больше, чем следует. Что делать? Стал я браниться и отгонять

лишних-то; барин услыхал это, подошел ко мне и говорит:

— Для чего ты, Макаров, гонишь их?

— Да тут, Николай Алексеич, — говорю, — оказалось много лишних, которых я не нанимал.

— Ну, что ж делать, Макаров, — говорит он, — пусть остаются, и лишние тоже хотят есть хлеб, недаром же сюда пришли. Не гони ты их, ради бога!..

Так всех и оставил, добрая душа...

Охота на этот раз удалась как нельзя лучше. Медведя барин убил, и он всех круглым счетом рассчитал по пятьдесят копеек, а мужикам сверх того дал еще и на водку. А как его, покойника, любили ребятишки! Куда бы он ни приезжал, вся как есть эта мелюзга-то так, бывало, и вывалит к нему навстречу, — и всегда ждут его, точно светлого праздника. Любил он их очень, ну и льнули к нему...

Приехали мы тоже как-то в одну деревушку, мороз был страшный, а нужно было сделать облаву, барин по случаю сильного мороза запретил мне брать ребятишек, и когда я набрал только взрослых, то некоторые ребятишки подняли рев.

— Что это они, Макаров, плачут? — спрашивает Николай Алексеевич.

— На охоту, — говорю — вяжутся.

— Вот глупые!

Проговорив это, он подозвал ребятишек к себе и дал им на гостинцы...

— Да что тут говорить, — сказал, вздыхая, Макарыч, — таких господ, как покойный Николай Алексеич, нынче нет, да, пожалуй, и не будет...

С. П. Петров

— К концу уж это было. Расхворался совсем Миколай Лексеич. Рак у него внутре был. Зовет меня. «Степан, говорит, Петрович»... А он меня Степаном не называл — завсегда Степан Петрович. «Устрой, говорит, охоту, чтобы скоро и хорошо. Да поближе. Как-нибудь, говорит, доеду». Ну, нашел я ему живой рукой серых куропаток. Снарядили его, укутали, посадили и круг под

него подложили, — без кругу нельзя ему было. Ну, и рессоры тоненькие — не зыбнет. Поехали. И Зина его, Зина Миколавна, супруга, с ним. Кряхтит, охает Миколай-то Лексеич. «Далеко, что ли»? — говорит. А недалечко было. Приехали. «Вы, говорю, не беспокойтесь». Я ведь теперь шмоня, а тогда ходкой был. Разыскал с собаками. «Пожалуйте», — говорю. А он всегда со своей собакой ходил. Слез, пошел. Я это было дальше, а он бросил ружье и кричит: «Степан Петрович! Степан Петрович! Родной мой, не могу! Вези домой!» И не хочет садиться к Зиновине Миколавне. Сел ко мне в шарабан. Круг положили. Едем. Согнулся, молчит. Проехали уж Чудово — молчит. Посмотрел я на него сбоку. Что такое? Засунул палец в рот и кусает. Молчит, бледный, и палец кусает. Перепугался я. «Зачем, думаю, барин палец ест? Никогда этого не было». Выехали на пустоплес, он и говорит: «Слушай, Степан Петрович! — сиплый у него этакий голос был. — Слушай, говорит! Ты знаешь, как я тебя люблю. Больше Зины, больше брата. Ну, так слушай, что я тебе скажу. Только, смотри, никому, никогда не сказывай! И Зине не говори. Чтобы между нами двоими только и было». — «Убей меня, бог, говорю». — «Хочу, говорит, застрелиться». — «Что же это, говорю, как же это... слава худая пойдет»... А у самого слезы. Гляжу на него и плачу. И у него слезы. «Не вынести, говорит. Что я могу сделать? Боль такая непереносная. Я уж, говорит, намерялся из револьвера, да побоялся — не убьет сразу. А хочу, говорит, из штуцера». — «Не надо, говорю, Миколай Лексеич! Слово худое — застрелиться». И зачал я его уговаривать. Говорю, говорю, плачу, а он все молчит, зубы стиснул, желтый, худой, согнулся... «А вот, говорит, Боткинский велит в Крым ехать». — «Вот, говорю, и поезжайте с богом. Беспременно польза будет». Ну, поехал он, а легче-то ничего не было... Выписали потом из Вены доктора, — свои-то не могли, — операцию делал, провели ему в бок кишку. Ну, как ни мучился, а помер. И за что его бог наказал! Добрейший был барин до народа. Бывало, заложим тройку вороных, дуем. Сидит он присгорбившись, бородка худенькая. Идут галахи. Он сейчас кучера тук в спину, стой! Смотрит. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» А он всего-то ваше благородие! Просто благородный барин. Знают, как назвать! Да оно и вправду, что твой князь был!..

«Что, скажет, выпить хочется?» — «Чего выпить! Голодные третий день»... А у него положенье — рупь на человека. А то и по три даст. Мелких не было. Понимал он насчет бедности. Сам испытал. Бывало, начнет рассказывать, как в Петербург приехал. Снял нумерок, а денег, не то что — свечу не на чего купить. Спичку засветит, посмотрит, а потом опять темь. Вот как колотился!.. Сам голодал и других понимал. Бывало, никого не минует. Едем раз через Грузинский мост. Едем ходко, тихо не ездили. А мужик с обручами, около дороги, завяз: колеса у него кверху и телега перевернулась. Ну, мы без вниманья. А он — нет! Кучера стук в спину и ногу из тарантаса выкидывает. «Куды вы?» — спрашиваю. «Да вон мужик-то! Околевать ему, что ли? Видишь, не поднимет». — «Да вы-то куды? Вон у вас какая партия дураков. Уж вы-то сидите спокойно. Поднимем без тебя». Ну, пошел я, камендинер — здоровый парнина у него был, еще два-три человека подошло, — народу около него страх сколько кормилось: кто патроны носит, кто сумку, шапку даст нести — неси, за все заплатит. Ну, перевернули, выправили на шоссе. «Ну вот, говорит, нам наплевать, пустое дело, а мужик-то, може, целый день пробился бы». Эх, добрейший был барин! Не знаю, за что бог окоротил век. Хорошему человеку и жизни нет, а другой болтается, черт его знает зачем! Ничего от него, кроме вреда, а живет!.. И мне через него честь большая была. Мужики-то, бывало, за версту кланяются: «Степан Петровичу!» А почему? Потому что охотимся, например, а к ночи Миколай Лексеич спрашивает: «Ну, где мы, Степан Петрович, оснуемся?» Любил он получше. «Да поедемте в деревню». Ну, к хозяину самовар, то да се. А наутро спрашивает: «Ты хозяин? Вот тебе красненькая. А старуха есть? Давай ее сюда. Вот и ей красненькая. А ребятишки есть? Ставь их в ряд». Да и им по трешнице. Вот как! Ну, и знали Степана Петрова! «Зайди, Степан Петрович, посиди!» Знают, с каким барином езжу. Всякому лестно залучить. А без барина-то больно я им нужен! Иди в омут глубокий! Теперь, небось, никто не приглашает! Эх, да кто только не знал барина Миколая Лексеича! На тридцать верст каждый мужик, каждая баба не то что его, и собак-то его знали! Раз поехали на бекасов. Ну, ездили, лазили, вернулись домой. Схватились — нет ружья! Потеряли. «Эх, жалко! — говорит Миколай Лексеич. — Поищи, Степан Петрович!»

А знаменитое было ружье, любимое его. Он его не ружьем звал, а «фузеей». «Фузея», говорит. Ну, и правда, что «фузея»! Коротенькое, обкладистое. Как дернет, бывало, по бекасу, словно ножиком срежет. Ловкий был стрелять! Ну, вот и потеряли. А по тому месту шел, значит, мужик в Грузино. Наткнулся на ружье. «Э, говорит, это некрасовское». Ну, и прислал мне сказать. Все его знали и любили. Да как же не любить-то? Не видал я после него таких господ. И за что его бог?.. Нагляделся я на его муку. Кажись бы, все для него отдал. Вот как: поставь мне тогда в помойную яму его и отца родного и скажи: «столкни которого». Так я бы скорее отца, чем его. Да чего там! Скажи мне: «Реши свою иль его жизнь, нельзя вам обоим на свете жить». И вот уж не знаю... Пожалуй, не задумался бы. Пущай его живет, а я что! Шмонька — шмонька и есть, туда мне и дорога!..

Старик Петров, сидя за столом в красной рубахе и валенках, рассказывал с необыкновенным волнением, местами всхлипывал, вскакивал и бил себя руками в грудь. Интересно было смотреть на этого старика (ему 67 лет), разрываемого стародавними воспоминаниями. Спрашивать его не нужно было: он сам неудержимо и беспорядочно выкидывал факт за фактом, которые воскресали в его голове.

— А что, Некрасов вам жалованье платил? — спросил я.

— Фф!.. Жалованье! — почти с негодованием вскричал он и от изумления не подыскал сразу негодующих слов.

Такое же изумленное восклицание раздалось за перегородкой из кухни, и его жена, старуха, высунув голову в дверь, повторила: «Жалованье! У него-то...»

— Жалованье! Какое жалованье! — порывисто перебил ее Петров, — тут не в жалованье дело! А родной он был! Что жалованье! Он подарки такие давал... Раз у меня лошадь околела. Что, говорит, Степан Петрович, у тебя беда? Ты приходи, говорит, возьми у меня рыжего. А не понравится, Сеньку возьми». А рыжий-то у него сто двадцать рублей даден... Ну, взял я рыжего, никаких мне Сенек не надо. Лошадь здоровая, неломаная, в мужиках такой не найдешь. Да, вот как! И жалованье мне полагалось, да не в жалованье дело. Уж и то мне завидовали прочие егеря. Хотелось им на меня худобу

положить. Сами-то, умные, не пошли, а подослали одного иваньковского дурака. Ну, он и начал наговаривать. Призывает меня Миколай Лексеич. Гляжу, сидят трое: Зиновина Миколавна и Василий Матвеич. Важный был барин, Лазаревский, министр, член внутренних дел, главный начальник по делам печати. А у Миколая Лексеича дела-то были по этой части. Ну, понимаете? Без него миновать нельзя. Ну, и был он завсегда почетный гость. Дружны были. Да, ну вот сидят. Начал мне Миколай Лексеич выкладывать. Я слушаю, трясусь от злости. «Напиши, говорю, все это на бумагу». — «Зачем?» — «А вот затем: притяну я их к суду и посмотрим, что скажут». — «Ну, это, говорит, не надо». — «Нет, надо!» — Кричу, трясет меня, так бы вот... «Я, говорю, тебе грязной служить не желаю, ты и чистых много найдешь». ...Он видит, что я в сумашествии, налил в бокал портвейну, пошел в кабинет, выходит, несет бокал на ладони. «Выпей». — «Не буду!» А Василий Матвеич, грубый был, кричит: «Пей!» — «Не буду!» — «Я тебе говорю — пей! Не ломайся!» Ну, выпил я, а на ладони бумажка. «Закуси!», говорит Миколай Лексеич. — «Не возьму!» — «Нет, ты, говорит, бери да ступай к этим, возьми вот так за угол бумажку, потряси да скажи, кто, дескать, ище на Степана Петрова наблякает, так ище такую штуку получу». Ну, я, и правда, пошел... «Вот, говорю, за поблеканье-то выше! Поблекочите, ище получу». Мне что! Сам велел! А бумажка-то пятьдесят рублей!..

И. В. Миронов

Да, хороший был барин. Он меня ведь и в люди-то вывел. Как же, как же! Пожили мы с ним, слава богу! Все было! У нас вся охота была откуплена, верст на двадцать. Любил он, чтобы пространство было. В другом месте и не бывает, а деньги плачены. Прежде-то было раздолье! А теперь, что ни дальше, то хуже... И дичи меньше, и леса рубят бесщадно. Любил Миколай Лексеич сюда ездить. «Вот, говорит, бывало, в Ярославле куда лучше у меня именье, а не люблю туда». Бывало, сидит на балконе, и вдруг это где-нибудь вдалеке кто-нибудь выстрелит. Сейчас посылает: «Кто это, говорит?

Ступайте разыщите». Ну, идешь, ищешь. Да разве найдешь? «Неизвестно, мол, кто, Миколай Лексеич». Да, следили строго, чтобы никто кроме не охотился. Бывало, наедут к нам гости, — к ему ведь какие ездили? Тузьё. Министры, графы. Ну с собаками, с ружьями, с припасами, с закусками, с винами отправляемся. Раз этак порошка выпала, на зайцов поехали, — так господа-то в санках лежат, а сзади девки-загонщики с песнями всю дорогу. Право! весело было. Ежели веселая охота, всех угощал... Да и кормилось около него немало. Я вот двадцать пять рублей в месяц по летам получал, а были, которые круглый год получали. Да и прочим мужикам перепадало. Добрый был, что и говорить [1]. На постоялом ежели остановимся, — ну, что там? Припасы все свои, только бы за самовар да за ночлег, а он хозяину рупь, хозяйке рупь, ребятишкам по рублю. Так бумажками и оделял. Мужики-то хорошо его знали. Бывало, едем дорогой. Подходит мужик, снимает шапку. «А я вот для вас, Миколай Лексеич, выводочек присмотрел, за речкой; хлопотал, трудился; уж соблаговолите!» — «Ну, скажет, рассказывай где, а вот тебе за труды». Вынимает целковый. А потом лезем-лезем по болоту — нет ничего. Да он не сердился... Знал уж он их! И супруга его, Зиновея Миколавна, бывало, все с ним... Приедет из Питера барыней, а на охоту едет барином: брюки наденет, пиньжак, сапоги. Веселая была, красивая. Иной раз на что-нибудь рассердится Миколай Лексеич, она сейчас охватит его, целует, развеселит да развеселит. Хворый он, сердиться-то ему нельзя — вот она и старается. Только раз беда с ней стряслась. Видели памятник-то? Самая его любимая собака была [2]. Они, бывало, вдвоем с супругой за стол и собаке тут же третий прибор ставят. Что им, то и ей... И всегда она с ним: и в вагоне, и везде. Хоть на день в Петербург, и ее берет. Вот грех-то и приключился с Зиновеей Миколавной. На токах были, сидели в шалаше, ночью часа в два. Вышла она из шалаша, а из кустов тетерка. Она трах, а Кадо как раз тут же крался. Взвыл пес и кувырком. А она — батюшки! Бросилась к нему, потом к Миколаю Лексеичу — не знает, что и сказать. «Ну, говорит, что хочешь, то и делай теперь со мной»... Она после этого и охотиться перестала. А собаку мы похоронили. Как же!.. Да много всяких случаев было. Меня самого чуть Миколай Лексеич не пристрелил. Стоим мы на току. Много нас по

кустам, а темно, на рассвете плохо видно. Себя-то Миколай Лексеич берег, стоит в кустах да покрикивает сиплым этак голоском: «Смотри, ребята, я здесь!» Ну, а про нас-то иной раз разгорячится и забудет. Стоим мы с камендинером против него на полянке, и вдруг летит тетера. И прямо на нас. А Миколай Лексеич целит и ружьем ведет. Что тут делать? Мы сейчас это сразу наземь и припали. Трах! Тетера лежит, и мы лежим! Ловкий был, хорошо стрелял, ну, а все-таки сохранил господь. Во всякую погоду, и в дождь, и в стужу, лазили мы с ним. Охота! Что тут будешь делать! Бывало, уж и нездоров, пойдем на ночев, укутаем, накроем в шалаше, кряхтит, охает — дождь это, слякоть, и дичи-то никакой нет, а он все сидит да ждет. Да... напоследок-то совсем уж плох стал, расхворался, приедет больной, грустный, хмурый. Тут ему доктора для здоровья велели утром и вечером в речке купаться. Бывало, возьмет меня. «Разденься, говорит, Миронов, попробуй, не холодная ли очень». Ну, залезешь в воду. «Ничего, кричишь, Миколай Лексеич!» Хошь, оно и холодная, да уж обманом хочешь заманить, а то видно, что не хочется ему. «Эх, Миронов, — скажет, бывало, — не то, что в воду, в огонь бы бросился, только бы по-прежнему здоровым быть». Да, совсем он плох сделался, желтый весь, худой... А потом уж так и слег у себя на петербургской квартире. Ну, а все-таки до самого конца не забывал нас. Приказывал привозить к нему дичь. Помню, раз, незадолго до его смерти, осенью, привез я ему дупелей. Велел он их сложить на поднос и меня позвал. Смотрит на них да плачет. «Хоть бы раз, говорит, побыть»... Да уж нет, не довелось... Помер... Хороший был барин, что и говорить! А иной раз приедет и словно что найдет на него, не говорит ни с кем, запрется в кабинете и сидит дня три, четыре. Тут уж к нему никто не мог войти. Даже и Зиновея Николавна... Дадут ему только в дверь стакан чаю или поесть что: он возьмет сам в дверь и опять затворится. Что уж он там делал, и не знаю!

— Писал, может быть!

— Пожалуй, что писал. Ну, да мы в эти дела не вникали. А он, положим, нам все про себя рассказывал. Раз как-то прислал телеграмму: ждите в такой-то день. Выехали к поезду, — нет его. И вечером нет. На другой день приехал. Пошли на охоту. Веселый такой... «А знаете, говорит, почему я вчера не приехал? Играл в карты,

да много проиграл, несколько тысяч. Жалко стало. Дай, думаю, отыграюсь. Остался. Да не только свои вернул, еще восемь тысяч выиграл». — «Ну, что же, говорим, слава богу, Николай Лексеич». Тут к нему один господин часто ездил. Важный такой. Так тот и один сам с собой все в карты играл... Разложит в своей комнате карты и сидит над ними. А то привезет, бывало, Николай Лексеич ружье новое, показывает: «Пятьсот рублей дал. Хорошо?» Славный был, простой барин!..

«ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ»

Н. А. Белоголовый

Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895) — врач, тесно связанный с демократическими кругами России. В 70-е годы был близок к членам редакции «Отечественных записок»; лечил Салтыкова-Щедрина, Елисеева. Н. А. Белоголовый был знаком с Герценом, Огаревым, Л. Н. Толстым, Тургеневым. В марте 1877 года Н. А. Некрасов писал брату Федору: «При мне постоянно доктор Белоголовый и профессор Богдановский, хирург. Боткин ездит тоже. И много их. Два вышеназванные (Белоголовый и Богдановский) превосходные люди. Я нашел в них друзей» (XI, 410).

Через три дня после смерти поэта Н. А. Белоголовый опубликовал своеобразное «медицинское заключение»: «Болезнь и последние дни жизни Н. А. Некрасова» (*НВ*, 1877, № 661, 31 декабря). В этой статье он писал о своем решении «со временем опубликовать подробную историю» болезни Некрасова. Это обязательство было им выполнено. В «Отечественных записках» (1878, № 10) была опубликована его статья «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова», которая вызвала возражения сестры поэта, А. А. Буткевич; она протестовала против «неуместных подробностей» в изложении болезни Некрасова (*ЛН*, т. 53—54, стр. 188). Редакция журнала считала статью Белоголового документом, представляющим общественный интерес. Елисеев пытался разубедить А. А. Буткевич: «Я положительно недоумеваю, каким образом и почему смогли причинить Вам огорчение статьи Белоголового о болезни Вашего брата? С моей точки зрения,

как статьей Белоголового, так в особенности печатанием ее в литературном органе сделана памяти вашего брата такая честь, какой никто не удостаивается. Это, впрочем, не мое только личное воззрение. Я и слышал и видел в газетах отзывы очень благоприятные для этой статьи» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 103, л. 12).

БОЛЕЗНЬ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА

Я познакомился с Николаем Алексеевичем Некрасовым зимой 1872/73 года, когда он пришел ко мне посоветоваться о своем здоровье; входя, как теперь помню, он обратился ко мне с словами: «Вы меня примите, отец, под свою команду, почините». Починка в это время оказалась не существенная. ⟨...⟩

К весне Николай Алексеевич стал жаловаться на вялость, апатию, нерасположение к занятиям; все эти жалобы достаточно объяснялись тем безалаберным образом жизни, который он вел зимой: ночи он все просиживал или в клубе, или за письменным столом, днем вставал поздно, пешком совсем не ходил, в пище также, несмотря на все настояния, часто случались погрешности. Ввиду всего этого я посоветовал Николаю Алексеевичу поехать на лето за границу, а именно сказал: «Четыре недели прожить в Киссингене и пить Рокоцци, а потом, после двухнедельного отдыха, три недели купаться в море в Диеппе». Он так и сделал, и эта поездка настолько ему помогла, что он не только всю последующую зиму (1873/74) чувствовал себя вполне удовлетворительно, но и на лето 1874 года не встретилось необходимости предпринимать каких бы то ни было врачебных мер. Но с половины следующей (1874/75) зимы снова начались явления вялой деятельности кишечного канала. ⟨...⟩ Весной осмотрел, вместе со мной, Николая Алексеевича профессор Боткин, и сообща было порешено, что летом он будет пить четыре недели Мариенбад-Крейцбруннен в своем имении Чудово. Но едва я вернулся, в сентябре, в Петербург, Николай Алексеевич пришел ко мне с жалобами, что дурно провел лето, тогда как обыкновенно это время года, будучи постоянно на охоте, в движении, на воздухе, привык чувствовать себя пре-

красно. ⟨...⟩ Вся эта зима проходила для Николая Алексеевича тяжелее предыдущих еще и потому, что один из его главных соредакторов по «Отечественным запискам», М. Е. Салтыков, будучи тяжело болен, должен был зимние месяцы провести в южном климате за границей, и, вследствие этого, труды Николая Алексеевича по редакции значительно увеличились. Раза четыре в зиму он посылал за мной, жалуясь постоянно на какое-то неопределенное недомоганье, вялость, зябкость, неудовлетворительный сон; он называл это лихорадкой и приписывал простуде, тогда как при исследовании ничего лихорадочно не оказывалось... ⟨...⟩

В мае я уехал в деревню на две недели, и когда возвратился в Петербург на два дня перед своей поездкой за границу, то Николай Алексеевич тотчас же пришел ко мне с сугубыми жалобами на свою невралгическую боль; она стала и чаще, и продолжительнее, и острее, особенно по ночам, так что иногда заставляла его вскакивать с постели. ⟨...⟩

Николай Алексеевич сообщил мне свой план — на лето переехать в Гатчино, летнее пребывание профессора Боткина, чтобы там стать под непосредственное его наблюдение. Вполне одобрив это намерение, я расстался с Николаем Алексеевичем, скорбно предчувствуя, что осенью встречу его в далеко худшем виде, чем теперь. Летом доходили до меня редкие слухи, что Николаю Алексеевичу все не лучше[1] и что он в августе вместе с Боткиным переехал в Крым. В начале октября, когда я уже был в Петербурге, вести о здоровье Николая Алексеевича стали до того тревожны, что я, по просьбе друзей его, послал профессору Боткину телеграмму в Крым с запросом о ходе болезни. Ответ пришел довольно успокоительный, что, под влиянием недавно начатых меркуриальных втираний, боли стали слабее и питание несколько улучшается. К половине октября политическое положение в Европе приняло угрожающий характер; Россия послала Турции свой ультиматум в защиту Сербии, в воздухе запахло войной, и при таких условиях оставаться в Крыму сделалось и неудобно, и небезопасно; Николай Алексеевич, по совету Боткина, должен был выехать и 30 октября вернулся в Петербург и в тот же вечер прислал за мной. Я ожидал, по слухам, найти его в худшем положении; в лице он мало изменился и похудел, худоба же тела в значительной степени скрывалась костюмом.

Притом в этот вечер вообще Николай Алексеевич казался возбужденным и даже как-то благодушно веселым, что достаточно объяснялось ощущением благополучного окончания утомительных мытарств по гостиницам и железным дорогам и удовольствием чувствовать себя в своей домашней комфортабельной обстановке. Жалобам, правда, не было конца, и, по крайней мере, с час изливал он передо мной эпопею своих страданий, так что я за поздним часом и за усталостью его после дороги отложил исследование до следующего дня. Но самый рассказ о ходе болезни за лето и осень мне показывал, как она прогрессивно развивалась, и Николай Алексеевич не мог не видеть этого прогрессивного ухудшения и, видимо, сознавал, что дело его плохо. 〈...〉 Самая продолжительность болей гораздо усилилась: бывали дни, когда свободных от них промежутков набиралось часа два в сутки; сила их достигала такой степени, что больной буквально не находил места, так что нередко, измученный жестокостью и продолжительностью болей и несколькими проведенными подряд бессонными ночами, он впадал в полное отчаяние и думал о самоубийстве[2]. 〈...〉 Силы Николая Алексеевича были еще настолько изрядны, что на переезде в экипаже из Ялты в Симферополь он часто выходил из коляски и по четверть часа шел пешком; что же касается до творческой силы поэта, то она продолжала работать, не подчиняясь страданиям тела — доказательством чему служит большая поэма в 1800 стихов, написанная в Ялте и посвященная профессору Боткину[3]. 〈...〉

В начале декабря была устроена консультация с профессором Склифосовским, на которой, кроме меня, находился еще доктор Головин, наблюдавший также больного во время его пребывания в Крыму. 〈...〉

В передаче своего мнения больному профессор Склифосовский старался его как можно более успокоить, но или в его словах, или в тоне проскользнуло что-то такое, что, видимо, сделало на Николая Алексеевича тяжелое впечатление, и он снова захандрил после его отъезда. К этому присоединялась еще новая нравственная тревога: поэма, написанная в Крыму, встретила препятствия к напечатанию; это был для него неожиданный удар, и я помню, как он встретил меня однажды словами: «Вот оно, наше ремесло литератора! Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь,

то тотчас же встретился с ножницами; прошло с тех пор тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение — и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами!»[4] Как ни старались успокоить его друзья, он очень горячился и несколько раз принимался за переделки поэмы, пользуясь короткими промежутками между страшными болями и записывая стихи на отдельных листах бумаги. Тяжелое впечатление производила исхудалая фигура Николая Алексеевича во время болей, прикрытая всегда одной только длинной, спускавшейся до колен, рубашкой, — тогда он буквально не находил места, или вскакивал и ходил с палкой по комнатам, или становился на четвереньки на постели, или ложился, но и лежа, не мог оставаться покойно десяти минут, а находился в постоянном движении, поднимая то ту, то другую ногу вверх. ⟨...⟩ С состоянием духа Николая Алексеевича и сознанием полной безнадежности своего положения лучше всего знакомят те стихотворения, которые он написал в декабре для январской книжки «Отечественных записок» и которые явились потом под заглавием «Последние песни». Так наступил 1877 год, начало которого не ознаменовалось ничем особенным, только ⟨...⟩ большей продолжительностью и интенсивностью болей, что заставило нас дойти постепенно до удвоенной порции опийных спринцований; больной шел неохотно на эту прибавку, боясь, как я уже сказал выше, вредного влияния опия на свои умственные способности, и поэтому мы часто умышленно скрывали от него количество вспрыснутых капель. ⟨...⟩ Едва ли я преувеличу, сказавши, что этот месяц, с 20 января и приблизительно до 20 февраля, был относительно самым покойным за все время болезни Николая Алексеевича, до операции. ⟨...⟩ По счастью, это значительное физическое облегчение страдания совпало с тем высоким подъемом духа, который произошел в Николае Алексеевиче за это время. Появившиеся в январской книжке «Отечественных записок» его «Последние песни», говорившие о его страданиях, вероятности близкой смерти и проводившие, между прочим, мысль о том, что он умирает чуждым народу, вызвали огромное сочувствие к его страданиям и горячий протест против последней мысли как в журналистике, так и в публике. Все органы печати, наперерыв один перед другим, высказывали свои соболезнования к его страданиям и говорили об огромном значении его

литературной деятельности;[5] но к подобной печатной оценке своего таланта, как бы ни была она лестна для него, он все-таки более или менее привык; гораздо более поразил его своею неожиданностью взрыв общественного сочувствия к нему, выразившийся непосредственно: ежедневно стал получать он массу писем и телеграмм, то единичных, то коллективных из разных мест и часто глухих закоулков России, из которых он мог заключить, как высоко ценит его родина и какими огромными симпатиями повсеместно пользуется в ней его талант[6]. При всей скрытности своего характера и необыкновенном умении владеть собой, он не мог не выражать ясно, как все эти манифестации его трогали и возвышали в собственных глазах. Раз как-то, показывая мне две телеграммы, полученные им в это утро из Ирбита[7], он сказал: «Часто нам приходилось в журналистике говорить, что мы не знаем совсем нашего подписчика и какого он мнения о нашей деятельности, а вот он теперь для меня и открывается!» Возбужденный этими манифестациями, он сделался гораздо разговорчивее, охотно стал вспоминать и рассказывать различные эпизоды своей жизни (не исключая и тех темных, которые пятнами лежали на его жизни и которые теперь он старался, видимо, обелить)[8], свои отношения к различным нашим знаменитостям; под влиянием наплыва этих воспоминаний он остановился на мысли составить свою биографию и лихорадочно приступил к этому таким образом: частью он диктовал сам, пользуясь всяким свободным от боли часом, то брату Константину Алексеевичу, то сестре Анне Алексеевне, иногда даже ночью будил их и заставлял писать под свою диктовку; частью же передавал устно тот или другой эпизод своей жизни кому-нибудь из друзей и просил его литературно обработать его и написать[9]. В то же самое время он редактировал и выпустил в свет отдельное издание своих «Последних песен»; наконец, он тогда же сочинил (впрочем, начало было им написано несколько лет раньше) свою поэму «Мать»[10] и стихотворение «Баюшки-баю», появившееся в мартовской книжке «Отечественных записок», из которого публика, как из бюллетеня, могла усмотреть, что здоровье поэта все плохо и что опасность близкой смерти его не устранена ⟨...⟩. Дня нас, врачей, становилось очевидным, что наступает время самого крайнего средства, чтобы продлить жизнь больного, то есть операции ⟨...⟩. Глухой

намек, сделанный на нее больному, крайне раздражил его, и он наотрез объявил, что предпочитает умереть, чем подвергаться еще мучениям этой операции; мне насилу удалось его успокоить, и затем пришлось прекратить все дальнейшие попытки возвратиться к этому вопросу. Оставив Николая Алексеевича в покое, я обратился к сестре его, Анне Алексеевне Буткевич, страстно любившей брата, и как к лицу наиболее энергичному между близкими, и предупредил о неизбежности операции, прибавив, что операция не вылечит больного, а только на некоторое время продлит жизнь его и устранит вероятность мучительнейшего исхода, следующего за абсолютной непроходимостью кишки — исхода, который неотразим без помощи операции. Сестра поняла неизбежность операции и тотчас же, по чьему-то совету, написала одному знакомому врачу в Вене просьбу вступить в переговоры с известным венским хирургом, профессором Билльротом, не согласится ли он приехать в Петербург для производства операции. Когда она мне сообщила свой план о приглашении Билльрота, я признал его неосуществимым, говоря, что Билльрот не приедет, будучи очень занят в Вене, и в подтверждение указал на то, что венский же профессор Бамбергер, по слухам, приглашался в декабре в Кишинев на консультацию к великому князю Николаю Николаевичу и отказался приехать за неимением времени. Вскоре после этого госпожа Буткевич передала мне ответ ее корреспондента из Вены, что Билльрот уехал в Италию и потому переговоры с ним не состоялись. А между тем состояние Николая Алексеевича все ухудшалось; еще 3 марта он, в присутствии Пыпина, Богдановского и меня, продекламировал нам, лежа в постели, свое только что написанное стихотворение «Баюшки-баю» и с тех пор более полугода не принимался за стихотворную работу. Боли в это время усилились до того, что больной, наконец, вынужден был постепенно увеличивать количество опия в спринцованиях и к половине марта дошел до девяти капель три раза в день; но и это количество давало самое кратковременное успокоение, а между тем возбуждало и энервировало его страшно. Раздражительность его достигла крайних пределов, и он, приписывая ее исключительно опию, решился силой своей энергии снова убавить количество и дошел до пятнадцати — шестнадцати капель в сутки, хотя боли были так велики, что

он часто кричал или же по часам тянул громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волге. ⟨...⟩ Г-жа Буткевич получила письмо из Вены от Билльрота, соглашавшегося приехать в Петербург для производства операции, с обязательством пробыть три последующих за ней дня. Так как Николай Алексеевич находил условия Билльрота для себя необременительными (15 000 прусских марок) и, видимо, под влиянием сестры, был за вызов его, то профессору Богдановскому и мне ничего не оставалось, как согласиться на это решение; поэтому назавтра же была составлена ответная телеграмма Билльроту, чтобы он немедленно же выезжал. ⟨...⟩

В понедельник вечером профессор Билльрот приехал в Петербург, и в тот же вечер я, бывши у него, подробно передал историю болезни, а назавтра утром, 12 апреля, привез его в восемь часов к больному; он сделал быстро, чтобы не мучить больного, исследование пальцем прямой кишки и, переговоривши с профессором Богдановским о некоторых необходимых приготовлениях к операции, условился произвести ее в час того же дня. В назначенное время мы все собрались, явились ассистенты, и было немедленно приступлено к хлороформированию больного, а по захлороформировании он был перенесен в другую комнату, где и была произведена операция. ⟨...⟩ Я заметил, что операция, по часам, продолжалась 25 минут; захлороформирование было полное; больной ничего не чувствовал и пришел в сознание только тогда, когда все было кончено ⟨...⟩. Билльрот и Богдановский согласились съезжаться на перевязки три раза в день: утром, среди дня и вечером; я же увидал больного только назавтра, среди дня, и нашел его покойным, почти без лихорадки (38,2, а в день операции вечером было 37,5), с жалобой на легкое жжение на месте раны и на ночь, без сна проведенную. Вообще же он принял меня дружелюбно, как всегда, но как-то сосредоточенно, говорил шепотом и отвечал односложно на вопросы, однако же выразил свое полное удовлетворение, что все так благополучно кончилось. ⟨...⟩ Я крепко настаивал на скорейшей перевозке больного на дачу, так как приближались жары, и жить в душных городских комнатах было бы тяжело, да и лишило бы важного условия для возможного восстановления сил — хорошего воздуха; сам Николай Алексеевич очень хорошо понимал пользу пе-

реезда на дачу, но очень боялся испортить результат операции экипажною тряскою, так что проектировалось даже перенесение его на носилках; следует заметить, что с конца мая больной почувствовал себя в состоянии около часу сидеть в креслах, тогда как с ноября сидячее положение для него было решительно невыносимо. За границей я получал еженедельно известия о ходе болезни от студента Демьянкова, ходившего за больным и пользовавшегося его особенным расположением. Пищеварение вскоре при ежедневных промывках пришло в старый порядок, а вместе с тем исчезли лихорадочное состояние и изжога, улучшились аппетит и силы. Сознавая это, больной однажды, во второй половине июня, внезапно решился выехать и, слегка одевшись, сел с сестрой и студентом в экипаж и прокатился по улицам, а вскоре затем выехал вторично, но уже подальше: не видя от этих выездов ни малейшего ухудшения, он наконец перебрался 1 июля на дачу Строганова на Черной речке. В общем же, за лето никаких существенных перемен не произошло; врачу было трудно ладить с ним, как с человеком нервным, и особенно в отношении пищи: часто он накидывался на вещи трудноваримые и жирные, и тотчас же ему делалось хуже[11]. ⟨...⟩

С августа больной ли, наученный опытом, стал несколько воздержаннее относительно тяжелой пищи или местные явления сложились несколько благоприятнее, но страдания его чуточку затихли, и тогда он стал немного читать и изредка кое-что писать, а в конце августа переехал с дачи в город. Так же однообразно и довольно сносно прошел сентябрь, и когда я его увидел в конце этого месяца, то передо мной лежал тот же Некрасов, только исхудавший до невозможности и с более заострившимися чертами лица. Состояние духа было мрачное, сосредоточенное, говорил он мало и, видимо, уже плохо верил утешениям в полное поправление, говоря, что он обратился в животное и чувствует, что в таком состоянии может прожить еще долго, но какой прок в такой жизни? ⟨...⟩ Большую часть дня больной лежал часто с закрытыми глазами, изредка бросая какое-нибудь односложное слово, и то большей частью если его о чем-нибудь спросят; правда, теперь он ежедневно читал газеты, но почти никогда не говорил о прочитанном, хотя за ходом военных действий, очевидно, следил. ⟨...⟩

Весь октябрь он охотно пил молоко и дошел до двух бутылок в сутки, но потом оно ему надоело, и он ограничивался двумя стаканами, пил крепкий бульон, токайское вино (до вина вообще он был не охотник и пил как лекарство) и ел мясо. В октябре же отстали два последние шва с брюшины. Несколько раз на дню он вставал с постели и прохаживался по комнатам, обыкновенно держась за руку ходившей тогда за ним сиделки; один он ходить боялся с тех пор, как летом чуть не упал; всякий день, кроме того, проводил несколько часов сидя в кресле. Из знакомых он пускал к себе немногих, и не надолго [12]. В ноябре же он стал чаще и чаще жаловаться сначала на местные поты, которые иногда замечал на груди и на голове, обыкновенно при пробуждении, а потом на редкие и непродолжительные ознобы; я же замечал, что пульс по временам делался чаще и получал несвойственную ему полноту ⟨...⟩. При всем этом нервозность его до того была велика, что не было возможности уговорить на правильное измерение температуры; раза два или три, после настойчивых приставаний, он ставил наконец термометр, но, при его худобе, термометр плохо ущемлялся, а прижать со стороны он никак не позволял, поэтому и эти измерения оказывались чисто фиктивными, хотя и таким образом температура раз получилась 38,1. Все это, очевидно, указывало на происходивший в пораженном месте распад и начало гнойного заражения и заставляло все более и более ожидать скорой развязки, хотя самочувствие больного оставалось весьма удовлетворительным в сравнении с прежними дооперационными болями; правда, с появлением лихорадочного состояния, его стали чаще и чаще беспокоить старые отраженные боли в конечностях, однако ж, он часто дремал днем, а ночью спал иногда по три-четыре часа без перерыва; голова была настолько свежа, что, почти не бравшись с конца февраля за карандаш, в ноябре и в начале декабря он написал несколько мелких стихотворений, и одно из них («Мне снилось, на утесе стоя») помогает нам заглянуть в душу поэта и открыть, что и в это время надежда на поправление не покидала его и что стихотворения, написанные им в начале 1877 года, дышали большим отчаянием и безнадежностью, чем эти, в действительности оказавшиеся «Последними песнями» [13]. ⟨...⟩

В декабре заметно уменьшился аппетит, и хотя, несмотря на это, больной ел все-таки изрядно, но силы

поубавились; он меньше ходил по комнате, еще резче осунулся в лице и самый цвет лица сделался зеленовато-бледным; явился небольшой отек в обеих ступнях. 〈...〉 *13 декабря* после промывки был довольно сильный озноб и часа два после него — обильный общий пот. *14 декабря* я нашел его лежащим в кровати в обычной позе, на правом боку, с подложенной под щеку правой рукой. 〈...〉 Больной, как всегда, жаловался только на слабость и тоску во всем теле, но преимущественно в руках. По окончании осмотра, я сел подле кровати и сказал ему больше для того, чтобы испытать свежесть его головы: «А ведь сегодня четырнадцатое декабря». — «Да, — отвечал он, — я нынче как проснулся, так и вспомнил об этом». Поговоривши еще немного, я уехал. Вечером того же дня, в девятом часу, за мной послали спешно; приехавши, я его нашел в каком-то несвойственно ему возбужденном состоянии; он меня встретил словами, произнесенными с досадой: «Зачем это вас тревожили?» Но речь была до того нечиста, что из его объяснений я решительно не мог понять, в чем дело; из расспросов же приближенных обнаружилось, что в семь часов он встал с кровати и перешел в другую комнату, где сел в кресло и попросил чаю; но едва он выпил стакан, как почувствовал потрясающий озноб, и попросил сейчас же уложить его в постель; озноб продолжался около 1/4 часа. 〈...〉 В девятом часу утра я нашел его в менее возбужденном состоянии: пульс — 96, менее полный, температура тела не повышена, легкая испарина; ясный полупаралич левого личного нерва и полный паралич правой половины тела. 〈...〉 Николай Алексеевич хотел во что бы то ни стало встать и походить, по обыкновению, по комнате; отговорить его было невозможно, и, поднявши с великим трудом с постели, его обвели два раза по комнате, причем правая нога тащилась сзади и передвигалась при поворотах посторонними руками, но он этого не замечал, а только твердил что-то недовольным тоном, и из всего его бормотанья несколько яснее слышались беспрестанно повторяемые слова: «Ну, что это? Ну, что это?» Я раз спросил его, что он хочет сказать, и он довольно ясно произнес: «Они мне всю спину изломали», очевидно, разумея лиц, водивших его по комнате. Наконец его уложили в постель, с которой ему более уже не пришлось вставать. В течение дня он заметно стал свежее, речь гораздо яснее, нога обнаруживала большую подвижность

и он стал произвольно сгибать ее в колене, но зато рука оставалась совершенно неподвижной. Ничего не ел, но очень благодарил за мороженое, которое я ему предложил и которое он требовал беспрестанно.

16 декабря. Больного навестил и осмотрел профессор Боткин; чтобы выслушать задние доли легкого, его с трудом можно было посадить в постели. Кожа покрыта испариной; больной беспрестанно просил пить; от приема лекарства отказывался. 〈...〉

17 декабря. Сознание ясное; встретил меня словами: «Все не околеваю», жаловался на икоту и говорил, что это явление предсмертное. Опухоль на бедре также начинает его сильно беспокоить, она увеличивается и переходит на переднюю поверхность. Все как бы дремлет, зарываясь затылком в подушку; просит воды, выпьет или скажет слово и сейчас же захрапит, по временам дыханье как бы прекращается и после паузы следует глубокое вдыханье (Шеин-Штоковский феномен). Пульс — 100, полный.

18 декабря. Ночью вырвало, потому что часто и много пил, то зельтерскую воду, то лимонад, обыкновенно назначая сам и раздражаясь, если ему давали не то, что он просил. Едва уговорил принять утром несколько ложек бульона. Просит почти беспрестанно растирать обе ноги ниже колена. Опухоль бедра — так же как накануне; явился небольшой отек в запястье парализованной руки. Сонливость несколько меньше, пульс — 106, сильная испарина.

19 декабря. Ночью засыпал по часу, в промежутках требуя пить; немного бредил и, между прочим, сказал: «Зачем они заговорили мне только одну половину головы?» 〈...〉

20 декабря. Сонливость и икота прекратились, жажда меньше; отказывается от пищи, говоря, что боится рвоты, однако выпил немного бульону. Жалуется на боль и жжение в обеих ступнях и преимущественно в левой и беспрерывно просит поливать их с губки холодной водой, ссылаясь на то, что Плетнев ему всегда советовал лечиться холодной водой; поливание, видимо, его успокаивает, но как только его прекращают, он начинает волноваться и жаловаться, что ему не хотят помочь.

21 декабря. Те же жалобы на жжение в ступнях; прочие явления те же. 〈...〉

24 декабря. Больной, видимо, слабее, но провел сутки покойнее, поел немного бульону, рвоты не было. Отек правой руки увеличивается; опухоль бедра не изменилась; больше всего жалуется на место пролежня.

25 декабря. Гораздо слабее, говорит очень мало и менее ясно; в первый раз пожаловался на боль в голове, именно во лбу, и, кроме того, на боль в горле и глотает с гримасой, хотя при исследовании в зеве ничего не заметно.

26 декабря. Слабость увеличивается; трудно понимать, что хочет сказать больной, однако же явственно пожаловался на боль головы; глотание трудно, пульс — 100, но довольно полный. Около пяти часов дня больной поочередно подозвал к себе жену, сестру и сиделку и каждой сказал одно и то же слово, как бы «Прощайте». С этого времени он уже более ничего не говорил, и когда я приехал, в десятом часу вечера, он, видимо, ничего не сознавал, но когда я попробовал дать ему с ложки воды с вином, тотчас проглотил, поморщившись.

27 декабря. Вся ночь прошла так, как я его оставил, но наутро я нашел пульс около 100 и менее полным, ритм дыханий правильный, с числом 36 в минуту. Выражение лица покойно, ни один мускул на нем не шевелился, глаза полуоткрыты и устремлены на одну точку; все тело лежало совершенно неподвижно на спине, и, подошедши к кровати, можно было подумать, что жизнь покинула тело, если бы не движения грудной клетки, да левая рука находилась в беспрерывном движении; он то подносил ее к голове, то клал на грудь. Я заезжал еще во втором и пятом часу — перемены не было; но в восемь часов вечера я нашел, что дыхание сделалось шумнее и реже, пульс стал исчезать, конечности несколько холоднее, а около 8 1/2 ч. начались последние минуты: дыхание становилось все реже и реже, рот то открывался, то закрывался, явилось два раза судорожное сокращение челюстей, затем небольшой короткий храп — и все было кончено. ⟨...⟩

А. А. Буткевич

Во время болезни Некрасова А. А. Буткевич в 1876—1877 годах вела дневниковые записи, которые, видимо, сохранились неполностью. По содержанию к ним примыкает и ее «Заметка» о цензурных мытарствах поэта в последний год его жизни, написанная ею после смерти брата.

I

⟨ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ⟩

⟨*До 23 марта 1877 года*⟩. Я сидела в бильярдной, вдруг в дверях показался Салтыков в пальто и в шляпе и делал мне какие-то знаки. Я выскочила.

— Остановили третий номер «Отечественных записок»!

— За что?

— А черт их знает! — и посыпалась брань.

— Как же теперь сказать брату?

— Не нужно ничего говорить. Я сейчас был у Краевского, он хочет через кого-то хлопотать, и я тоже еду. Зайду на минутку к Николаю Алексеевичу.

— Да брат только что послал в контору, чтобы ему прислали два экземпляра.

— На что ему два экземпляра, что он в двух, что ли, будет читать? Пошлите к Краевскому, у него, верно, есть пробная, пусть принесут, а двух ему не надо, зачем ему две! Какой странный человек: во всех комнатах чтобы по книжке лежало.

Салтыков пошел к брату и, повернувшись ⟨повертевшись?⟩ с минуту, вышел, чтобы отправиться хлопотать. Между тем принесли книгу от Краевского (пробную с опечатками). Пересматривая свои стихи [1], брат нашел, конечно, те же самые ошибки и велел позвать Чижова и упрекал его за невнимание. Чижов безмолвно выслушивал незаслуженные упреки. Через час вернулся Салтыков и привез с собою Елисеева, кажется, затем, чтобы вместе сказать брату, что третий номер заарестован, но передумали и, поговорив о посторонних предметах, ушли. Но у брата явилось подозрение. «Что они меня морочат? — сказал он. — Разве я не понимаю. Какое вдруг участие, вместе пришли навестить!! Никогда этого прежде не было. Что, запретили, что ли?» Но внимание его было отвлечено другим обстоятельством. Отпечаталась седьмая часть — «Последние песни» [2] и должна была до святок поступить в цензуру, но сверх ожидания прием был прекращен днем раньше, и дело откладывалось до Фоминой недели. Брат был очень расстроен — выход книги отсрочивался на три недели. «Для меня, — говорит он, — это целая вечность, когда каждый день может быть последним. Я хотел бы, по крайней мере, успокоиться насчет судьбы моей книги. Пошли, — сказал он мне, — за Скороходовым, вели ему съездить к цензору Лебедеву и попросить, нельзя ли принять не в очередь и просмотреть». Но Лебедев сказал, что без разрешения Петрова он не может ничего сделать. Брат продиктовал мне письмо к Петрову, где просил его разрешить Лебедеву просмотреть частным образом, но передумал послать письмо: «Не хочу я у них ничего просить. Пусть будет как будет». На столе лежали только что записанные мною стихи «Черный день». Брат взглянул на них: «Поправь, пожалуйста, там, напиши: «Друзей, врагов и *цензоров»* [3].

23 марта. Пришел Ф. М. Достоевский, брата связывали с ним воспоминания юности (они были ровесники), и он любил его. «Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту, мне приятно его видеть». Достоевский посидел у него недолго. Рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидав в тюрьме у арестанток «Физиологию Петербурга» [4]. В тот день Достоевский

был особенно бледен и усталый, я спросила его о здоровии. «Нехорошо, — отвечал он, — припадки падучей все усиливаются, в нынешнем месяце уже пять раз повторились, последний был пять дней тому назад, а голова все еще не свежа, не удивитесь, что я сегодня все смеюсь; это нервный смех, у меня всегда бывает после припадка». ⟨...⟩

25 марта. Я решилась, не говоря брату, однако, попытать счастья и попросить лично Петрова. Я приехала к нему около 11 часов, он только что воротился из церкви. Я воспользовалась этим, объяснив ему, в чем дело, сказала, что долг всякого христианина успокоить, если ему представляется возможность, умирающего, что все стихи уже были предварительно помещены в «Отечественных записках». Он начал перелистывать книгу и остановился на последнем стихотворении, над этой «отходной», которую брат написал себе. Я следила за выражением лица цензора, — я думала — не может же быть, чтобы у него не дрогнуло сердце, но ни один мускул не шевельнулся на его мясистом лице. Передо мной сидел цензор и пережевывал каждое слово; наконец, причмокнул своей толстой губой: «А что это значит: «Еще вчера мирская злоба»[5], какая это злоба?» Я очень хорошо знала, к чему это относилось, но я это скрыла и объяснила, что такие люди, как Некрасов, имеют много врагов, не раз уже на него клеветали и теперь, может быть, взвели какую-нибудь небылицу. «Да, об нем говорят много нехорошего, но неужели же он читает, что о нем пишут». — «Нет, но, может, случайно попало что-нибудь», — отвечала я наивно. Он обещал, что если книга не представляет ничего зловредного, выпустить ее через несколько дней. Я приехала к брату; так как он был в спокойном состоянии, то ему и сказала, что я была у Петрова, что он обещал исполнить его желание[6]. ⟨...⟩

II

ЗАМЕТКА

Почему многие стихи брата не вошли при жизни в «Последние песни» и почему некоторые из вошедших были сокращены, между прочим, «Уныние», из которого

выпущено несколько прелестных, живописных, но мрачных картинок[7]. 〈...〉

В следующем издании их следует восстановить в тексте (теперь они в примечаниях, это моя вина).

Издавая «Последние песни» в последний год своей жизни, брат выпустил из них все, что хотя сколько-нибудь могло быть поводом к столкновению с цензурой, относившейся к нему, во время болезни, крайне придирчиво. Он поместил только самые, по его мнению, невинные, боясь, чтобы книга не подверглась аресту — выдержав только что цензурную бурю. Несмотря на все усилия отстоять только что написанную в Крыму новую часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», — усилия не увенчались успехом. «Пир», напечатанный уже в «Отечественных записках», был по распоряжению председателя Цензурного комитета Григорьева — вырезан. Я помню канун этого дня. Когда номер «Отечественных записок» был арестован в типографии за стихотворение Некрасова[8], брат послал за цензором Петровым и битых два часа доказывал ему всю несообразность таких на него нападков. Он указывал на множество мест в предшествовавших частях той же поэмы, которые, с точки зрения цензоров, скорее могли бы были подвергнуться запрещению; разъяснял ему чуть не каждую строчку в новой поэме, то подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его, и всю клику. Петров выслушивал все упреки терпеливо. Понимал ли он всю скорбь поэта, которому заботливая цензура — в напутствии его в вечность — в последний раз залезала в мозг с своими адскими ножницами, чтобы очистить мысли от «канупера», или просто томился бесплодностью прений, зная наперед, что: «хоть ты сейчас умри, а мы все-таки не пропустим». Петров пыхтел, сопел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и только по временам мычал отрывистые фразы: «Да успокойтесь, Николай Алексеевич», или: «Вот поправитесь, переделаете — тогда и пройдет».

А. Н. Пыпин

После отказа А. Н. Пыпина принять участие в издании «Отечественных записок» его отношения с Некрасовым почти прекратились. Узнав о тяжелой болезни поэта, он захотел с ним увидеться, о чем сообщил Салтыкову-Щедрину, который в ноябре 1876 года ему отвечал: «...положение Некрасова несколько хуже, и что хотя, быть может, и медленно, но несомненно должно с каждым днем ухудшаться ⟨...⟩. Мне кажется, что Вы хорошо сделаете, посетивши его, *Вы в особенности*, как человек «Современника» (*Щедрин*, т. 19, стр. 80—81). Публикуемые здесь записи относятся к посещениям Пыпиным Некрасова в течение января — марта 1877 года.

Несмотря на то, что некоторые высказывания Некрасова переданы очень конспективно, записи Пыпина авторитетны и очень ценны для понимания настроения поэта той поры.

⟨У НЕКРАСОВА⟩

1877, 15 января. У Некрасова. Он лежал в постели, бледный и изнеможенный. Когда я пришел, он начал говорить и мало-помалу очень оживился. Пришел потом ненадолго Лихачев, но затем мы оставались одни.

Он рассказывал, что делается с его стихотворением «Пир на весь мир». Его вынули из декабрьской книжки.

Между тем Достоевский был раз у Григорьева, и тот в большой компании сказал ему — и для передачи Некрасову, — что это стихотворение кажется совершенно возможным[1]. Но дня три тому назад был у Некрасова и Салтыкова Петров и упрашивал не помещать стихотворения: Некрасову он прямо говорил, что он должен принять в соображение их обстоятельства и не лишать их «куска хлеба»; они — люди семейные, и что ему напрасно «водрузить свое стихотворение на развалинах их существования», а напротив, следует завершить свое поприще «добрым делом» — отложивши печатание.

Некрасов говорит, что он увидел, что это личный страх Петрова: перед тем произошла история с «Собеседником»[2], — Лихачев прибавил, что на этих днях Тимашев — когда Веселаго и Лазаревский пришли благодарить его за ордена — любезно, но настойчиво требовал, что надо «подтянуть» литературу, которая «распущена»; происходило потом бурное заседание в Главном управлении, было остановлено «Русское обозрение»[3] и т. д.

Некрасов, на основании своего соображения, хотел, чтобы его стихотворение было пущено в январскую книгу «Отечественных записок», предполагая, что Григорьев не отступит от своих слов. Салтыков боялся этого. Вместе с тем Некрасов намерен сделать другую вещь: теперь же выпустить книжку своих стихотворений, поместить туда «Пир» и новые стихотворения и представить в цензуру, которой нечего будет сказать против этого издания[4].

Он говорил о романе Тургенева[5]. Первая часть понравилась — выводимые лица нарисованы хорошо, но вторая часть плоха. Тургенев не достиг своей цели. Если он хотел показать нам, что [2 нрзб.] неудовлетворительно — он не доказал; если хотел примирить с ними других — не успел; если хотел нарисовать объективную картину — она не удалась. Все-таки люди были крупнее (первые), да и хождение в народ — недосказано, оно бывало не так глупо. «Вообще-то скажу, — не говорите только приятелям Тургенева, я их не хочу огорчать — паскудный роман — хоть я до сих пор люблю Тургенева».

Он начал потом говорить о своих стихах: «Делать теперь нечего, я и пишу стихи, благо приходят в голову — каждый почти день что-нибудь пишу». Он прочел

мне несколько стихотворений — конечно, наизусть. Сказка — «вроде пушкинских» — «я думаю пропустят», в ней есть царь, да ведь в сказках без царей нельзя: царь, воевода и крестьянин[6]. «Сеятель», «Молебен», «Друзьям». «Последние стихи» — так он называет этот ряд; в начале всех предисловие — прощанье с жизнью[7].

Говорил потом о своей поэзии. «Жизнь меня испортила — но только на поверхности — мои стихи шли из души...» В первых он повторял тех, кого читал, но потом, с 1846, пошел его собственный род, не взятый ни у кого. Он ставит их цену в том, что ни у кого из наших писателей не говорилось так прямо о «деле» — не было рутинных пустяков.

Вспоминал об «ошибках» — стихотворении к Муравьеву. Его подбивали (Строганов) написать стихотворение[8], что этому человеку надоела катковская газета, но что стихотворения Некрасова могли бы на него подействовать и укротить. «Я тогда проводил много дней не лучше, чем теперь... и посмотрите в стихотворениях — в *тот же* день, когда я написал эти двенадцать стихов[9], я написал стихотворение «Ликует враг»...»

У Некрасова. Пятница, 25 февраля 1877 г. Ему, видимо, хочется рассказать разные факты своей жизни и объяснить. Говорил, между прочим, что, когда вышла книжка Антоновича, он стал писать ответ[10], в котором спокойно, без всякой брани, объяснял свои действия — «прятался ли он за других» — оказывается, конечно, что нет, и что, например, сам же Антонович советовал выбрать *двух* редакторов на тот случай, чтоб хоть один мог остаться, если другого запретят, и т. п.

Пятница, 4 марта. Я застал там Белоголового и Богдановского. Некрасов был очень слаб; но все-таки (при мне и Богдановском) прочел новое стихотворение, записанное его сестрой 3 марта — «Колыбельная песня»[11]. Он стоял на постели на коленях в одной рубашке, и его манера чтения делала впечатление пьесы еще сильнее и тяжелее. Затем он встал с постели, опираясь на нас, и еще стал рассказывать... Он чувствует себя тяжело от опиума — «боюсь, что глупею»; просил, что нельзя ли как-нибудь избавить его от какой-то подробности лечения, которая была ему тяжела, — говорил, какие мысли бродят в туманной голове, явятся и исчезнут, чтобы потом явиться снова, и кончаются стихами. Он стал

рассказывать сюжет, который именно теперь бродил: снежная пустыня, Сибирь, на снегу отпечатались лапки птиц и зверьков; бродит беглый, не помнящий родства; много раз он попадался, начальство бывало строгое: «Кто ты?» — «Житель», — начальство бесится; «Кто ты?» — «Сочинитель», — начальству смешно, и бродяга обошелся без наказания. Он жил в селе, и была у него невеста — чиновник отбил, и он ушел сам в Сибирь и бродил «не помнящим родства». — Теперь — время ужасное: дни все дольше, а снегу все больше. Попадается ему маленький зверек, замерзший; он взял его на руки, тот дрыгает лапкой, еще жив. Он спрятал зверька, горностая, в шапку, и все бродил; через несколько времени снял шапку посмотреть — зверек ожил и стремглав ринулся в лес. Другая встреча: набрел на кибитку, там тот самый чиновник с его бывшей невестой и ребенком: они сбились с пути, грозит метель, ямщик ушел искать дорогу. Они просят спасти их; бродяга отводит их в избу, какие строят в пустых местах для всякого случая. Он отводит их туда, — и хочет потешиться мщением; он любит смотреть на огонь и собирается сжечь их; он обложил избу дровами, выбрал место, откуда станет смотреть, — но захотелось ему взглянуть еще раз на эту женщину; он взглянул в волоковое окно и увидел, что она молится и ребенка крестит. Зрелище поразило его, он кинулся бежать и без оглядки тридцать верст пробежал [12].

Он объяснил, что так ему представляется народный характер — при всей беде, порче, необузданности с мягкими человеческими чувствами в основании...

Он рассказывал все это — ходя и переступая с палкой по ковру — худой, бледный, нервно говорящий то стихами, то рассказами, и утомился окончательно.

Среда, 9 марта. К удивлению, я встретил его (около трех часов) гораздо свежее. Он ходил по комнате, никого у него не было. Он стал говорить — «Только вы никому не говорите», — что он сделал распоряжение о своих сочинениях — он отдал их сестре [13] с тем, чтобы она из денег употребила известную часть для Н. Г. Чернышевского, жены и детей. «Она честная, добрая, совестливая женщина и сделает все, как я распорядился». Денег у него теперь немного: «У меня на лечение выходит в месяц до пяти тысяч» (?), «сколько же я истратил в десять месяцев болезни?»

О книжке «Русской библиотеки» он опасается, чтоб цензура не задержала: выбор сделан такой, да и все «народ» [14]. По словам Стасюлевича, он видит, что он не понимает этого; ему кажется, что Тургенев — самый либеральный писатель;[15] от этого о своей биографии: «останутся стихи, да наберутся послания кое-какие, шутки, и довольно». Разница с Тургеневым: «Я с барами хотел быть барином, хотя не был по природе барин; но я же мог подраться с кем попало в ресторане Лерхе, — Тургенев бы повесился от этого; он к Белинскому доедет в белых перчатках, его тянуло к какой-нибудь аристократической барыне, а я бы не пошел туда, разве если б можно было там выиграть тысяч пять шутя». Старая поэзия: Пушкин — великий поэт; но это — «птица, сидящая на дереве», — содержания в литературе не было*. Николай Гаврилович сумел это сказать по поводу просто Авдеева, — он указал, что старая литература была дрянь, и это уж было много [17].

---

* Когда он узнал Мицкевича, он понял, какая могла быть поэзия для общества [16]. (*Прим. А. Н. Пыпина.*)

А. Г. Штанге

Александр Генрихович Штанге (1854—1932) — активный участник студенческого движения 70—80-х годов, один из пионеров кооперативного движения в России, организатор Павловской артели металлистов, а затем видный деятель советской промкооперации.

А. Г. Штанге был в составе студенческой делегации, которая посетила больного Некрасова в начале февраля 1877 года. Воспоминания были написаны А. Г. Штанге в январе 1918 года по просьбе В. Е. Евгеньева-Максимова.

⟨СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕПУТАЦИЯ У НЕКРАСОВА⟩

Это был последний год моего пребывания в Петербургском университете [1]. С этим последним временем студенческой жизни в Петербурге у меня связаны воспоминания о демонстрации на Казанской площади, с речью Плеханова, с поднятым на руки крестьянским мальчиком в полушубке, державшим в руках красное знамя с надписью «Земля и воля». Помню последовавшее затем жестокое избиение демонстрантов дворниками и извозчиками, кричавшими, что это «поляки бунтуют»... [2]

Обо всем этом говорю, чтобы напомнить, какое это тревожное было время. Реакция свирепствовала. Студенчество волновалось. И в таком настроении весть о

тяжкой болезни любимого поэта не могла не найти отзвука в студенческих сердцах.

Тогда уже, если не ошибаюсь, ходило по рукам стихотворение Некрасова, которое я, при всей своей плохой памяти, запомнил с того времени, кроме одного стиха:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие.
Разгулялися страсти жестокие.
Вихри злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная,
Все живое, все честное косится,
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются.
Так на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются [3].

Вот в это мрачное время пришлось мне прочитать стихотворение Некрасова, в котором он, ожидая смерти, говорил: «Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть» [4].

Под впечатлением этих стихов и тяжкой болезни Некрасова у меня сложился адрес ему от студенчества.

Под адресом этим я стал собирать подписи студентов в университете и решил воспользоваться с тою же целью студенческим вечером медичек в зале Кононова.

Там я читал адрес и собирал подписи [5].

На том же вечере студенты поймали какого-то шпика и собирались его поколотить. Распорядители, в числе которых был и я, во избежание избиения шпика, которое могло окончиться очень печально для женских медицинских курсов, спрятали его под прилавок буфета, а потом выпроводили [6].

Подписанный адрес понесли от университета я, еще один студент, фамилию которого не помню, и студент-медик Дехтерев, впоследствии психиатр, ныне уже умерший.

Пришли мы на квартиру Некрасова, на Литейном, днем. Нас ввели, через зал, в большую комнату, если не ошибаюсь, кабинет Некрасова. Там, у стены, не помню, на кровати, или кушетке, под голубым шелковым одеялом лежал Николай Алексеевич, бледный, изможденный.

Так, полулежа, он нас и принял.

Я очень волновался, и адрес прочел Дехтерев.

Вот этот адрес:

«Прочли мы твои «Последние песни», дорогой наш, любимый Николай Алексеевич, и защемило у нас сердце: тяжело было читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение: «Да и некому будет жалеть». Себялюбив, правда, тот род, которому ты лирой своей не стяжал блеска, и не он тебя пожалеет. Темен народ наш и не скоро еще узнает тебя. Но зачем же забыл ты нас, учащуюся русскую молодежь? Много, правда, темных сторон найдешь ты в нас, но несем мы в сердцах могучую, святую любовь к народу, ту любовь, что уж многим стоила свободы и жизни.

Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненавистью к его притеснителям.

Из уст в уста передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья.

Знай же, что ты не одинок, что взлелеет и взрастит семена эти всей душой тебя любящая учащаяся молодежь русская».

В ответ, слабым голосом, слегка нараспев, растягивая стих, прочел нам Николай Алексеевич свое стихотворение:

Вам, мой дар ценившим и любившим,
Вам, остаток чувства сохранившим
В черный год, простертый надо мной,
Посвящаю Труд последний мой.
Я завету Русского народа
Верен: а и в горе жить,
Не кручинну быть,
И больной работаю полгода.
Я с трудом смягчаю свой недуг,
Ты не будешь строг, читатель-друг...[7]

Прочитав, он подарил нам на память это стихотворение, написанное им на большом листе бумаги.

Дальнейший разговор не сохранился у меня в памяти[8].

Насколько помню, мы не садились. Во время чтения адреса и стихотворения у камина стояла молодая

женщина, очень печальная. Вероятно, это была «Зина» его стихотворений.

Мы опасались, что наше присутствие беспокоит больного, и, получив стихотворение, простились и ушли.

Подаренное Николаем Алексеевичем стихотворение было вывешено в студенческой библиотеке университета и, как мне передавали впоследствии, при закрытии библиотеки было отобрано полицией.

З. Н. Некрасова

Некрасов сблизился с Феклой Анисимовной Викторовой (1851—1915), которую он и все его знакомые называли Зинаидой Николаевной, в начале 1870 года. Ей он посвятил поэму «Дедушка» (1870). К ней обращено несколько предсмертных стихотворений поэта: «Двести уж дней...», «Ты еще на жизнь имеешь право...», «Пододвинь перо, бумагу, книги!».

Воспоминания З. Н. Некрасовой записаны В. Е. Евгеньевым-Максимовым летом 1914 года в Саратове, где она тогда жила.

⟨ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

⟨В ПЕРЕСКАЗЕ В. ЕВГЕНЬЕВА⟩

Сошлась я с Николаем Алексеевичем 19-ти лет; молода, неразвита была в то время, многого не понимала, особенно того, что касалось литературной деятельности мужа. Николай Алексеевич любил меня очень, баловал; как куколку, держал. Платья, театры, совместная охота, всяческие удовольствия — вот в чем жизнь моя состояла. Хорошо жилось тогда, потому что молода, ветрена была, а теперь вот глубоко жалею, что не развивал меня Николай Алексеевич. Единственный упрек, который могу к нему предъявить. Ну, да болезнь мужа за него постаралась. Столько пришлось перенести тогда, что в пять-шесть месяцев на несколько лет серьезней и старше

стала. Боже! как он страдал, какие ни с чем не сравненные муки испытывал. Сиделка была при нем, студент-медик неотлучно дежурил [1], да не умели они его перевязывать, не причиняя боли. «Уберите от меня этих палачей!» — не своим голосом кричал муж, едва прикасались они к нему. Все самой приходилось делать. Кишка у него последнее время выпадала; нужно было в прежнее положение ее возвращать. Вправляю я ее, а сама, чтобы поободрить его среди нечеловеческих страданий, веселые песенки напеваю. Душа от жалости разрывается, а сдерживаю себя, пою да пою... Болезнь Николая Алексеевича открыла мне, какие страдания на свете бывают, а смерть его, что он за человек был, показала. Только в день похорон его поняла я, что сделал он для общества, для народа; видя общее сочувствие и внимание, начала задумываться над вопросом: чем он такую любовь заслужил. Припоминаю один случай, — как раз накануне его погребения происшедший. В три часа ночи слышу, кто-то звонится. Отворяю: господин какой-то. «Можно повидать Николая Алексеевича?» Я пустила. Он вошел в залу, где стояло тело, упал на пол и так рыдал, так рыдал... [2]

...В каком состоянии была в то время, никакими словами не расскажешь. Ведь целых два года спокойного сна почти не имела. После смерти мужа как в тумане, как в полусне каком-то ходила. Пухнуть стала. Доктора меня осматривали, Склифосовский, Белоголовый; думали, что это водянка. А я просто утомлена свыше сил человеческих была.

Да и потом немало тяжелого пришлось перенести. Вот совсем недавно дела такие случились, что если б не помощь Николая Михайловича (Архангельского) — истинно добрый человек! — Христовым именем пришлось бы питаться [3].

Оставил мне муж кой-какие деньги. Жить можно было. Да все раздала. Просят, то один, то другой — как откажешь? И пришло такое время, что хоть умирай с голоду. Моложе была, работала. А теперь вот сил не стало работать — на милостыню живу... а на милостыню так тяжело жить.

Как улитка в свою скорлупу уединилась и живу тихонько... Никого почти не вижу.., Бог с ними, с людьми-то. Много мне от них вытерпеть пришлось. Ах, жестокие, жестокие есть люди. Сколько времени прошло, а рана в

душе не заживает, нет, не заживает. Только здесь утешение и нахожу...

И Зинаида Николаевна показала мне объемистую Библию в кожаном переплете с застежками.

— А других книг не читаете? — спросил я.

— Нет, и другая дорогая книга у меня есть.

И Зинаида Николаевна положила на стол том сочинений Некрасова с трогательной надписью: «Милому и единственному моему другу Зине. 12 февр. 1874 г.». В устах сдержанного и замкнутого Некрасова эти слова означали очень многое.

Чтобы помочь Зинаиде Николаевне в ее воспоминаниях (во все время разговора она страшно волновалась), я решился предложить ей вопрос о том, в какой мере доступны были ее мужу религиозные настроения, которыми живет теперь она.

— Не знаю, был ли он религиозным, — отвечала она, — но поступал с ближними, как милосердный самарянин (эти слова были произнесены с особым выражением и значительностью). Да, что бы о нем ни говорили, как бы на него ни клеветали, это на редкость добрый и сердечный человек был. Приедем, бывало, в деревню, на охоту — сейчас же со всех сторон начнут сходиться крестьяне: кто горем поделиться, кто радостью, кто совета, кто помощи попросить. Всех-то Николай Алексеевич выслушает, всех обласкает и помогал нуждающимся щедро. И любили же его крестьяне!.. И в городе доброту свою находил случай проявлять — о сотрудниках своих заботился, деньги по первой просьбе им выдавал. Помню я его споры постоянные с Салтыковым и Елисеевым. Они тоже добрые люди были, а все же иной раз возмущались тем, что муж мой чересчур много выдач разрешает.

«Нет, Николай Алексеевич, — говорили они мужу, — так нельзя нерасчетливо деньги раздавать!»

«Да как же не выдать, — возражал он, — когда просят; ведь у каждого свои нужды, потребности; волей-неволей надо в них входить».

И много раз так бывало, это я хорошо помню. Что и говорить — было за что любить Николая Алексеевича, а вот не все любили, далеко не все, много у него врагов было. А больше всего огорчало мужа дурное отношение к нему Тургенева. Ведь они прежде большими друзьями были. Николай Алексеевич однажды рассказал мне, как окончательный разрыв между ними произошл. «Прислал

мне Тургенев для просмотра роман «Отцы и дети» с просьбой высказать о нем свое мнение. Я прочел и ответил: «Вещь хорошая, но *рановременно печатать*»[4] (последние слова Зинаида Николаевна произнесла с ударением; очевидно, они твердо врезались ей в память). Тургенев ответил мне запиской: «Не забудь ты меня, а я тебя не забуду». С тех пор мы больше не виделись...»[5]

Незадолго до смерти Николая Алексеевича, — продолжала Зинаида Николаевна, — суждено им было увидеться. Узнал Тургенев от общих знакомых, что муж неизлечимо болен, и пожелал к нему приехать, чтобы помириться. Но нельзя было допустить его к Николаю Алексеевичу, не подготовив — слишком он слаб и немощен был. Я сама взялась за это дело. Тургенев уже сидел у нас в передней, а я и говорю Николаю Алексеевичу: «Тургенев желал бы тебя повидать». — «Пусть приедет, полюбуется, каков я стал», — с горькою усмешкою отвечал муж. Тут надела я на него халатик и перевела из спальни в столовую — сам уж он не мог ходить. Сел он у стола, высасывает сок из бифштекса — ничего твердого ему тогда не давали. Смотреть на него страшно — такой он бледный, худой и изможденный. Я выглянула в окно, сделав вид, будто увидела Тургенева, и говорю: «А вот и Тургенев приехал». Через несколько времени Тургенев с цилиндром в руках, бодрый, высокий, представительный, появился в дверях столовой, которая прилегала у нас к передней. Взглянул на Николая Алексеевича и застыл, пораженный его видом. А у мужа по лицу страдальческая судорога прошла: видимо, невмоготу ему было бороться с приступом невыразимого душевного волнения... Поднял тонкую исхудалую руку, сделал ею прощальный жест в сторону Тургенева, которым как бы хотел сказать, что не в силах с ним говорить... Тургенев, лицо которого было также искажено от волнения, молча благословил мужа и исчез в дверях. Ни слова не было сказано во время этого свидания, а сколько перечувствовали оба...

И. С. Тургенев

Драматически сложившиеся отношения давних друзей и литературных соратников, И. С. Тургенева (1818—1883) и Некрасова, представляют собой столько же историко-литературную, сколько и психологическую проблему, связанную с двумя ярко очерченными личностями, принадлежащими русской жизни и русской литературе середины — конца XIX века. В 40-е годы, в кружке Белинского, началось их сближение, перешедшее затем в дружеские, приятельские отношения; в начале 60-х годов совершился разрыв, с годами углубившийся и оставивший печальный след в жизни обоих писателей, в особенности Некрасова, которого литературная молва склонна была обвинять в преднамеренном разрушении старой дружбы (ср.: Н. Гутьяр, Тургенев и Некрасов. — В кн.: Н. Гутьяр, И. С. Тургенев, Юрьев, 1907, стр. 231—257). Уже с середины 50-х годов прочные, казалось бы, дружеские связи были поставлены перед трудными испытаниями. Но особенно обостряются отношения Тургенева с Некрасовым в конце 50-х годов, когда последнему как редактору «Современника» все чаще приходится брать на себя определенную долю ответственности за статьи Добролюбова и Чернышевского, нередко больно задевающие самолюбие Тургенева. Иронические реплики Добролюбова в «Свистке» (1860, № 5) по поводу полемики вокруг романа Тургенева («Накануне»), более чем снисходительный тон его оценок литературных мнений Тургенева (*С*, 1860, № 12) еще более обостряют и без того натянутые отношения. Развязка не замедлила наступить в октябре 1860 года. Тургенев, к этому вре-

мени практически прекративший сотрудничество в «Современнике», теперь уже формально заявляет (записка к И. И. Панаеву) о своем нежелании иметь отныне какое бы то ни было дело с журналом Некрасова (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 137, 139). Некрасов, не знавший ничего об этом решительном шаге Тургенева (письмо Тургенева в редакцию «Современника» не было передано П. В. Анненковым. См. *Анненков*, стр. 438—439), вплоть до начала 1861 года не теряет надежды, что прежние отношения с Тургеневым удастся вернуть. В январе 1861 года переписка Тургенева с Некрасовым, совсем было прерванная после марта 1860 года, вновь возобновляется, но это уже последние их попытки объясниться между собой. «Не нужно придавать ничему большой важности», — повторяет 5 апреля 1861 года Некрасов слова Тургенева, обращенные к нему, — ты прав. Я на этом останавливаюсь, оставаясь по-прежнему любящим тебя человеком, благодарным тебе за многое. Само собою разумеется, что это ни к чему тебя не обязывает» (X, 448; см. также письмо Некрасова к Тургеневу от 15 января 1861 года: X, 441—442).

Разрыв произошел, но произошел резко, болезненно для той и другой стороны. Сначала недоброжелательный тон дает себя знать в письмах Тургенева, порой крайне раздраженных и нетерпимых в отношении Некрасова. («Пора бы этого бесстыдного мазурика — на лобное место»; «бесчестный человек», ведущий двойную игру, — так аттестуется Некрасов в письмах к Герцену и Достоевскому; (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 143, 301, 334). С 1862 года появляются выступления Тургенева в печати с резкими выпадами против Некрасова: «Письмо к издателю «Северной пчелы» (1862), «Воспоминания о Белинском» (1869), «О стихотворениях Я. П. Полонского» (1870). Некогда близкий друг Некрасова становится одним из самых настойчивых и безжалостных его обличителей.

Разумеется, и Некрасов не мог оставаться в стороне от разгоравшейся борьбы. Некоторые статьи, появившиеся в «Современнике» после разрыва с Тургеневым, слишком резки по тону в отношении Тургенева («В изъявление признательности» Чернышевского, *С*, 1862, № 2; «Асмодей нашего времени» Антоновича, *С*, 1862, № 3). Некрасов пытался временами сдерживать не в меру темпераментных полемистов (см. его письма Добролюбову,

Чернышевскому, X, 438, 468—469; позднее — Писареву, XI, 85—86), это, однако, ему не всегда удавалось. Любопытное воспоминание оставил М. Протопопов о неудачной попытке напечатать в «Отечественных записках» статью, направленную против Тургенева: она была отвергнута Некрасовым («Одесские новости», 1897, 28 декабря).

Сам Некрасов так и не вступил в открытую полемику с Тургеневым, все его попытки объясниться с читателями, снять с себя предъявленные ему обвинения, так и остались в рукописях (см.: «Автобиографии Некрасова», *ЛН*, т. 49—50, стр. 133—170). Подробности о разрыве Тургенева с Некрасовым см. в воспоминаниях А. Я. Панаевой и Н. Г. Чернышевского, стр. 91—97, 140—161.

В мае (возможно, в июне) 1877 года произошла встреча Тургенева с Некрасовым. Поэтическим откликом на это событие явилось стихотворение в прозе «Последнее свидание» (*ВЕ*, 1882, № 12). Мысль устроить встречу Некрасова с Тургеневым возникла у Пыпина, видимо, в январе 1877 года (см. стр. 445). 30 января 1877 года в письме к Ю. Вревской Тургенев уже отвечает на прямое приглашение сделать первые шаги примирения с умирающим Некрасовым. Он мотивирует свой отказ написать ему опасением произвести на больного тяжелое впечатление. «Не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником. Я знаю про *себя,* что, если бы я находился в положении Некрасова, получить *такое* письмо, при *такой* обстановке — было бы равнозначаще для меня с: «Lascia ogni speranza» или: Frére, il faut mourir» *. Мне кажется, я не имею права идти на такой риск. Объясните это Топорову. Надеюсь, Вы уверены, что никакой другой причины моему молчанию нет — и быть не может» (*Тургенев,* Письма, т. XII, кн. 1, стр. 70). Вероятнее всего, инициатива свидания Тургенева с Некрасовым исходила от А. Н. Пыпина и М. М. Стасюлевича (А. В. Топоров, упоминаемый в письме Тургенева, мог играть здесь лишь роль посредника). 23 мая 1877 года А. Н. Пыпин сообщал М. М. Стасюлевичу о последних приготовлениях к этой встрече: «Сегодня был у Некрасова и видел его. В разговоре я сказал ему, между прочим, о приезде Ивана

---

* «Оставь всякую надежду», «Брат, надо умирать» (*итал. и франц.*).

Сергеевича. Он сам заговорил так: «Если увидите его, скажите, что я всегда его любил», и т. д. На это я ему сказал, что, вероятно, он бы охотно его увидел и что Тургенев, без сомнения, столь же охотно к нему приедет. Он ответил утвердительно и просил Тургенева в среду (завтра, вторник, у него тяжелый день — операция и промывание), а всего лучше часов около двух. Нет сомнения, что Тургенев согласится. Пишу вам все это, между прочим, с тем, что дальнейшее «приготовление», о котором вы говорили в последний раз, и которое действительно было нужно, теперь не необходимо или должно уже иметь в виду описанный разговор. Кажется, лучше всего, если б вы приехали к Некрасову вместе с Иваном Сергеевичем в среду и, зашедши прежде к Некрасову, его предупредили» («Современный мир», 1911, № 11, стр. 184).

«Примирение между врагами, — говорит П. В. Анненков, имея в виду состоявшуюся встречу Некрасова с Тургеневым, — произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу» (*Анненков*, стр. 441).

Произошло ли все-таки примирение, о котором идет речь? «Последнее свидание» не дает ответа на этот вопрос. Свидетельство очевидца события (см. стр. 456) способно поставить под сомнение некоторые детали тургеневской версии относительно характера встречи.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает?

Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила.

Апрель, 1878

П. И. Вейнберг

Петр Исаевич Вейнберг (1831—1908) — поэт, переводчик, критик, в 50-е годы сотрудничал в «Современнике», в «Искре». Вейнберг пользовался поддержкой и расположением Некрасова. В 1861 году Вейнберг предпринял издание журнала «Век», и для его первого номера Некрасов дал стихотворение «Деревенские новости». С 1868 года Вейнберг сотрудничал в «Отечественных записках», где были опубликованы его переводы английских, американских, немецких поэтов и несколько обзоров иностранной литературы.

Вейнберг выступал с воспоминаниями о Некрасове сначала на литературных вечерах, организованных Литературным фондом в 20 и 25 годовщину со дня смерти поэта. В 1902 году он дал интервью корреспондентам «Петербургской газеты» (№ 348, 19 декабря) и газеты «Новости» о своих встречах с Некрасовым. Он вспомнил о начале своего знакомства с поэтом: «Я прибыл в Петербург в 1858 году и с письмом Дружинина отправился к Николаю Алексеевичу, который принял меня крайне сердечно и дружелюбно. Это был в высшей степени приветливый, прямо-таки обаятельный человек; он мог обласкать и пригреть. Прямой, временами даже резкий, Некрасов не стеснялся в выражениях своих симпатий, и если любил кого, то любил всею силою своей прекрасной души; но уже если не понравится ему кто, то не только холоден, а прямо льдом обдавал его. Первой работой, которую я представил Николаю Алексеевичу, был перевод шекспиров-

ского «Генриха VII» для издания, предпринятого Некрасовым совместно с Гербелем» («Новости», 1902, № 351, 21 декабря). Там же Вейнберг писал, что Некрасов «с поразительной верностью отмечал талантливых людей и всегда оказывал им широкое содействие. Но людей бездарных, так или иначе желавших пристроиться к печатному слову — Некрасов не переносил, не вступал с ними ни в какие сношения и всегда в глаза говорил им: «Литературе вы не нужны, ищите себе другое поприще».

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НЕКРАСОВА

(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Ровно тридцать лет назад, в этот самый день, 27 декабря, часов в десять вечера, я подъехал к дому Краевского (на углу Литейной и Бассейной), где жил Некрасов, чтобы справиться о состоянии его здоровья; вернее — узнать, не совершилась ли печальная катастрофа, которой мы, более или менее близкие поэту люди, ждали в течение последней недели уже не со дня на день, а с часу на час, с минуты на минуту...

По выражению лица швейцара, отворившего мне входную с улицы дверь, я понял, что все кончено, что Некрасова уже нет между живыми. И, не делая никаких вопросов, поднялся в квартиру. Здесь, в передней, встретил меня верный Никандр в его длиннополом сюртуке и высоких сапогах — костюме, не мешавшем ему исполнять должность заправского «официанта» на всех обедах, которые давал Некрасов своим друзьям и знакомым, и не покидавшем его как в этой должности камердинера, так и в неизменном сопровождении Николая Алексеевича на охоту, в поездках, всюду.

На глазах Никандра стояли крупные слезы.

— Ушел Николай Алексеевич, — глухо произнес он. — Далеко ушел... Не вернется...

— Когда? — спросил я.

— Без десяти девять было... Час назад...

В первой комнате, служившей и чем-то вроде гостиной, и бильярдной, и приемной для посетителей редакции, я застал М. Е. Салтыкова, Н. К. Михайловского, если память мне не изменяет — Скабичевского, брата

умершего и еще двух-трех человек... Я прошел в спальню, где на постели лежал поэт, которого только что «обрядили», чтобы перенести на стол. В углу сидела и тихо плакала жена поэта (незадолго до того с ним обвенчанная) [1], Зинаида Николаевна, та самая «Зина», которая почти все время болезни не отходила от него ни на шаг, в сердце которой — писал он ей — «двести уж дней, двести ночей, ночью и днем стоны мои отзываются»... которую он заботливо просил: «Зина! Закрой утомленные очи! Зина! усни!..» [2]

С невыразимо мучительным чувством смотрел я на лицо почившего страдальца. Смерть не наложила на это лицо того величавого спокойствия, какое большей частью разливается по лицам умерших через несколько минут после того, как последний вздох вылетел из их груди. Лицо поэта сохраняло еще — и сохранило почти до погребения — резко отпечатленными следы переживавшихся им так долго физических страшных страданий; и, глядя на них, я вспоминал последнее наше свидание...

В предпоследний раз я видел Некрасова в начале лета 1877 года перед отправлением его на дачу (Строгановскую, на Черной речке) после сделанной ему венским хирургом Билльротом операции [3]. Я тоже уезжал из Петербурга и зашел проститься. Николай Алексеевич стоял у бильярда, опершись на него обеими руками, видимо отдыхая в этом положении.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

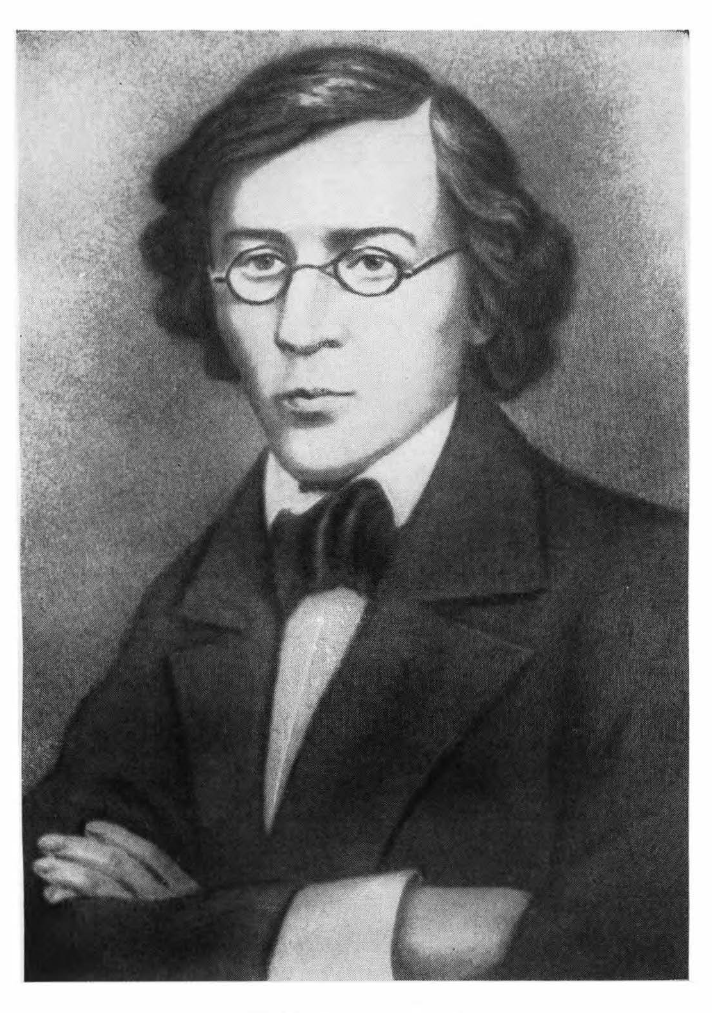
— Плохо, отец (обыкновенный «термин» его в обращении к близким людям, хотя бы и значительно моложе его), плохо! Немец (проф. Билльрот), уезжая, уверял меня, что я долго еще буду бременить собою землю... ну, а я ему, хоть он и немец, не особенно верю... Рад, что вы зашли. Может быть, уж никогда в жизни не увидимся; да и дело есть. Зайдите в контору («Отечественных записок»), — там я сделал распоряжение выдать вам двести рублей авансу.

— Зачем же это, Николай Алексеевич? Я ведь не просил... мне в настоящую минуту не нужно...

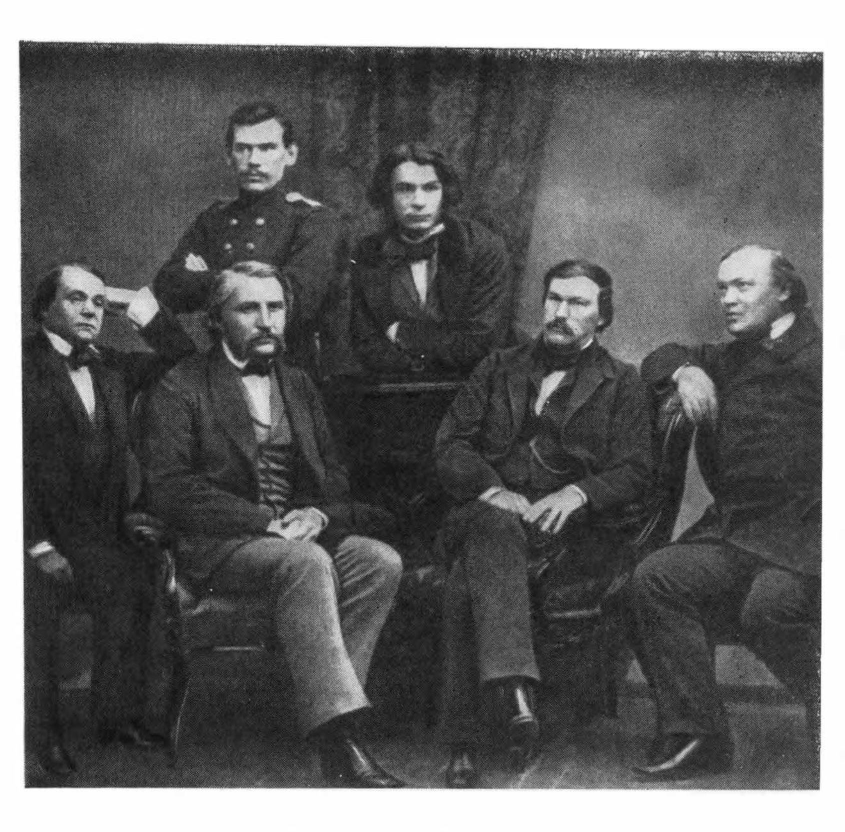
— Все равно. Вернусь ли я с дачи живым или повезут меня оттуда прямо на кладбище, — это еще бог весть. А коли случится последнее, — так сотрудники могут очутиться без меня в скверном положении: денежная нужда ведь сразу налетает... Ну, я и распорядился — на всякий случай, — хоть немного обеспечить авансами наших «по-

В. Г. Белинский.
С картины художника К. Горбунова

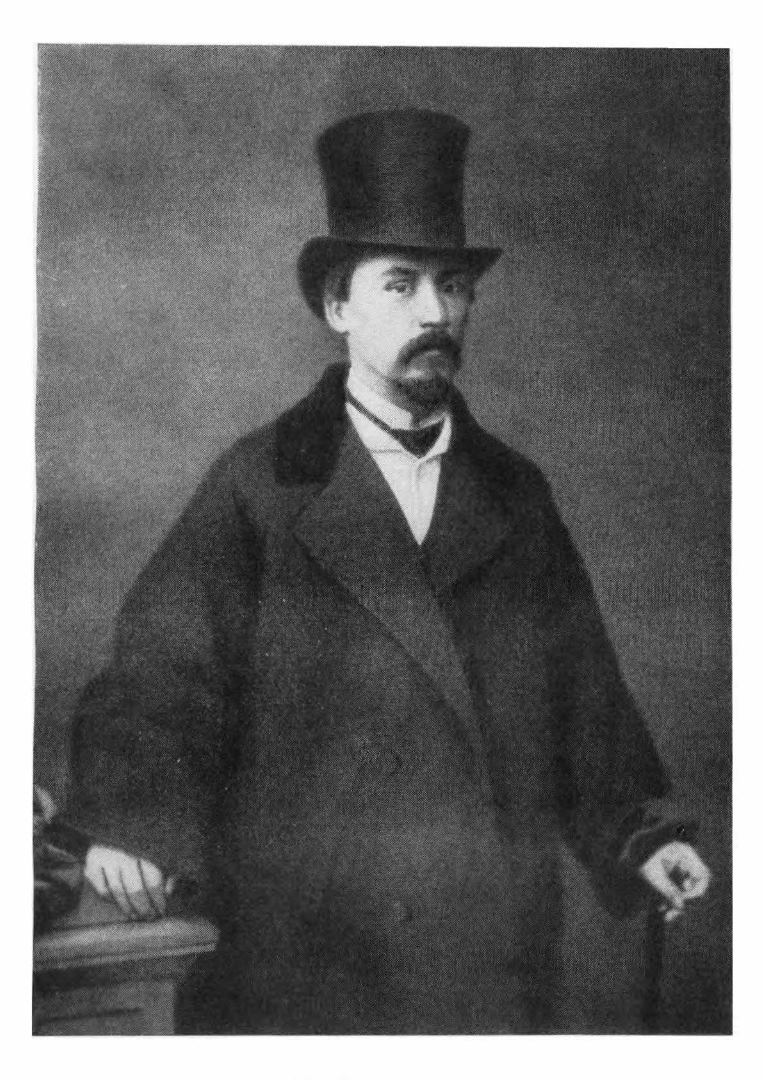
А. Я. Панаева.
Акварель неизвестного художника 1850-х гг.



Н. Г. Чернышевский.
Фотография П. Лауферта 1859 г.



И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. Фотография 1856 г.



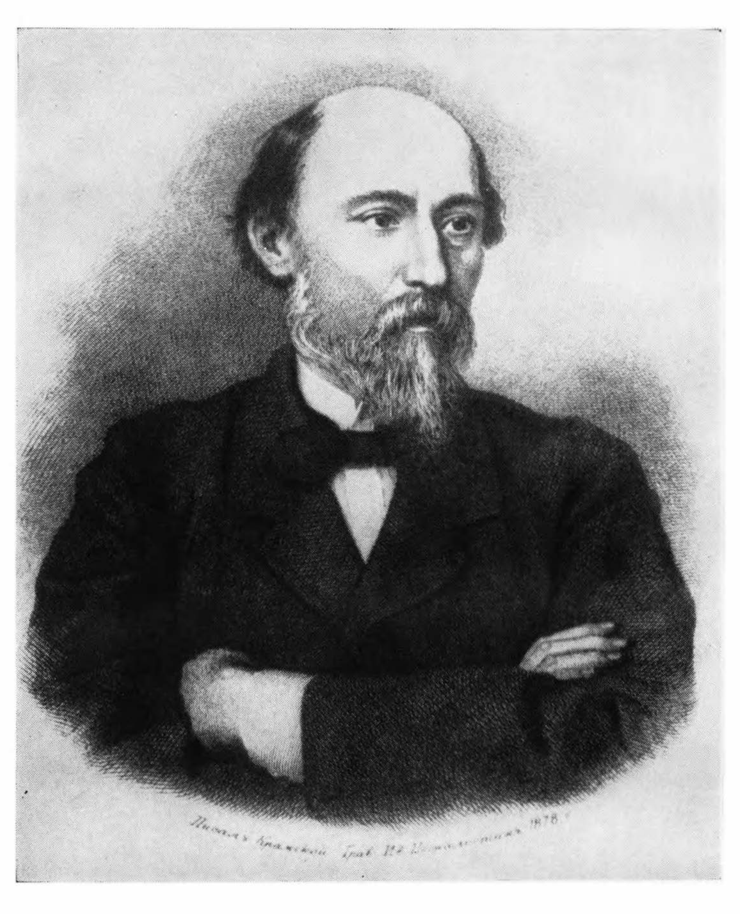
Н. А. Некрасов.
Фотография Оже и Богдан 1859 г.

Н. А. Некрасов.
Литография П. Бореля с фотографии Г. Деньера 1865 г.

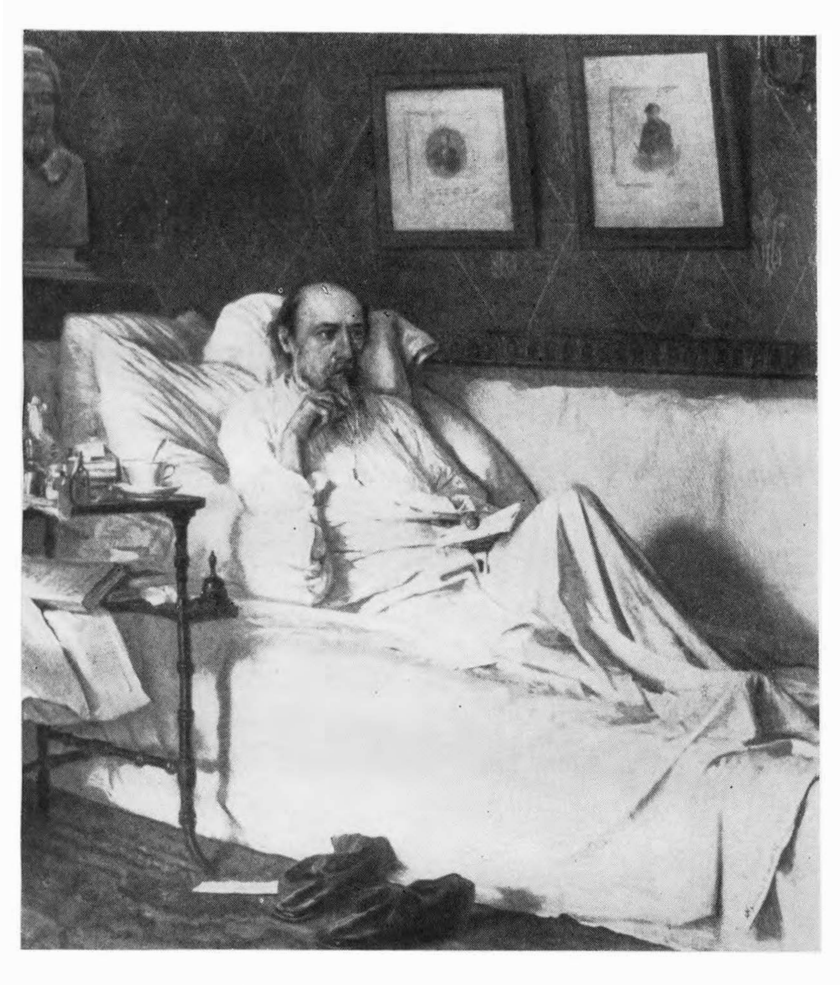
А. А. Буткевич.
Фотография 1869 г.

Н. А. Некрасов.
Гравюра Брокгауза. Конец 60-х гг.

З. Н. Некрасова.
Фотография 1872 г.



Н. А. Некрасов.
Гравюра И. Пожалостина с портрета И. Крамского 1878 г.



Н. А. Некрасов в период «Последних песен».
Картина И. Крамского 1877 г.

Похороны Н. А. Некрасова.
Рис. А. Больдингера, гравюра Крыжановского.

стоянных»... Ну, до свидания, лягу... Коли не сейчас уедете за границу, навестите на даче...

Когда я вернулся в Петербург — это было осенью того же года, — Некрасова уже перевезли в город, перевезли в положении, которое не обещало ничего, кроме скорой и роковой развязки. Уверения «немца» (может быть, делавшиеся только для успокоения больного) оказались несостоятельными. Физические муки делались все более и более невыносимыми, и если поэта нельзя было теперь назвать «живым мертвецом», то только потому, что мертвецы никаких мучений не испытывают, да еще потому, что, как другой великий страдалец и великий поэт, Генрих Гейне, наш Некрасов, в своей страшной физической агонии, мог еще создавать такие чудные песни, как его бессмертное «Баюшки-баю...».

В это время к Некрасову не допускали уже почти никого; впрочем, он так страдал, что не до приемов, не до бесед было ему.

В один из этих — почти предсмертных — дней я зашел осведомиться о его положении [4]. На мой вопрос Никандр только махнул безнадежно рукой.

— Да не хотите ли сами повидаться? — спросил он.

— Разве можно?

— Сегодня как будто полегче немножко... Говорил, если кто из своих зайдет, — попроси... Только долго не сидите... Постойте, я доложу...

Через несколько минут я вошел в спальню. Поэт лежал в постели, весь обложенный подушками: на одеяле лежала раскрытая тетрадка, и подле нее карандаш... сюда набрасывались по временам, в «светлые промежутки», отрывки из «Последних песен» (таким изображен он на находящемся в моей портретной галерее удивительно схожем и составляющем большую редкость снимке, на знаю чьей работы) [5]. Лицо его... никогда не забыть мне выражения этого лица — выражения не физического, а, так сказать, духовного и, не моему неумелому перу передать хотя приблизительно то, что читалось в этих глазах, еще не утративших той истинно магнетической силы, которая всегда присутствовала в них, но к которой присоединились теперь не то отчаяние, не то озлобление против судьбы, не то суровая покорность ей...

Наша беседа продлилась всего несколько минут; и больному было тяжело говорить, и у меня слова

останавливались в горле... Я встал, и сказанное мною «до свидания» зазвучало с резкой фальшью в моем сердце: я хорошо понимал и чувствовал, что «свидание» мое с поэтом было на этот раз последнее...

— Постойте, — вдруг сказал Некрасов в то время, когда я направлялся к дверям, — погодите еще минутку... Вы ведь много занимались Гейне, знаете всю его жизнь...[6] Расскажите мне о его предсмертной болезни... он тоже ведь страдал не меньше моего... Расскажите.

— Полноте, Николай Алексеевич. У вас и без того нерадостно на душе... зачем вам такие печальные рассказы? Хотите что-нибудь веселее?

— Нет, расскажите, расскажите, — повторил он так настойчиво, что надо было исполнить его волю. Я начал сообщать разные подробности, стараясь выбирать наименее потрясающее из страшной трагедии, пережитой творцом «Книги Песен» в его «матрацной могиле», — и когда упомянул, что Гейне, в дни его страданий, находил ужасным «не смерть (если вообще она существует, — прибавлял он), а умирание»[7], — Некрасов вдруг остановил меня:

— Как! Гейне сказал это? — произнес он с необычайною живостью.

— Да, а что?

— Удивительно! Да ведь это почти слово в слово мой стих, недавно написанный: «Хорошо умереть, тяжело умирать»...[8] Удивительно!..

И он закрыл глаза. Я тихонько вышел, — и когда снова увидел дорогого поэта, он лежал бездыханным — на той же самой постели...

* * *

В очень морозное утро, 30 декабря, я, Н. К. Михайловский и не помню кто еще из сотрудников «Отечественных записок» вынесли на руках труп Некрасова из его квартиры. На улице пред домом собралась тысячная толпа, преимущественно молодежи, не давшей поставить гроб на колесницу и понесшей его на руках. Чем дальше подвигались мы вперед, тем больше увеличивалась эта толпа, и к кладбищу Новодевичьего монастыря сошлось уже больше пяти тысяч человек... Это были первые грандиозные похороны русского писателя, — не такие торжественные, как последовавшие за ними через несколько

лет похороны Достоевского и Тургенева — особенно последнего, — но, во всяком случае, очень величественные. «Слава богу, — сказал шедший за гробом Салтыков (Щедрин), — начинают понимать, что значит писатель... Подождите, через несколько лет не то еще будет...»

И с тех пор, каждый раз, как я проезжаю по Литейной, мимо дома Краевского, тысячи воспоминаний встают у меня в душе при взгляде на эту квартиру, в которой я впервые увидел Некрасова в 1858 году и откуда в последний раз вынес его девятнадцать лет спустя, квартиру, в которой помещалась одна из идеальнейших редакций, какие только можно себе представить, квартиру, в которой немало незабвенных часов привелось мне провести с человеком громадного природного ума и крупнейшего лирического дарования, с личностью, в высшей степени замечательной во многих других отношениях...

Но Некрасову отведу я еще много страниц в тех «Записках», которые пишу теперь на старости лет...[9]

П. А. Гайдебуров

Либеральный публицист и критик Павел Александрович Гайдебуров (1841—1893) начинал свою деятельность в демократических изданиях. В «Современнике» он опубликовал стихотворный перевод «Гайдамаков» Шевченко (1861, № 5), рассказ «Надзиратель» (1862, № 5); в «Искре» в 1863—1865 годах вел отдел «Хроника прогресса». В 1866 году был приглашен в «Современник» вести «Провинциальное обозрение». В 1869 году он стал сотрудником-издателем, а в 1876 — редактором-издателем либерально-народнической газеты «Неделя». В эти годы его встречи с Некрасовым были эпизодическими. Общественно-политическая позиция «Недели» Гайдебурова была иной, чем позиция «Отечественных записок», но поэзию Некрасова Гайдебуров и его газета поддерживали.

В «Неделе» (1875, № 14) было опубликовано литературное обозрение К. В. Лаврского «Русская литература в 1874 году», в котором Лаврский выступил против злобной «критики на Некрасова», передержек, содержавшихся в статье В. Авсеенко «Реальнейший поэт» (*РВ*, 1874, № 7).

«Неделя» в сообщении о «тяжелой болезни» Некрасова назвала его «известным певцом народной скорби» (1877, № 5). Там же были перепечатаны из «Отечественных записок» (1877, № 1) отрывки из стихотворений Некрасова «Нет, не поможет мне аптека...», «Скоро стану добычею тленья...».

Воспоминания Гайдебурова написаны сразу же после похорон Некрасова.

КОМНАТЫ Н. А. НЕКРАСОВА

Я давно знаю эти комнаты — эти исторические комнаты. Кого только не видали они — кто не перебывал в них! Тургенев, Гончаров, Островский, Салтыков-Щедрин, Панаев, Добролюбов, Чернышевский, Михайлов, Пыпин, Антонович, Жуковский, Мельников-Печерский, Костомаров, Плещеев, Полонский, Григорович, Щапов, Якушкин, Помяловский, двое Курочкиных, двое Успенских, двое Слепцовых... Кого не вспомнишь, —

Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут!

Эти исторические комнаты — комнаты Некрасова.

По понедельникам, в полуденные часы, в них господствовал строгий стиль. Являлись сотрудники, постоянные и случайные, возвращались и принимались статьи, давались и выслушивались объяснения по делам редакций — сперва «Современника», потом «Отечественных записок». В другие дни или часы здесь шла откровенная, вольная беседа — за стаканом чая или за бокалом вина.

Сколько споров слышали эти комнаты, — скольких благодарностей и упреков, дружеских приветствий и резких угроз, сближений и расхождений были они свидетелями! История этих комнат есть история литературных отношений целой эпохи, история русской журналистики.

И вот они полны теперь какого-то странного народа; они уже не комнаты, а точно улица, где толчется всякий, кому вздумается. Рядом с звездоносным вицмундиром — потертый сюртук медицинского студента, подле шикарной шляпки на взбитом шиньоне — «простоволосая» головка с откинутыми назад прядями, рядом с солидным галстуком — истрепанное кашне вокруг шеи, и тут же — шубы, пальто, военные шинели, пледы и даже чуйки.

В комнатах ходит ветер, движется человеческая волна, пахнет ладаном, а в той, «где стол был яств» — и даже на том самом месте, — стоит гроб. Как это не похоже на прежнюю обстановку этой комнаты!

Впрочем, в ней давно уже нет прежней обстановки. Стол, стоявший посредине, за которым Некрасов — в голубом шелковом халате, обложенный газетами и корректурами — пил по утрам чай и запросто принимал близких знакомых, отодвинут куда-то в сторону или вынесен

вовсе; а вместо живой беседы давно уже раздавались скорбные, ужасные, приводящие в дрожь стоны.

В первый период болезни Некрасова, до операции, я был у него несколько раз и почти всегда выносил самое тягостное впечатление. О чем с ним говорить? Как держать себя? Чем его занимать? Разговоры о болезни его раздражают — разве он сам раскроет легкое покрывало и, обнажив высохшую, тонкую, как рука ребенка, ногу, скажет глухим, расслабленным голосом: «Вот, отец (обычное его выражение), — таю, высох совсем». Утешать или обнадеживать — бесполезно и совестно: он лучше, чем кто-нибудь, знал, что «не поможет ему аптека и мудрость опытных врачей». Говорить о вещах посторонних — тоже совестно, да и тяжело, потому что сил нет говорить о них спокойно при виде таких ужасных страданий. Только два визита прошли для меня легко и даже приятно. В один из них Некрасов разговорился по поводу напечатанного в «Неделе» стихотворения, отвечавшего на его «Последние песни»:

Не говори, что ты сойдешь в могилу,
Никем не оценен и не любим...

В этом стихотворении были такие строфы:

Твои вины давно она (родина) простила
За то, что ты любить ее умел... [1]

Выражение «твои вины» навело Некрасова на целый ряд воспоминаний. «Я знаю, — говорил он, — меня упрекали в *практичности* и в разных разностях. Еще Белинский говаривал об этом... [2] Но если б во мне не было практичности — разве я смог бы вести «Современник»? Ведь трудно — ох, как трудно было это!» Потом он заговорил о некоторых своих слабостях — и назвал их «органическим пороком» всего своего рода. Его дед проиграл в карты громадное состояние; его отец спустил почти все, что получил от деда [3]. Он очень долго говорил на эту тему и сообщил много любопытных подробностей из своей жизни.

В другой раз он захотел прочитать новое стихотворение — «Мать». Он приподнялся на своей кушетке и стал шарить рукой по столику, ища рукопись; но рукописи не оказалось. «Посмотрите, отец, нет ли вон там», — указал он глазами на другой стол, но и там не оказалось. «Ну,

ничего, я и так прочту... Должно быть, Анна Алексеевна (сестра) с собою взяла... Я и так вспомню». — «Да вспомните ли?» — «Вспомню! Я ведь все свои стихи помню, могу вам сейчас что угодно прочитать». Это для меня было новостью, и я выразил удивление. «Да, все помню! — повторил Некрасов. — Ведь с большим трудом все это писалось... Читать-то легко, а писать очень трудно было — поневоле запомнишь». Он поправил головой подушку, принял полусидячее положение и, предварительно сообщив сюжет пьесы (она потом была напечатана в «Отечественных записках», впрочем, несколько измененная), рассказал, как его мать была украдена с балу в Варшаве (она была полька), как бежала тайно от родителей с отцом Некрасова, как потом страдала всю жизнь в грубой помещичьей семье и, наконец, умерла[4]. Рассказывая все это, он вспоминал о матери с такой любовью, с такой трогательной нежностью, он приписывал ей такое громадное влияние на всю свою жизнь и рисовал ее образ в таком поэтическом ореоле, что для меня стала вполне понятна восторженность, с какою он вспоминал о матери в прежних своих стихотворениях.

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других!
. . . .
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! То не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь.
Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво безгласная —
Молода умерла ты, прекрасная![5]

Мне невольно припомнились эти чудные, необыкновенно задушевные и поэтические строфы, когда я слушал рассказ Некрасова о матери.

Но вот он кончил и начал читать стихотворение. Голос Некрасова всегда был несколько глухой, и потому его певучее чтение всегда действовало на меня как-то особенно. Но теперь, когда он был полутруп, этот голос звучал совсем замогильной нотой — и жутко от него становилось.

...Быть может, я преступно поступаю,
Тревожа сон твой, мать моя! Прости!
Но я всю жизнь за женщину страдаю —
К свободе ей заказаны пути!
Позорный плен, весь ужас женской доли
Ей для борьбы оставил мало сил,
Но ты ей дашь урок железной воли...
Благослови, родная: час пробил!
В груди кипят рыдающие звуки,
Пора, пора им вверить мысль мою!
Твою любовь, твои святые муки,
Твою борьбу, подвижница, пою...

Некрасов остановился и перевел дух...Видимо, его самого подавлял этот образ, который он вызывал из-за могилы. Видимо, он слышал на себе его дыхание, чувствовал прикосновение его любящих уст.

В ином краю, не менее несчастном,
Но менее суровом рождена,
На севере угрюмом и ненастном
В осьмнадцать лет уж ты была одна.
Тот разлюбил, кому судьбу вручила,
С кем в чуждый край доверчиво пошла,
Уж он не твой, но ты не разлюбила,
Ты разлюбить до гроба не могла!
. . . .
И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы,
Поправшей все разумное ногами
Гордившейся невежеством среды.
И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты —
О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!
. . . .
Глухая ночь! Иду поспешно в сад...
Ищу ее, обнять желаю страстно...
Где ты? Прими сыновний мой привет!
Но вторит мне лишь эхо безучастно...
Я зарыдал; увы, ее уж нет! [6]

Я привожу только отрывки из того, что читал Некрасов. Он несколько раз останавливался во время чтения, и последние строки читал уже почти шепотом. Наконец он кончил, закрыл глаза и в утомлении закинул назад голову... «Ее уж нет — и тебя скоро не станет!» — думал я, глядя на его изможденное лицо, высокий лоб, полуоткрытые губы...

И вот его не стало... 30 декабря в «исторических комнатах» толпился народ, и в десятом часу утра толпа молодежи вынесла на руках его гроб. У подьезда дожидалась богатая погребальная колесница, но ей не досталась честь везти этот дорогой прах; его несли на руках до самого Новодевичьего монастыря, то есть добрых восемь верст!

Похороны Некрасова не походили на похороны Тьера. У того шли за гробом сотни тысяч, там в печальной процессии участвовало все население, весь город, закрывший свои магазины и облекшийся в траур. Гроб Некрасова провожали тысячи три человек, и город ничем не обнаружил своей скорби. Но для Петербурга это все-таки были невиданные похороны — и по многолюдству, и по внешнему виду. Гроб, как я сказал, всю дорогу несли на руках. Впереди его шла толпа с несколькими громадными венками, украшенными надписями: «Некрасову — студенты», «Бессмертному певцу народной скорби», «От русских женщин», «Слава печальнику горя народного» и др. Толпа, несшая эти венки, всю дорогу — хором человек в двести — пела «Святый боже», и пела так усердно, что я боюсь, как бы большинство ее не захворало дифтеритом. На кладбище, говорят, толпа эта возросла до пяти тысяч человек. Пять тысяч на похоронах русского писателя — это кое-что значит! Вся литература участвовала в этой толпе. В церкви, после обедни, профессор петербургского университета священник Горчаков произнес теплую, прочувствованную речь, а потом читались речи и на самой могиле.

П. В. Засодимский

Павел Владимирович Засодимский (1843—1912) — писатель народнического направления. Его наиболее значительное произведение «Хроника села Смурина» было опубликовано в «Отечественных записках» (1874, №№ 8—10—12). Он несколько раз встречался с Некрасовым. «Мне в Некрасове, — говорил Засодимский корреспонденту газеты «Новости», — нравилась та предупредительность и обходительность, с которыми он относился к постоянным и случайным сотрудникам журнала. Очень часто приходится слышать по отношению к Некрасову обвинение в двойственности. Я решительно протестую против такой напраслины. Не будучи искренним, он бы не мог столь трогательно и столь правдиво изображать в своих произведениях народное горе» («Новости», 1902, № 358, от 23 декабря).

Свои первые впечатления о похоронах Некрасова Засодимский изложил в большом письме к А. И. Эртелю от 31 декабря 1877 года. В нем он писал: «Трудно передать, дорогой мой Александр Иванович, ту массу, тот наплыв чувств, дум и впечатлений, которые волновали меня в те минуты. Нервы были страшно возбуждены (к тому же ночь я почти не спал: был в редакции на собрании, лег в шестом часу, к восьми встал — и ничего не евши и не пивши отправился на похороны).

Я думал, что «Баюшки-баю» можно отнести и ко многим, и ко мне в том числе. И *нас* тоже народ узнает еще не скоро, узнает тогда, когда станет читать сам наши книги...» (*РЛ*, 1967, № 3, стр. 161).

Очерк о похоронах Некрасова был написан и опубликован Засодимским к 25-й годовщине смерти поэта. В нем частично использован отчет о похоронах, напечатанный в «С.-Петербургских ведомостях» (1877, № 360).

ПОГРЕБЕНИЕ Н. А. НЕКРАСОВА

Был ясный, морозный день.

На Литейном, у дома Краевского, где помещалась редакция «Отечественных записок» и жил Н. А. Некрасов, уже с 8 часов утра стали собираться толпы народа — интеллигенции и «простолюдинов». В то утро первым был принесен на гроб усопшего поэта венок «От русских женщин».

В начале десятого часа литераторы и учащаяся молодежь вынесли гроб из квартиры и решили нести его на руках до кладбища Новодевичьего монастыря. И шествие медленно двинулось по Литейной по направлению к Невскому проспекту. Впереди несли лавровые венки с надписями: «От русских женщин», «Певцу народных страданий», «Бессмертному певцу народа», «Некрасову — студенты», «Слава печальнику горя народного» и др.[1].

За гробом шли родственники покойного, литераторы, ученые, художники — вообще люди всех свободных профессий. Почти все литераторы, большие и малые, други и недруги, воздали дань почтения певцу горя народного. Здесь были представители всех литературных лагерей. Вокруг гроба Некрасова, можно сказать, собрались представители всей русской интеллигенции.

Многих из людей, известных русскому обществу, шедших в то утро за гробом Некрасова, уже давно нет в живых. Не стало Салтыкова, Достоевского, Елисеева, Дм. Гирса, Шеллера, Плещеева, Панаева, С. Максимова, Омулевского, Григоровича, Микешина, Данилевского и пр.

Тысячи народа шли за гробом. Вокруг гроба и вокруг несших венки молодежь составила цепь, и шествие могло беспрепятственно двигаться вперед. Но шли очень медленно. Похоронная процессия лишь в 11 часов прибыла к Технологическому институту.

Наконец около часу дня процессия достигла ворот Новодевичьего монастыря и здесь была встречена

громадной толпой. Народу было тысяч пять или шесть. Проникнуть в церковь могла, разумеется, лишь самая незначительная часть собравшейся публики. В церкви профессор Петербургского университета, священник Горчаков, произнес надгробное слово и, между прочим, высказал ту мысль, что лучшим свидетельством заслуг Некрасова перед родиной служит собравшаяся вокруг его гроба молодежь...

На кладбище положительно происходила давка: лепились на памятниках, на решетках, на деревьях, — кладбищенская ограда была усеяна народом. Едва ли когда-нибудь кладбище Новодевичьего монастыря видело в своих стенах такую громадную толпу народа...

После того как гроб опустили в могилу и в последний раз в тот день пропели «Вечную память», на кладбище водворилась мертвая тишина.

Заговорил Панаев...[2] В течение почти 40 лет он был близок с Некрасовым. По-видимому, он был сильно взволнован, говорил с паузами. Я плохо, урывками, слышал его речь.

Я забрался на каменный приступочек решетки, окружавшей чей-то памятник, и стоял, держась одной рукой за решетку, а другой придерживая на плечах плед. Мороз крепчал, пощипывал уши, щеки и сильно давал мне себя чувствовать через довольно легкое пальто. Вздрагивая от холода под своим пледом, я невольно вспомнил некрасовское стихотворение «Баюшки-баю», в котором мать, убаюкивая, одобряя и утешая умирающего поэта, говорит: «Я схороню тебя весною»... Нет! Не весною, но в лютую зимнюю стужу нам пришлось хоронить его. Не теплый ветерок веял в воздухе, — ледяным холодом дышало на нас ясное голубое небо; не цветы вокруг нас расцветали, а деревья, покрытые инеем, как призрачные виденья, поднимались вокруг...

Вспомнив «Баюшки-баю», я подумал о том, как, должно быть, горячо поэт любил свою мать, если так часто, так хорошо, так трогательно, с таким искренним, глубоким чувством вспоминал о ней в своих произведениях, если даже больной, настрадавшийся, измученный злым недугом, томимый смертельною тоской, уже «перед ночью непробудной», поэт, вдохновленный воспоминанием о матери, оставил нам такое чудное стихотворение, полное грусти, нежности и силы — пророческое стихотворение...

Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой...[3]

Разве же это не пророчество и разве это пророчество не исполняется?

Уже и теперь, если бы поэт мог слышать из мрака могилы, он услыхал бы свои песни кое-где «над Волгой, над Окой, над Камой»... А еще через немного лет, его песни проникнут и в самые трущобные, глухие уголки обширной Руси...

В этот морозный декабрьский день, в то время, когда я вздрагивал от пронизывающего холода, в моем воспоминании ожило утро одного теплого майского дня. То было в 1874 году. Тогда я собирался ехать на родину и пришел на Николаевский вокзал навести какие-то справки о поездах. Выйдя на дебаркадер, я там встретил Некрасова и Салтыкова, медленно ходивших взад и вперед.

Теперь вся эта сцена с мельчайшими подробностями живо, ярко встала передо мной... Только что поданный поезд, еще запертые вагоны, почти пустынный дебаркадер, а там вдали, куда убегали рельсы, — волшебный свет и блеск ясного весеннего дня... Некрасов в сером летнем пальто, в серой фетровой шляпе, несколько вялый и медлительный в движениях, но в ту пору еще здоровый и бодрый... Салтыков с pince-nez в темной черепаховой оправе, нахмуривший свои густые брови, по-видимому, словно чем-то недовольный, строгий и суровый, как Юпитер-громовержец, а в действительности — человек очень добрый, великодушный, гуманный...

После Панаева заговорил Ф. М. Достоевский. Говорил он прекрасно, выразительно, и слова его далеко были слышны отчетливо. Теперь, через 25 лет, конечно, я не могу припомнить его речь с буквальной точностью, но общий смысл ее был тот, что Некрасов *любил человека*, что людские несчастья нашли живой отголосок в его произведениях, что Некрасов в поэзии поднял ту нить, что, умирая, выпустил из рук другой наш великий поэт, Лермонтов, что если бы Лермонтов пожил далее, то он, вероятно, сделался бы тем же, чем был для нас Некрасов...[4] Помню, что Достоевский, протянув руку и указывая на могилу Некрасова, дрогнувшим голосом проговорил:

Замолкли звуки дивных песен,
Не раздаваться им опять,
Приют певца угрюм и тесен
И на устах его печать! [5]

При этих словах об «угрюмом и тесном приюте» певца и при виде гроба, засыпаемого землей, мне (да, вероятно, и многим) подумалось в ту минуту о том, что, действительно, такой приют тесен для того, *кто* так любил простор родных полей, лугов, лесов тенистых, кто так тонко, так чутко чувствовал, понимал и умел передавать словами задумчивую, мечтательную прелесть нашей северной природы...

После Достоевского говорил я. Своей речи я также теперь не могу воспроизвести в подробностях [6]. Я говорил о том, что Некрасов был поэт-гражданин, поэт в лучшем, благороднейшем значении слова, что в его произведениях главным — всего слышнее звучавшим мотивом было живое сочувствие к человеческим страданиям, сожаление к тому, — чему

Как будто появляться вредно
При полном водвореньи дня
Всему, что зелено и бледно,
Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит голову склоня! [7]

В заключение я напомнил о том, как Некрасов в одном из своих стихотворений говорит: «За каплю крови, общую с народом, прости меня, о родина! прости!» [8] «И она простила!» — сказал я.

Я вовсе не намеревался говорить, но заговорил по вдохновению, просто в силу потребности высказаться, говорил экспромтом, но речь моя, по-видимому, произвела впечатление.

Говорились еще речи [9], читались стихи, и особенно глубокое впечатление произвело стихотворение — неизвестного мне автора: [10]

Замолкла муза мести и печали,
Угас могучий наш поэт, —
Его словам с восторгом мы внимали,
Его мы чтили с юных лет.
Могильный сон, глубокий, непробудный,
Навек сковал уста певца,
Иссяк родник живительный и чудный
В груди холодной мертвеца.
Родник любви той чистой, неизменной,
Что по лицу земли родной,

Как громкий зов, торжественный, священный,
Катилась светлою волной.
И мощный стих, карающий, печальный,
Будил заснувшие сердца,
Громил порок, — народ многострадальный
Облек сиянием венца.
И злобою, огнем негодованья,
Кипучей местью он звучал,
Сатирой жгучей, словом отрицанья
Добру и правде поучал.
В земле сырой, в могиле одинокой,
Спи мирно, славный наш поэт!
С тоской и скорбью, с горестью глубокой
Тебе последний шлем привет.
Рыдая, мы дрожащими руками
На гроб бросаем твой цветы, —
Весь в зелени, меж пышными венками,
Лежишь в гробу недвижим ты.
И знаю я, та зелень вся завянет
И твой истлеет бренный прах.
В сердца друзей забвение заглянет,
Как червь, ползущий на цветах...
Но будешь жить ты в памяти народной,
Навеки сохранишься в ней,
Поэт могучий, гений благородный
И слава родины твоей!

Публика долго оставалась у могилы Некрасова и стала расходиться поздно, когда зимние сумерки уже набрасывали на кладбище полупрозрачные тени и в темно-синем небе вспыхивали звезды...

Ф. М. Достоевский

Болезнь и смерть Некрасова явились для Достоевского большим потрясением. А. Г. Достоевская, жена писателя, вспоминала: «Узнав, что Некрасов опасно болен, Федор Михайлович стал часто заходить к нему — узнать о здоровье. Иной раз просил ради него не будить больного, а лишь передать ему сердечное приветствие.

Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения. ⟨...⟩ Вообще последние свидания с Некрасовым оставили в Федоре Михайловиче глубокое впечатление, а потому, когда 27 декабря он узнал о кончине Некрасова, то был огорчен до глубины души. Всю ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренно восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии. ⟨...⟩

Федор Михайлович бывал на панихидах по Некрасову и решил поехать на вынос его тела и на его погребение. Рано утром 30 декабря мы приехали на Литейную к дому Краевского, где жил Некрасов, и здесь застали массу молодежи с лавровыми венками в руках. Федор Михайлович провожал гроб до Итальянской улицы, но так как идти с обнаженной головой в сильный мороз было опасно, то я уговорила мужа поехать домой, а затем через два часа приехать в Новодевичий монастырь к отпеванию. Так и сделали, и в полдень были в монастыре» (А. Г. Достоевская, Воспоминания, ГИЗ, М. — Л. 1925, стр. 228). На кладбище А. А. Плещеев увидел Достоевского «угрюмого и суро-

вого, с растрепавшимися волосами» (А. Плещеев, Из уцелевших в памяти воспоминаний, *ПГ*. 1907, № 355).

Достоевский в речи на похоронах высказал свое понимание значения Некрасова для русской литературы. По свидетельству одного из корреспондентов, «он сказал, между прочим, что Некрасов, как истинный человеколюбец, в своих произведениях изображал женщину в образе матери, любящую своего ребенка, и что в своих песнях, бывших верным отголоском человеческих страданий, он явился продолжателем Пушкина и Лермонтова» (*СПб. вед.*, 1877, № 360). Речь Достоевского была выслушана с огромным вниманием и вызвала многочисленные отклики в прессе.

Похороны Некрасова Достоевский описывал уже после первых печатных откликов на свое выступление, и он не воспроизвел его полностью. На возникший тогда спор о том, кто «выше» — Пушкин или Некрасов, — Достоевский отвечал, защищая свою мысль о том, что Некрасов, как и Пушкин, «преклонялся перед народной правдой всем существом своим» («Дневник писателя», 1877, № 12, стр. 316). «Народную правду» Достоевский трактовал в духе славянофильско-почвеннической идеологии. Справедливо утверждая, что Некрасов сказал «новое слово», занял почетное место в истории русской литературы, он вместе с тем вносил религиозный элемент в трактовку созданных поэтом национальных типов. Эти его положения вызвали резкие возражения Г. З. Елисеева (*ОЗ*, 1878, № 3, «Внутреннее обозрение»).

СМЕРТЬ НЕКРАСОВА. О ТОМ, ЧТО СКАЗАНО БЫЛО НА ЕГО МОГИЛЕ

Умер Некрасов. Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все еще не верил в возможность близкой смерти. За неделю до смерти с ним был паралич правой стороны тела, и вот 28 утром я узнал, что Некрасов умер накануне, 27-го, в 8 часов вечера. В тот же день я пошел к нему. Страшно изможденное страданием и искаженное лицо его

как-то особенно поражало. Уходя, я слышал, как псалтырщик четко и протяжно прочел над покойным: «Несть человек, иже не согрешит». Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова[1] и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова. Эти первые четыре стихотворения, которыми начинается первый том его стихов, появились в «Петербургском сборнике», в котором явилась и моя первая повесть[2]. Затем, по мере чтения (а я читал сподряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Я узнал и припомнил и те из стихов его, которые первыми прочел в Сибири, когда, выйдя из моего четырехлетнего заключения в остроге, добился, наконец, до права взять в руки книгу[3]. Припомнил и впечатление тогдашнее. Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно. Лично мы сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху «Бедных людей». Но я уже рассказывал об этом[4]. Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то уж, конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом, столь любившем его. Я думаю, что ни одна

потом привязанность в жизни его не могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потом, помню, мы как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Затем, много лет спустя, когда я уже воротился из Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу в убеждениях, уже тогда начинавшуюся, встречаясь, говорили иногда друг другу даже странные вещи — точно как будто в самом деле что-то продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не хотело и не могло прерваться, хотя бы мы и по годам не встречались друг с другом. Так однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда писал это» (то есть об моей жизни в Сибири), «это об вас написано»[5]. И, наконец, тоже в последнее время, мы стали опять иногда видать друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман «Подросток»...[6]

На похороны Некрасова собралось несколько тысяч его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессия выноса началась в 9 часов утра, а разошлись с кладбища уже в сумерки. Много говорилось на его гробе речей, из литераторов говорили мало[7]. Между прочим, прочтены были чьи-то прекрасные стихи[8]. Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненное сердце, раз на всю жизнь, и незакрывшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В самом деле (устраняя всякий вопрос о художнической

силе его поэзии и о размерах ее), — Некрасов был в высшей степени своеобразен и, действительно, приходил с «новым словом». Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое, бесспорно, останется за Некрасовым. В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше* Пушкина и Лермонтова, и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться. Но вот что вышло потом: в «Биржевых ведомостях» г. Скабичевский, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто бы когда *кто-то* (то есть я) на могиле Некрасова «вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (то есть вся учащаяся молодежь) *в один голос, хором* прокричали: «Он был выше, выше их»[9]. Смею уверить г. Скабичевского, что ему не так передали и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: «Выше, выше их», — и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были «байронисты» — прибавка, которая гораздо свойственнее и естественнее одному голосу и мнению, чем *всем*, в один и тот же момент, то есть тысячному хору — так что факт этот свидетельствует, конечно, скорее в пользу моего показания о том, как было это дело. И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слыхал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь[10].

Я потому так на этом настаиваю, что мне все же было бы чувствительно видеть, что *вся* наша молодежь впадает в такую ошибку. Благодарность к великим отшедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. Без сомнения, иронический крик о байронистах и возгласы: «Выше, выше», — произошли вовсе не от желания затеять над раскрытой могилой дорогого покойника литературный спор, что было бы неуместно, а что тут просто был горячий порыв заявить как можно

сильнее все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту, и который, хотя и в гробе, но все еще к нам так близок (ну, а те-то великие прежние старики уже так далеко!). Но весь этот эпизод, тогда же, на месте, зажег во мне намерение объяснить мою мысль яснее в будущем номере «Дневника» и выразить подробнее, как смотрю я на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления [11].

В. Г. Короленко

Похороны Некрасова были важным событием в жизни Владимира Галактионовича Короленко (1853—1921). Короленко в то время учился в Петербурге, в Горном институте и входил в круг революционно-народнической молодежи. Его воспоминания ценны воспроизведением отношения студенчества к Некрасову.

Воспоминания Короленко о похоронах Некрасова входят во вторую книгу «Истории моего современника», которая была завершена в 1918 году (опубликована в 1919 году).

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА»

В конце 1877 года умер Некрасов. Он хворал давно, а зимой того года он уже прямо угасал. Но и в эти последние месяцы в «Отечественных записках» появлялись его стихотворения[1]. Достоевский в своем «Дневнике писателя» говорит, что эти последние стихотворения не уступают произведениям лучшей поры некрасовского творчества[2]. Легко представить себе, как они действовали на молодежь. Все знали, что дни поэта сочтены, и к Некрасову неслись выражения искреннего и глубокого сочувствия со всех сторон.

Был у меня в то время приятель, студент Горного института, очень радикальный, очень добродушный и комически наивный в своем радикализме. Он передавал

мне, будто собираются подписи под адресом Некрасову студентов всех учебных заведений. Смысл адреса он на своем выразительно-наивном языке кратко резюмировал так:

— Слушай, брат Некрасов. Тебе все равно скоро помирать. Так напиши ты этим подлецам всю правду, а уж мы, будь благонадежен, распространим ее по всей России.

Я только засмеялся, и, конечно, адрес, с которым студенты обратились к больному поэту, был написан умно, тепло и хорошо. Говорили, что Некрасов был им очень растроган [3].

Когда он умер (27 декабря 1877 г.), то, разумеется, его похороны не могли пройти без внушительной демонстрации. В этом случае чувства молодежи совпадали с чувствами всего образованного общества, и Петербург еще никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего кладбища огромная толпа разошлась только в сумерки. Полиция, конечно, была очень озабочена. Пушкин в «Поездке в Эрзерум» рассказывал, как на какой-то дороге, на границе Грузии и Армении, он встретил простую телегу, на которой лежал деревянный гроб. «Грибоеда везем», — пояснили ему возчики-грузины. Тело самого Пушкина, как известно, было выволочено из Петербурга подобным же образом, бесчестно и тайно. Эти времена давно прошли, и власти были уже не в силах удержать проявление общественных симпатий. Некрасова хоронили очень торжественно, и на могиле говорили много речей. Помню стихи, прочитанные Панютиным [4], потом говорил Засодимский [5] и еще несколько человек, но настоящим событием была речь Достоевского.

Мне с двумя-тремя товарищами удалось пробраться по верхушке каменной ограды почти к самой могиле. Я стоял на остроконечной жестяной крыше ограды, держась за ветки какого-то дерева, и слышал все. Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызвала потом много шума в печати. Когда он поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова.

— Он выше их, — крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его.

— Да, выше... Они только байронисты.

Скабичевский со своей простоватой прямолинейностью объявил в «Биржевых ведомостях», что «молодежь тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова». Достоевский отвечал на это в «Дневнике писателя»[6]. Но когда впоследствии я перечитывал по «Дневнику» эту полемику, я не встретил в ней того, что на меня и многих моих сверстников произвело впечатление гораздо более сильное, чем спор о первенстве, которого многие тогда и не заметили. Это было именно то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из «господ». Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...

— Правда, правда... — восторженно кричали мы Достоевскому, и при этом я чуть не свалился с ограды.

Да, это казалось нам таким радостным и таким близким. Вся нынешняя культура направлена ложно. Она достигает порой величайших степеней развития, но тип ее, теперь односторонний и узкий, только с пришествием народа станет неизмеримо полнее и потому выше.

Достоевский, разумеется, расходился в очень многом и очень важном со своими восторженными слушателями. Впоследствии он говорил о том, что народ признает своим только такого поэта, который почтит то же, что чтит народ, то есть, конечно, самодержавие и официальную церковь. Но это уже были комментарии. Мне долго потом вспоминались слова Достоевского, именно как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории.

Г. В. Плеханов

Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918) на похоронах Некрасова представлял тайное революционное народническое общество «Земля и воля». Землевольцы широко использовали поэзию Некрасова для революционной пропаганды, похоронам Некрасова они придали политическое значение.

Воспоминания Плеханова показывают, что похоронная демонстрация 30 декабря 1877 года была чревата самыми неожиданными последствиями. События этого дня Плехановым освещаются четко, с критической оценкой речей других ораторов.

Воспоминания Плеханова — слово революционера, отстаивавшего революционную сущность поэзии Некрасова. Они появились в печати в 1917 году, к сорокалетию со дня смерти поэта. За этот период Плеханов много раз обращался к творчеству писателя. (См.: Т. Д. Фролова, Плеханов — читатель Некрасова. — *РЛ*, 1967, № 4.)

В статье «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского» (1897) Плеханов назвал поэзию Некрасова «поэзией действия», отмеченную чертами, характерными для искусства русских просветителей. Там же он опроверг обвинения Некрасова и его друзей «в сухости сердца, в черствости, в эгоизме» (Г. В. Плеханов, Искусство и литература, Гослитиздат, М. 1948, стр. 420).

10 января 1903 года Плеханов в Женеве прочитал доклад: «Народ и интеллигенция в поэзии Некрасова». Ленин просил Плеханова этот доклад обработать для «Искры». (См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 261, 266.) Однако работа Плеханова переросла рамки газетной статьи и была опубликована отдельной

брошюрой: «Н. А. Некрасов. К 25-летию со дня смерти» (1903). Основная мысль брошюры выражена в словах: «Некрасов явился поэтическим выразителем целой эпохи нашего общественного развития. Эта эпоха начинается выступлением на нашу историческую сцену образованного *«разночинца»* (*«интеллигенции»* тож) и оканчивается появлением на этой сцене *рабочего класса, пролетариата* в настоящем смысле этого слова. Кто интересуется нравственным или идейным содержанием этой замечательной эпохи, тот найдет в поэзии Некрасова богатейший материал для его характеристики» (Г. В. Плеханов. Искусство и литература, Гослитиздат, М. 1948, стр. 625).

ПОХОРОНЫ Н. А. НЕКРАСОВА

Двадцать седьмого числа текущего месяца исполнилось сорокалетие со дня смерти Н. А. Некрасова [1]. Некоторые газеты заранее, то есть еще до праздников, посвятили поэту «мести и печали» особые статьи. Мне тоже хочется побеседовать о нем с читателем. Но я не вижу ни нужды, ни возможности возвращаться к вопросу о роли, сыгранной им в истории русской поэзии. Все то существенное, что можно было сказать о ней, уже сказано. Поэтому я предпочитаю рассказать здесь о том, какое участие приняли в похоронах Н. А. Некрасова революционеры-народники 70-х гг. в лице общества «Земля и воля».

Впрочем, не только этого общества. Как раз в то время в Петрограде — по-тогдашнему в Петербурге — собралось немало виднейших представителей южнорусского «бунтарства» [2]. Тут находились: Фроленко, Волошенко, Валериан Осинский, Чубаров («Капитан») и еще многие другие. Все это был народ «нелегальный», смелый, энергичный, прекрасно владевший оружием и весьма склонный к рискованным выступлениям. Заручившись содействием этих испытанных удальцов, общество «Земля и воля» решило открыто явиться на похороны в качестве революционной социалистической организации. С этой целью оно заказало венок с надписью: «От социалистов». Не могу припомнить, кем именно исполнен был этот заказ, но я хорошо помню, что он был испол-

нен. Вокруг социалистического венка тесным кольцом сомкнулись южнорусские бунтари и землевольцы вместе с членами рабочих кружков, уже весьма нередких тогда на разных петроградских фабриках и заводах. Бунтари и землевольцы захватили с собой револьверы, твердо вознамерившись пустить их в дело, если полиция вздумает отнять венок силой.

Не знаю почему, — может быть, потому, что, слишком поздно догадавшись о намерении революционеров сделать демонстрацию, она не приготовилась к отпору, — полиция не сделала попытки захватить социалистический венок. Он благополучно достиг до Волкова кладбища [3], и только в тамошней церкви, куда внесли тело Некрасова для отпевания, с нашим венком произошло какое-то замешательство.

Я не знаю, в чем оно состояло, так как в церковь вошли только немногие из нас. Все же остальные, за исключением «сигнальных», которые должны были поднять тревогу в случае, если бы полиция захотела арестовать лиц, приставленных к венку, — отправились к приготовленной для Некрасова могиле и расположились около нее сомкнутыми рядами. Нам было известно, что у гроба Некрасова будут произнесены речи, и общество «Земля и воля» нашло нужным со своей стороны выдвинуть оратора, который должен был, не стесняясь присутствием тайной и явной полиции, высказать то, что думала об авторе «Железной дороги» [4] тогдашняя революционная интеллигенция. Выбор пал на пишущего эти строки. Я не помню, много ли ораторов говорило передо мной. Помню только, что в их числе были Засодимский и Достоевский.

Речь народника Засодимского преисполнена была высочайшим сочувствием к поэзии Некрасова. Мы вполне разделяли это сочувствие, однако к речи Засодимского отнеслись довольно холодно. Она была неудачна по форме. У него все-таки выходило, что Некрасов нам «дорог, ибо симпатичен, и симпатичен, ибо дорог». И он никак не мог выбраться из заколдованного круга взаимодействия психологических мотивов [5]. Зато речь Ф. М. Достоевского вызвала в наших рядах большое оживление.

Как известно, уже скоро после его выступления на литературном поприще у Ф. М. Достоевского были довольно большие неприятности с кружком Белинского, к которому принадлежал также Некрасов [6]. Эти неприят-

ности оставили свой след на отношении Достоевского ко всему кружку. Но и помимо того, не подлежит ни малейшему сомнению, что Достоевский не мог без весьма существенных оговорок одобрять направление некрасовской музы. Достаточно вспомнить, что он, самым искренним образом восторгавшийся стихотворением «Дядя Влас», был глубоко возмущен теми строками, которыми Некрасов заканчивает в этом стихотворении изображение адских мук, представлявшихся бредившему Власу:

Но всего не описать.
Богомолки, бабы умные, могут лучше рассказать.

Тон этих строк, конечно, противоречит тону всего остального стихотворения. Их можно и должно было осудить во имя требования художественности. Но Достоевский увидел в них неуважение к дорогим ему религиозным верованиям народа [7]. В этой области никакое соглашение и невозможно было между ним и теми нашими писателями, которые усвоили себе миросозерцание, сложившееся у Белинского в последние годы его деятельности.

Тем не менее Достоевский, как видно, захотел на этот раз держаться правила: о мертвом надо говорить хорошее или вовсе не говорить. Он выставлял только сильные стороны поэзии Некрасова. Между прочим, он сказал, что по своему таланту Некрасов был не ниже Пушкина. Это показалось нам вопиющей несправедливостью.

— Он был выше Пушкина! — закричали мы дружно и громко.

Бедный Достоевский этого не ожидал. На мгновение он растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика, чтобы он мог согласиться с нами. Поставив Некрасова на один уровень с Пушкиным, он дошел до крайнего предела уступок «молодому поколению».

— Не выше, но и не ниже Пушкина! — не без раздражения ответил он, обернувшись в нашу сторону. Мы стояли на своем: «Выше, выше!» Достоевский, очевидно, убедился, что нас не переговорить, и продолжал свою речь, уже не отзываясь на наши замечания [8].

Я хорошо помню, что, вернувшись с похорон, я записал небольшую речь, произнесенную мною на могиле Некрасова. Но сомневаюсь, чтобы она была напечатана в каком-нибудь революционном издании. О появлении

же ее в легальной печати не могло быть и речи. Я оттенял революционное значение поэзии Некрасова. Я указывал на то, какими яркими красками изображал он бедственное положение угнетаемого правительством народа. Отметил я также и то, что Некрасов впервые в легальной русской печати воспел декабристов, этих предшественников революционного движения наших дней.

Вот все, что сохранилось у меня в памяти от содержания моей речи. Все — за исключением еще одной подробности, о которой я считаю своей обязанностью упомянуть.

Я начал свою речь тем замечанием, что Некрасов не ограничился воспеванием ножек Терпсихоры, а ввел в свою поэзию гражданские мотивы. Намек был совершенно ясен. Я, в свою очередь, имел в виду Пушкина. И само собою разумеется, что я был кругом неправ перед ним: Пушкин воспевал не только ножки Терпсихоры, о которых он, кстати сказать, и упомянул-то мимоходом [9]. Но таково было наше тогдашнее настроение. Все мы в большей или меньшей степени разделяли взгляд Писарева, который «разнес» нашего великого поэта в известной статье «Пушкин и Белинский».

Я потому привел здесь это место своей речи, что мне захотелось покаяться: лучше поздно, чем никогда. Но, каясь в своем грехе, я считал справедливым привести то смягчающее обстоятельство, что далеко не один я грешил им в то время.

Каково бы ни было содержание моей речи, факт тот, что я говорил языком, совершенно недопустимым с точки зрения полиции. Это сразу почувствовала присутствовавшая на похоронах публика. Не знаю, по какой причине полиция не попыталась арестовать меня. Прекрасно сделала. Тесным кольцом окружавшие меня замлевольцы и южнорусские бунтари ответили бы на полицейское насилие дружным залпом из револьверов. Это было твердо решено еще накануне похорон...

После меня произнес несколько слов один рабочий, — к величайшему сожалению, никак не могу вспомнить его имени, — говоривший о том, что не зарастет тропа к могиле великого народного заступника [10].

Так почтили тогдашние революционеры память своего любимого поэта, собравшись на его могиле. Но они оставались неудовлетворенными. Им хотелось еще и еще

говорить о нем. Как-то само собою, без всякого заранее обдуманного плана, вышло, что многие из нас собрались в одном недалеком от кладбища трактире. Там опять стали раздаваться речи о революционном значении поэзии Некрасова. Какой-то артист императорских театров с большим чувством прочел «Размышление у парадного подъезда». Его наградили бурными рукоплесканиями. Все мы были преисполнены бодрого, боевого настроения.

— А что, если бы начальство окружило трактир солдатами и арестовало находившихся там? — тогда же заметил один из наших наиболее осторожных «конспираторов», — ведь в его руках оказался бы чуть не весь штаб русской революции.

Это было справедливо. Но начальство не догадалось окружить трактир, а мы, совсем позабыв об угрожавшей нам опасности, отводили душу в разговорах о Некрасове. Засодимский был прав, несмотря на то, что рассуждал очень странно: Некрасов был нам и дорог, и симпатичен.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая книга представляет собой первый опыт научно-комментированного и наиболее полного издания собрания воспоминаний о Н. А. Некрасове. Попытки издать сборники воспоминаний о Некрасове предпринимались и ранее: в 1911 году В. Е. Чешихин подготовил издание «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных произведениях». В него вошло всего 13 мемуаров, в большинстве своем опубликованных в извлечениях. В 1938 году под редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова был выпущен сборник «Н. А. Некрасов. 1878—1938», в который наряду с другими материалами были включены также отрывки из 14 мемуарных произведений о Некрасове. При издании обоих названных сборников не была осуществлена текстологическая работа, сверка мемуаров с автографами и комментирование текста. В 1930 году Е. М. Иссерлин и Т. Ю. Хмельницкая под редакцией Ю. Г. Оксмана издали том «Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах» (изд. «Academia»), в основе которого лежал принцип монтажа, тематической подборки отрывков из различных мемуаров, подчиненный общей задаче показать Некрасова как литературного деятеля эпохи.

В сборник «Некрасов в воспоминаниях современников» включено полностью или в отрывках свыше 50 мемуаров. Критерий отбора материала для включения в сборник — значительность содержания мемуарного памятника и его достоверность. Сокращения делались премущественно за счет тех мест, которые не отвечают теме сборника, не имеют прямого отношения к личности и судьбе Некрасова. Все сокращения в тексте обозначены угловыми скобками с отточиями в середине.

Тексты мемуаров сверены по авторитетным источникам — прижизненным публикациям и рукописям. Из мемуаров общего характера извлечены фрагменты, посвященные Некрасову.

Сборник состоит из шести разделов, соответственно главным этапам жизни и деятельности поэта.

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЫТАРСТВА» ВСТУПЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

М. Н. Горошков

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ

Печатается по журналу «Голос минувшего», 1914, № 7, стр. 58—63. Воспоминания М. Н. Горошкова были опубликованы почти одновременно редакцией «Голоса минувшего» (в посмертной публикации статьи П. И. Мизинова «Гимназические годы Н. А. Некрасова») и В. Евгеньевым в книге «Николай Алексеевич Некрасов», М. 1914. Тексты, восходящие к одному и тому же несохранившемуся источнику, не совпадают. Причину разночтений в настоящее время установить невозможно. Однако журнальный вариант отличается большей полнотой, чем публикация В. Евгеньева, и свободен от ряда искажений. Например, у В. Евгеньева: «Тавлинка с Чубаковским табаком...», «из-за островка молока достанем...», надо: «тавлинка с чумаковским табаком», «из Заостровки молока достанем...» (Заостровка — деревня под Ярославлем).

[1] Стр. 33. Некрасов и его брат Андрей поступили в гимназию в 1832 году.

[2] Стр. 33. Не совсем так. Н. А. Некрасов учился неровно, часто болел, а в пятом классе был оставлен на повторное обучение.

[3] Стр. 34. О Путилове сведений нет.

[4] Стр. 36. Неизвестно, участвовал ли Некрасов в сочинении этих стихов, но он вспоминал: «В гимназии я ударился в фразерство, начал почитывать журналы, в то же время писал сатиры на товарищей. Один из них, Златоустовский, сильно отдул меня за следующее:

Хоть все кричи ты: «Луку! луку!»
Таскай корзину и кряхти —
Продажи нет, и только руку
Так жмет, что силы нет нести!» (XII, 21) *

[5] Стр. 36. Абатурова звали Павел Петрович.

[6] Стр. 37. Автор текста песни — Н. М. Коншин; музыка — А. Л. Гурилева.

---

* Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., тт. I—XII., Гослитиздат, М. 1948—1958. Все отсылки на это издание даются в тексте лишь с указанием тома и страницы.

[7] Стр. 38. Н. А. Некрасов по состоянию здоровья оставил гимназию еще осенью 1836 г., но продолжал числиться в ней до июля 1837 г.

[8] Стр. 38. Умер Андрей в 1838 г. Этой смертью навеяно стихотворение Некрасова «Могила брата», вошедшее в сборник «Мечты и звуки» (1840).

[9] Стр. 38. Ошибка мемуариста: сестра Некрасова Елизавета умерла в 1842 г.

В. А. Панаев

ВСТРЕЧА С НЕКРАСОВЫМ

Печатается с сокращениями по журналу «Русская старина», 1893, № 9, стр. 497—502.

[1] Стр. 40. В. А. Панаев сдавал экзамены в Петербургский институт путей сообщения в апреле — начале мая 1840 г.

[2] Стр. 42. Некрасов жил у преподавателя Петербургской духовной семинарии Д. И. Успенского на Охте с конца 1838 г.

[3] Стр. 43. Рассказ Некрасова об этой поре жизни воспроизвел Н. Успенский: «Жил я тогда на Васильевском острову, в самом нижнем этаже, так что окна моей комнаты приходились как раз в уровень с панелью, по которой бродил народ, постоянно заглядывая в мою конуру, лишенную всякой мебели. По целым дням я лежал в старой своей шинели на полу. Толпы любопытных не отходили от моих окон. Выведенный из терпения непрошеными зрителями, я наконец вышел на улицу и затворил ставни; но тут случилась следующая история: проходивший по панели хозяин дома увидал закрытые ставни и пришел в неописанную ярость. Он позвал дворника и принялся ругать его на чем свет стоит, как он смел допустить такой беспорядок. Дворник объяснил, что «жилец Некрасов затворил ставни от народу».

— Этак подумают, что здесь отдается квартира, — сказал хозяин и приказал тотчас же отворить ставни» («Воспоминания о Н. А. Некрасове», «Иллюстрированная газета», 1878, № 6, 5 февраля).

[4] Стр. 43. Н. В. Успенский передавал этот же эпизод знакомства Некрасова с Даненбергом в другой версии, с ссылкой на рассказ Некрасова: «Как-то раз Некрасов, занявший для себя жалкую, убогую комнатку в подвальном этаже, увидал, что и эта, почти конура, дорога для него, — и вот он решился приискать себе сожителя, сотоварища по комнате, почему на окне своей комнаты он и налепил лаконическую надпись: «Отдается квартира...»

Однажды, когда Некрасов был дома — ему тяжко нездоровилось — и он лежал на полу своей, почти лишенной мебели, комнаты,

отворилась дверь, и в нее вошел высокий, худой, бедно одетый господин и обратился с вопросом к Николаю Алексеевичу:

— Позвольте узнать: здесь сдается квартира?

— Здесь, — было ответом. — А какая цена? — Такая-то. — Хорошо, я согласен и нанимаю квартиру. — Когда же вы думаете переехать?

— Да я уже переехал... — засмеялся вошедший, бросая в угол небольшой узелок с платьем и сбрасывая шинель — составлявшие все его имущество. Вновь явившийся был К. А. Даненберг, занимавшийся в Академии художеств» (Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 227—228).

[5] Стр. 44. Начиная с издания «Стихотворения Н. Некрасова», СПб. 1861, и в последующих изданиях это стихотворение перепечатывалось под названием «Родина» без посвящения В. А. Панаеву. Некрасов изменил заглавие «Родина» на «Старые хоромы» в изд. 1856 г. по цензурным условиям.

А. А. Алексеев

ЗНАКОМСТВО С Н. А. НЕКРАСОВЫМ

Печатается по книге: А. А. Алексеев, Воспоминания актера, М. 1894, стр. 35—38. Впервые — «Исторический вестник», 1892, № 5, стр. 424—425.

[1] Стр. 45. «Феникс» — трактир напротив Александринского театра, был своего рода артистическим клубом.

[2] Стр. 45. В 1839—1840 гг. А. А. Алексеев жил на квартире вместе с режиссером Александринского театра, водевилистом Н. И. Куликовым. Д. Т. Ленский был другом Куликова.

[3] Стр. 47. Подобные же эпизоды из жизни Некрасова в Петербурге в начале 40-х годов передают другие очевидцы. Сестра Н. И. Куликова, артистка А. И. Шуберт рассказывала: «Мне горько и стыдно вспомнить, что мы с маменькой прозвали его «несчастным».

— Кто там пришел? — бывало, спросит маменька. — Несчастный? — И потом обратится к нему: — Небось, есть хотите?

— Позвольте.

— Акулина, подай ему, что от обеда осталось.

Особенно жалким выглядел Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как-то дрожал и пожимался. Руки у него были голые, красные, белья не было видно, но шею обертывал он красным вязаным шарфом, очень изорванным.

Раз я имела нахальство спросить его:

— Вы зачем такой рваный шарф надели?

Он окинул меня сердитым взглядом и резко ответил:

— Этот шарф вязала моя мать» (А. И. Шуберт, Моя жизнь, «Academia». Л. 1929, стр. 86—87).

Н. И. Куликов, по словам артиста М. И. Писарева, рассказывал, что «Некрасов в сильный мороз часто являлся к нему, как бы весь застывший от холода, без верхнего пальто, без калош, без всяких признаков верхнего белья, с шарфом на шее» («Новости», 1902, № 355, 25 декабря).

[4] Стр. 47. «Шила в мешке не утаишь, — девушки под замком не удержишь» — первый водевиль Некрасова, поставленный на сцене. См. прим. 3 к стр. 55.

[5] Стр. 47. Копия пьесы, переписанная А. А. Алексеевым, хранится в Театральной библиотеке имени А. В. Луначарского (Ленинград).

М. Т. Лорис-Меликов

(ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ)

Печатается по журналу «Русская старина», 1889, № 9, стр. 599—601.

[1] Стр. 48. Знакомство Некрасова с Лорис-Меликовым не могло состояться в 1842 г. Мемуарист припоминал факт присылки Некрасову денег его матерью, а она умерла в июле 1841 г. Некрасов в 1875 г., в разговоре с Сувориным, вспоминая свою репетиторскую деятельность «по русским предметам» по поручению преподавателя Павловского кадетского корпуса Г. Ф. Бенецкого, называл Лорис-Меликова своим учеником («Прометей», т. 7, 1969, стр. 288). Лорис-Меликов поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1841 г. Следовательно, начало знакомства относится к 1840—1841 г.

[2] Стр. 49. В журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», издаваемого Ф. А. Кони, Некрасов в 1841 г. вел отдел «Летопись русского театра» и до 1845 г. был одним из деятельнейших его сотрудников.

[3] Стр. 51. Письмо Некрасова Лорис-Меликову о помощи литератору-демократу Н. А. Благовещенскому не сохранилось. Известно, что благодаря просьбе Некрасова и содействию Лорис-Меликова Благовещенский получил в 1875 г. место секретаря Терского статистического комитета и редактора неофициальной части «Терских губернских ведомостей» (см. *ЛН*, т. 51—52, стр. 123).

Д. В. Григорович

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по книге: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. А. Путинцева, Гослитиздат, 1961, стр. 49—50, 78—79, 81—82, 83—84, 85.

[1] Стр. 54. «Мечты и звуки» — сборник стихотворений Некрасова, изданный в 1840 г. под инициалами «Н. Н.».

[2] Стр. 54. Рассказ Некрасова «Без вести пропавший пиита» был опубликован в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, ч. III, сентябрь, под псевдонимом «Н. Перепельский».

[3] Стр. 55. Водевиль «Шила в мешке не утаишь, — девушки под замком не удержишь» был опубликован в «Репертуаре русского театра за 1841 год», т. I, кн. IV, под псевдонимом «Н. А. Перепельский»; в 1841 г. поставлен на сцене Александринского театра. В водевиле использован сюжет повести В. Т. Нарежного «Невеста под замком». Некрасов пояснял, что «из повести Нарежного он заимствовал одну только идею да ход одной сцены... Все прочее г. Перепельский написал сам...» (XII, 217).

[4] Стр. 55. «Материнское благословение» — перевод и переделка мелодрамы Деннери и Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон» (1841); была поставлена на сцене Александринского театра в 1842 г.

[5] Стр. 55. Эта встреча, вероятно, произошла летом 1844 г.

[6] Стр. 56. Речь идет о книге «Полька в Париже и в Петербурге», СПб. 1845. Некрасов напечатал рецензию на нее (*ЛГ*, 1845, № 6).

[7] Стр. 56. Издание первого выпуска «Зубоскала» намечалось на ноябрь 1845 г. В объявлении, написанном Ф. М. Достоевским, говорилось, что в «Зубоскале» будет «совершенно невинный, простодушный, беззаботный, ребяческий смех над всеми, над всем» (*ОЗ*, 1845, № 11). Некрасов сообщал Н. Х. Кетчеру о запрещении издания: «Зубоскал», о котором я писал, выходить не будет; почему? *по обстоятельствам, не зависящим от редакции* ⟨...⟩. А о себе скажу, что со времени несчастия, постигшего друга моего «Зубоскала», я куда как скучен» (X, 49—50).

[8] Стр. 56. Альманах «Первое апреля» вышел в начале 1846 г.

[9] Стр. 57. Панаев писал: «Однажды я встретил Некрасова на Невском проспекте. Он шел с каким-то стройным и высоким молодым человеком очень приятной наружности. Я присоединился к ним.

Каким-то образом у нас зашла речь об издании, в котором была помещена знаменитая «Штука полотна»... Я подшучивал над

этим изданием. Некрасов смеялся вместе со мною и прибавлял свои шутки.

— Но уж нелепее всего в этой книжке, — заметил я, — это «Штука полотна»...

— Рекомендую вам автора этой «Штуки», — сказал Некрасов, указывая на молодого человека приятной наружности. — Это господин Григорович...» (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 249).

[10] Стр. 58. «Петербургские шарманщики» были напечатаны в первой части сборника «Физиология Петербурга» (1845).

[11] Стр. 58. И. А. Крылов умер 3 ноября 1844 г. Написанная Д. Н. Бантыш-Каменским биография Крылова была опубликована в «Библиотеке для чтения» (1845, № 3).

[12] Стр. 58. «Дедушка Крылов. Книга для подарка детям» вышла из печати в 1845 г. Некрасов в рецензии отмечал, что «она написана не только правильным, но и живым языком, украшена премилыми картинками, издана очень красиво, а о занимательности предмета ее для детей нечего и говорить» (IX, 162).

И. И. Панаев

I. ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
II. ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ»

Печатается по книге: И. И. Панаев, Литературные воспоминания. Вступительная статья, подготовка текста и примечания И. Ямпольского, Гослитиздат, М. 1950, стр. 248—249, 308—309.

[1] Стр. 60. Некрасов начал сотрудничать в «Отечественных записках» в 1841 г., где был опубликован его рассказ «Опытная женщина» (№ 10). В 1847 г. Белинский писал Кавелину: «Я помню, кажется, в 42 или 43 году он написал в «Отечественных записках» разбор какого-то булгаринского изделия с такой злостью, ядовитостью, с таким мастерством — что читать наслажденье и удивленье...» (*Белинский*, т. XII, стр. 456). Белинский имел в виду рецензию Некрасова на книгу Ф. Булгарина «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода (*ОЗ*, 1843, №№ 3 и 5).

[2] Стр. 60. «Мечты и звуки» вышли в 1840 г., Некрасову шел тогда двадцатый год.

[3] Стр. 60. Роман Жорж Санд «Спиридион» с октября 1838 г. по январь 1839 г. печатался в журнале «Revue des deux Mondes». Роман «Спиридион» в переводе Панаева опубликован не был.

[4] Стр. 60. Неверно. Стихотворение называется «В дороге».

[5] Стр. 60. 3 апреля 1843 г. Белинский писал В. П. Боткину: «По обыкновению, я весь *промотавшись*, и потому замышляю подняться на аферы. Некрасов на это — золотой человек. Думаем смастерить популярную мифологию» (*Белинский*, т. XII, стр. 154).

[6] Стр. 61. Оценивая «мелкие стихотворения» в «Петербургском сборнике», Белинский писал: «Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, *дельного* и современного. Вот лучшее из них — «В дороге» (*Белинский*, т. IX, стр. 573). В 1872 г. Некрасов вспоминал: «Я сблизился с Белинским. Принялся немного за стихи. Приношу ему около 1844 года стихотворение «Родина», написано было только начало. Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение слов и мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать» (XII, 13).

[7] Стр. 62. Об этом см. на стр. 68. Д. В. Григорович вспоминал: «Результат этого чтения более или менее известен читающей публике. История о том, как я силой почти взял рукопись «Бедных людей» и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его «Дневнике». Из скромности, вероятно, он умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились» (Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1961, стр. 89—90).

Ф. М. Достоевский

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Печатается по тексту «Дневника писателя», 1877, январь, стр. 20—24.

[1] Стр. 66. В «Отечественных записках» (1877, № 1) из цикла «Последние песни» были опубликованы стихотворения: «Вступление» («Нет! не поможет мне аптека...»), «Дни идут... Все так же

воздух душен...», «Сеятелям», «Молебен», «Друзьям». «Скоро стану добычею тленья...», «Зине» («Двести уж дней...»).

[2] Стр. 66. У Некрасова была злокачественная опухоль.

[3] Стр. 67. «Петербургские шарманщики» были напечатаны в сборнике «Физиология Петербурга», ч. I (1845).

[4] Стр. 67. Некрасов готовил к изданию «Петербургский сборник».

[5] Стр. 68. Некрасов приехал в Петербург в июле 1838 г.

[6] Стр. 71. Речь идет об образе Крота в поэме «Несчастные». Исследователи поэмы пришли к выводу, что образ Крота — собирательный. В нем отразились черты передовой интеллигенции 40—50-х годов, а не только одного Достоевского (см. II, 631—632).

[7] Стр. 71. Из стихотворения «Скоро стану добычею тленья...». Курсив Ф. М. Достоевского.

В РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»

А. Я. Панаева (Головачева)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по книге: А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания. Вступительная статья, редакция текста и комментарии Корнея Чуковского, Гослитиздат, М. 1956, стр. 151—155, 157—159, 176—177, 198—200, 258—261, 268—270, 273—280, 289—292, 308—311, 324—327, 350—353.

[1] Стр. 77. Некрасов гостил у Г. М. Толстого в его имении Ново-Спасское, Казанской губ. летом 1846 г. По соседству с имением Толстых было имение Панаевых.

[2] Стр. 80. Панаева ошибается. В имении Толстых речь шла об издании журнала вообще. Мысль о приобретении «Современника» возникла по возвращении Некрасова в Петербург. Вспоминая разговоры, которые велись в имении Толстых, Некрасов писал: «Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 рублей свободного капитала. Толстой обещал ссудить также 25 000. Тогда я поспешил в Петербург. Журнал «Сын отечества» умирал, издатель его Масальский был в это время в Ревеле. Я ездил к нему, но дело ни к чему не привело, тогда я пошел к Плетневу — издателю «Современника», начатого Пушкиным в 1836-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал, написал контракт с каждого подписчика давать Плетневу рубль, а если журнал прекратится

вследствие явного нарушения цензурных правил, то мы ему платим 30 000 рублей неустойки» (XII, 14).

[3] Стр. 80. Некрасов уехал из имения Толстых в Петербург в июле 1846 г.

[4] Стр. 80. Белинский предполагал издать альманах «Левиафан». Материалы ему предоставили А. И. Герцен, И. И. Панаев, А. Д. Галахов, К. Д. Кавелин; издание не осуществилось. Некрасов в сентябре 1846 г. предлагал Белинскому: «Мы заплатим Вам за все статьи, имеющиеся для Вашего альманаха, и за те, кои будут для него доставлены, хорошие деньги, и это будет Ваш барыш с предполагавшегося альманаха. Пишите, что Вы обо всем этом думаете и когда Вы приедете, ибо можете судить, как Ваше присутствие в Петербурге для нас теперь важно. Само собою разумеется, что мы предложим Вам условия самые лучшие, какие только в наших средствах. Работой также Вы слишком обременены не будете, ибо мы будем Вам помогать по мере сил» (X, 53).

[5] Стр. 82. А. В. Никитенко, историк литературы, профессор Петербургского университета, цензор Петербургского цензурного комитета состоял несколько месяцев официальным редактором «Современника». Положение «фиктивного» редактора его не устраивало. 5 февраля 1847 г. он записал в свой дневник: «Мне слишком тяжело находиться в постоянной борьбе с издателями, которых в свою очередь может тяготить мое влияние. Они, вероятно, рассчитывали найти во мне слепое орудие и хотели самостоятельно действовать под прикрытием моего имени. Я не могу на это согласиться» (*Никитенко,* т. I, стр. 301). В апреле 1848 г. Никитенко отказался от обязанностей редактора «Современника»; редактором журнала стал И. И. Панаев.

[6] Стр. 83. Вероятно, речь идет о романе Сю «Berger de Kravan» («Пастух Кравана», 1848), который был запрещен в России. В 1849—1850 гг. в «Современнике» были напечатаны «Признания» («Confidences») Ламартина. Некрасов писал 30 января 1848 г. А. В. Никитенко: «Не может же наш журнал вовсе не знакомить своих читателей с произведениями иностранных литератур. Итак, уж если переводить, то, конечно, Ламартина, чем кого другого. Имя это и у нас не опальное, и притом «Записки Ламартина», по всей вероятности, наделают шуму во всей Европе...» (X, 107).

[7] Стр. 83. Имеется в виду цензор А. Л. Крылов.

[8] Стр. 84. В «Примечании для гг. цензоров «Современника» к роману «Три страны света», подписанном 6 сентября 1848 г. Некрасовым и Панаевой, давалась следующая гарантия: «Все лучшие качества человека: добродетель, мужество, великодушие, покорность своему жребию представлены в лучшем свете и увенчаются

счастливой развязкой. Напротив, *порок решительно торжествовать не будет»* (XII, 41).

[9] Стр. 84. По воспоминаниям Суворина, Некрасов говорил, что в написании романов «Три страны света», «Мертвое озеро» принимали участие «Григорович, Дружинин и др.» (см. стр. 343).

[10] Стр. 84. Это утверждение противоречит более достоверному раннему рассказу А. Я. Панаевой, который был воспроизведен А. М. Скабичевским в биографическом очерке о Некрасове (1879). Скабичевский писал: «По свидетельству Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой), писание «Трех стран света» происходило так: сначала Н. А. Некрасов с г-жой Панаевой составили общими совещаньями сюжет романа, а потом распределили, какую кому из них писать главу, и у г-жи Головачевой есть том «Трех стран света», в котором обозначено, что было написано ею и что Некрасовым. Из этих отметок видно, что все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежит перу г-жи Панаевой; Некрасов же на свою долю избрал детальную аксессуарную часть, комические сцены, черты современной жизни и описание путешествий Каютина» (А. Скабичевский, Соч., т. II, СПб. 1895, стр. 268—269).

[11] Стр. 85. Роман «Три страны света» печатался в «Современнике» в 1848—1849 гг., «Мертвое озеро» — в 1851 г.

Вероятно, со слов Панаевой Скабичевский писал о работе над этим произведением: «Что же касается «Мертвого озера», то Некрасову принадлежит в нем лишь один сюжет, в составлении которого он принимал участие вместе с г-жой Панаевой, и много что две-три главы. А затем Некрасов захворал, слег в постель и решительно отказался продолжать роман» (там же, стр. 269).

[12] Стр. 86. Министром государственных имуществ в 1857—1858 гг. был М. Н. Муравьев, который «прославился» подавлением польских восстаний в 1830—1831 и 1863 гг., за что получил прозвище Вешателя.

[13] Стр. 88. 23 января 1862 г. И. А. Пиотровский просил Некрасова выдать авансом 300—400 руб. с обязательством расплатиться статьями до мая месяца и тут же сообщал: «Обилие срочной работы, а также неустроенные дела не позволили мне отработать у вас взятые мною деньги во время моего крепостного заключения в Кронштадте...» (Цитирую по статье Б. Ф. Егорова: «И. А. Пиотровский — ученик Чернышевского и Добролюбова», «Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы», Горький, 1965, стр. 222). Некрасов вновь выдал Пиотровскому 200 руб. серебром «до июня 1862 года» (там же, стр. 222—223). В феврале 1862 г. Некрасов обратился в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым с просьбой об оказании помощи Пиотровскому. В просьбе было отказано (см. «Некрасовский сборник», Пг. 1918, стр. 62). На новую

просьбу Пиотровского (о которой, видимо, пишет А. Я. Панаева) Некрасов ответил мотивированным отказом (см. письмо Некрасова Пиотровскому от 16—17 марта 1862 г., X. 467—468, датировка этого письма установлена в вышеназванной статье Б. Ф. Егорова, стр. 224).

[14] Стр. 89. Добролюбов не мог присутствовать при этой сцене. Он умер в ноябре 1861 г.

[15] Стр. 90. Постоянным сотрудником «Современника» Добролюбов стал с середины 1857 г. 25 декабря 1857 г. Некрасов писал Тургеневу: «Читай в «Современнике» «Критику», «Библиографию», «Современное обозрение», ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый» (X, 375).

[16] Стр. 91. Один из братьев Колбасиных, Елисей Яковлевич или Дмитрий Яковлевич. Оба были поверенными в различных делах Тургенева.

[17] Стр. 92. Возможно, что со статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» познакомил Тургенева Некрасов. По-видимому, о ней идет речь в недатированном письме Некрасова Чернышевскому: «Я прочитал статью и отдал ее Тургеневу» (X, 413). Бекетов был против публикации статьи Добролюбова. В записке Добролюбову от 19 февраля 1860 г. он писал: «Напечатать так, как она вылилась из-под вашего пера, по убеждению, значит, обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да и не поздоровилось бы и другим...» («Заветы», 1913, № 2, стр. 96).

[18] Стр. 93. Письмо Некрасова неизвестно.

[19] Стр. 93. Письмо с таким текстом неизвестно. Познакомившись со статьей Добролюбова, Тургенев писал Некрасову: «*Убедительно тебя прошу*, милый Некрасов, *не печатать этой статьи*: она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается» (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 41).

[20] Стр. 96. Сказанное здесь Панаевой не соответствует действительности. Роман «Накануне» был обещан Тургеневым Каткову и напечатан в его журнале «Русский вестник» (1860, №№ 1, 2).

[21] Стр. 97. Новая редакция статьи Добролюбова была представлена цензору Ф. Рахманинову. «Я ее переделал, — писал Добролюбов С. Т. Славутинскому, — и представил опять в цензуру; благодаря тому, что у нас цензор теперь другой, она пропущена. Впрочем, вторая половина получила совсем другой характер (...). Что делать...» (*Добролюбов*, т. IX, стр. 409). В этой редакции статья была напечатана в «Современнике» (1860, № 3) под названием «Новая повесть г. Тургенева». См. прим. 6 к стр. 146.

[22] Стр. 100. Роман «Отцы и дети» был опубликован в «Русском вестнике» (1862, № 2). Тургенев приехал в Петербург 26 мая 1862 г.

[23] Стр. 101. Данных, подтверждающих этот факт, нет.

[24] Стр. 102. Тургенев приехал в Лондон 12(24) мая 1857 года; Некрасов — 3(15) июня. В Париж они возвратились вместе.

Поводом для разговоров о растрате Некрасовым денег Тургенева могла послужить следующая история. Некрасов ездил в Лондон для встречи с Герценом, который отказался его принять. Он считал, что Некрасов виновен в присвоении денег из огаревского наследства. Кроме того, Некрасов был должен Герцену деньги, занятые для приобретения «Современника». Во время его пребывания в Лондоне Герцен напомнил через Тургенева об этом долге. Некрасов ответил: «Я не сделал с Вами своевременно расчета частию по затруднению сношений с Вами, а главное — по беспечности, в которой признаю себя виновным перед Вами. В 1850 году Тургенев привез мне из-за границы записку Вашу о передаче остальных денег ему. С Тургеневым я имел постоянные счеты, по которым постоянно мои деньги приходились за ним, поэтому долг *ему* не беспокоил меня, и я до настоящей минуты оставлял это дело нерешенным, думая, что ответственностию обязан уже не Вам» (X, 342). Эта часть письма так была передана Герценом Тургеневу: «Ты мне их отдашь из твоего долга Некрасову» (*Герцен*, т. XXIV, стр. 106). Письмо Герцена восстановило Тургенева против Некрасова. См. письмо Тургенева к Герцену от 10(22) июля 1857 г. (*Тургенев*, Письма, т. III, стр. 131), объяснение Некрасова (X, 347—349). Но вскоре это недоразумение было устранено. Тургенев писал Некрасову 12(24) августа: «...Я никогда не думал подозревать тебя — а приписал все это недоразумение (которое, признаюсь, меня несколько взволновало) — твоей небрежности...» (*Тургенев*, Письма, т. III, стр. 144).

[25] Стр. 102. С. Н. Кривенко приводит другое суждение Некрасова, высказанное им «незадолго перед смертью»: «Право, я никогда не любил денег, а скорее боялся их. Потому и берег. Это Тургенев меня ославил каким-то сребролюбцем. Он постоянно швырял деньги. Ему можно было швырять, а мне нет. Получит из деревни, разбросает в несколько дней все и приедет ко мне за деньгами, а не дашь — сердится» (С. Н. К., Из литературных воспоминаний. — *ИВ*, 1890, II, стр. 262).

[26] Стр. 104. Речь идет о Чернышевском, который был арестован 7 июля 1862 г.

[27] Стр. 105. Некрасов дал следующее объявление в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции»: «Потеря рукописи. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута до угольного дома Каера,

а оттуда через Невский проспект, Караванную и Семеновский мост до дома Краевского, на углу Литейной и Бассейной обронен сверток, в котором находились две прошнурованные рукописи с заглавием: «ЧТО ДЕЛАТЬ?» Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит пятьдесят руб. сер.» (1863, №№ 29—31).

[28] Стр. 108. Речь идет о писателе Федоре Михайловиче Решетникове, который с августа 1863 г. жил в Петербурге.

А. Н. Пыпин

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с сокращениями по книге. А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб. 1905, стр. 7—15, 19—21, 34—39.

[1] Стр. 114. Издание «Современника» было приостановлено правительством на восемь месяцев в июне 1862 г.

[2] Стр. 114. См. прим. 2 к стр. 42.

[3] Стр. 115. Речь идет о журналах «Современник» и «Отечественные записки», издаваемые А. А. Краевским.

[4] Стр. 115. Статья экономиста А. П. Заблоцкого-Десятовского «Причины колебания цен на хлеб в России» была опубликована в 1847 году (*ОЗ*, №№ 5 и 6). Белинский в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1848) отнес ее к «замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошлого года» (*Белинский*, т. X, стр. 354).

[5] Стр. 118. Идею Литературного фонда («Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым») А. В. Дружинин выдвинул в статье «Несколько предложений об устройстве русского литературного фонда для пособия нуждающимся лицам научного и литературного круга» (1857). Он ссылался на английский пример: «Literary fund». Литературный фонд в Петербурге был учрежден в 1859 г. В 70-е годы в его работе активное участие принимал Некрасов.

[6] Стр. 118. Вероятно, речь идет о повести К. Н. Леонтьева «Немцы», опубликованной («Московские ведомости», 1854. №№ 6—10) под названием «Благодарность». Тургенев тогда покровительствовал К. Н. Леонтьеву.

[7] Стр. 119. 27 февраля 1848 г. для надзора за газетами и журналами был учрежден секретный комитет под председательством морского министра князя А. С. Меншикова. Его деятельность продолжал «Комитет 2-го апреля» («Бутурлинский», по имени первого

председателя, Д. П. Бутурлина). «Негласный комитет» стал вдохновителем цензурного террора в период «мрачного семилетия» (1848—1855). Некрасов писал о «негласном комитете» в поэме «В. Г. Белинский» (1855):

Скрутили бедную цензуру —
Послушав, наконец, клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет.
По счастью, в нем сидели люди
Честней, чем был из них один,
Палач науки Бутурлин...

[8] Стр. 120. А. Н. Пыпин имеет в виду идейные позиции В. П. Боткина. Пыпин писал, что Боткин «из романтического прогрессиста в сороковых годах» «в половине пятидесятых» превратился «в обскуранта» (А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб. 1905, стр. 65).

[9] Стр. 120. Первое произведение Л. Н. Толстого «Детство» было напечатано в «Современнике» в 1852 г.

[10] Стр. 120. Чернышевский начал сотрудничать в «Современнике» в 1854 г., Добролюбов — в 1856.

[11] Стр. 121. Перефразированные слова из письма Тургенева Я. П. Полонскому от 22 февраля 1868 г.: «Штука, которую выкинул с тобой Некрасов, нимало не удивила меня: я его слишком хорошо знаю» (*Тургенев,* Письма, т. VII, стр. 72).

[12] Стр. 122. «Очерки гоголевского периода» Чернышевского были опубликованы в «Современнике» в 1855 г. (№ 12) и 1856 г. (№№ 1—2, 4, 7, 9—12).

[13] Стр. 122. А. Н. Пыпин в данном случае, по-видимому, излагает мнения В. П. Боткина и А. А. Фета.

[14] Стр. 123. Цитата из письма Тургенева Е. Я. Колбасину от 14(26) декабря 1856 г.

[15] Стр. 123. «Заметки о журналах» печатались в «Современнике» в 1855—1857 гг. Их авторами были Чернышевский, Некрасов, Добролюбов и др. См.: В. Боград, Журнал «Современник», 1847—1866. Указатель содержания, Гослитиздат, М. — Л. 1959.

[16] Стр. 123. А. Н. Пыпин в опущенной здесь части воспоминаний писал о рецензии Чернышевского «Новые повести. Рассказы для детей» (*С.* 1855, № 3), в которой критик полемизировал с приверженцами теории чистого искусства.

[17] Стр. 123. Речь идет об обеде в память Белинского, который послужил поводом для обличительного стихотворения Н. А. Добролюбова «На тост в память Белинского. 6-го июня 1858 года». Стихотворение осуждало либералов, порвавших с традициями Белинского.

[18] Стр. 124. См. стр. 444—448.

Н. Г. Чернышевский

I. ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ.
II. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

I. Печатается с сокращениями по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 714—722, с проверкой по автографу: *ЦГАЛИ*, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 219.

II. Печатается с сокращениями по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 723—738, 740—741, с проверкой по автографу: *ЦГАЛИ*, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 220. Текст воспоминаний записан под диктовку Н. Г. Чернышевского его сыном А. Н. Чернышевским. Рукопись несет следы сложной правки, возникавшей и по ходу рассказа и более поздней правки Н. Г. Чернышевского, когда он возвращался к уже законченной рукописи, уточняя некоторые детали, исключая кажущиеся излишними или неуместными фрагменты, обрабатывая текст рукописи стилистически.

[1] Стр. 129. Н. Г. Чернышевский с женой, О. С. Чернышевской, приехал в Петербург 13 мая 1853 г.

[2] Стр. 131. На последнем листе рукописи «Воспоминаний о Некрасове» более поздняя приписка Н. Г. Чернышевского: «Поправка к одной из страниц начала. В том месте, где я говорю о степени точности, с какою передаю первые слова Некрасова, я выражаюсь: «Этому разговору теперь двадцать девять лет»; не двадцать девять, а тридцать; разговор был не в 1854, а в 1853 году. Причина ошибки — арифметический недосмотр».

[3] Стр. 133. Подобного же рода мнение Некрасова о И. И. Панаеве высказано им в письме к И. А. Панаеву от 28 декабря 1857 г. (X, 312). Подробнее о характере отношений Некрасова с И. И. Панаевым см. стр. 59.

[4] Стр. 140. Разговор Н. Г. Чернышевского с Некрасовым касался Добролюбова, бывшего на излечении за границей. Чернышевский настаивал на включении его в число пайщиков журнала с отчислением ему определенного процента из годового дохода журнала. Некрасов уступил настояниям Чернышевского.

[5] Стр. 141. Дата указана неточно. Переезд Добролюбова в квартиру рядом с квартирой Некрасова произошел в конце августа 1858 г. Первоначально Чернышевский написал: «Это началось или в 1857-м, или в 58 году» (*ЦГАЛИ*).

[6] Стр. 146. См. прим. 17, 19, 21 к стр. 92—97. Тургенев был крайне недоволен статьей Добролюбова, его критикой концепции романа и характеров главных действующих лиц. Стремление Добролюбова показать несостоятельность дворянского либерализма на ма-

териале романов Тургенева создавало у последнего впечатление отрицания его писательского дарования.

[7] Стр. 147. «Статей его я никогда не читал, — вспоминал Н. Г. Чернышевский 25 февраля 1878 г. — Я всегда только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего» (*Чернышевский*, т. XV, 139). В первоначальной редакции текста настоящих воспоминаний Н. Г. Чернышевский писал: «Кстати замечу, что именно поэтому я с давнего времени и перестал находить надобность прочитывать то, что писал Добролюбов; я не находил бы возражать против его понятий, а если и приходилось ему касаться предметов, в которых мог он ошибаться относительно фактов, то он сам вперед указывал мне на эти места своих статей. Досуга читать то, что можно было оставить непрочитанным, я не имел» (*ЦГАЛИ*, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 220, лл. 9—10).

[8] Стр. 147. Н. Г. Чернышевский в 1862 г. осуществил первое посмертное издание сочинений Добролюбова в четырех томах. Замысел издания в связи с арестом Н. Г. Чернышевского не был полностью осуществлен, четвертый том был подписан к печати уже М. А. Антоновичем.

[9] Стр. 148. Н. А. Добролюбов в мае 1860 г. выехал за границу, И. С. Тургенев еще раньше, в апреле, покинул Петербург. С Некрасовым И. С. Тургенев в последний раз, вероятно, мог видеться в марте — апреле 1860 г. в связи с участием в делах Литературного фонда; окончательно выяснять им свои отношения пришлось уже в письмах.

[10] Стр. 148. Поводом для окончательного разрыва Тургенева с Некрасовым послужила статья самого Н. Г. Чернышевского «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии. Соч. ⟨...⟩ Н. Готорна» (*С*, 1860, № 6), ошибочно принятая Тургеневым за статью Добролюбова. Он увидел в ней попытку обвинить его в том, что из Рудина им преднамеренно была сделана карикатура, чтобы понравиться своим «богатым литературным друзьям, в глазах которых всякий бедняк мерзавец» (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 137). В статье Н. Г. Чернышевского, однако, речь шла о «благоразумных советниках», оказавших недобрую услугу автору своими рекомендациями, и о самой авторской позиции, о «слепом предубеждении автора», вместо высокого трагического характера рисующего «карикатуру» (прообразом Рудина многие считали М. Бакунина). Возможно, что Тургенев мог принять на свой счет также критику искусственности, многословия авторских описаний, упрек в «милом, изящном пустословии наших русских беллетристов» (*Чернышевский*, т. VII, стр. 440—453). Тургенев реагировал на статью отказом от сотрудничества в «Современнике», посланном И. И. Панаеву (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 139).

[11] Стр. 151. Н. Г. Чернышевский имеет в виду свою поездку в 1859 г. в Лондон для переговоров с Герценом.

[12] Стр. 152. Речь идет о «Шварцвальдских деревенских рассказах» немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха (Чернышевский прочел рассказ «Босоножка»). Тургенев высоко ценил в творчестве Бертольда Ауэрбаха обращение к народной жизни, к «сути» народных характеров и нравов, считал, что «честь почина» в этом отношении в литературе эпохи 40-х годов принадлежит этому писателю (см. предисловие Тургенева к роману Б. Ауэрбаха «Дача на Рейне»). Чернышевский, по-видимому, не мог принять свойственную Ауэрбаху известную идилличность, сглаженность социальных конфликтов; переводы произведений Ауэрбаха в «Современнике» не печатались.

[13] Стр. 153. «Псковитянка» Л. Мея, отвергнутая редакцией «Современника», была опубликована в *ОЗ*, 1860, № 2.

[14] Стр. 155. Герцен ошибочно считал Некрасова непосредственным и едва ли не главным участником в «деле Огарева» и отказался принять его в июле 1857 г. во время пребывания Некрасова в Лондоне. Между тем в сомнительных денежных операциях Н. С. Шаншиева (управляющий имениями М. Л. Огаревой, дальний родственник И. И. Панаева) и А. Я. Панаевой Некрасов не принимал никакого участия. Спасая честь А. Я. Панаевой, жертвуя своей репутацией, он прикрывал ее, по его же словам, «в ужасном деле по продаже имения Огарева» (X, 365). Некрасов способствовал тому, чтобы заключить мировой сделкой процесс, возбужденный Н. П. Огаревым после смерти жены, и возместил из кассы «Современника» значительную сумму Н. П. Огареву (см. X, 432). Говоря о «ходе перемен в личных отношениях Некрасова», Чернышевский имеет в виду отношения Некрасова и Панаевой в 50-х годах, которые он близко наблюдал и которые, по его мнению, исключали уже возможность прежнего влияния Некрасова на Панаеву. Подробнее о характере их отношений Чернышевский писал Пыпину 25 февраля 1878 г. (*Чернышевский*, т. XV, стр. 143—146). Наблюдения Чернышевского подтверждаются признанием самого Некрасова в письме к Тургеневу от 26 мая (7 июня) 1857 г.: «Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его — особенно тогда, когда это дело разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде» (X, 340). Фрагмент рукописи «Воспоминаний» Чернышевского, связанный с характеристикой отношений Огарева, Герцена и Некрасова, несет следы сложной авторской правки; этот эпизод воспоминаний давался автору с особенным трудом (*ЦГАЛИ*, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 220, лл. 18—19). Однако, несмотря на крайне запутанные денежные рас-

четы и отношения Н. П. Огарева с М. Л. Огаревой и ее доверенными лицами, Чернышевский достаточно точно воспроизводит факты «дела Огарева» (ср.: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, «Academia», 1933).

[15] Стр. 155. Чернышевский преувеличивает роль Герцена в разрыве Тургенева с Некрасовым. Однако подобное мнение, по-видимому, разделялось многими. Ср.: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, М. 1961, стр. 153.

[16] Стр. 158. Здесь неточность. Встреча Чернышевского с Тургеневым, о которой идет речь, состоялась 10 января 1860 г., то есть до решительного его разрыва с Некрасовым. В статье «В изъявление признательности» Чернышевский писал о том, что она произошла на первом литературном чтении, организованном Литературным фондом (*Чернышевский*, т. X, стр. 122), то есть 10 января 1860 г.

[17] Стр. 158. Чернышевский повторяет здесь широко распространенную тогда версию о том, что прообразом Базарова является Добролюбов (напр., Ю. Жуковский писал, что Тургенев «в отмщение критику сочинил пасквиль на Добролюбова и, изобразив его в лице Базарова, назвал нигилистом». — *С*, 1865, № 8, стр. 316). Эта версия опровергается и самим Тургеневым, и современными историко-литературными изысканиями.

[18] Стр. 159. По-видимому, речь идет о статье Тургенева «По поводу «Отцов и детей», опубликованной в 1869 г. как заключительная часть его «Литературных воспоминаний».

[19] Стр. 159. Чернышевский восстанавливает факты, известные со слов автора романа «Отцы и дети»: «В основание главной фигуры, Базарова, — писал Тургенев в статье «По поводу «Отцов и детей», — легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма» (*Тургенев*, Сочинения, т. XIV, стр. 97).

[20] Стр. 160. Другим, не названным по имени лицом, был Герцен. Чернышевский вспоминает здесь то место из «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» (*С*, 1862, № 1), раздраженное и резкое по своему тону, где он называет «тупоумными глупцами» и «пошляками» людей, осмеливающихся говорить о Добролюбове как о «человеке без души и сердца» (*Чернышевский*, т. X, стр. 35—36). То, что Чернышевский имел в виду именно Герцена, подтверждается его показаниями на следствии, где он ссылается на этот фрагмент «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» для выяснения характера своих отношений с Герценом (*Чернышевский*, т. XIV, стр. 735).

[21] Стр. 160. Здесь допущена очевидная неточность. Роман Тургенева был опубликован (*РВ*, 1862, № 2) после того, как «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» появились в печати (*С*, 1862, № 1). Следовательно, Чернышевский не мог читать «Отцов и детей», работая над тем фрагментом из «Материалов для биографии», о котором он говорит.

М. А. Антонович

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ НЕКРАСОВЕ

Печатается с сокращениями по книге: «Шестидесятые годы», «Academia», М. — Л. 1933, стр. 177—213.

[1] Стр. 164. Имеется в виду «Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым», опубликованное в «Материалах для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869; 2-я часть «Материалов» принадлежит Ю. Г. Жуковскому.

[2] Стр. 165. Это суждение ошибочно. Чернышевский защитил магистерскую диссертацию в 1855 г. В звании магистра он был утвержден лишь в 1858 г.

[3] Стр. 166. Цитата из письма Добролюбова Чернышевскому от 12 (24) июня 1861 г. Добролюбов имеет здесь в виду письмо Некрасова к нему от 25 мая 1861 г. с жалобой на сильное недомогание и душевную депрессию: «Всю нынешнюю весну я болен, месяца полтора тому назад закашлял да и пошел. Перспектива долгого хворания гаже смерти, а, кажется, она мне угрожает... Скверно» (X, 451—452).

[4] Стр. 166. Антонович повторяет распространенное в кругу либеральных сотрудников «Современника» мнение о несамостоятельности Некрасова, о том, что он в руководстве журналом, в определении его «направления» всецело подчинился Чернышевскому и Добролюбову.

[5] Стр. 167. Антонович повторяет версию Тургенева, заявившего в письме к издателю «Северной пчелы» (1862, № 334), что инициатива разрыва с Некрасовым и редакцией «Современника» принадлежит ему. Однако с «заискивающими письмами» Некрасов к Тургеневу не обращался. 15 января он писал Тургеневу: «...я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов... сам бы ты так же действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх» (X, 441—442). В письме к издателю «Северной пчелы» Тургенев придал огласке слова Некрасова из этого же

письма от 15 января 1861 г.: «...ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне» (X, 442).

[6] Стр. 168. «Свисток» — сатирическое приложение к «Современнику». В апрельской книжке «Современника» за 1863 г. («Свисток», № 9) были опубликованы два фельетона Антоновича. В традициях Добролюбова был написан им фельетон «Свисток» и его время», пародирующий стиль тяжеловесных «ученых», «серьезных» трудов, публикуемых в толстых журналах. Апрельский выпуск «Свистка» оказался последним, издание «Свистка» прекратилось.

[7] Стр. 170. Добролюбов вернулся в Петербург в августе 1861 г. В ночь с 16 на 17 ноября он скончался.

[8] Стр. 170. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г.

[9] Стр. 170. Антонович повторяет клеветнические измышления о Некрасове, опровергаемые фактами отношения поэта к ссыльному Чернышевскому, его семье. Некрасов был один из немногих, кто добивался возможности видеться с Чернышевским, чтобы проститься с ним накануне его отправления в ссылку.

[10] Стр. 170. «Очерки» — ежедневная политическая и литературная газета демократического направления, в которой сотрудничал Антонович, выходила в Петербурге с 11 января по 8 апреля 1863 г. (в двух изданиях: утреннем и вечернем). Издатель «Очерков» — А. Н. Очкин, редактор — Г. З. Елисеев.

[11] Стр. 171. Неточность Антоновича. «Век» не газета, а еженедельный общественно-политический и литературный журнал (1861—1862). С 18 февраля 1862 г. редактором его был Г. З. Елисеев. 29 апреля 1862 г. журнал прекратил существование.

[12] Стр. 173. Письмо Некрасова от конца марта — 2 апреля 1864 г. (XI, 31).

[13] Стр. 173. Некрасов в письме к Я. П. Полонскому мотивировал свой отказ печатать его драму материальными соображениями: «...денег у нас очень мало. Заплатить Вам дешево не могу, да Вы и не возьмете; дать много не из чего. Поэтому пристройте Вашу вещь в другой журнал» (XI, 31).

[14] Стр. 174. Статья Чернышевского «В изъявление признательности. Письмо г. З-ну» (*С*, 1862, № 2) — резкая отповедь Е. Ф. Зарину, автору статьи «Небывалые люди» (*БДЧ*, 1862, № 1, 2), где содержался недоброжелательный отзыв о литературно-критической деятельности Добролюбова. Чернышевский воспринял статью как оскорбление памяти Добролюбова. Замечания Некрасова, сделанные им при чтении корректуры, действительно были учтены Чернышевским, и статья была им сокращена и исправлена.

[15] Стр. 175. «Полемические красоты» — статья Чернышевского (*С*, 1861, №№ 6 и 7), написанная в ответ на выпады против «Современника», вызванные расколом в журнале и уходом из него Тургенева.

[16] Стр. 175. В действительности, в редакции «Современника» такого единства в последние годы его существования не было. См. стр. 224—229.

[17] Стр. 177. В сентябре 1865 г. вступил в силу новый закон о печати, который давал право издавать «все выходящие доныне в свет повременные издания» без предварительной цензуры под ответственность издателей и редакторов. В числе административных взысканий были и предостережения журналам; после третьего предостережения журнал подлежал закрытию.

[18] Стр. 177. В июле 1866 г. А. Н. Пыпин как соредактор «Современника» был привлечен к судебной ответственности за публикацию статьи Ю. Г. Жуковского «Вопрос молодого поколения» (С, 1866, №№ 2, 3). Автор статьи обвинялся в «оскорблении чести и достоинства всего дворянского землевладельческого сословия». Некрасов предлагал Пыпину разделить с ним всю ответственность за публикацию статьи (XI, 76). Пыпин и Жуковский были приговорены к штрафу по 100 рублей и трехнедельному аресту на гауптвахте. «Суд (Современная повесть)» написан Некрасовым в 1867 г. отчасти под впечатлением этого судебного процесса.

[19] Стр. 177. Книга Прудона, о которой идет речь, появилась в русском переводе в 1865 г. под редакцией и с предисловием Н. Курочкина (П.-Ж. Прудон, Искусство, его основания и общественное назначение, СПб. 1865). Н. Курочкин писал в предисловии к книге, имея в виду резкую критику Прудоном «чистого искусства»: «Для нас, русских, в этом взгляде многое не ново. Вся деятельность Белинского была светлым предчувствием этого взгляда... Автор «Эстетических отношений искусства к действительности» и покойный Добролюбов были его разъяснителями и продолжателями; традиции этого взгляда существуют и теперь» (там же, стр. II—III). Антонович высказывает аналогичные соображения, однако сходство эстетических концепций Чернышевского и Прудона чрезмерно им преувеличивается.

[20] Стр. 178. Антонович иронически использует текст стихотворения Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»). Речь идет о стихотворении Некрасова «Осипу Ивановичу Комиссарову» («Не громка моя лира»...), «спасителю» Александра II при покушении на него Каракозова в апреле 1866 г. Стихотворение написано, видимо, из тактических соображений в надежде отвести удар от «Современника» в обстановке жесточайшего правительственного террора.

[21] Стр. 178. 16 апреля 1866 г. Некрасов на торжественном обеде в том же Английском клубе в честь М. Н. Муравьева-Виленского прочел свое стихотворение, посвященное ему. Текст стихотворения неизвестен. А. И. Дельвиг вспоминал: «После обеда, когда Муравьев

сидел со мною и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах, и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба» (А. И. Дельвиг, Полвека русской жизни, т. 2, «Academia», М. — Л. 1930, стр. 295).

Поступок Некрасова вызвал резко отрицательную реакцию «Колокола», демократических кругов России. Душевное состояние Некрасова, сознание опрометчивости совершенного поступка нашло отражение в стихотворениях: «Ликует враг, молчит в недоуменье...», «Умру я скоро. Жалкое наследство...» и др.

[22] Стр. 179. В 1865 г. министром внутренних дел П. А. Валуевым было объявлено журналу два предостережения: первое — 10 ноября, второе — 4 декабря. Участь журнала была предрешена: третье предостережение означало бы его окончательное закрытие.

Г. Н. Потанин

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Печатаются с сокращениями по тексту журнала «Исторический вестник», 1905, февраль, стр. 461—467, 471—472.

[1] Стр. 183. Дочери Потанина.

[2] Стр. 184. Так называет Потанин Бугульму, где жила его семья.

[3] Стр. 186. Потанин ошибается: его воспоминания относятся к 1860 г., работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов начал после 1861 г.

[4] Стр. 186. Потанин имеет в виду Егора Петровича Ковалевского, брата министра народного просвещения, приятеля Некрасова. В своем дневнике Потанин указывал, что Некрасов «отрекомендовал» его «брату министра» (*ИРЛИ*, 3820/XXI, б. 2, л. 191 об). Потанин ошибается: Ег. П. Ковалевский в Министерстве народного просвещения не служил.

[5] Стр. 188. Неверно. После разрыва Потанина с «Современником» (1862) Некрасов не имел с ним каких-либо отношений.

[6] Стр. 188. Большого успеха роман «Старое старится, молодое растет» не имел. Первые главы, опубликованные в «Современнике», получили разноречивые отклики. «Петербургский вестник» (1861, № 8) находил в романе обилие диалектизмов, натуралистичность описаний. «Сын отечества» (1861, №№ 10, 18) давал положительную оценку.

[7] Стр. 188. Потанин неточно цитирует отзыв из «Сына отечества» (1861, № 18). Там было написано: «В наших глазах он, роман, был и будет все-таки произведением замечательным, мало того — произведением совершенно новой манеры, которая напоминает отчасти манеру английских романистов...»

[8] Стр. 188. Имеется в виду стихотворение «На Волге (Детство Валежникова)», опубликованное перед романом «Старое старится, молодое растет» (*С*, 1861, № 1).

[9] Стр. 189. Это произведение Потанина неизвестно.

[10] Стр. 190. В своем дневнике Потанин записал слова Некрасова о председателе Петербургского цензурного комитета Н. В. Медеме: «Это скотина, и скотина еще не простая, а австрийская» (*ИРЛИ*, 3820/XXI, б. 2, л. 191).

[11] Стр. 190. Это письмо Некрасова неизвестно. 1 февраля 1861 г. Некрасов писал Потанину: «Потрудитесь с посылаемой цензорской корректуры перенесть на Вашу сделанные г. Бекетовым помарки. — Для связи Вы можете делать взамен выкинутого *вставки*, но они должны быть коротки и невинны». «Поправки и целые фразы, приписанные цензором, Вы можете уничтожать, заменяя их по-своему фразами, соответствующими его мысли» (X, 444).

И. А. Панаев

⟨О НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ ПОЭТА⟩

Печатается по автографу, хранящемуся в ИРЛИ (р. I, оп. 20, ед. хр. 10, лл. 1—12). Впервые полностью по копии автографа, хранящейся в *ИРЛИ* — в *ЛН*, № 49—50, стр. 536—546 (публикация С. Рейсера).

[1] Стр. 193. Из стихотворения «Застенчивость» (1852).

[2] Стр. 193. Из стихотворения «На родине» (1855).

[3] Стр. 194. Из стихотворения «Муза» (1851).

[4] Стр. 195. Конторские книги «Современника» за ряд лет хранятся в ИРЛИ. О них см. статью С. Рейсера: *ЛН*, т. 53—54, стр. 229—230.

[5] Стр. 195. В 1878 г. готовились к изданию «отдельной книгой» две биографии поэта. Составитель одной был А. Голубев (СПб.

1878), другой — А. М. Скабичевский (в книге «Стихотворения. Посмертное издание», т. I, СПб. 1879). Указанного Ип. Панаевым «отзыва» в этих биографиях нет.

[6] Стр. 195. Стихотворение 1860 г. 5-ю строку Ип. Панаев цитирует по изданию стихов Некрасова 1864 г. Позднее она была поэтом исправлена: «Не тужи! Пусть растет, прибавляется» (II, 79). По воспоминаниям одного современника, Некрасов публично читал это стихотворение: «Большой зал Дворянского собрания был битком набит. С благотворительной целью давался вечер при участии известных писателей. Появление каждого из них восторженно приветствовалось публикой. И только когда на эстраду вышел Николай Алексеевич Некрасов, его встретило гробовое молчание. Возмутительная клевета, обвившаяся вокруг славного имени Некрасова, очевидно, делала свое дело. И раздался слегка вздрагивающий и хриплый голос поэта «мести и печали»:

Что ты, сердце мое, расходилося?..
Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
Клевета по Руси по родной.

Что произошло вслед за чтением этого стихотворения, говорят, не поддается никакому описанию. Вся публика, как один человек, встала и начала бешено аплодировать. Но Некрасов ни разу не вышел на эти поздние овации легковерной толпы» (Р. Антропов, Памяти Некрасова, «Звезда», 1902, № 51, стр. 6).

[7] Стр. 197. Речь идет о камердинере Некрасова Василии Матвееве. По условиям завещания Некрасова он (а в случае его смерти его жена) должен получать пенсию в размере 600 руб. в год.

[8] Стр. 197. Кроме того, многие долги списывались, даже с авторов, которые продолжали сотрудничать в журнале. Е. Я. Колбасин писал Ип. Панаеву 12 октября 1860 г.: «...я переговорил с Некрасовым насчет моего долга «Современнику», и он обещал взять общий грех пополам, то есть с записанной в ваших конторских книгах цифры сбросить 250 рублей серебром. Поговорите с ним; он не отступится от своего слова» (*ИРЛИ*, 5043/XXVI, б. 135).

[9] Стр. 197. Речь идет о братьях Н. А. Добролюбова.

[10] Стр. 198. Имеется в виду Н. В. Успенский.

[11] Стр. 199. Н. В. Успенский в письмах из-за границы Ип. Панаеву выражал свою признательность Некрасову за денежную помощь и вновь просил выслать деньги. 28 апреля 1861 г. он писал из Флоренции: «Мой поклон Некрасову, низкий поклон. Когда книжка моя будет здесь у меня в руках, я постараюсь сочинить Некрасову письмо, исполненное отборного красноречия. Впрочем, это неважно. В настоящее время я, главным образом, стараюсь выразить мое желание, чтобы присланы были мне деньги в Женеву и

насколько возможно в скором времени». 9 июня 1861 г. из Парижа: «Передайте Некрасову мою искреннюю благодарность за его ко мне доброе расположение, я прошу у него извинения, если я не так воспользовался его благородным предложением, что я растратил денег больше, чем бы нужно — то есть тратил их не по условию. Меня подкрепляет надежда, что я вскоре расквитаюсь. Потрудитесь выслать мне, Ипполит Александрович, не менее 350 рублей серебром...» (*ИРЛИ*, 5044/XXVI, б. 136, лл. 20 об. — 21, 26—26 об.).

[12] Стр. 199. Письмо неизвестно.

[13] Стр. 199. Речь идет о претензиях Н. Успенского к Некрасову, издавшему его «Рассказы» (Пб. 1861). Успенский обвинял Некрасова в том, что тот якобы уплатил ему только с части тиража изданной книги, и просил Чернышевского «устроить третейский суд», «публичное объяснение с Некрасовым» (Письмо Н. Успенского Чернышевскому от 26 января 1862 г., «Звенья», III—IV, стр. 583). Чернышевский ответил отказом, но, не возражая быть «посредником или советником», взял под защиту Некрасова. Чернышевский писал Успенскому 27 января 1862 г.: «Смею Вас уверить, что если г. Некрасов не решился согласиться на некоторые из них (на условия Н. Успенского. — *Г. К.*), то единственно потому, что не находил возможности без моего согласия изменить расчеты с Вами более, чем изменил их» (*Чернышевский*, т. XIV, стр. 445—446). По-видимому, расчеты Некрасова с Н. Успенским основывались на общих расчетах редакции «Современника» с писателем. Ип. Панаев указывал, что Успенский остался должным редакции «Современника» 2313 руб. 55 коп. (*НВ*, 1889, № 4630). Эта цифра подтверждается публикацией С. Рейсера данных из конторских книг редакции «Современника» (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 535).

[14] Стр. 200. Наследницей И. И. Панаева была его бывшая жена А. Я. Панаева. Сумма в 50 тысяч рублей серебром названа также Некрасовым в письме В. П. Гаевскому в марте 1876 г. (XI, стр. 390). Известна также расписка А. Я. Панаевой от 21 февраля 1865 г. в получении от Некрасова 5 тысяч рублей серебром наличными деньгами и на 34 тысячи рублей серебром заемных писем (*ЛН*, т. 49—50, стр. 548). Кроме того, 9 тысяч рублей серебром Некрасов должен был уплатить Панаевой в три срока. Первые 3 тысячи из них были уплачены 5 мая 1866 г. (XI, 69).

[15] Стр. 202. Из стихотворения «Поэт и гражданин» (1856). Подчеркнуто Ип. Панаевым.

[16] Стр. 202. Из стихотворения «Рыцарь на час» (1860—1862).

[17] Стр. 203. Из стихотворения «Еду ли ночью по улице темной» (1847).

[18] Стр. 203. На этом текст воспоминаний обрывается. Кроме

него, в рукописи сделаны две отдельные записи: об отношении Некрасова к крестьянам, о денежных пособиях Некрасова. Обе записи включены С. Рейсером в состав основного текста (*ЛН*, т. 49—50, стр. 545—546).

Н. А. Лейкин

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по изданию: «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907, стр. 184—187. Впервые: «Исторический вестник», 1906, апрель, стр. 107—108.

[1] Стр. 205. Ошибка. В 1863—1866 гг. секретарем редакции «Современника» был А. Ф. Головачев.

[2] Стр. 205. Лейкин ошибается. А. Н. Плещеев в то время жил в Москве.

[3] Стр. 205. В «Современнике» была опубликована только одна повесть Лейкина — «Биржевые артельщики» (1864, №№ 7, 10).

С. Н. Терпигорев (С. Атава)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1896, март, стр. 798—802, 805—807.

[1] Стр. 208. Терпигорев поступал на юридический факультет Петербургского университета в 1860 г.

[2] Стр. 209. Речь идет о книге «Стихотворения Н. Некрасова. Издание второе с издания 1856 года, с прибавлением стихотворений, написанных после этого года», СПб. 1861. Цензурное разрешение 4 мая 1861 г. Ф. И. Рахманинов в то время не был цензором «Современника».

[3] Стр. 210. Стихотворение «Поэт и гражданин», опубликованное в первом издании «Стихотворений» Некрасова (СПб. 1856), вызвало цензурные репрессии после того, как было перепечатано Чернышевским и Панаевым (наряду с другими стихотворениями поэта) в «Современнике» (1856, № 11).

[4] Стр. 214. Рахманинов получил замечание от Главного управления цензуры за «допущение» им в «Современнике» «ряда статей, противодействующих коренным основам нашего устройства гражданского и общественного» в июле 1860 г. (В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Гослитиздат, Л. 1936, стр. 433). Значит, данный эпизод имел место не зимой (как пишет С. Терпигорев), а летом 1860 г.

В РЕДАКЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Г. З. Елисеев

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по рукописной копии, сделанной женой Елисеева — Е. П. Елисеевой и исправленной автором (*ИРЛИ*, 21690/CXIX, б. 63, лл. 1—2, 9—10, 16—22 об); впервые неполностью с произвольной разбивкой на части: «Шестидесятые годы», «Academia», М. — Л. 1933, стр. 310—322, 328—330, 344—355.

[1] Стр. 223. Имеется в виду Ю. Г. Жуковский.

[2] Стр. 225. М. А. Антонович опровергал факт подобной ревизии. По его словам, обсуждение «денежной стороны журнала» проходило в связи с планом передачи «Современника» в руки Антоновича, Жуковского, Елисеева, возникшем по их же инициативе, но неосуществленном (*«Шестидесятые годы»*, стр. 222—226). Эта версия подтверждается письмом Антоновича и Елисеева от января 1866 г. Ип. Панаеву, в котором говорится: «Николай Алексеевич письменно согласился отдать «Современник» в аренду постоянным сотрудникам журнала, в лице г. Антоновича. Для заключения подробных условий необходимо рассмотреть счета и книги по изданию журнала, преимущественно за истекший и текущий годы.

Посему сотрудники «Современника» поручили нам просить Вас помочь им в этом деле и показать счета и книги, для рассмотрения которых они согласились собраться к Вам в воскресенье, то есть 31 января» (*ИРЛИ*, 5077/XXVI, б. 169, л. 7). Возможно, что «ревизия» состоялась по этому поводу.

[3] Стр. 225. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. «Современник» приостановлен с мая 1862 г. на восемь месяцев.

[4] Стр. 226. М. А. Антонович указывает другую, более вероятную причину их отхода от «Современника»: он и Елисеев склонны были думать, что Некрасов после ареста Чернышевского откажется от прежнего направления «Современника» и от бывших его сотрудников. См. стр. 170. Некрасов 3 ноября 1862 г. писал Достоевскому из Петербурга: «Про меня здесь распустили слухи, что я отступился от прежних сотрудников, набираю новых, изменяю направление журнала, все это завершается прибавлением, что я *предал* Чернышевского и гуляю по Петербургу; дошло уже и до Москвы, как мне пишут; дойдет, конечно, и до провинции» (X, 479—480).

[5] Стр. 226. См. прим. 10 к стр. 170.

[6] Стр. 226. Речь идет о Н. Г. Чернышевском.

[7] Стр. 227. О характере этих переговоров некоторое представление дает письмо Е. Н. Пыпиной родителям от 9 октября 1862 г.,

в котором ход дела передается со слов Антоновича: «...Некрасов вчера приехал, и тут же в 9 часов утра прислал за Антоновичем. Тот сейчас же пришел к нам: «Хоть вы, говорит, и не можете мне дать совета, а все-таки иду спрашивать, что мне делать». Он накануне был у одного господина, Очкина, который предлагал ему сотрудничество по газете «Очерки», которую будет редактировать Елисеев, писавший внутренние обозрения в «Современнике». Вероятнейшим образом надо было ждать от Некрасова различных предложений, и вот он не знал, как ему быть с этим. Вы знаете, что дела иметь с Некрасовым они не желают. Антонович не вдруг отправился, но вечером опять получает настоятельнейший зов. Видно было по записке уже несколько встревоженное состояние духа. А между тем Антонович потому и не шел, что хотел напустить на Некрасова одного господина, который должен был объяснить все причины неудовольствия на Некрасова этих господ. На другой день присылает Некрасов за Сережей [С. Н. Пыпиным]. Оказалось, что Антонович не дал ему никакого положительного ответа на предложения по изданию «Современника» и насказал много кой-чего. Некрасов, конечно, оправдывается от всех обвинений, говоря, что у него мало друзей и много врагов, которые вот и повредили ему, и что если откажется Антонович, то он не будет издавать «Современник». — Чем они кончат, бог знает, но Антонович затрудняется один принять это дело, даже мимо всех этих дрязг» (*ЛН*, т. 25—26, стр. 388).

[8] Стр. 227. М. А. Антонович стал соредактором «Современника».

[9] Стр. 227. По воспоминаниям Е. П. Елисеевой, имя этого человека — А. А. Макавеев (*«Шестидесятые годы»*, стр. 450).

[10] Стр. 228. Некрасов в автобиографических заметках писал: «В известный год, в известном обстоятельстве я сказал М. Н. Муравьеву двенадцать стихов, за это даже Катков меня обругал в «Московских ведомостях», а уж о г. Буренине и говорить нечего» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 161). Текст стихотворения неизвестен. См. прим. 21 к стр. 178.

[11] Стр. 229. Имеются в виду денежные претензии к Некрасову М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского, высказанные в книге «Материалы для характеристики современной русской литературы» (СПб. 1869). См. также прим. 28 к стр. 237.

[12] Стр. 229. Елисеев был арестован 26 апреля 1866 г.

[13] Стр. 230. Е. П. Елисеева сделала в этом месте такое примечание: «Никогда таких длинных, к делу не пригодных и несколько смешных и напыщенных тирад я не говорила, о взятых бумагах не упоминала, ибо скорее естественнее было упомянуть о взятом муже, а бумаги у меня у самой взяли, никогда я не рекомендовала сделать обыск и взять Некрасова у него на дому. Офицер был

разозлен, а не смущен. Некрасов спокоен» («*Шестидесятые годы*», стр. 556). Е. П. Елисеева в своих воспоминаниях об этом эпизоде рассказывает так: «Началось с того, что он [офицер Теньков] приказал впускать всех, но не выпускать никого; процедура снятия показаний со всех присутствующих, прислуги и даже соседей продолжалась очень долго. Часа в два во всем, так сказать, разгаре этой процедуры вдруг послышался колокольчик. Так как в этот момент давала показания я и в своей комнате, дверь которой выходила в приемную, то, когда Теньков отворил двери, чтобы посмотреть, кто вошел, я встала также и вижу входящего Некрасова.

При виде его я обратилась к Тенькову и заявила, что господина Некрасова я не знаю и что это не мой знакомый.

Это его, видимо, взбесило.

— Как, — он говорит, — вы не знаете господина Некрасова, когда называете его Некрасовым, и как вы можете так храбро отрицать свое знакомство, когда живете с господином Елисеевым.

Мой ответ был, что Некрасова нельзя не знать, живя в Питере, и что я его знаю, и знаю, что он бывал у Григория Захаровича Елисеева, но своими личными знакомыми я считаю только тех, кого я принимаю в своей собственной комнате, а Некрасов никогда не переступал моего порога.

Тогда он вышел из комнаты и, войдя обратно через несколько минут, с торжеством сказал мне:

— Как же вы говорите, что Некрасов у вас не бывал, когда ваша прислуга показывает противное.

Я потребовала очной ставки; позвала прислугу, которой он вздумал дать такой вопрос: «Знаю ли я Некрасова?»

Тогда я попросила его поставить вопрос категорически: «Видел ли кто-нибудь Некрасова в моей комнате, как всех прочих моих знакомых?»

Конечно, получился ответ отрицательный.

Во все продолжение этой борьбы Некрасов стоял посредине залы бледный, суровый.

Когда был кончен допрос прислуги, то Некрасов, обратясь к Тенькову, сказал, что он приходил к своему сотруднику Елисееву, низко поклонился мне и благополучно вышел» («*Шестидесятые годы*», стр. 418—419).

[14] Стр. 230. Здесь Е. П. Елисеева сделала также примечание: «И это не точно. Офицер не говорил, что Некрасов со страху бы разболтался, а говорил, что им нужно только приобщить Некрасова, найти хоть негодный клочок, хоть ниточку, чтобы засадить его» (там же, стр. 556).

[15] Стр. 230. См. прим. 12 к стр. 229.

[16] Стр. 230. Некрасов жил всю зиму 1866/67 года в Петербурге. В марте 1867 г. уехал за границу.

[17] Стр. 231. Такое письмо Некрасова Елисееву неизвестно. Некрасов во время переговоров о преобразовании «Отечественных записок» советовал Краевскому «взять в редакторы человека, не имеющего имени резко обозначенного», чтобы «развязать» «руки» для работы в журнале «многим дельным литераторам». В качестве примера такого возможного «нейтрального» редактора Некрасов называл Е. П. Карновича (см. XI, 94).

[18] Стр. 231. Стихотворение А. К. Толстого «Пантелей-целитель» (1866) направлено против «нигилистов».

[19] Стр. 231. Письмо неизвестно.

[20] Стр. 231. План издания сборников предшествовал идее издания нового журнала. Пыпин вспоминал, что в конце лета 1867 г. «Некрасов уже сошелся с Елисеевым в издании какого-то сборника (туда же был приглашен Писарев), были уже какие-то статьи и была речь о том, чтобы сборника не печатать, а просто сохранить их для будущего журнала» (*ИРЛИ*, ф. 250, ед. хр. 104).

[21] Стр. 232. Не совсем так. На первых порах переговоров с Некрасовым Краевский хотел сохранить «Отечественные записки» за собой, предлагая ему редактирование отдела беллетристики. Некрасов от этого предложения отказался (см. IX, стр. 86—87) и предложил Краевскому передать журнал в аренду.

[22] Стр. 232. По-видимому, это собрание состоялось примерно в середине октября 1867 г. 20 октября Щедрин уехал из Петербурга. «Post scriptum» — название раздела книги «Материалы для характеристики современной русской литературы» (1869), написанного Ю. Жуковским.

[23] Стр. 233. В обвинительном заключении по делу Каракозова говорилось, что все участники этого дела «принадлежат к лицам, преданным преступным учениям социализма и коммунизма» («Покушение Каракозова», т. I, Центрархив, М. 1928, стр. 259). Каракозовцы в ходе следствия признались, что они находились под большим влиянием социалистических идей Чернышевского, его романа «Что делать?», опубликованного в «Современнике».

[24] Стр. 234. В октябре 1867 г. ни Салтыков, ни Елисеев не приняли этих доводов Некрасова. Когда Некрасов около 20 ноября 1867 г. послал Салтыкову телеграмму о возможности издания журнала без участия Краевского (такая возможность в тот момент представлялась Некрасову реальной), то получил от него ответ: «...Я получил от Вас телеграмму о том, что «Отечественные записки» переходят к Вам без участия Краевского, и искренно сожалел, что все это случилось месяцем позже. Желательно было бы знать, на каких условиях и каким образом это случилось» (*Щедрин*,

т. XVIII, стр. 198). Салтыков согласился с необходимостью оставить Краевского временно номинальным редактором несколько позже, Елисеев — в начале декабря 1867 г. Писарев информировал М. А. Маркович 5 декабря 1867 г.: «После обеда я отправился к Некрасову. Он в хорошем расположении духа. Все уладилось хорошо. Его, правда, еще не утвердили и, быть может, утвердят еще не скоро, но объявление о преобразовании «Отечественных записок» уже составлено и скоро будет напечатано, и первая книжка будущего года будет составлена уже из некрасовских материалов, хотя на обертке еще будет стоять имя Краевского. Словом, на первое время состоялась именно та комбинация, против которой восставал Елисеев, и Елисеев покорился, потому что это на первое время» («*Шестидесятые годы*», Изд-во АН СССР, М. — Л. 1940, стр. 160).

[25] Стр. 234. 8 декабря 1867 г. был заключен нотариальный договор Некрасова с Краевским. Согласно договору, Краевский сохранял «за собою право просматривать в корректурных листах все статьи, приготовленные к печати», имел право «приостановить» печатание той или иной статьи, могущей «вызвать преследование администрации», «сообщив свои соображения Некрасову» (*ЛН*, т. 53—54, стр. 340).

[26] Стр. 234. Пыпин в то время выбирал между «Вестником Европы» М. Стасюлевича, «Современным обозрением» Н. Тиблена и журналом Некрасова и больше склонялся к либеральным изданиям. Но свое несогласие с Некрасовым он объяснял невозможностью сотрудничества с Краевским. В неоконченной статье, являющейся полемическим откликом на выступление Елисеева (ОЗ, 1869, № 4), Пыпин писал: «С первого же свидания, когда вопрос о журнале шел в том тоне, в каком говорится о погоде, на слова Некрасова, что он хочет «взять журнал у Краевского» — я сказал, однако, что, по моему мнению, ему надобно лучше устроить *свой журнал*, который не стеснял бы ни его дохода, не связывал бы его традициями. ⟨...⟩

Положение будущих «Отечественных записок» стало определяться яснее. Дело шло не об аренде, какую я прежде предполагал и при которой считал возможным разговор, потому что она все-таки развязывала солидарность с «Голосом», — дело шло о том, что Краевский остается «издателем». Этот вопрос оставался в каком-то тумане. Когда снова зашла речь об этом предмете, я опять выразил свое мнение Некрасову, что такое положение для меня непонятно, и *отказался* вступать в журнал в этом виде. Когда он продолжал развивать свой взгляд на это, я сказал, что наибольшее, что я могу в таком случае, — это предоставить ему начать журнал с кем угодно, чтобы составить себе по нескольким книжкам мнение, возможно ли было бы мне писать в нем. ⟨...⟩

Я полагал, что этим дан достаточно определенный ответ на предложение Некрасова: в редакции начинаемого журнала я не желал участвовать. Я еще не знал окончательной формы, на которой устанавливалось дело, потому что все еще имелось в виду, что Некрасов будет, по крайней мере, «редактором» будущего журнала, если не настоящим его распорядителем (в случае аренды); на какое-то будущее устройство журнала указывалось и в объявлении «Отечественных записок» на 1868 год; но для меня все больше и больше вырастала уверенность, что иначе это дело и не станет. Поэтому я стал склоняться на сторону «Современного обозрения» (*ИРЛИ*, ф. 250, ед. хр. 104).

Другим условием своего сотрудничества с Некрасовым Пыпин выдвигал участие в «Отечественных записках» Жуковского. «...Относительно Жуковского я сказал, что я, собственно, считаю его необходимым, потому что для известных предметов считаю его наиболее компетентным, — и считаю до сих пор более компетентным, чем писатели по политической экономии и статистике в «Отечественных записках» (там же).

[27] Стр. 234. Письмо неизвестно.

[28] Стр. 237. Раскол бывшей редакции «Современника» имеет более сложную историю. Версию Елисеева в какой-то степени подтверждает письмо Некрасова к Пыпину от 20 ноября 1867 г., в котором он высказал свое нежелание предоставить восьмые доли доходов от журнала Жуковскому и Пыпину. Другая причина — указание министра внутренних дел, у которого Некрасов был 30 ноября 1867 г. и который «признал необходимым устранить от участия в «Отечественных записках» гг. Антоновича и Юлия Жуковского, отличавшихся крайними воззрениями» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 446). Разногласия с Пыпиным возникли не из-за «долей» доходов, он настаивал на сотрудничестве в журнале Жуковского.

Н. К. Михайловский

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА»

Печатается по книге: «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, СПб. 1900, стр. 63—65, 72—75, 78—81, 82—84.

[1] Стр. 240. В предшествующей части воспоминаний Михайловский рассказывал, как Н. С. Курочкин, руководивший в «Отечественных записках» (до 1872 г.) отделом критики и библиографии, обещал поговорить с Некрасовым о романе Михайловского «Борьба», который не был напечатан в «Современном обозрении» из-за прекращения издания журнала.

[2] Стр. 241. Просьба Некрасова относится к 1869 г.; Михайловский писал Некрасову: «Но романа своего я не дам: обжегся на молоке, так и на воду дуешь. Рукопись я почти всю уничтожил, а из того, что было набрано для «Современного обозрения», трудно что-нибудь выкроить, да у меня и рука не поднимается возиться с этим делом» (цит. по книге: В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, «Федерация», М. 1930, стр. 317).

[3] Стр. 242. Это письмо сохранилось и опубликовано: XI, 295.

[4] Стр. 242. В «Отечественных записках» (1874, №№ 3 и 4) опубликовано три стихотворения В. Шмакова.

[5] Стр. 243. См. стр. 163.

[6] Стр. 249. Некрасов лечился в Киссингене в июне 1873 г.

П. Д. Боборыкин

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

Печатается с сокращениями по тексту журнала «Наблюдатель», 1882, № 4, стр. 62—73.

[1] Стр. 253. Василий Матвеев, в течение многих лет служил у Некрасова.

[2] Стр. 253. Имеется в виду Н. А. Бутылин.

[3] Стр. 256. В 1902 г. Боборыкин припомнил следующий эпизод: «Раз захожу к Некрасову утром и застаю его в кабинете, как всегда в тесном шелковом, традиционного покроя халате, у самовара, за стаканом чая, с неизменной французской булкой. Читает корректуры. Это были гранки из первой части «Дельцов».

— Вот, отец, прочитываю вашу вещь... Что ж! Есть места, за которые большое вам спасибо.

Это значило, что он принял роман, не читая и первой части, и зная, что их будет несколько. «Небрежность! Легкомыслие!» — станут восклицать доктринеры, слишком ревниво смотрящие на свои редакторские прерогативы. А Некрасов рассуждал так: «Этого романиста я знаю и доверяю ему. Из-за чего я буду корпеть над его рукописью и задергивать его? А ознакомиться с вещью успею и читая корректуры» («Памяти Некрасова». — *Р. вед.*, 1902, № 29, от 29 января).

[4] Стр. 256. См. стр. 108.

[5] Стр. 258. См. стр. 65.

[6] Стр. 259. Имеются в виду члены Совета Главного управления по делам печати В. М. Лазаревский и Ф. М. Толстой.

[7] Стр. 260. По словам Суворина, Некрасов говорил, что «стихи принесли ему» «до 40 000 рублей во всю жизнь» (*НВ*, 1878, № 745). Большая часть этих средств была израсходована на издание «Современника».

Д. П. Сильчевский

Н. А. НЕКРАСОВ
ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ БИБЛИОГРАФА

Печатается по тексту газеты «Новости и биржевая газета» (1902, № 356 от 28 декабря).

[1] Стр. 264. Автор стихотворения не установлен.

[2] Стр. 268. Речь идет о портрете Некрасова, написанном И. Н. Крамским по заказу П. М. Третьякова в 1877 г.

[3] Стр. 270. Рецензия на роман «Эмма» Ф. Швейцера появилась в «Отечественных записках» (1871, № 10). Автор ее неизвестен.

[4] Стр. 272. Неточно. Последнее прижизненное издание «Стихотворений» Н. А. Некрасова (три тома, шесть частей) вышло в 1873—1874 гг.

[5] Стр. 273. Имеются в виду хлопоты Некрасова за Д. П. Сильчевского во время его арестов в 1876 и 1877 гг. Первый раз он был арестован в мае 1876 г. за хранение запрещенных изданий. Из Дома предварительного заключения Сильчевский обратился к Некрасову с большим письмом, в котором он вспоминал о своей первой встрече с ним, рассказывал о своих занятиях по библиографии, об аресте. Сильчевский просил Некрасова взять его на поруки. «Ради бога, посоветуйтесь с моим добрым другом, знаменитым собратом по библиографии Ефремовым, — писал он. — И если нельзя будет на поруки, то возьмите хоть разрешение на свидание со мной (разрешение для Вас и для Ефремова) — я и тому уж буду рад, что увижу человеческое лицо» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 89).

В «некрологической заметке», посвященной памяти П. А. Ефремова, Сильчевский писал, как Ефремов («вместе с Н. А. Некрасовым, лично знавшим тогдашнего шефа жандармов), пользуясь своими связями и знакомствами, выхлопотал высочайшее повеление о моем освобождении (с отдачей лишь под гласный надзор полиции)...» («Минувшие годы», 1908, № 1, стр. 293). О хлопотах Некрасова за него после второго ареста (февраль 1877 г.) Сильчевский рассказал в воспоминаниях о своем товарище детства, известном народовольце, изобретателе Н. И. Кибальчиче (см.: В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов в кругу современников, Гослитиздат, Л. 1938, стр. 222).

Г. А. Мачтет
ИЗ РАССКАЗА «ПЕРВЫЙ ГОНОРАР»

Печатается по изданию: Г. А. Мачтет, Избранное, Гослитиздат, М. 1958, стр. 514—516.

[1] Стр. 275. Речь идет о романе И. А. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (*ОЗ*, 1871, №№ 1—4). Новое произведение, обещанное Кущевским редакции «Отечественных записок», так и не было завершено (см. письма Кущевского Некрасову 1871—1872 годов: *ЛН*, т. 51—52, стр. 350—353).

А. Г. Степанова-Бородина
ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

Печатается по автографу, хранящемуся в *ИРЛИ* (ед. хр. 14786/XXVIII, б. 1, лл. 1—6). Публикация в «Литературном наследстве» (т. 49—50, стр. 580—588) сделана с пропусками и ошибками.

[1] Стр. 280. Эта встреча, судя по упоминаемым фактам, могла произойти в 1866—1867 гг. Александра Григорьевна в 1866 г. вышла замуж за сына известного карикатуриста Н. А. Степанова — Сергея Николаевича. «Искру» Н. А. Степанов издавал (совместно с Вас. С. Курочкиным) с 1859 по 1864 г., «Будильник» — с 1865 по 1871 г.

[2] Стр. 280. М. А. Воронов — писатель-демократ. Сб. очерков «Московские норы и трущобы» (1866) был издан им в соавторстве с А. И. Левитовым.

[3] Стр. 281. Ф. Н. Устрялов издавал «Новое время» в 1872—1873 гг.

[4] Стр. 282. См. стр. 278.

[5] Стр. 282. Переписка Некрасова с А. Г. Степановой-Бородиной неизвестна.

[6] Стр. 283. Имеются в виду статьи, опубликованные в газете «Новое время» (1873, №№ 37, 61). См. вступит. заметку к воспоминаниям.

[7] Стр. 284. Этот очерк в «Отечественных записках» не публиковался.

[8] Стр. 284. А. Н. Плещеев с 1872 г. являлся секретарем редакции «Отечественных записок».

[9] Стр. 285. Строки из стихотворения «Медвежья охота» (1867).

В. Н. Никитин

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Печатается с сокращениями по журналу «Всемирный вестник», 1903, № 1, стр. 128—136. Подпись: Бывш⟨ий⟩ сотрудн⟨ик⟩ «Отечеств⟨енных⟩ записок». Авторство В. Н. Никитина установлено А. М. Гаркави в его кн. «Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой», Калининград, 1966, стр. 241.

[1] Стр. 289. Автор обозрения «Московская летопись» (*СПб. вед.*, 1861, № 266) писал о грубости, дерзости лакеев, писарей, извозчиков и утверждал, что особенности их поведения есть проявление «русской натуры». В. Н. Никитин выступил в защиту «несправедливо униженных писарей, произведенных из них чиновников и представителей других сословий, опозоренных московским летописцем» («Прибавление к «Русскому инвалиду», 1862, № 6).

[2] Стр. 290. Вероятно, В. Н. Никитин имеет в виду канцелярию министерства государственных имуществ, в которой он служил в 1866 г.

[3] Стр. 290. Речь идет о рассказе «С одного вола семь шкур» (*ОЗ*, 1871, № 3).

[4] Стр. 291. Никитин вспоминал, как однажды во время его дежурства в канцелярии оберполицмейстера прислали из III Отделения оставшийся после суда над Чернышевским тюк книг и бумаг. «Составляя книгам и бумагам опись, я в числе рукописей нашел свою и спрятал ее в стол...» («Воспоминания В. Н. Никитина», *РС*, 1906, № 10, стр. 89). В этих же мемуарах Никитин называл свое произведение «рукописью о кантонистах» (т а м ж е, стр. 153).

[5] Стр. 293. Речь идет о статье «Петербургский суд присяжных» (*ОЗ*, 1871, №№ 5 и 6).

[6] Стр. 295. Вероятно, речь идет о Г. И. Успенском, выезжавшем за границу при поддержке Некрасова в 1871 г.

[7] Стр. 295. Возможно, что имеется в виду Г. Н. Потанин.

[8] Стр. 295. Речь идет о неудачной попытке опубликовать в «Отечественных записках» результаты осмотра «исправительных рот». В более поздних мемуарах В. Н. Никитин подробно описал, как военное ведомство (министр Д. А. Милютин, управляющий делами главного военно-тюремного комитета М. Н. Анненков и др.) воспрепятствовало публикации подготовленной им статьи («Воспоминания В. Н. Никитина», *РС*, 1906, № 11, стр. 384—396). В жалобе Д. А. Милютину, датированной 12 марта 1872 г., В. Н. Никитин

сообщал, что он «договорился с редактором «Отечественных записок», где постоянно сотрудничал», печатать свой труд с января 1872 г. (*ГБЛ*, ф. 169, 71/35). После изрядных сокращений, изменений он был частично опубликован в 1872 г. в журнале «Гражданин» и выпущен отдельной книгой: «Быт военных арестантов в крепостях» (СПб. 1873).

[9] Стр. 296. В. А. Панаев писал, что Некрасов «часто выдавал сотрудникам деньги без счета, которые и не попадали в кассовую книгу. Множество раз я был тому свидетелем» (В. А. Панаев, Воспоминания. — *РС*, 1901, № 9, стр. 499).

[10] Стр. 296. Д. Л. Мордовцев, сотрудничавший в «Отечественных записках» в 1868—1875 гг., вспоминал: «...Я знаю, что Некрасов без всякого замедления или неохоты выдавал своим сотрудникам иногда солидные авансы. Так, в декабре 1875 или в январе 1876 г. мне необходимо было экстренно перевезти из Саратова в Петербург мою больную жену с дочерью и внучкой для лечения и мне понадобилась для этого порядочная сумма. Когда я сказал об этом Некрасову, он тотчас же открыл свой письменный стол, со словами: «Сейчас, отец» («отец» — это слово он часто употреблял в разговоре), и подал мне пачку кредитных билетов, конечно, пересчитав, и прибавил: «Ах, отец родной, как бы мне хотелось поохотиться в ваших саратовских палестинах, да все не соберусь, да и спина болит» (Д. Мордовцев, О Н. А. Некрасове. — «Новости и биржевая газета», 1901, № 242).

[11] Стр. 296. Визит Некрасова к А. Е. Тимашеву был, возможно, связан с делами журнала «Отечественные записки». В то время, к которому относится описанный мемуаристом эпизод (вероятно, 1871 г.), Главное управление по делам печати решило объявить «Отечественным запискам» предостережение. А. Е. Тимашев, несмотря на враждебное отношение к журналу, не утвердил это решение (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 471).

Вас. И. Немирович-Данченко

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

Печатается с сокращениями по тексту, опубликованному в «Литературном наследстве», т. 49—50, Изд-во АН СССР, М. 1949, стр. 591—596, 598—599. Публикация С. А. Макашина.

[1] Стр. 298. «Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами» — *ВЕ*, 1874, №№ 8 и 9; «У океана. Очерки севера» — в журнале «Дело», 1874, №№ 7—9 и 12.

[2] Стр. 298. В обозрении «Наши общественные дела» (*ОЗ*, 1870, № 10) была сделана ссылка на информацию «местного корреспондента» из Архангельска, где жил тогда Немирович-Данченко.

[3] Стр. 299. Намек на подражание П. Д. Боборыкину, к творчеству которого Салтыков-Щедрин относился отрицательно. См. стр. 251.

[4] Стр. 300. Сведения об этом эпизоде неизвестны. В «Отечественных записках» (1868, №№ 3, 4) напечатано начало романа Д. К. Гирса «Старая и юная Россия». Продолжение публиковалось в журнале «Дело» (1870, № 1). Роман не был завершен.

[5] Стр. 301. «Сто русских литераторов» — многотомное иллюстрированное издание художественных произведений, осуществленное А. Ф. Смирдиным. Некрасов написал критическую рецензию на второй том этого издания (*ЛГ*, 1841, №№ 82, 83 и 84).

[6] Стр. 301. Автор публикации С. А. Макашин высказал предположение, что в данном случае имеется в виду поэт М. П. Розенгейм, редактор и издатель сатирического журнала «Заноза». В «Занозе» в 1863—1864 гг. он опубликовал памфлетные стихотворения «Что думает редактор, когда ему не спится», «Русский Ювенал» (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 599).

[7] Стр. 303. См. стр. 457—460.

[8] Стр. 305. Некрасов неоднократно призывал учиться у Пушкина. В связи с выходом биографии Пушкина, написанной П. В. Анненковым (1855), Некрасов писал: «Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде, — и поучайтесь из них ⟨...⟩ Поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, *идите по следам Пушкина...*» (IX, 364). Е. Литвинова, в юности встречавшаяся с Некрасовым, увлекавшаяся в то время стихами, вспоминает: «...Некрасов посоветовал мне изучить Пушкина также и с точки зрения образцовой формы. И при этом вспомнил с восторгом выражение Пушкина: «дорога, как змеиный хвост, полна народу, шевелится» (Е. Литвинова, Воспоминания о Некрасове.—«Научное обозрение», 1903, № 4, стр. 137).

[9] Стр. 305. Речь идет о «муравьевской оде», прочитанной Некрасовым 16 апреля 1866 г. в Английском клубе. Об этом см. прим. 21 к стр. 178.

[10] Стр. 305. Имеются в виду «покаянные стихи» Некрасова: «Ликует враг, молчит в недоуменье...», «Зачем меня на части рвете...», «Умру я скоро. Жалкое наследство...» и др.

СРЕДИ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

А. Я. Панаева (Головачева)

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ Н. А. НЕКРАСОВА

Печатается с сокращениями по изданию: «Литературное наследство», т. 49—50, стр. 550—562, 564— 571.

[1] Стр. 311. Вероятно, Валериану Александровичу и Ипполиту Александровичу.

[2] Стр. 312. Эти рецензии неизвестны.

[3] Стр. 316. Типография Э. Праца, где печатался в то время «Современник», находилась на Мойке, около Цепного моста. Некрасов и Панаевы жили тогда в доме Урусовой на Фонтанке, 16 (ныне Фонтанка, 19).

[4] Стр. 322. О последствиях дела Петрашевского для «Современника» в «Воспоминаниях» ничего не говорится. Возможно, что эти страницы не попали в печатный текст по цензурным соображениям.

[5] Стр. 323. По делу Петрашевского были арестованы Ф. М. Достоевский, А. Н. Плещеев, А. И. Пальм, С. Ф. Дуров и др. Некрасов писал в поэме «Недавнее время» (1871):

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что все ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодежь.

[6] Стр. 323. Речь идет о художнике С. М. Воробьеве и его брате — К. М. Воробьеве.

[7] Стр. 324. «Иллюстрированный альманах», задуманный как литературное приложение к «Современнику» на 1847 г., был сначала разрешен, а затем запрещен цензурой.

[8] Стр. 325. Василий Матвеев — слуга Некрасова.

[9] Стр. 326. Некрасов писал Тургеневу в марте 1849 г.: «...В нынешнем году у нас подписка на все журналы хуже, вследствие того, что газеты политические в интересе повысились, а журналы по некоторым причинам стали скучны и пошлы до крайности. Так у «Библиотеки для чтения» убыло 900 подписчиков, у Краевского — 500, у нас — 700. Дела наши не очень блистательны» (X, 127—128).

[10] Стр. 331. Этот же эпизод в несколько другой версии имеется в воспоминаниях В. А. Панаева (*РС*, 1901, № 9, стр. 498).

Н. Г. Чернышевский

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ «БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ» О НЕКРАСОВЕ, ПОМЕЩЕННЫХ В I ТОМЕ «ПОСМЕРТНОГО ИЗДАНИЯ» ЕГО «СТИХОТВОРЕНИЙ», СПБ. 1879

Печатается с сокращениями по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч. в пятнадцати томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1939, стр. 742, 744, 747, 750.

[1] Стр. 334. Об этом см. стр. 326.

[2] Стр. 335. Имеется в виду правительственный манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян.

[3] Стр. 335. Весной 1889 г. об этом же эпизоде Чернышевский рассказывал Л. Ф. Пантелееву так: «В день объявления воли я пришел к нему утром и застал его в кровати. Он был в крайне подавленном настроении; кругом на кровати лежали разные части «Положения» о крестьянах. «Да разве это настоящая воля! — говорил Некрасов. — Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами». Так что мне пришлось даже успокаивать его» (Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, Гослитиздат, 1958, стр. 476).

А. С. Суворин

ИЗ «НЕДЕЛЬНЫХ ОЧЕРКОВ И КАРТИНОК»

Печатается с сокращениями по тексту газеты «Новое время», 1878, № 662 от 1 января. Подпись: Незнакомец.

[1] Стр. 341. Суворин цитирует слова Некрасова, высказанные в разговоре с ним 16 января 1875 г. В дневниковых записях Суворина эта часть беседы передана в таком виде: «Я дал себе слово не умереть на чердаке и убивал в себе идеализм. У меня его было пропасть, но я старался развить у себя практическую сметку. Идеалисты сердили меня. Жизнь мимо их проходила, они все были в мечтах, и все их эксплуатировали. Я редко говорил в их обществе, но, когда напивался, начинал говорить против этого идеализма с страшным цинизмом» («Из записок А. С. Суворина. К десятилетней годовщине со дня его смерти». — *НВ*, 1922, 24 августа).

[2] Стр. 342. Из стихотворения «Праздник жизни — молодости годы...» (1855).

[3] Стр. 342. Речь идет о журнале «Современник».

[4] Стр. 343. О работе над романами «Три страны света» и «Мертвое озеро» см. прим. 10 и 11 к стр. 85.

[5] Стр. 343. Н. Станицкий — псевдоним А. Я. Панаевой.

[6] Стр. 343. Речь идет о встрече с Гоголем на вечере у А. А. Комарова осенью 1848 г. Белинского на этой встрече не могло быть. По воспоминаниям И. И. Панаева, Гоголь «изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина» (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 305).

[7] Стр. 343. Имеется в виду стихотворение «Родина» (1845).

[8] Стр. 343. На этом же вечере был П. В. Анненков. Он вспоминал, как Гоголь советовал литераторам заняться «приготовлением серьезных работ», которые можно будет печатать после облегчения цензурного гнета. «Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: «Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть». Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: «Да, вот это трудное обстоятельство» (*Анненков*, стр. 545).

[9] Стр. 344. Разумовская М. Г. (урожд. кн. Вяземская) устраивала в своем доме званые вечера.

[10] Стр. 346. Замысел этой поэмы в дневниковой записи Суворина от 19 марта 1877 г. передан так: «Я тут задумал. Это страшное что-то. Лежу, и все мне мерещатся степи, степи, степи, Сибирь и снега. Целая поэма — «Без роду, без племени». Я вам отдам все — делайте что знаете, употребите, как материал. Этот человек бежит, голодает, холодает. Нигде приюта. И степь, и снега. Только видит он что-то черное. Поднял — горностай, замерз бедняга. Он его в шапку и пошел. Шел, шел. Вдруг слышит звон. Звон колокольчика. Как не будешь богомольным. Снять, что ли, шапку и перекреститься? Снял. Да что-то шевелится в шапке. Смотрит — горностайка в тепле ожил. Он взял его в руку, спустил — он прямо в лес бросился, на свободу. Вот вам начало. Я сам напишу» («Из записок А. С. Суворина», *НВ*, 1922, 24 августа). Стихи Некрасова, связанные с этим замыслом, см.: II, 528—529.

[11] Стр. 347. Письмо-поздравление Суворина (от 6 декабря 1877 г.) сохранилось. В нем было между прочим написано следующее: «В последнее время я слышал, что Вам решительно лучше и что прошло то время, когда говорят больному, что «дни его сочтены», и дай Вам бог пожить еще, если не для себя, то для родной литературы. Вы знаете, что я всегда придавал Вам огромное значение не только как поэту, но еще больше, как главе журналистики, главе и голове самой светлой, самой разумной. Ламанский как-то сказал, что Россия уже потому полезна славянам, что она существует, и я бы сказал, что Вы уже потому полезны для нашей литературы и журналистики, что существуете, если бы и не могли

принимать в ней деятельного участия» (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 91, л. 7). Ответное письмо Некрасова, которое цитирует Суворин, — одно из последних писем поэта. Оно опубликовано полностью: XI, 416.

А. М. Скабичевский

КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с сокращениями по изданию: А. М. Скабичевский, Сочинения, т. 2, СПб. 1903, стлб. 337—342, 343—344. Впервые: «Новости и биржевая газета», 1892, № 208 от 30 июля и № 215 от 6 августа.

[1] Стр. 352. Каютин — герой романа «Три страны света», написанного Некрасовым совместно с А. Я. Панаевой в 1849 г. С народнической точкой зрения Скабичевского на образ Каютина, которая высказывалась критиком и прежде, полемизировал Чернышевский: «В «Трех странах света» нет ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или общественной точки зрения. И, сколько мне помнится, там и не было ничего такого. В анализе этого романа, даваемом «Биографическими сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической» (*Чернышевский*, т. 1, стр. 749).

[2] Стр. 356. Из стихотворения «Рыцарь на час» (1860—1862).

М. С. Волконский

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАПИСКАМ КНЯГИНИ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ВОЛКОНСКОЙ»

Печатается с сокращениями по изданию: «Записки княгини Марии Николаевны Волконской с предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского», СПб. 1904, стр. XIII—XVII.

[1] Стр. 359. Работа над поэмой «Княгиня Трубецкая» была завершена в июле 1871 г. в Карабихе, напечатана в «Отечественных записках» (1872, № 4). Упоминаемая встреча могла произойти в марте 1872 г.

[2] Стр. 359. По-видимому, речь идет о стихах:

Там люди заживо гниют —
Ходячие гробы,
Мужчины — сборище Иуд,
А женщины — рабы. (III, 42)

[3] Стр. 360. М. С. Волконский писал Некрасову 30 октября 1872 г., что «первая часть «последней поэмы» выходит почти буквальным воспроизведением самого интимного, семейного рассказа...». «Название по именам множества лиц, из которых некоторые еще живы; многие эпизоды, в которых эти живущие лица сами участвовали; много таких мелочей, которые передавались нам, детям, и одним нам: все это желал бы я видеть обойденным и прошу вас убедительно это сделать» («Звезда», 1925, № 6, стр. 284). Некрасов 22 ноября 1872 г. отвечал: «Мне ни особенно трудно, ни особенно жаль сделать те исключения в моей поэме, о которых Вы пишете. Я совершенно сглажу тот интимный характер, который придают поэме некоторые подробности, взятые из «Записок». Воспользуюсь также Вашими замечаниями в чисто художественном смысле, так как они большею частью верны. Имена заменю первыми буквами, упоминание о замужней сестре вовсе выкину...» (XI, 228). Эти изменения были сделаны: см. III, 439, 442, 590.

[4] Стр. 360. Некрасов писал М. С. Волконскому: «...сцену в шахте я слышал до чтения «Записок», мне передавали, что работавшие в шахте, пораженные внезапным появлением княгини Волконской, стали на колени, — я не ввел этого в поэму потому только, что побоялся упрека в мелодраматичности» (XI, 228).

[5] Стр. 360. Письмо неизвестно.

А. Ф. Кони

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Печатается с сокращениями по изданию: А. Ф. Кони. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, «Юридическая литература», М. 1968, стр. 259—261, 262—267, 269.

[1] Стр. 363. Некрасов читал на вечере в пользу «недостаточных учащихся» 2 января 1862 г. не опубликованные в то время стихотворения Добролюбова «Жалоба ребенка», «Сон», «Соловей», «Пускай умру — печали мало...» и др.

[2] Стр. 363. Поэма «Русские женщины» впервые печаталась по частям: «Княгиня Трубецкая» — *ОЗ*, 1872, № 4, «Княгиня М. Н. Волконская» — *ОЗ*, 1873, № 1.

[3] Стр. 364. Первые строки стихотворения, написанного в 1855 г.

[4] Стр. 367. Название неточно. Надо: «Про холопа примерного — Якова верного».

[5] Стр. 367. Из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт» (цикл «Песни о свободном слове»).

[6] Стр. 368. Из стихотворения «До сумерек» (цикл «О погоде»).

[7] Стр. 368. Фекла Анисимовна Викторова («Зина») умерла в 1915 г.

[8] Стр. 369. Объяснение казанского судьи Загибалова было вызвано статьей Н. Демерта (*ОЗ*, 1872, № 10), в которой говорилось, что этот судья оштрафовал казанского кухмистера за распространение «бесцензурной литературы», оказавшемся списком блюд. Объяснение Загибалова, видимо, по совету Кони, было напечатано: *ОЗ*, 1873, № 4.

Г. И. Успенский

КОМУ ЖИТЬ НА РУСИ ХОРОШО

Печатается по изданию: Г. И. Успенский, Собр. соч. в девяти томах, т. 9, Гослитиздат, М. 1957, стр. 70—71.

[1] Стр. 374. Цитируются воспоминания А. С. Суворина, напечатанные в фельетоне «Недельные очерки и картинки» в 1878 г. См. стр. 344.

А. А. Плещеев

I. МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ. II. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

I. Печатается с сокращениями по тексту газеты «Сегодня» (Рига), 1927, № 292, от 25 декабря. II. Печатается по изданию: А. А. Плещеев, Что вспомнилось. Актеры и писатели, т. III, СПб. 1914, стр. 259—260. «Из записной книжки» — название раздела книги, в который включены воспоминания о Некрасове.

[1] Стр. 377. А. Н. Плещеев писал Некрасову в сентябре 1872 г.: «Дайте мне возможность что-нибудь сделать для журнала. Верьте, что мне очень тяжело играть роль какой-то приживалки при «Отечественных записках» и ничего в них не работать. Ведь не могу же я смотреть на свои секретарские обязанности как на нечто серьезное. Я очень хорошо понимаю, что это и синекура, и что мне они даны ради моего трудного положения...» (*ЛН*, т. 51—52, стр. 453).

[2] Стр. 378. «Фра-Дьяволо» — опера французского композитора Даниеля Обера. Музыкальные интересы Некрасова отметила также сестра поэта (по отцу) Е. А. Некрасова-Рюмлинг. Ее первый муж Л. А. Фохт окончил Петербургскую консерваторию, был учеником Венявского. Она рассказала: «Есть несколько романсов, написанных Львом Александровичем на слова Николая Алексеевича, например, стихотворение «Прости, не помни дней паденья» и «Еду ли ночью по улице темной». Когда Лев Александрович в первый раз принес ему уже напечатанные романсы, Николай Алексеевич был очень

доволен и заметил: «Я уверен, что ваша музыка будет лучше, чем музыка князя Одоевского, который также писал на мои слова». Николай Алексеевич, видимо, любил музыку, и каждый раз, когда приходил г-н Фохт, он его просил что-нибудь сыграть на рояле, особенно ему нравился дуэт из оперы «Пуритане» Беллини, который поют баритон и бас (тогда великолепные итальянские артисты Котони и Уэтам), дуэт, как Николай Алексеевич выражался, поднимающий душу и кончающийся словами: «О Patria, o Liberta! (о родина, о свобода!)» («Книга и революция», 1921, № 2, стр. 60).

[3] Стр. 379. Упоминаемый литературный вечер состоялся 16 марта 1874 г. Некрасов и А. Майков читали стихотворения, которые печатались в альманахе «Складчина», изданном в пользу пострадавших от голода в Самарской губ.

[4] Стр. 380. См. Н. А. Некрасов, т. II, 356—357.

[5] Стр. 381. Оба письма Некрасова, написанные в один день — 2 июня 1875 г., — известны. Они касались просьбы Плещеева денежной помощи у Литературного фонда. Плещеев цитирует первое письмо (см. XI, 365).

[6] Стр. 381. А. Н. Плещеев написал некролог «Николай Алексеевич Некрасов», в котором говорилось: «Для тех, кто посвятил себя поэтической деятельности, утрата эта особенно чувствительна, скажем более — незаменима... Поэты, приносившие к нему свои произведения, всегда могли рассчитывать на его сочувственное, ободряющее слово, на полезный и добрый совет. Часто случается, что даровитые писатели бывают плохими ценителями чужих произведений, но к покойному Николаю Алексеевичу никак нельзя было применить этого; напротив, он обладал необыкновенной критической способностью, и отзывы его всегда были в высшей степени верны... Вообще это был человек сильного, выдающегося ума, и та же самая верность и ширина взгляда замечалась у него при оценке людей и фактов» (*БВ*, 1877, № 377).

В РОДНЫХ МЕСТАХ. НА ОХОТЕ

А. А. Буткевич
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по тексту, опубликованному в «Литературном наследстве», т. 49—50, стр. 176—180. Публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера.

[1] Стр. 389. «Рецепты» не сохранились.

И. Ф. Горбунов

ДЬЯВОЛЬСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Печатается по изданию: И. Ф. Горбунов, Сочинения, т. III, СПб. 1907, стр. 59—61.

Н. П. Некрасова

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ Н. А. НЕКРАСОВЕ

Печатается с сокращениями по автографу, хранящемуся в Гос. мемориальном музее Н. А. Некрасова (Ленинград). Впервые с пропусками, искажениями в книге: «Некрасов. К 50-летию со дня смерти», «Прибой», Л. 1928, стр. 9—23.

[1] Стр. 397. Зинаида Николаевна — Фекла Анисимовна Викторова, впоследствии ставшая женой Некрасова.

[2] Стр. 399. Некрасов жил во флигеле дома в Карабихе.

[3] Стр. 401. Других источников, подтверждающих принадлежность Некрасову этого экспромта, нет.

[4] Стр. 401. Накануне отъезда в Киссинген Некрасов писал ей из Петербурга: «Добрая и дорогая Наталья Павловна, шляпку Вам посылаем, Зина просит сказать Вам, что эта шляпка надевается не как круглая, а как обыкновенная. По нашему понятию, шляпка очень мила; только я заметил Зине — не слишком ли она скромна для такой молоденькой женщины, как Ваша милость. На что получил ответ: *не выдумывай!* — Впрочем, дело можно поправить: едем за границу, откуда я привезу Вам шляпку более эффектную» (XI, 254).

[5] Стр. 402. Некрасов выехал в Ялту из Петербурга 28 августа 1876 г.

[6] Стр. 402. За больным Некрасовым постоянно ухаживали Зинаида Николаевна и студент Медико-хирургической академии Н. П. Демьянков. Бюллетени о болезни Некрасова не печатались.

А. Ф. Некрасов

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. НЕКРАСОВЕ И ЕГО БЛИЗКИХ»

Печатается впервые по авторизованной машинописи (*ЦГАЛИ*, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 92, лл. 2—4).

[1] Стр. 405. По-видимому, речь идет о крестьянине Кузьме Ефимовиче Солнышкове. Его воспоминания см. на стр. 407.

[2] Стр. 405. Некрасов в августе 1875 г. вел переговоры о поступлении А. Ф. Некрасова в гимназию. См. XI, 368.

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН

К. Е. Солнышков

Кузьма Ефимович Солнышков (по другим мемуарным источникам — Солнцев), товарищ Некрасова по охоте из деревни Орлово Залужской волости Даниловского уезда. Воспоминания записаны П. Путиловой в 1902 г. По ее данным, К. Е. Солнышкову был тогда 81 год.

Печатается по тексту газеты «Северный край», 1902, № 340 от 27 декабря.

[1] Стр. 408. Некрасов приезжал в Нижний Новгород в августе 1863 г.

И. Г. Захаров

Иван Гаврилович Захаров из деревни Шоды Московской волости Костромского уезда (ум. в 1931 г.), сын Гаврилы Яковлевича, «друга-приятеля» (ум. в 1883 г.), как его называл Некрасов, которому обращено посвящение в «Коробейниках» (1861). Воспоминания записаны Мизенцем в 1902 г.

Печатается по тексту газеты «Костромской листок», 1902, № 140 от 29 декабря.

[1] Стр. 410. Более подробно об этом же эпизоде И. Г. Захаров рассказывал А. В. Попову в 1927 г. Охотник Давыд Петров из деревни Сухоруковой «встретил в своей деревне коробейников, направлявшихся прямиком через болота в село Закобякино Ярославской губернии, «надумал» их убить, чтобы забрать деньги, и проследил в лесу. Коробейники поняли, что не к добру оказался около них как будто недавно виденный человек с ружьем, и просили оставить их. Когда Давыд убивал, то пастушок слышал выстрелы и крики. После убийства Давыд затащил одного убитого на дерево, другого спрятал под корни. Потом их нашли, но не знали, кто убил. Вскоре пошли слухи, что Давыд разбогател. Стали догадываться о причинах неожиданного сбогащения. Гаврила Яковлевич делал ружье. Давыдка не заплатил ему за работу. В Дмитриев день позвал Гаврила Яковлевич Давыдку, и вместе пошли они к пастушку Вединию, который слышал выстрелы и крики в лесу. Сперва хорошо выпили, а потом «подзадорили детинушку». Подзадоривал больше родитель: «Нас трое, расскажи, как ты убил коробейников, никто не узнает». Он и рассказал им всю правду» («Ярославский альма-

нах», 1941, стр. 195—196). Другие источники, подтверждающие эти факты, неизвестны.

[2] Стр. 410. Строка из поэмы «Коробейники» (V глава).

[3] Стр. 410. Известно одно письмо Некрасову Гаврилы Яковлевича, отправленное 20 апреля 1869 г., в котором говорилось: «Стосковалось мое ретивое, что давно не вижу тебя, сокола ясного. Частенько на мыслях ты у меня и как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем и все это очень помню как бы это вчера было и во сне ты мне часто привидишься.

Полюбуйся-ка на свой подарочек Юрку! Ишь как свернулась сердешная у ног моих, ни на минуту с ней не расстаемся — сука важнеющая, стойка мертвая, да уж и берегу я ее пуще глаз своих. 〈...〉

Больно ведь мне тебя жалко, болезный ты мой, вот так и рвется душенька из груди моей к тебе навстречу» («Некрасовский сборник», Пг. 1918, стр. 108). Вместе с письмом был отправлен фотопортрет Гаврилы с ружьем и собакой (хранится в мемориальном музее Н. А. Некрасова в с. Карабиха); на портрете сделана подпись:

Не побрезгуй на подарочке,
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

Н. А. Бутылин

Никанор Афанасьевич Бутылин из деревни Петлино, камердинер Некрасова (ум. в 1924 г.), Иван Гаврилович Макарычов — его внук.

По словам И. Г. Макарычова, Никанор «так любил Некрасова и так часто — десятки раз вспоминал о своей первой встрече с ним в лесу, и о жизни у него в Петербурге, и о поездке в Крым, и о болезни, постигшей поэта, и об операции, которой он подвергся, и, наконец, о том, как его хоронили, что он, Иван Гаврилович, выучил наизусть «дюдины рассказы» и ручается за точность их передачи» (В. Евгеньев-Максимов, Крестьянские рассказы о Некрасове. — «Резец», 1939, № 1, стр. 22).

Запись рассказов Никанора Бутылина И. Г. Макарычовым датирована: 1 февраля 1928 г. Первая публикация: «Резец», 1939, № 1, стр. 20—21. Печатается по этому изданию.

[1] Стр. 411. В Крыму Некрасов был в сентябре — октябре 1876 года. На Кавказе не был.

[2] Стр. 412. Имеется в виду Зинаида Николаевна — жена поэта.

[3] Стр. 413. В рассказе Никанора содержатся отголоски слухов

о том, что Карабиха была якобы выиграна Некрасовым в карты. Ср. рассказ бывшего слуги Некрасова П. А. Прибылова («Северный край», 1902, № 314). Эта версия опровергается купчей, текст которой был опубликован по настоянию Ф. А. Некрасова, брата поэта («Северный край», 1902, № 319, 4 декабря).

[4] Стр. 414. По завещанию Н. А. Некрасова Н. А. Бутылину было определено две тысячи рублей. (XI, 100).

[5] Стр. 415. Достоверность этого рассказа вызывает сомнения. Сохранилась расписка в получении Никанором завещанных ему денег. Однако расписка подписана не Никанором, а «за неумением его грамоте» купцом Василием Матвеевым (см. «Резец», 1939, № 1, стр. 21. Прим. В. Евгеньева-Максимова).

Сергей Макарович

Сергей Макарович, крестьянин Новгородской губ., Тихвинского уезда. С. Д. Дрожжин встречался с ним в июле 1880 г.

Печатается по изданию: С. Д. Дрожжин, Стихотворения. 1866—1888. С записками автора о своей жизни и поэзии, СПб. 1889, стр. 68—71.

С. П. Петров

Степан Петрович Петров из Чудовской Луки, егерь-охотник. Воспоминания записаны в 1902 г. И. Жилкиным.

Печатается по тексту газеты «С.-Петербургские ведомости», 1902, № 354, от 28 декабря.

И. В. Миронов

Иван Васильевич Миронов из Чудовской Луки, охотник. Воспоминания записаны в 1902 г. И. Жилкиным.

Печатается по тексту газеты «С.-Петербургские ведомости», 1902, № 354, от 28 декабря.

[1] Стр. 422. В беседе с Мироновым, записанной в 1912 г. З. Слезскинской, есть такой вариант рассказа:

«— Хороший был барин, — заговорил снова старик, когда мы сидели уже за поданным хозяйкою чаем. — Много и после него здесь господ жило, а такого доброго да простого не было. Как приедет сюда, каждый-то день с ним вместе был. Иной раз уйдешь утречком

пораньше, поразведать насчет охоты, а Николай Алексеевич ждет, ждет да и придет на деревню под окошко справляться... Бывало, едем с ним на охоту, говорить начнет — заслушаешься.

— О чем же?

— Обо всем. О жизни больше. Как жить надо по-хорошему, честно, без зла. Нашу-то жизнь как знал, бедность крестьянскую... И о детях говорил, как их растить надо, правде да добру учить.

— Он любил детей?

— Всех он любил. Ссор только не любил. Сами ведь знаете, всяко в жизни бывает. Перессорится, это, наш брат, да и говорят друг другу: «Вот ужо Николай Алексеевич приедет, пожалуюсь на тебя». Приедет, и вправду к нему идут. Он выйдет и слушает. Всяк свое говорит, а Николай Алексеевич улыбнется да скажет:

— Гмм... — это его любимая поговорка была, — и отойдут. А то кончится охота. Даст денег и велит народ рассчитывать по справедливости.

Соберутся, это, все в избу. Начнешь делить — ссоры начнутся. И здесь Николай Алексеевич никогда не вступится. Лежит только на лавке, подопрет голову рукой, ни слова не говорит, а сам только смотрит и смотрит да слушает, точно он человека насквозь видит.

А случись беда какая, узнает, и просить не надо. Раз у одного хозяина две лошади пали. В поле работа стоит. Вот мы и собрались в воскресенье, знаете, по-деревенски «помочью» и пашем поле. Идет мимо Николай Алексеевич.

— Это что, говорит, за работа?

— Помочь, Николай Алексеевич, — и рассказали, в чем дело.

— Ну, коли помочь, так и мне помочь надо, — и вынул двадцатипятирублевку» (*ИВ*, 1913, № 1, стр. 148—149).

[2] Стр. 422. На могиле Кадо в усадьбе дома, принадлежавшей Некрасову, сделана надпись: «Кадо, черный понтер. Был превосходен на охоте, незаменимый друг дома. Родился 15 июля 1868 г., убит случайно на охоте 2 мая 1875 г.».

«ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ»

Н. А. Белоголовый

БОЛЕЗНЬ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА

Печатается с сокращениями по журналу «Отечественные записки», 1878, № 10, отд. II, стр. 314—340.

[1] Стр. 429. Это подтверждается жалобами Некрасова на свое состояние в письмах к родным. «Любезный брат Федор, мне очень

плохо; главное: не имею минуты покоя и не могу спать — такие ужасные боли в спине и ниже уже третий месяц. Живу я в усадьбе около Чудова, почти через каждые десять дней езжу в Гатчино, где живет доктор Боткин; что далее будет со мною, не знаю, — состояние мое крайне мучительное — лучше не становится» (XI, 398—399). «Любезная сестра Анна, я уже четвертый раз путешествую в Гатчино, но вызывать тебя туда мне жаль было — целые сорок верст, и в Лигове час ждать. А утешительного ты увидела бы немного. Боли меня не покидают; сто дней не спал по-человечески; облегчения бывают изредка — на полдня; а то сплошная мука. Ноги слабеют» (XI, 400).

[2] Стр. 430. Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову: «Сегодня, например, воротился из Крыма Некрасов — совсем мертвый человек. Ни сна, ни аппетита — все пропало, все одним годом сказалось. Не проходит десяти минут без мучительнейших болей в кишках, и таким образом идет это дело с апреля месяца. Вы бы не узнали его, если б теперь увидели. Я был хорош, а он теперь — две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги» (*Щедрин*, т. 19, стр. 79).

[3] Стр. 430. Речь идет о части поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: «Пир — на весь мир».

[4] Стр. 431. «Пир — на весь мир» был включен в ноябрьскую книжку «Отечественных записок» за 1877 г. Цензор А. Лебедев признал это произведение «крайне вредным по своему содержанию, так как оно может возбудить неприязненные чувства между сословиями». Цензор предлагал книжку журнала «подвергнуть аресту» (*ГМ*, 1918, IV—VI, стр. 98). Это мнение разделил председатель С.-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров. Не помогло личное обращение Некрасова к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву (XI, 407—408). А. Краевский, не дожидаясь ареста журнала, вырезал из него «Пир — на весь мир».

Салтыков-Щедрин писал 25 ноября 1876 г. П. В. Анненкову о Некрасове: «И вот этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невыносимых болей написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го №. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться» (*Щедрин*, т. 19, стр. 82).

[5] Стр. 432. Об этом писали С. А. Венгеров в «Русском мире» (1877, № 35). А. С. Суворин в «Новом времени» (1877, №№ 326,

380) и др. Большой резонанс имели стихотворение «Не говори, что ты сойдешь в могилу...» («Неделя, 1877, № 5) и письмо в стихах от студентов Харьковского университета: «Напрасно мнил, что ты и жил и умираешь нелюбим...» (*СПб. вед.*, 1877, № 69).

В откликах, опубликованных в либеральной прессе, так или иначе выражалось настроение русской прогрессивной общественности, широкого круга читателей. Интересно в этой связи письмо (от 20 февраля 1877 г.) Суворину как издателю «Нового времени» от В. С. Соколова, жителя г. Костромы: «Вы, вероятно, согласитесь со мной, что заслуга Н. А. Некрасова велика перед обществом; его деятельность в высшей степени плодотворна. Но насколько важны его заслуги, настолько же он дорог читающему люду. Поэтому Вы вполне можете понять, насколько обидно, больно и досадно на нашу ежедневную прессу за ее крайне равнодушное отношение и к больному и к читателям. Признаюсь, подобное отношение прессы к таким деятелям, как незабвенный Некрасов, мне представляется по меньшей мере постыдным. Извините за откровенность, но я думаю, что отсутствие сведений о состоянии здоровья нашего поэта свидетельствует за полный индифферентизм самих литераторов к судьбам российской литературы и общества. Им, по-видимому, все равно, жив ли Некрасов, выздоравливает ли, умер ли он!! Чем же иным можно объяснить, что читатели газет пребывают в совершенной неизвестности относительно его здоровья?!» (*ЦГАЛИ*, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3997, л. 1об).

[6] Стр. 432. Некрасову готовилось и было отправлено несколько адресов от учащейся молодежи, от рабочих (об этом см. стр. 451). Салтыков-Щедрин писал в то время: «Замечательно то сочувствие, которое возбуждает этот человек. Отовсюду шлют к нему адреса, из самой глубины России» (*Щедрин*, т. 19, стр. 91).

[7] Стр. 432. В одной из телеграмм, отправленной из Ирбита на имя Суворина с какого-то представительного собрания 17 февраля 1877 г. говорилось: «Просим вас сказать Некрасову, что его обутая широким лаптем муза мести и печали давно протоптала глубокую тропу в наши простые сердца; пусть он выздоравливает, пусть он встанет и доскажет нам, кому живется весело и вольготно на Руси и почему умирают и собираются умирать лучшие наши надежды. Это говорят сибиряки со всех концов Сибири» (В. Евгеньев, Николай Алексеевич Некрасов, М. 1914, стр. 254).

[8] Стр. 432. Имеются в виду «муравьевская ода», превратные толкования его издательских дел и др. (см. воспоминания М. А. Антоновича, Ип. А. Панаева, Г. З. Елисеева). Оценка Белоголовым признаний Некрасова совпадает с оценками Салтыкова-Щедрина и, вероятно, подсказаны последним. Н. Щедрин писал Анненкову,

о Некрасове: «А он-то, в предвидении смерти, все хлопочет, как бы себя обелить в некоторых поступках» (*Щедрин*, т. 19, стр. 91).

[9] Стр. 432. Эпизоды своей жизни Некрасов рассказывал А. Н. Пыпину, С. Н. Кривенко, А. С. Суворину, В. А. Панаеву и др. См. Автобиографии Некрасова, *ЛН*, т. 49—50, стр. 133—210.

[10] Стр. 432. Начало поэмы «Мать» было опубликовано в 1861 г., отрывок из поэмы печатался в 1869 г. В 1877 г. поэму Некрасов завершить не смог.

[11] Стр. 435. Более подробные сведения содержатся в письме А. А. Буткевич Ф. А. Некрасову от 21 июля 1877 г.: «Представь себе, что нередко выдаются такие дни: он встает утром, умывается, причесывается, надевает халат и садится завтракать. Ест хотя и меньше, чем при тебе, но все же порядочно — потом читает газеты и сидит за столом часа два и больше, в это время его несколько раз схватит, но ненадолго. В течение дня встает с постели раз пять, ходит по комнате иногда минут двадцать; когда теплый день, ездит кататься не менее часа. Это лучшие дни, а бывает иногда и совсем скверно. Вообще же нервен и раздражителен страшно, трудно очень на него угодить.

При нем теперь находятся два медицинские студента, которые и дежурят ночь и день. Худ он страшно, с тех пор как ты его видел, очень похудел в лице и выражение изменилось. Стихов с зимы совсем не пишет и вообще никакими делами не занимается, даже в тех размерах, как при тебе, говорит очень мало и мало с кем видится даже из близких. Последнее, может быть, оттого, что всегда под страхом, что бы с ним не случилось какого-нибудь казуса» (*АСК*, стр. 283).

[12] Стр. 436. В письме А. А. Буткевич Ф. А. Некрасову от 25 октября 1877 г. говорилось: «На мой взгляд, состояние брата не меняется ни к худшему, ни к лучшему, доктор же находит, что ему лучше и что есть надежда еще на большее улучшение, которое, понятно, будет приходить постепенно. Если ты помнишь, как брат был худ, когда ты его видел, то теперь буквально остались одни кости — страшно смотреть, когда он становится на ноги. Время проводит все так же, как я тебе писала летом: по утрам читает довольно много, но писать уже ничего не может, говорит мало, жалуется, что тяжело — голос очень слаб; к вечеру большое утомление и раздражение.

Острые, мучительные боли совсем прошли, но зато много новых тяжелых явлений. Иногда жалуется, что его совсем развинтило, это когда начинается общий лом в костях от худобы и продолжительного лежанья» (*АСК*, стр. 284).

[13] Стр. 436. Последним произведением Некрасова было стихотворение «О Муза! Я у двери гроба...».

А. А. Буткевич

I. ⟨ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ⟩. II. ЗАМЕТКА

Печатается по изданию: «Литературное наследство», т. 49—50, Изд-во АН СССР, 1946, стр. 171—175. Публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера.

[1] Стр. 441. В этой книжке «Отечественных записок» печатались стихотворение Некрасова «Баюшки-баю» и отрывки из поэмы «Мать».

[2] Стр. 441. В 1873—1874 гг. было выпущено шестое издание «Стихотворений» Некрасова, состоявшее из шести частей; «Последние песни» (1877) явились приложением к этому изданию.

[3] Стр. 441. Речь идет о стихотворении:

Черный день! Как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов,
У друзей, врагов и цензоров... (II, 427)

Этот же эпизод в записях А.А. Буткевич имеет еще один вариант: «Не получая известия, согласился ли Лебедев просмотреть не в очередь книгу брата, он ужасно сердился на управляющего, что не дает ответа. «Пошли ты за этим олухом и спроси, что он там сделал». Пришел управляющий и объявил, что Лебедев без разрешения Петрова не может рассматривать книги, но что если Петров назначит его, то он с удовольствием займется этим на праздниках. Брат продиктовал мне письмо к Петрову, но потом просил изорвать: «Не хочу я ничего у них просить. Пусть будет как будет», и велел поправить стихи «Черный день» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 172).

[4] Стр. 441. «Физиология Петербурга» — один из сборников (вышло два), изданных Некрасовым в 1845 г., в которых приняли также участие Белинский, Григорович, Панаев, Даль и др.

[5] Стр. 442. Из стихотворения «Баюшки-баю» (1877).

[6] Стр. 442. «Последние песни» вышли в свет 2 апреля 1877 г.

[7] Стр. 443. В первых публикациях стихотворения «Уныние» (1875) по цензурным причинам строфы V—VII были сняты.

[8] Стр. 443. Цензурная история поэмы «Пир на весь мир» излагается А. А. Буткевич неточно. См. прим. 4 к стр. 431.

А. Н. Пыпин

⟨У НЕКРАСОВА⟩

Печатается по автографу, хранящемуся в *ИРЛИ* (ф. 250, ед. хр. 392, лл. 1—5). Впервые с неточностями — в «Современнике», 1913, № 1, стр. 229—233.

[1] Стр. 445. Сведения Достоевского о якобы благосклонном отношении к поэме Некрасова начальника Главного управления по делам печати В. В. Григорьева не подтвердились. См. прим. 4 к стр. 431.

[2] Стр. 445. Речь идет о запрещении 7 января 1877 г. «по высочайшему повелению» газеты «Собеседник», начавшей выходить в Петербурге в том же году.

[3] Стр. 445. Газета «Русское обозрение» после третьего предостережения была приостановлена 12 января 1877 г. на два месяца.

[4] Стр. 445. «Пир — на весь мир» в книжку стихов «Последние песни» не вошел.

[5] Стр. 445. Речь идет о романе «Новь», первая часть которого (гл. I—XXII) была напечатана в журнале «Вестник Европы» (1877, № 1).

[6] Стр. 446. Имеется в виду «Сказка о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине». При жизни Некрасова не печаталась, была запрещена цензурой. См. *ЛН*, т. 53—54, стр. 156—157. Текст «Сказки» см. *БП*, т. 3, стр. 341—343.

[7] Стр. 446. Имеется в виду «Вступление к песням 1876—77 годов» («Нет! не поможет мне аптека...»).

[8] Стр. 446. Речь идет о «муравьевской оде», прочитанной Некрасовым 16 апреля 1866 г. в Английском клубе (см. прим. 21 к стр. 178). Факты о причастности члена Государственного совета графа С. Г. Строганова к возникновению оды неизвестны.

[9] Стр. 446. В «муравьевской оде», текст которой не сохранился, было двенадцать стихов. См. *ЛН*, т. 49—50, стр. 161 и прим. 21 к стр. 178.

[10] Стр. 446. См. стр. 163. Ответ Некрасова Антоновичу и Жуковскому на их книжку «Материалы для характеристики современной русской литературы» (1869) — неизвестен.

[11] Стр. 446. Речь идет о стихотворении «Баюшки-баю».

[12] Стр. 447. См. об этом стр. 346 и прим. 10 к ней.

[13] Стр. 447. По завещанию, составленному 13 января 1877 г., Некрасов предоставлял свои авторские права А. А. Буткевич.

[14] Стр. 448. В это время готовилось издание стихотворений Некрасова в серии «Русская библиотека» (вып. VII). Книжка вышла в апреле 1877 г.

[15] Стр. 448. Это мнение М. М. Стасюлевича, вероятно, высказано во время посещения Некрасова в феврале 1877 г. См. *ВЕ*, 1878, № 2, стр. 910.

[16] Стр. 448. Об отношении Некрасова к Пушкину см. стр. 305 и прим. 8 к ней. В рецензии 1866 г. Некрасов «птицами-певчими» назвал поэтов Фета и Полонского. Там же Некрасов писал о Мицке-

виче: это «один из тех редких поэтов, у кого форма и содержание неразделимы: одно превосходно и другое превосходно» (IX, 443).

[17] Стр. 448. Речь идет о рецензии на «Роман и повести» М. Авдеева (2 тома, СПб. 1853). В ней Чернышевский критиковал произведения Авдеева за подражательность, за отсутствие в них мыслей, принадлежащих «современной жизни». Чернышевский подчеркивал, что «мысль и содержание» в литературе «даются не безотчетною сентиментальностью, а мышлением» (*Чернышевский*, т. III, стр. 221).

А. Г. Штанге
(СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕПУТАЦИЯ У НЕКРАСОВА)

Печатается по тексту журнала «Книга и революция», 1921, № 2, стр. 54—55. Публикация В. Е. Евгеньева-Максимова.

[1] Стр. 449. А. Г. Штанге был студентом физико-математического факультета.

[2] Стр. 449. 6 декабря 1876 г. на площади у Казанского собора состоялась политическая демонстрация, организованная народниками-землевольцами и членами рабочих кружков, на которой с речью выступал Г. В Плеханов. Демонстрация была разогнана полицией, которой оказывали содействие сидельцы мелочных лавок, дворники и др.

[3] Стр. 450. Неточно воспроизведенное стихотворение 70-х годов. По мнению И. Власова и С. Макашина, оно посвящено разгрому Парижской коммуны в 1871 г. (*ЛН*, т. 49—50, 412—422). Но, судя по воспоминаниям А. Г. Штанге и других семидесятников, оно воспринималось современниками как реакция на русскую действительность.

[4] Стр. 450. Слова из стихотворения «Скоро стану добычею тленья...» (1876).

[5] Стр. 450. Штанге ошибается. Сбор подписей проходил на вечере медичек в Клубе художников 3 февраля 1877 г. (см. Е. А. Гитлиц, Адрес Н. А. Некрасову революционного студенчества в 1877 году. — *Некрасовский сборник*, III, стр. 288). Присутствовавший на вечере П. В. Засодимский писал А. И. Эртелю 6 февраля 1877 г.: «Народу набралось густо — до 3000 человек. Составили сочувственный адрес Некрасову от учащейся молодежи; в течение двух часов набралось до 800 подписей» (*ГБЛ*, ф. 349, папка 10, ед. хр. 22). По агентурным донесениям, адрес читался Д. П. Сильчевским. См. стр. 263.

[6] Стр. 450. Этот факт подтверждается также и в агентурном донесении. См. *Некрасовский сборник*, III, стр. 295.

[7] Стр. 451. Это стихотворение Некрасов предполагал напечатать как посвящение к книге «В черные дни», вместо которой издал книгу «Последние песни», но куда это посвящение не вошло. Стихи 5—7 у Некрасова читаются так:

Я примеру русского народа
Верен: *«в горе жить —*
Некручинну быть»... (II, 410)

[8] Стр. 451. Г. З. Елисеев, очевидец этой встречи студентов с Некрасовым, писал во «Внутреннем обозрении», вырезанном цензурой: «Когда, по просьбе одного из этих депутатов, я пришел предуведомить покойного, что к нему через час явятся три депутата от студентов с заявлением сочувствия к нему и общей скорби студентов о его болезни, он, видимо, очень обрадовался. «Мне очень это приятно, — сказал он мне, — но я боюсь, чтобы это не было как-нибудь дурно истолковано для них, чтобы не вышло чего... Да и, ах, боже мой! Чем я их отблагодарю. Я бы хотел что-нибудь написать им. Но теперь решительно не в состоянии, а готового ничего нет. Вот разве это дать им? — сказал он, вынимая из находившихся перед ним бумаг написанное вчерне предисловие к «Последним песням». — Предисловие обращено к читателю, но все равно, оно и к ним относится. Как вы думаете: будут они довольны?» — обратился он ко мне. Я успокоил его, сказав, что студенты желают одного только, чтобы он их принял, чтобы они могли высказать ему свои чувства, а затем они будут довольны всем, что он ни даст им на память *. Через несколько времени после этого пришли студенты. Покойный, хотя и мог тогда еще ходить по комнате — это было, помнится, в феврале прошедшего года, — но только не подолгу, по несколько минут каждый раз, сидеть также не мог и вообще не мог принимать иначе, как лежа, покрывшись одеялом, потому что был в одной рубашке. Так принял он и студентов. Во время прихода студентов никого из посторонних посетителей не случилось; единственным посторонним посетителем был я. Приблизившись к постели Некрасова, один из студентов объяснил цель прихода. Другой прочел краткую, заранее приготовленную и очень умно составленную речь, покрытую подписями студентов, в которой выяснялось значение поэзии Некрасова для России и молодого поколения. Третий сделал более пространный, устный комментарий к прочитанной речи,

* Это то самое предисловие, которое теперь вывешено в студенческой библиотеке петербургского университета и которое недавно было напечатано в «Петербургских ведомостях» и других газетах. (*Прим. Г. З. Елисеева.*)

который дышал задушевной привязанностью к поэту. Поэт был так тронут и взволнован, что обе речи слушал со слезами ⟨...⟩» («Некрасов. К 50-летию со дня смерти», Л. 1928, стр. 707).

З. Н. Некрасова
⟨ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

Печатается по тексту «Журнала для всех», 1915, № 2, стр. 336—338.

[1] Стр. 454. Имеется в виду студент Медико-хирургической академии Н. Демьянков.

[2] Стр. 454. Похороны Некрасова состоялись 30 декабря 1877 г. О ком идет речь — неизвестно.

[3] Стр. 454. Н. М. Архангельский, редактор «Саратовского листка», помог З. Н. Некрасовой добиться пенсии от Литературного фонда.

[4] Стр. 456. Это не соответствует действительности. Роман «Отцы и дети» был написан уже после разрыва Тургенева с Некрасовым.

[5] Стр. 456. Записка или письмо с таким текстом неизвестны. О взаимоотношениях Некрасова с Тургеневым см. стр. 457—460.

И. С. Тургенев
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Печатается по изданию: И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Сочинения в пятнадцати томах, т. 13, М. — Л. 1967, стр. 168.

П. И. Вейнберг
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НЕКРАСОВА
(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по машинописной копии, исправленной автором, хранящейся в *ИРЛИ* (1347/х б. 32, лл. 1—3). Впервые с неточностями — «Слово», 1907, № 340, 28 декабря.

[1] Стр. 464. Некрасов обвенчался у себя на квартире 4 апреля 1877 г. По воспоминаниям П. А. Ефремова, это произошло так.

«...Хотели венчать его у постели и даже подговорили, под строжайшим секретом, священника из домовой церкви, который взялся венчать на дому.

Об этом, по секрету, было сообщено, между прочим, Г. И. Успенскому. Тот разболтал, а священник, узнав, что по городу ходят слухи, наотрез отказался венчать, не желая рисковать местом.

Тогда Унковский, по просьбе Некрасова, поехал к митрополиту Исидору.

Митрополит сослался на церковные уставы и сказал, что ничем нельзя помочь.

«Так неужели, ваше высокопреосвященство, — говорит Унковский, — ничем нельзя помочь больному, который перед смертью желал бы загладить грех своей жизни?»

«Что делать? Ничем не могу помочь. Ведь мы сами связаны. Нужно венчать непременно в церкви. Ведь у нас не то, что у военных. Военное духовенство имеет свои походные церкви. Поставил палатку, тут у него и церковь, где он всякое таинство может совершить.

Унковский, вернувшись от митрополита, обратился к военному духовенству. Достали церковь-палатку, поместили ее в зале у Некрасова и здесь же, поддерживая его за руки, обвели его три раза вокруг налоя, уже полумертвого от страданий. Он был при этом босой и в одной рубашке» (⟨А. М. Ловягин⟩, Из бесед с П. А. Ефремовым. — «Доклады и отчеты Русского библиологического общества», вып. 1, СПб. 1908, стр. 5). Духовенство, узнав о венчании Некрасова, пыталось объявить этот акт незаконным (См. *Щедрин*, т. 19, стр. 103).

[2] Стр. 464. Из стихотворения «Зине» (1876).

[3] Стр. 464. Операция была сделана 12 апреля 1877 г.; на дачу Некрасов переехал 1 июля.

[4] Стр. 465. Корреспонденту «Петербургской газеты» Вейнберг говорил, что последний раз он видел Некрасова «недели за три до смерти» (Паспарту, Воспоминания о Н. А. Некрасове. У П. И. Вейнберга. — *ПГ*, 1902, № 348).

[5] Стр. 465. Речь идет о фотографии Ф. Каррика (1877).

[6] Стр. 466. П. И. Вейнберг переводил Гейне. Переводы печатались в «Современнике», «Отечественных записках» и других журналах.

[7] Стр. 466. Гейне, разбитый параличом, с 1848 г. до смерти (1856) не покидал своей постели. Он называл ее «матрацной могилой». Гейне писал Ю. Кампе 1 сентября 1846 г.: «...ужасно умирание, не смерть, если смерть вообще существует» (Г. Гейне, Собр. соч. в десяти томах, т. 10, Гослитиздат, 1959, стр. 201).

[8] Стр. 466. Из стихотворения «Скоро стану добычею тленья...» (1876). Надо: «Тяжело умирать, хорошо умереть».

[9] Стр. 471. Эти «Записки» неизвестны.

П. А. Гайдебуров
КОМНАТЫ Н. А. НЕКРАСОВА

Печатается по тексту газеты «Неделя», 1878, № 1 от 1 января, стр. 36—39.

[1] Стр. 470. Это Стихотворение безымянного автора было опубликовано в «Неделе» от 30 января 1877 г.

[2] Стр. 470. Об этом см. стр. 60.

[3] Стр. 470. Этот рассказ подтверждается другими источниками. Тетка поэта Т. С. Алтуфьева вспоминала о его деде, С. А. Некрасове: «Живши в Москве, отец наш любил играть в карты и много проигрывал. Последний проигрыш был в 8 тысяч ассигнациями. На расплату заложил ярославскую деревню Салтыковку» (*Евгеньев-Максимов*, 1, стр. 14). В автобиографических набросках Некрасов воспроизводил разговор с ним отца, А. С. Некрасова: «Предки наши были богаты. прапрапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прадед две, дед (мой отец) одну, я ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже любил» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 144).

[4] Стр. 471. Отрывки из поэмы «Мать» были опубликованы в «Отечественных записках» (1877, № 3). Польское происхождение матери Некрасова Е. А. Закревской оспаривается многими исследователями.

[5] Стр. 471. Из стихотворения «Рыцарь на час».

[6] Стр. 472. Строфы из поэмы «Мать».

П. В. Засодимский
ПОГРЕБЕНИЕ Н. А. НЕКРАСОВА

Печатается по тексту газеты «Северный край», 1902, № 340 от 27 декабря.

[1] Стр. 475. В письме к А. И. Эртелю от 31 декабря 1877 года Засодимский сообщал, что «впереди гроба несли венки с надписями: «Слава печальнику горя народного», «Певцу народных страданий», «От русских женщин», «От студентов», «От русского общества». «Венок с надписью «Борцу за свободу» был изъят и уничтожен» (*РЛ*,

1967, № 3, стр. 161). Каких-либо дополнительных сведений о венке «Борцу за свободу» не имеется.

Ученики городского училища несли венок «Любимому писателю от детей» (И. И. Попов, Минувшее и пережитое, 1933, стр. 35).

[2] Стр. 476. В. А. Панаев. Об этом см. стр. 40.

[3] Стр. 477. Конец стихотворения «Баюшки-баю» (1877).

[4] Стр. 477. Об этом см. стр. 484.

[5] Стр. 478. Из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

[6] Стр. 478. Текст своей речи, записанный, видимо, после похорон, Засодимский сообщил в письме от 16 апреля 1878 г. А. И. Эртелю: «Мы чтим в покойном поэта и гражданина. Он нам понятен, дорог и в высшей степени симпатичен. Понятен он потому, что пел не «розы, нечто и туманну даль», не радости жизни, но горе и муки. Далеко не каждый из нас испытал радости, изведал счастье, даже в самом узком, мещанском смысле этого слова, но зато несчастье, горе нам всем близко знакомо... О, да! Очень близко знакомо!.. Вот почему Некрасов понятен, близок нам! Вот где сила его, та сила, которою она приковывает нас к себе! Дорог же и симпатичен он нам по тем мотивам, какие наигрывала его сумрачная муза, которую он сам недаром же называл «музой мести и печали». Он высказался резко, без утайки. Мы все знаем очень хорошо, кому и чему сочувствует поэт. Тут не может быть споров и недоумений. Он сочувствовал всему тому, «что зелено и бледно», тому, «что голодно и бедно, что ходит голову склоня». Мы с гордостью можем сказать здесь, что подобная черта некрасовской музы роднит его с лучшими мировыми поэтами, ибо как те, так и он выражали в своих произведениях сочувствие к тому великому, вековечному людскому горю, которое широкою волною прокатилось по всему лицу земли. Как человек русский, он, конечно, с особенной рельефностью изображал горе нашей жизни народной. Так, например, в одной его поэме повторяется несколько раз: «Холодно, странничек, холодно!», «Голодно, родименькой, голодно!» Затем поэт от себя уже добавляет, что только тот эту песню допоет, кто «Русь крещеную из конца в конец пройдет» *. Теперь понятно, чем покойный Некрасов завоевал себе симпатии всех честных русских людей. Недостойно было бы нам — в виду свежей этой могилы — сомневаться в искренности задушевного стремления его «уйти от ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови», уйти «в стан погибающих за великое дело любви». Жизнью своею запечатлел он правдивость и искренность этого стремления. Всю жизнь он отдал этому великому делу любви, подвизаясь на тернистом поприще литературном, постоянно лавируя между Сциллой и Харибдой. Да! Бывают такие

---

* Стихи из поэмы «Коробейники» (1861). (*Ред.*)

времена, когда надо обладать значительной дозой гражданского мужества, чтобы «делать благое дело среди царюющего зла» *. И Некрасов делал это дело... Теперь понятно, почему в начале 60-х годов, в эпоху, сулившую нам так много хорошего, вокруг покойного Некрасова собрались лучшие литературные силы, наши лучшие деятели. Имена их я не упоминаю, они известны и памятны нам до сего дня. Из этих людей «иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал: ** (Аплодисменты). Вот почему на журнале, издаваемом покойным, воспитывались целые поколения. Вот почему с именем Некрасова связывается для нас представление о лучших, благороднейших стремлениях, проявившихся в нашем обществе за последние 25 лет. Много вынес покойный Некрасов... Тот гнет, который всех нас давил и который все мы ощущали более или менее осязательно, давил и его. Он вместе с нами радовался и страдал. В его песнях мы находим живой отголосок и выражение собственных чувств и дум. В числе общих горестей есть доля и его страданий. Да! Он имел право — он выстрадал себе право сказать: «За каплю крови, общую с народом, прости меня, о Родина! Прости!» Мир праху твоему, Некрасов!» (*ГБЛ*, ф. 349, картон 10, ед. хр. 22).

Речь Засодимского была встречена многими сочувственно, но революционно настроенная молодежь восприняла ее без энтузиазма, так как ее автор, по мнению Плеханова, «никак не мог выбраться из заколдованного круга взаимодействия психологических мотивов» (см. стр. 490).

[7] Стр. 478. Из поэмы «Несчастные» (1856).

[8] Стр. 478. Неточно процитирован конец стихотворения «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

[9] Стр. 478. После Засодимского выступил Плеханов (см. стр. 490) и рабочий, чье имя неизвестно.

[10] Стр. 478. Стихотворение поэтессы М. Ватсон. По свидетельству Засодимского, вслед за стихотворением М. Ватсон было прочитано стихотворение Некрасова «Баюшки-баю» (письмо А. И. Эртелю от 31 декабря 1877 года, *РЛ*, 1967, № 3, стр. 161).

Ф. М. Достоевский

СМЕРТЬ НЕКРАСОВА. О ТОМ, ЧТО СКАЗАНО БЫЛО НА ЕГО МОГИЛЕ

Печатается по тексту «Дневника писателя», 1877, декабрь, стр. 311—313.

---

* Слова из стихотворения Н. А. Добролюбова «Памяти отца» (1857). (*Ред.*)

** Стихи из «Евгения Онегина» Пушкина. (*Ред.*)

[1] Стр. 482. Имеется в виду шестое издание «Стихотворений» Некрасова (1873—1874).

[2] Стр. 482. В «Петербургском сборнике» (1846) были напечатаны стихотворения Некрасова: «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть, что находит...», «Колыбельная песня», а также повесть Достоевского «Бедные люди».

[3] Стр. 482. Достоевский был освобожден из Омской крепости в феврале 1854 г.

[4] Стр. 482. Об этом см. стр. 66—70.

[5] Стр. 483. См. прим. 6 к стр. 71.

[6] Стр.. 483 «Подросток» печатался в «Отечественных записках» в 1875 г. О встречах Достоевского с Некрасовым в это время см. стр. 65.

[7] Стр. 483. Из писателей после Достоевского выступил П. В. Засодимский.

[8] Стр. 483. Имеется в виду стихотворение М. Ватсон «Замолкла муза мести и печали...», см. стр. 478—479.

[9] Стр. 484. Достоевский цитирует статью А. Скабичевского «Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор» (*БВ*, 1878, № 6).

[10] Стр. 484. В. Буренин подтверждает рассказ Достоевского: «Дело действительно происходило так, как рассказывает г. Достоевский. Я могу подтвердить это, так как был в числе присутствовавших у могилы и стоял рядом с г. Достоевским. 〈...〉 Прибавлю одну подробность: в числе нескольких голосов один крикнул: «Пушкин был салонный поэт, а Некрасов — народный» (*НВ* 1878, № 681, 20 января).

Скабичевский впоследствии писал: «Я сам лично не присутствовал при этой сцене, передал ее со слов одного из свидетелей» (*БВ*, 1878, № 27).

[11] Стр. 485. На этой проблеме Достоевский остановился в декабрьском номере «Дневника писателя» в разделе: «Пушкин, Лермонтов и Некрасов».

В. Г. Короленко
ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА»

Печатается по изданию: В. Г. Короленко, Собрание сочинений в десяти томах, т. 6, Гослитиздат, М. 1954, стр. 197—199.

[1] Стр. 486. Имеется в виду цикл стихотворений «Последние песни».

[2] Стр. 486. См. стр. 66.

[3] Стр. 487. См. стр. 451.

[4] Стр. 487. Какие стихи читал журналист Л. К. Панютин — неизвестно.

[5] Стр. 487. См. стр. 478.

[6] Стр. 488. См. стр. 484.

Г. В. Плеханов

ПОХОРОНЫ Н. А. НЕКРАСОВА

Печатается по тексту газеты «Наше единство», 1917, № 7, 29 декабря.

[1] Стр. 490. Некрасов умер 27 декабря 1877 года (по старому стилю).

[2] Стр. 490. «Бунтари» — одно из течений народничества 70-х годов периода «хождения в народ».

[3] Стр. 491. Плеханов ошибся. Хоронили Некрасова на Новодевичьем кладбище.

[4] Стр. 491. Стихотворение «Железная дорога» имело очень сильное воздействие на молодого Плеханова и его единомышленников. Плеханов вспоминал 1872 год: «Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу» (Г. В. Плеханов, Искусство и литература, Гослитиздат, М. 1948, стр. 634).

[5] Стр. 491. См. прим. 6 к стр. 478.

[6] Стр. 491. Имеется в виду критическая оценка Белинским повести Достоевского «Двойник», ироническое отношение его и Некрасова к болезненному самолюбию Достоевского. См. коллективную пародию «Витязь горестной фигуры...» (1846), осмеивающую поведение Достоевского (I, 423—424).

[7] Стр. 492. Цитируемые строки из стихотворения «Влас» (1855) Достоевский считал «насмешкой» относительно общего настроя произведения («Гражданин», 1873, № 4 от 22 января). Они были

исключены поэтом при подготовке последнего издания своих сочинений.

[8] Стр. 492. См. стр. 484.

[9] Стр. 493. Плеханов имеет в виду стихи из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXXII):

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножки Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.

Терпсихора — муза танца в древнегреческой мифологии.

[10] Стр. 493. Имя рабочего осталось неизвестным.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ *

---

* В указатель включены имена личные, названия литературных произведений, статей, журналов, встречающиеся в тексте вступительной статьи, вводных преамбулах и примечаниях. Ссылки на страницы вступительной статьи и примечаний набраны курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Указатель составлен Т. Б. Сумароковой.

Потанина Вера, дочь Г. Н. Потанина — 183, 184, *519*.

СОДЕРЖАНИЕ

В РЕДАКЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

СРЕДИ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

В РОДНЫХ МЕСТАХ. НА ОХОТЕ

«ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ»

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

Редактор *С. Розанова*

Художественный редактор
А. Виноградов

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 5/I 1971 г. Подписано к печати 4/V 1971 г. Бумага типогр. № 1. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. 18,75 печ. л. 31,5 усл. печ. л. 30,923 + 1 вкл. + 3 накидки = = 31,573 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 925. Цена 1 р. 45 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 им. Евг. Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский пр., 29

1 р. 45 к.